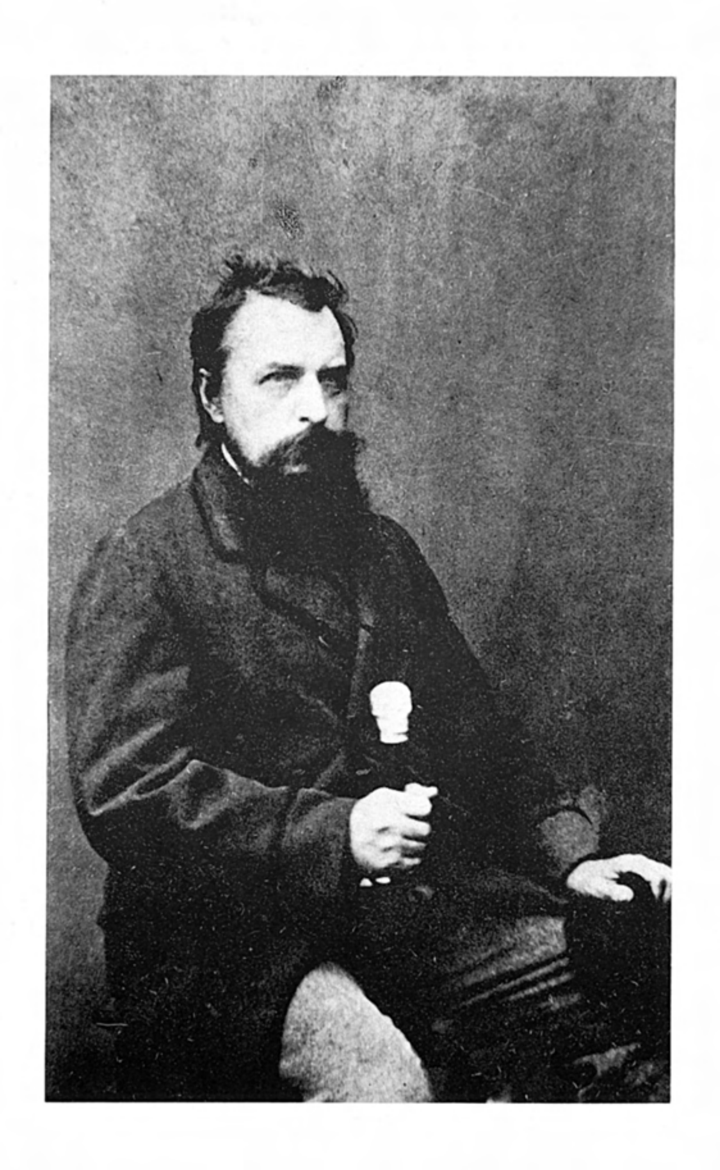
Аполлон
Григорьев



АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ



НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

Гуманитарное агентство
«Академический проект»

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ
ДРАМЫ

Санкт-Петербург
2001

Федеральная программа книгоиздания России

*Вступительная статья,
составление, подготовка текста и примечания
Б. Ф. ЕГОРОВА*

Редактор Д. М. Климова

ISBN 5-7331-0241-1

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ — ПОЭТ

Интерес к Аполлону Григорьеву растет с каждым годом. П. П. Гро-мов, автор вступительной статьи к «Избранным произведениям» поэта в предшествующем издании Большой серии «Библиотеки поэта», книге, вышедшей почти полвека назад (1959), так начинал повествование: «Творчество Аполлона Григорьева — литературного критика и поэта 1840—1860-х годов — никогда не пользовалось широкой популярностью...»[1] Сейчас такое невозможно было бы написать, ведь за последние годы изданы около десятка однотомников Григорьева-поэта, прозаика, критика, а издательство «Художественная литература» в 1990 году выпустило в свет двухтомник писателя стотысячным тиражом[2]. А видел ли кто-нибудь эти книги, лежащие на полках магазинов?

Из всех разнообразных родов и жанров, в области которых трудился Григорьев и в которых оставил значительный след (поэзия, проза, мемуары, очерки, драмы, литературная критика, театральная критика), — наиболее ценными для потомков оказались два: поэзия и критика. Хорошо знавший Григорьева Ф. М. Достоевский в некрологических заметках о скончавшемся соратнике интересно сформулировал свое отношение к взаимосвязанности поэтического творчества и критики: «Без сомнения, каждый литературный критик должен быть в то же время и сам поэт»[3]. Сказано категорично, в реальной истории мы знаем случаи другие, но по отношению к Григорьеву это абсолютно верно.

Можно было бы несколько снять эту категоричность, переиначить мысль Достоевского следующим образом: каждый критик должен обладать поэтической душой. А уж если он еще и настоящий поэт, то эта сфера его деятельности несравненно обогащает область критики, и литературной, и театральной, как обогащает и все мировоззрение человека и все его художественное творчество. У Григорьева же именно стихи и критика выдвинулись на первый план, и трудно отдать чему-либо предпочтение, тем более что они взаимосвязаны. Однако данная книга посвящена поэзии, главным нашим объектом будет стихотворный мир, и мы его вынуждены как-то отграничить от критического.

Надо признать, что поэзия Григорьева все-таки менее зависима от его критики, чем критика от поэзии: последняя заметно обвевала своим романтическим флером тексты критических статей. Но автор их, при всей субъективности и поэтичности, стремился все-таки к объективным мерам, к недосягаемому художественному идеалу, с которым соразмерялось анализируемое про-

изведение (в разные времена в качестве идеала у Григорьева оказывалось творчество Гоголя, Островского, Пушкина). Высоким и строгим был и этический идеал Григорьева-критика, тоже для него немаловажный; статья поэтому приобретала торжественный, приподнятый характер, несколько обобщенный, надличностный. В лирике же поэт был значительно более откровенен, сиюминутен, раскован. Многие стихотворения Григорьева интересны своей «непричесанностью», черновым характером, подобно лихорадочной дневниковой записи взволновавшего события; такие стихотворения теряют в смысле художественной завершенности, целостности, обработанности, но приобретают значение удивительно искренней исповеди о жизненных тревогах, драмах, надеждах... Более тесно, чем с критикой, григорьевская поэзия спаяна с его художественной прозой, — об этом еще будет идти речь.

Еще одно отличие поэзии нашего автора от его критики: последняя — более оригинальная, более нетрадиционная, создавшаяся как бы заново (хотя, конечно же, возникла она не на пустом месте: воздействие Белинского или Вал. Майкова, бесспорно, прослеживаются), а в поэзии Григорьева заметнее отражены различные влияния, сложно и многоаспектно сплавлявшиеся воедино. Здесь мы находим мощную романтическую традицию лермонтовского плана, страстность, экзальтированность французской и польской лирики (Григорьев обожал Мицкевича), стихию русской народной песни, трезвую, грубоватую правду натуральной школы, психологическую аналитичность новой русской прозы. В целом же его поэзия так же оригинальна и неповторима, как неповторима всякая талантливая личность. Надо сказать, что человеческая личность Григорьева гораздо глубже и сложнее его поэзии. Ведь авторская личность и поэтическое творчество никогда не бывают равнозначными.

Григорьев как личность лишь отдельными гранями своего художественного мировоззрения реализовался в поэзии. Сложная и яркая фигура этого человека вообще, к сожалению, мало запечатлелась даже в мемуарах современников, не говоря уже о художественном воплощении. По этому поводу есть интереснейшее письмо Я. П. Полонского к А. Н. Островскому от 3 апреля 1876 года: «Я знал Григорьева как идеально благонравного и послушного мальчика, в студенческой форме, боящегося вернуться домой позднее 9 часов вечера, и знал его как забулдыгу. Помню Григорьева, проповедующего поклонение русскому кнуту — и поющего со студентами песню, им положенную на музыку: "Долго нас помещики душили, становые били!.."[4]. Помню его не верующим ни в Бога, ни в черта — и в церкви на коленях молящегося до кровавого пота. Помню его как скептика и как мистика, помню его своим другом и своим врагом. Правдивейшим из людей и льстящим графу Кушелеву и его ребяческим произведениям!

Одним словом — чем больше я думаю о Григорьеве, тем более понимаю, отчего, несмотря на свой громадный критический талант, он в литературе не оставил почти никакого следа, т. е. имел так мало людей, которые были бы способны вполне пони-

мать его. Самая внезапная смерть его, чуть ли не с гитарой в руках — минута трагическая.

Вы знали его ближе, чем я, и несомненно во 100 раз лучше меня его понимали.

Не попробуете ли вы когда-нибудь воссоздать этот образ в одном из ваших будущих произведений? Григорьев как личность, право, достоин кисти великого художника. К тому же это был чисто русский по своей природе, — какой-то стихийный мыслитель, невозможный ни в одном Западном государстве».

Увы, Островский, действительно очень хорошо знавший Григорьева, не уделил ему своей «кисти», если не считать отдаленного сходства в характере и поступках одного из своих персонажей (Петр в пьесе «Не так живи, как хочется»). Правда, другие наши великие писатели не прошли мимо колоритной фигуры современника: некоторые черты, особенно биографические в истории Лаврецкого («Дворянское гнездо»), непосредственно заимствованы Тургеневым из бесед с Григорьевым, а Лев Толстой при изображении Федора Протасова в «Живом трупе» использовал и психологические особенности характера Григорьева; некоторые черты и реплики Мити Карамазова у Достоевского напоминают григорьевские.

Самоанализ, самораскрытие, проявленные в мемуарах, в повестях, в лирике Ап. Григорьева, дают нам более полное представление об этой незаурядной человеческой личности. Григорьев с его романтическим мироощущением был очень субъективен в своей лирике: герой всегда является у него alter ego, вторым «я» автора; Григорьев и в чужой лирике всегда отождествлял героя и поэта, хотя бы к тому и не было достаточных оснований. Однако объективно григорьев-ский лирический герой, как у всякого значительного поэта, перерастает автобиографизм, становится художественно обобщенным персонажем (например, в герое григорьевской лирики 1840-х годов увеличены и обобщены черты страдающего «больного эгоиста» и т. д.).

Духовный облик Григорьева, его мироощущение существенно менялись с годами и благодаря внутреннему развитию, и — что не менее существенно — из-за значительных перемен в жизни России. Поэтому менялись и темы, менялись трактовки и акценты в его творчестве.

Аполлон Александрович Григорьев — внук безвестного провинциала, прибывшего в Москву на заработки. Благодаря уму и старанию дед затем дослужился до высоких чиновничьих должностей, получил дворянство. Отца поэта, воспитанника Благородного пансиона и Московского университета, могла бы ожидать блестящая чиновничье-дворянская карьера, если бы он не полюбил дочь крепостного кучера. Скандальная для родных и знакомых свадьба состоялась уже после рождения сына Аполлона (родился, как установлено недавно Г. А. Федоровым, 16 июля 1822 года)[5], поэтому мальчик оказался незаконнорожденным и долго именовался московским мещанином.

Это не помешало отцу дать ему прекрасное домашнее образование, минуя гимназию.

После относительно вялого детства и бурного духовного роста в отрочестве, о чем Григорьев так хорошо поведал в воспоминаниях, наступили яркие университетские годы. Конец 1830-х и начало 1840-х годов для Московского университета стали периодом явного расцвета после долгой полосы застоя и мрака, той полосы, в которую попали сперва Полежаев, а затем Белинский, Герцен, Лермонтов...

В 1835 году попечителем Московского учебного округа и тем самым «хозяином» университета был назначен видный вельможа граф С. Г. Строганов. Благодаря своей независимости и гордому желанию сделать «свой» университет лучшим Строганов мог отбирать среди талантливой научной молодежи действительно достойных преподавателей, обеспечивать их штатными местами, заграничными командировками, средствами на публикацию трудов и т. п. Поэтому в университетские годы Григорьева (1838—1842) во главе ведущих гуманитарных кафедр стояли Т. Н. Грановский (всеобщая история), П. Г. Редкин (энциклопедия права), Д. Л. Крюков (римская словесность и древняя история), которые ошеломляли юношей потоком совершенно новых идей и фактов, только что добытых европейской наукой, знакомили с новейшими методологическими учениями, прежде всего — с гегельянством (хорошее знание Гегеля Григорьев вынес из университетских занятий). Декан юридического факультета Н. И. Крылов, возглавлявший кафедру римского права, обучал студентов методам романтической школы французских историков.

Григорьев, поступивший — видимо, по настоянию отца — на чуждый ему юридический факультет, усердно слушал и лекции других профессоров, прежде всего — М. П. Погодина по русской истории и С. П. Шевырева по русской словесности. Будущие вожди консервативного «Москвитянина», глашатаи официальной «народности» привлекали Григорьева искренним интересом к старине, к древнерусским летописям, рукописным трудам, к устному народному творчеству, хотя он и в эти годы уже позволял себе иронические выпады по адресу Шевырева.

Григорьев-студент стал центром кружка талантливых литераторов, историков и вдумчивых исследователей философских проблем. В кружок входили поэты А. А. Фет и Я. П. Полонский, будущий историк С. М. Соловьев, будущий славянофил и общественный деятель периода реформ 1860-х годов кн. В. А. Черкасский, художник П. М. Боклевский и другие. А. А. Фет рассказывал в своих воспоминаниях главным образом о стихотворных занятиях, а другой член кружка — Н. М. Орлов, сын известного декабриста М. Ф. Орлова, оставил интересную тетрадь-конспект философских споров друзей (рукопись имеет помету: «По просьбе Григорьева»)[6]. Да и единственная рукопись Григорьева, сохранившаяся от студенческой поры, относящаяся к 1840 году, то есть созданная восемнадцатилетним юношей, — «Отрывки из летописи духа» — свидетельствуют о напряженных философских исканиях

идеала, совершенства, истины[7]. Эта рукопись тесно перекликается мыслями с тетрадкой Н. М. Орлова.

В этих философско-нравственных исканиях можно найти связи с аналогичными поисками в более раннем кружке Н. В. Станкевича. Но основные участники того кружка, В. Г. Белинский и М. А. Бакунин, вскоре стали значительно больше интересоваться социально-политической проблематикой и даже сами философские штудии подчинили этой области. Видимо, сказывались не столько индивидуальные различия, сколько разница поколений. Хотя между рождением Белинского, Герцена, Огарева, с одной стороны, и ровесников Ап. Григорьева — с другой, интервал всего около десяти лет, но разница между ними огромная: первые воспитались на итогах войны 1812 года и декабристских идеях, почти взрослыми юношами встретили николаевскую эпоху, а вторые с малолетства выросли в атмосфере этой эпохи. Герцен на примере В. А. Энгельсона, близкого к петрашевцам и почти ровесника Григорьева (родился в 1821 году), наблюдал отличие двух исторических типов: «На Энгельсоне я изучил разницу этого поколения с нашим. Впоследствии я встречал много людей не столько талантливых, не столько развитых, но с тем же видовым, болезненным надломом по всем суставам. Страшный грех лежит на николаевском царствовании в этом нравственном умерщвлении плода, в этом душевредительстве детей. Дивиться надобно, как здоровые силы, сломавшись, все же уцелели <...>. Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не имея двадцати лет от роду. Они все были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения, они тщательно поверяли свои психические явления и любили бесконечные исповеди и рассказы о нервных событиях своей жизни»[8].

Герцен как бы с высоты своего кругозора и чуть-чуть со стороны видел в этом поколении социальную и психологическую ущербность, страшные последствия николаевского пресса, давящего Россию, Григорьев же «изнутри» считал свою романтическую гипертрофированность чуть ли не нормой, во всяком случае достоинством. Да и в самом деле, из сосредоточенного самонаблюдения могло ведь вырасти чувство достоинства, значимости и независимости личности... Так что и крайности интроспекции, рефлексии были тоже косвенной формой протеста, по крайней мере — романтической формой неприятия нивелирующей личность действительности. Недаром поколение Григорьева (поколение родившихся в 1819—1822 годах) дало так много поэтов романтического плана: А. А. Фет, Я. П. Полонский, А. Н. Майков, Н. В. Щербина, сам Григорьев. Любопытно также, что реалистическая «натуральная школа» (оказавшая, впрочем, воздействие на поколение Григорьева) создавалась главным образом ровесниками 1812 года (именно в этом году родились А. И. Герцен, И. И. Панаев, Е. П. Гребенка, И. А. Гончаров) или даже более старшими современниками (В. И. Даль) — и лишь Н. А. Некрасов и Д. В. Григорович были ровесниками Григорьева. Другой знаменитый ровесник, Ф. М. Достоевский, хотя и примкнул вначале к «натуральной школе», но сразу занял в ней совершенно особое место.

Еще одна важная черта: поколение Григорьева, давшее столько романтических поэтов (и не меньше — серьезных ученых различных школ), совсем почти не подготовило радикальных деятелей для эпохи 1860-х годов — все ее знаменитые вожди родились на 10—20 лет позже. Очевидно, относительно спокойное, без европейских и внутренних революций, второе десятилетие царствования Николая I, с середины 1830-х до середины 1840-х годов, период «тихого» деспотизма, медленного обуржуазивания и опошления русской жизни — именно период юности григорьевского поколения — и способствовал романтическим волнам самого различного масштаба — об этих волнах и «веяниях» Григорьев очень хорошо рассказал в своих мемуарах — «Литературных и нравственных скитальчествах» (горячо рекомендуем читателям прочесть их).

Григорьев начал писать стихи, конечно же, в юном возрасте. По крайней мере уже в шестнадцать лет, на первом курсе университета, он познакомился с однокурсником Фетом, и они сразу сошлись именно как поэты: «Аполлон Григорьев, невзирая на примерное рвение к наукам, успел, подобно мне, заразиться страстью к стихотворчеству, и мы в каждое свидание передавали друг другу вновь написанное стихотворение» (Восп. С. 312).

Из студенческой поры никакие стихи Григорьева до нас не дошли, есть лишь несколько строк, приведенных по памяти Фетом в его воспоминаниях, но первые произведения послестуденческих месяцев сохранились. Это два стихотворения, относящиеся к одной героине: «Е. С. Р.» и «Нет, за тебя молиться я не мог...». Оба они помечены автором: «1842». А если сентябрьский дневник, включенный в рассказ Григорьева «Офелия» (1846), принять за реальность (там тоже описаны события вокруг той же героини), то, следовательно, стихотворения создавались в конце года, как раз вскоре по окончании поэтом университета.

В этих двух произведениях, как в зерне, как в зародыше, высвечиваются многие черты и «интенции», стремления зрелой поэзии Григорьева. В первом стихотворении — духовная связь «меня» и «тебя», то есть лирического героя и героини, диалектика вечности и сиюминутности, неба и грешной земли, «страсть земная» на фоне космической беспредельности. Во втором — типично григорьевское ершистое «нет» в начале, типичное отталкивание или отрешение чего-то (любопытно, что первое стихотворение начинается с чрезвычайно редкого у Григорьева «да»), типично григорьевские мотивы страдания; а пятые строки всех трех пятистиший, варьирующие начальные строки, создают иллюзию круговорота, возвращения, повторяемости (в противовес гегелевскому «развитию», хронологической, исторической поступательности): не любил Григорьев исторического движения и очень любил стадиальные коловращения. Характерно, однако, что тема страдания в этих стихотворениях почти незаметна, хотя по существу она могла бы выступить на первый план: ведь любовь к крестной сестре Лизе (см. примечания к стихотворениям) была безответной, да еще омрачалась выходом героини замуж за примитивного и

неприятного человека. Вообще, ранние стихотворения Григорьева отражают его безоблачное отрочество и юность и находятся как бы вне влияния тогдашних вершин русской поэзии, вне трагических стихотворений Баратынского и Лермонтова.

Первые два печатных стихотворения Григорьева, опубликованные в журнале «Москвитянин» за июль 1843 года, оба под названием «Доброй ночи» (второе — перевод из Мицкевича, о нем еще будет у нас идти речь при анализе цикла «Борьба»), — тоже весьма не-страдальческие, скорее, гармонические, светлые произведения. Ночи здесь не дьявольские, не жуткие, они освещены луной или зарей, и даже появление сказочных «лихоманок-лихорадок» из каких-то подводных хлябей не страшно, так как стражи Бога охраняют гармонию (интересно, что юный Лермонтов в стихотворении «Русалка» (1832) тоже изображает подводный и «мертвый» мир без всякого трагизма, скорее даже светло и привлекательно; «непонятная тоска» Русалки — милая романтическая тоска по любви, по другу, лишенная какого бы то ни было драматизма).

Но светлый мир розовой зари очень быстро сменился у Григорьева противоположными темами и образами. В июне 1843 года поэт написал «Доброй ночи», и тем же месяцем отмечено одно из самых «негармоничных» его стихотворений — «Комета». Пожалуй, это и одно из самых вершинных, самых значительных григорьевских стихотворений. Уже неоднократно отмечалось, что здесь развивается пушкинская тема, особенно ярко запечатленная в «Портрете» (1828), рисующем образ А. Ф. Закревской, замечательной женщины, вырывавшейся из петербургского вельможного мира:

И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.

Отмечалось также, что в стихах, посвященных образу Закревской («Портрет», «Наперсник», «Когда твои младые лета...»), Пушкин описывает героиню со стороны, ее «наперсник» лишь восхищается эксцентрическим характером, а у Григорьева лирический герой как бы сам сливается с образом «кометы», возникает мужчина-комета[9]. С такой трактовкой — применительно к «Комете» — можно и поспорить. В поэзии Григорьева «недосозданность» — а именно этот поворот темы в «Комете» оказывается одним из самых существенных — принадлежность женского персонажа, свойство «ее»; а будить и создавать — прерогативы «его» (см. наиболее прозрачное в этом отношении стихотворение 1845 года «Песня духа над хризалидой», где «дух» пробуждает куколку бабочки к жизни, к страсти, к страданиям...). У Пушкина «комета» уже «создалась», описываются скорее последствия ее беззаконий, чем путь к ним. А у Григорьева «комета» находится еще в самом начале пути, ей еще предстоит разрушать гармонию бытия. Как правило, героини Григорьева очень молоды, они находятся на пороге жизни, они еще «недосозданные», но они — потенциальные «коме-

ты», ибо от природы наделены страстными душами, неуемными желаниями, болезненной экзальтированностью. Вступление в жизнь, в «свет» лишь усиливает эти черты, доводя их до предела или даже до беспредельности, до духовных и душевных сломов, до безумия, до самоубийства. А герой, «он» в стихотворениях и поэмах — еще более страстный, еще более измученный и надломленный, чем героиня. Он или пробуждает героиню, или встречается с уже «созданной» кометой. и тогда — по-лермонтовски — происходит спор, борьба двух сильных и больных характеров, спор «на равных» (тема равенства изуродованных характеров очень типична для Григорьева), чаще всего заканчивающийся разрывом или другой катастрофой. В стихотворной драме «Два эгоизма» (1845), в поэмах «Олимпий Радин» (1845), «Видения» (1846), «Встреча» (1846), во многих стихотворениях тех лет постоянно варьируются эти темы. Некоторые замыслы поэта, особенно роман в стихах «Отпетая» (1847; появилась лишь первая глава), должны были, в предвестье героинь Достоевского, показать становление страстного женского характера, пренебрегающего «условиями света». Характерно, что поэты 1840-х годов лишь подходили к разработке этой темы. За два года до «Отпетой» И. С. Тургенев в поэме «Помещик» дал краткий очерк подобной натуры:

Ребенок... Ей пятнадцать лет.
Но за собой она невольно
Влечет вас... за нее вам больно
И страшно... бледный, томный цвет
Лица — печальный след сомнений,
Тревожных, ранних размышлений,
Тоски, неопытных страстей,
И взгляд внимательный — всё в ней
Вам говорит о самовластной
Душе... Ребенок бедный мой!
Ты будешь женщиной несчастной...
Но я не плачу над тобой...

Григорьев в «Отпетой» должен был развить эту тему: «Погибнешь ты», — восклицает повествователь, обращаясь к героине.

Итак, светлая гармония нескольких ранних стихотворений Григорьева быстро развеялась, заменившись неизлечимо болезненными страстями. Поэтические тексты густо насыщаются именно болезненными состояниями души: «Всегда больна, Всегда таинственно странна...» («Олимпий Радин»), «Ребенок бледный, грустный и больной...» («Видения»), «Слабый и больной...» («Предсмертная исповедь», 1846), «...на щеках горел так ярко Румянец грешный и больной» («Две судьбы», 1844), «...все безумие любви моей больной» («Два эгоизма»).

Борец с романтическим эпигонством сороковых годов, Валериан Майков разражался обильными тирадами, иронизируя над поэтами, которые изображают лишь «бледных» и «хилых» персонажей и не признают «других женщин, кроме чахоточных, бледных, изнуренных больными грезами...»[10]. Несомненно, он имел в

виду и творчество Ап. Григорьева. Конечно, именно Григорьев в те годы и в стихах, и в прозе создавал, несколько, может быть, сгущая и утрируя, подобные женские образы.

Однако Майков, ратуя, в свете своего утопического идеала, за гармоничного, здорового, волевого, оптимистического человека, оказывался романтиком «навыворот», ибо его идеал конструировался теоретически, имея опору лишь в народных идеалах красоты (поэзия Кольцова), но не в исторических условиях сороковых годов. В этом отношении болезненные, нервические героини Григорьева были, пожалуй, ближе к жизни, конечно же не крестьянской, а столичной, дворянской, по крайней мере — интеллигентской. В самом деле, если застойная приземленность русской (да и европейской) жизни середины сороковых годов влекла мужчин запоздало романтической ориентации к печоринству, к масонским утопиям, к бродяжничеству, к загулам, то ведь и женщины могли поддаваться любым влияниям, противостоящим пошлому бездуховному быту, — например, жоржсандизму с его романтической экзальтацией, доходящей до болезненности. Диапазон здесь был очень велик: от умеренного романтизма А. Я. Панаевой до трагической экзальтации Н. А. Герцен, приведшей ее к смерти. Григорьев несомненно опирался и на реальные жизненные черты, но так как страстный, страдающий характер женщины стал его эстетическим и этическим идеалом, то он чуть ли не все женские образы своих стихотворений, поэм, пьес и повестей того времени наделил подобными чертами.

А если выйти за пределы «Кометы», то увидим, что в стихотворениях, написанных в последующие месяцы (июль и август 1843 года): «Волшебный круг» и «Над тобою мне тайная сила дана...», — Григорьев в самом деле сближает образы «его», то есть мужского персонажа, лирического героя, с «падучей звездой», срывающейся с расчисленных орбит.

Тема кометы, страстной и хаотичной стихии — не просто личная слабость поэта, отражающая его склонности, органические черты характера. В этой же теме заложены глубинные процессы, свойственные России или даже более широко — всей Европе не только сороковых но и, более масштабно, XIX — начала XX века: в механическом, все мощнее стандартизирующемся мире живые силы не могли не бунтовать, не выражать хотя бы анархического протеста против всеобщей униформы. Чуткая литература тоже не могла не отобразить этой тенденции: григорьевские «кометы» расположены на магистральном пути от подобных персонажей у Пушкина и лермонтовских Демона, Арбенина, Печорина — к героям Достоевского, к цыганской теме в русской литературе второй половины XIX века, к эксцентрическим образам Лескова, к лирике Блока.

Таким образом, в поэзии Григорьева «кометны» оба персонажа, но «он», пожалуй, еще более сгущенно надрывен и дисгармоничен. «Он» — тоже больной и изломанный, но он значительно более больной и значительно более изломанный, чем героиня, тем более что в нем гипертрофированы еще и такие черты, как горды-

ня, эгоцентризм, желание властвовать над людьми (и чуть ли не над Вселенной!), но вся эта гигантомания рушится при столкновении с пошлым «светом» и при обнаружении духовной и физической собственной слабости. Такой характер, конечно, романтически утрирован Григорьевым, но он все-таки реальная частица русской жизни сороковых годов, он — типичный лишний человек. Характерно, что за четыре года до тургеневского «Дневника лишнего человека» один из излюбленных персонажей Григорьева-прозаика, Александр Иванович Брага произнес в повести «Один из многих» (1846) знаменательную фразу: «...я человек вовсе лишний на свете» (Восп. С. 211).

«Лишний человек» — это не романтическая выдумка, а печальная реальность сороковых — начала пятидесятых годов. И сам Григорьев тоже представлял собой жизненно типичного лишнего человека. Так что в поэзии нашего автора, как и в творчестве Ап. Майкова, Я. Полонского, частично и Фета, сложно соединялись поздне-романтические тенденции в изображении героев, в стиле и лексике, с новыми реалистическими влияниями, вплоть до бытовых аспектов «натуральной школы». Из всех перечисленных поэтов у Григорьева, пожалуй, последняя, то есть реалистическая, струя была особенно заметна.

И даже самая романтическая экзальтация в поэзии, утрированные страсти имели свою автобиографическую основу. Почти вся первая половина сороковых годов прошла у Григорьева под знаком отчаянно безнадежной любви к Антонине Федоровне Корш (1823—1879). Поэту вообще не везло в любви. Красивый человек, страстная, широкая натура, занимательный собеседник, он, как правило, увлекался такими женщинами, которые сторонились его необычности, нестандартности.

История драматической любви Григорьева к Антонине Корш вкратце такова. Незадолго до их знакомства умер отец семейства, видный московский врач Федор Адамович Корш, оставив вдову Софью Григорьевну с многочисленным потомством (согласно родословной, составленной недавно праправнуком Ф. А. Корша А. И. Богдановым, доктор был отцом, от двух жен, 22 детей). Мальчики — Евгений и Валентин — станут впоследствии известными журналистами и литераторами, а девушки в тогдашних условиях могли надеяться лишь на замужество. В год окончания Григорьевым университета (1842) профессор Н. И. Крылов женился на одной из дочерей Корша — Любови, а так как Григорьев был одним из немногих блестящих студентов, принимаемых в доме декана, то он вскоре познакомился с двумя младшими сестрами хозяйки — Антониной и Лидией — и страстно влюбился в старшую из них, Антонину. Возможно, она сперва и отзывалась на влечение юного романтика, но вскоре у него появился опасный соперник — К. Д. Кавелин, известный впоследствии историк и юрист, деятель либерального лагеря. Кавелин обладал четким и твердым характером, он уже подготовил магистерскую диссертацию, — очевидно, что тут было значительно более ясное и спокойное будущее, и Антонина отдала свое сердце сопернику. Кавелин оказался весь-

ма рационалистичным и в сфере интимных отношений. Спровоцированный однажды на откровенность Л. И. Стасюлевич, женой М. М. Стасюлевича, издателя «Вестника Европы», Кавелин ответил своей знакомой интересным признанием: «Я никогда в жизни, с молодости, не знал любви и страсти, как ее описывают. Ко многим женщинам я питал и питаю глубокую дружбу и способен увлекаться. Но увлечениям я даю волю только тогда, когда совершенно уверен, что не сделаю этим никому вреда, не расстрою семейного положения, не принесу женщине несчастья и горя. Своим увлечениям я ни разу не приносил женщин в жертву, никогда не клялся в страсти, в вечной любви и т. п. Я позволял себе увлекаться, только когда видел, что это не стоило женщине тяжелой борьбы, упреков совести, когда она, уступая мне, не мучилась сознанием, что нарушила свой долг, свои обязанности. Жертв я бы мог просить, если б был в состоянии заменить женщине всех и все; но на это я не способен и знаю это. Из моих сближений никогда не выходило драм и трагедий, которых я тщательно избегал, потому что не могу выносить чужого горя и прихожу в ужас при одной мысли, что кому-нибудь может быть худо по моей вине»[12]. 24 февраля 1844 года Кавелин защитил диссертацию, а 25-го Григорьев подал прошение ректору об отпуске. За полгода до этого он получил, несмотря на большой конкурс и обилие соперников, хорошее место секретаря Совета Московского университета, которым совсем не дорожил и с легкостью бросил его, явно намереваясь бежать в Сибирь, чтобы утишить страдания, а службой в какой-либо отдаленной гимназии заработать на выплату многочисленных долгов. А пока он, оставив запущенные дела Совета и кредиторов, втайне от родителей, умчался в Петербург, где и осел на три года.

Творчество Григорьева первой половины сороковых годов сильно окрашено любовью к А. Корш. Стихотворения «Обаяние», «Вы рождены меня терзать...», «О сжалься надо мной!.. Значенья слов моих...», «Нет, никогда печальной тайны...», «К Лавинии» (два стихотворения под одним названием), «Женщина» (1843), «Две судьбы», «Прости» (1844), «Молитва» (1845) — все они полны реальных отсветов мучительной, безнадежной любви Григорьева. Конечно же, образ «ее» весьма далек от жизненного прототипа, Григорьев здесь создает «свой», субъективный образ, близкий к его идеалу женщины.

Однако нельзя сводить все творчество Григорьева той поры к любовной лирике. Еще на студенческой скамье он, видимо, познакомился с тайными масонскими кружками Москвы, — по крайней мере, так он говорил Фету. Ему же он и признался, что перед отъездом в Петербург «получил из масонской ложи временное вспомоществование» (Восп. С. 326). Очевидно, какую-то роль в сближении Григорьева с масонами сыграл К. С. Милановский, сокурсник по Московскому университету, встречавшийся с Григорьевым и в Петербурге, личность довольно загадочная и довольно темная по нравственному облику (см. о нем: Восп. С. 412—413). Предположение В. Н. Княжнина, что масон из повести Григорьева «Другой из многих» (1847) Василий Павлович Имеретинов

является художественным воплощением реального прототипа, Милановского (см.: Материалы. С. 396), видимо, справедливо.

Во всяком случае, петербургские масонские связи Григорьева несомненны: это нашло отражение и в его повестях, и в цикле стихотворений «Гимны», которые оказались переводами немецких масонских песен, и в критических рецензиях. Но документальных данных совершенно не сохранилось, так как масонские организации были запрещены еще при Александре I, а репрессии николаевского правительства против всяких нелегальных кружков тем более должны были насторожить сохранивших свои традиции масонов, которые, видимо, ушли в это время в глубокое подполье. Григорьева, как и толстовского Пьера Безухова, привлекли в масонстве грандиозные утопические идеи коренного переустройства мира на началах братства, любви, высоких духовных и моральных качеств человека — да еще в сочетании с тайной (конспирация) и романтической мистикой.

Когда Григорьеву удалось в 1846 году выпустить книжечку своих «Стихотворений» (в количестве всего 50 экземпляров; ныне это издание — большая библиографическая редкость), то первый раздел этого тома составили «Гимны» (15 переводных стихотворений), а уже вторым разделом шла оригинальная лирика поэта. Значит, такое большое значение придавал автор масонским гимнам, пафосу человеческого братства и любви, в ореоле космических просторов, «высших сфер звездных», горнего совершенства, жизни вечной, Божьего величия и милосердия.

Однако современники не оценили эти творческие, мировоззренческие устремления поэта. В рецензии на «Стихотворения Аполлона Григорьева» В. Г. Белинский сурово отозвался об этом разделе: «В его гимнах есть признаки довольно дешевого примирения при помощи мистицизма»[13].

Зато Белинский в той же рецензии весьма положительно оценил те стихотворения Григорьева, которые содержали социальные инвективы, особенно — «Город» («Да, я люблю его, громадный, гордый град...»). Но если и в подобных произведениях звучали «таинственные» мотивы, как, например, появление в стихотворении «Героям нашего времени» образов египетских сфинксов с их «странными тайнами», то Белинский выражал недоумение и искреннее непонимание.

А Борис Пастернак, серьезно изучавший творчество Григорьева, поставил в 1945 году эпиграфом к давнему циклу «Тема с вариациями» именно строки о сфинксах: они интересно соотносятся с образами сфинкса в пастернаковских стихах о Пушкине.

Социальные и даже социально-политические темы в лирике нашего поэта были не наносные. Они весьма органично вписывались в его несколько эклектический, меняющийся, очень падкий на влияния мировоззренческий круг. Приехав почти без гроша в кармане в Петербург, он испытал все беды и унижения литературного пролетария. Пытался служить в разных канцеляриях, сближался с разными литературными группами и редакциями (более долговечно и основательно он сошелся с В. С. Межевичем, редак-

тором литературно-театрального журнала «Репертуар и пантеон»: в этом журнале Григорьев печатал стихи, прозу, драму, очерки, критически статьи). Одновременно он испытывал влияние различных общественно-политических кружков и организаций: как уже говорилось, находился под воздействием масонских идей, одно время бывал на «пятницах» Петрашевского и, видимо, штудировал труды Шарля Фурье; еще в московские годы он увлекся творчеством Жорж Санд — влияние идей христианского социализма Пьера Леру и Жорж Санд прослеживается в творчестве Григорьева петербургского периода.

В сложном, иногда и хаотическом соединении масонства, фурьеризма, христианского социализма поэт создавал свои сатирические стихотворения, так понравившиеся Белинскому. Характерно, что к «Героям нашего времени» Григорьев поставил (неточный, впрочем) эпиграф из Ювенала: «Гнев рождает стих», а ко второму «Городу» («Великолепный град! пускай тебя иной...») — подзаголовок «Из Ювенала» (мистификаторская — для цензуры — отсылка).

В обоих «Городах», в «Героям нашего времени» содержатся, действительно, социальные инвективы, антиурбанистическая и антибюрократическая сатира, но здесь все же нет прямой общественно-политической критики самодержавного строя. Более сильные строки, где уже колеблются устои, содержатся в рукописном стихотворении «Прощание с Петербургом» (1846), которое впервые было напечатано лишь в 1916 году:

С твоей холодностью ужасной
К ударам палок и кнутов,
С твоею подлой <царской> службой...

У Григорьева тех лет есть и воистину революционные стихотворения с призывами к народному восстанию («Нет, не рожден я биться лбом...», «Когда колокола торжественно звучат...»), распространявшиеся в списках и впервые опубликованные Герценом за рубежом. Политические стихотворения Григорьева очень близки к радикальной и нелегальной поэзии петрашевцев, особенно к стихотворениям А. Н. Плещеева сороковых годов («Сон», «Вперед! без страха и сомненья...», «По чувствам братья мы с тобой...», «Новый год»), где также перемешаны революционные и христианско-социалистические мотивы. Но в стихотворениях Плещеева и других петрашевцев значительно больше общественности, коллективности, братства; Григорьев более анархичен и индивидуалистичен.

И позднее «сатиры смелый бич» проникал в поэзию Григорьева: напомним, например, «Отрывок из неоконченного собрания сатир» с рылеевским эпиграфом «Я не поэт, а гражданин!» (1855).

К сожалению, почти полностью утрачены эпиграммы Григорьева (известна одна подлинная и несколько приписываемых ему эпиграмм).

Однако в историю русской поэзии Григорьев вошел не как автор сатирических стихотворений: главной его темой всегда была «душа», психология личности в ее сложных взаимоотношениях с миром. Собственно говоря, эта личностная тема, развивая лер-

монтовскую поэтическую линию, звучала и в некоторых его социально-политических стихотворениях. П. П. Громов уже отмечал, что во втором его «Городе» («Великолепный град! пускай тебя иной...») обличительный пафос переводится во внутреннюю, психологическую плоскость и тема города трактуется как тема распада сознания городского человека, как становление психологии «больного эгоиста»[14]. Но все-таки в гражданственных стихотворениях Григорьева личностное начало несколько приглушено, оттеснено на второй план, как и наоборот, в интимных произведениях приглушено гражданское начало.

К тому же следует учесть интенсивную переменчивость Григорьева, его быстрые переходы от одной крайности в другую. Не успевал он погрузиться в сферу какой-либо мировоззренческой концепции, как его захватывали новые идеи и прежние кумиры со злостью и хохотом сбрасывались с пьедесталов. В драме «Два эгоизма» (1845), создававшейся во второй половине петербургского трехлетия Григорьева, с издевкой изображены философ-гегельянец Мертвилов (собирательный образ: возможно, ему приданы некоторые черты ненавистного и счастливого соперника К. Д. Кавелина), фанатичный проповедник фурьеризма Петушевский (весьма прозрачный намек на Петрашевского); достается также славянофилу Баскакову (современники справедливо отгадали прототип — Константина Аксакова); сам автор драмы тогда еще не был заражен идеями славянофильства.

Драматургия Григорьева тесно связана с его лирической поэзией, но содержит ряд новых тем и разработок, в некоторых случаях усиливая темы и идеи лирики и прозы, а в некоторых и предвещая новые черты русской драматургии вообще.

Так, в первой его пьесе «Два эгоизма» наиболее сильно, в сравнении с другими произведениями, выражены идеи болезненного страдания, блаженства от страдания и напряженной, драматической любви двух страдальцев, любви как борьбы эгоистических личностей, любви, доходящей до вражды. А во второй крупной пьесе «Отец и сын» (1847), наряду с характерными мотивами григорьевского творчества 1840-х годов, неожиданно появляется персонаж, в чем-то предвещающий будущих героев Островского, — купец Степан Ильич Дергачев, хотя он еще пока не содержит «положительных» свойств типичных купцов великого драматурга, тех свойств, которые будут существенны для Григорьева 1850-х годов. Историческая драма «Басурман» (1848), переделка для сцены одноименного романа И. И. Лажечникова (1838) — свидетельство перехода Григорьева в конце 1840-х годов на новые позиции: его теперь интересует русский национальный характер в историческом разрезе, подготавливается почва для создания в начале 1850-х годов «молодой редакции» «Москвитянина» во главе с Островским и самим Григорьевым.

Пьесы Григорьева не имели успеха на сцене. «Два эгоизма» вообще, кажется, не заинтересовала театры, «Отец и сын» выдержали всего две постановки на петербургской сцене в июне 1847 года, «Басурман» — тоже две постановки, только в мае 1849 года, да еще

одну постановку в Москве (январь 1849 года). Наиболее популярной оказалась более поздняя переделка шекспировской драмы «Венецианский купец» (под названием «Шейлок, венецианский жид»): она шла в Петербурге в течение четырех сезонов (1860—1863).

В конце петербургского периода Григорьев испытывает серьезный мировоззренческий и психологический кризис, внутренне охладевает к социально-политическим проблемам, все более обращаясь к «душе» индивидуального человека, его новым кумиром становится почти всеми разруганная и отвергнутая книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»: Григорьев оценил в этой путанной книге боль и тревогу за современное общество, пафос требовательности к человеку, борьбы за его самоответственность, собранность, цельность натуры, противостоящей «обстоятельствам», за христианские добродетели. Как раз к моменту выхода «Выбранных мест...» в свет (начало 1847 года) Григорьев перебрался назад в Москву.

Снова, видимо, вспыхнула прежняя любовь, снова его потянуло к семье Коршей. Явно с отчаяния, а не по любви Григорьев женится в ноябре 1847 года на младшей сестре Антонины — Лидии (Р. Виттакер раскрыл точную дату: 12 ноября)[15]. Товарищ Григорьева по университету, будущий знаменитый историк С. М. Соловьев тоже в молодые годы посещал салон Коршей и дал весьма нелестную характеристику Лидии Федоровне: «...была хуже всех сестер, глупа, с претензиями и заика»[16].

Брак оказался очень неудачным, фактически он распался уже в первые годы совместной жизни из-за весьма легкомысленного поведения жены (Григорьев очень тяжело переживал ее измены, что нашло впоследствии превосходное художественное изображение в романе «Дворянское гнездо», создававшемся Тургеневым во время тесного дружеского общения с Григорьевым).

Но Москва оказала на Григорьева очень сильное влияние, сблизив его с кругом А. Н. Островского. Познакомились они, наверное, еще в 1847 году, когда оба участвовали в газете «Московский городской листок», издававшейся В. Н. Драшусовым, но дружба завязалась лишь в 1849—1850 годах. Вечный скиталец по пространствам и по идеям, Ап. Григорьев нашел в московском кружке относительно прочное пристанище, по крайней мере лет на пять-шесть, а влияние кружка окрасило его мировоззрение и творчество и последующих лет, до самой кончины. Со слов Т. И. Филиппова, выдающегося исполнителя народных песен, историк Н. П. Барсуков так излагает кульминационный момент «обращения»: «Однажды у Островского был громадный литературный вечер, на котором присутствовали представители всех литературных направлений того времени. Когда большая часть гостей разошлась и остались только близкие Островскому люди, Филиппова просили спеть. После одушевленно пропетой им песни, которая на всех произвела впечатление, Григорьев упал на колени и просил кружок усвоить его себе, так как в его направлении он видит правду, которой искал в других местах и не находил, а потому был бы счастлив, если бы ему позволили здесь бросить якорь»[17].

Кружок этот получил в истории название «молодой редакции» журнала «Москвитянин», и история его вкратце такова: в 1846 — начале 1847 года Островский подружился с Т. И. Филипповым и Е. Н. Эдельсоном (они потом и составят основное первоначальное ядро редакции); в конце 1849 года происходит знакомство Островского с профессором М. П. Погодиным, редактором-издателем «Москвитянина» (на вечере у Погодина 3 декабря Островский читает «Банкрота»), а в марте 1850 года Погодин, спасая погибающий журнал, соглашается на помощь Островского в издании и редактировании «Москвитянина». Островский приводит в журнал свою группу, скоро значительно расширившуюся (вошли еще А. А. Григорьев, Н. В. Берг, Б. Н. Алмазов и др.), и она получает негласное название «молодой редакции». Хотя Погодин, желая сохранить руководство, старался предоставить как можно меньше свободы действий молодым помощникам и уклонялся от четкого определения сфер влияния и прав «молодой редакции», все-таки группа Островского активно воздействовала почти на все отделы «Москвитянина» и в качестве авторов, и в качестве судей-редакторов. К концу 1850 года в «молодой редакции» значительно более активную роль стал играть Ап. Григорьев, который печатался в журнале своего университетского профессора еще в 1843 году, но лишь теперь становится самым заметным его сотрудником. Затем, вплоть до 1856 года, до краха «Москвитянина», «молодая редакция» во главе с Ап. Григорьевым (Островский вскоре уступил ему пальму первенства и отказался от активной роли в журнале) воевала с Погодиным за свои права и идеи, то сближаясь с редактором, то ссорясь с ним и на несколько месяцев покидая «Москвитянин».

Основные идеи «молодой редакции» имеют много сходного со славянофильскими концепциями: культ национальных и православных начал, традиционализма, интерес к народному быту и творчеству, враждебное отношение к «европеизму», к буржуазному «прогрессу», к гипертрофии социально-политических интересов и сиюминутности. Но, в отличие от славянофилов и от близкого к уваровской официальной «народности» Погодина, члены «молодой редакции», говоря о «народе», больше всего обращали внимание на городские слои (мещане, купцы, рабочие) и считали, что именно в этих городских слоях, в отличие от крестьян, закованных крепостным рабством, сохраняются исконно русские черты: широта натуры, вольнолюбие, доброта. Поэтому такой интерес у «москвитянинцев» вызывал городской фольклор, городской быт (отсюда — культ «купеческих» пьес Островского), в котором, однако, подчеркивался не классовый, а общенациональный характер.

В этих идеях и тенденциях, прокламируемых «молодой редакцией» (в их формировании выдающаяся роль принадлежит именно Григорьеву), отразились объективные особенности русской жизни периода после европейских революций 1848 года, периода так называемого «мрачного семилетия» (1848—1855): социальные проблемы народной жизни, поставленные историчес-

кими обстоятельствами сороковых годов (прежде всего — вопрос об отмене крепостного права) и горячо обсуждавшиеся в литературе и критике предшествующей эпохи, эпохи Белинского, в период «мрачного семилетия» застопорились, жестоко душились правительством Николая I, стали запретными в цензурном отношении, вытеснились антиевропейской официальной пропагандой, к которой, увы, довольно близко примыкала и славянофильская нелюбовь к буржуазной Западной Европе, тоже открыто выражаемая в печати и в салонных спорах. Классовое теснилось, заменялось национальным.

Однако в возвеличивании национального — по крайней мере, со стороны «молодой редакции» и прежде всего Ап. Григорьева — была и сильная сторона. Ведь основная социальная проблема современности — уничтожение крепостного права — тоже являлась делом общенациональной значимости, ибо подавляющее большинство нации было заинтересовано в реформе, а острой классовой борьбы в то время не было, любые формы ее проявления жестоко карались, и потому создавалась внешне некоторая иллюзия общенациональной умиротворенности, народ оказывался лишь органической частью целой нации. Поэтому национальные проблемы в науке и искусстве вполне правомерно становились первостепенным предметом изучения. Недаром категория национального занимала одно из значительных мест и в предшествующую эпоху, в концепциях Белинского и Вал. Майкова.

А между тем национальная категория как якобы внеклассовая оказывалась часто для философа или литератора трамплином для понимания социальных проблем. Ведь уразумение национальной сущности характера — важный шаг в развитии историзма мышления от идеи обусловленности человека эпохой вообще к социальному детерминизму. При этом углубленное понимание социального отнюдь не снимало национальную категорию, а часто приводило к осознанию сложной диалектики этих двух факторов; Белинский в обстановке европейского накала предреволюционных лет пошел еще дальше: к пониманию сложной взаимосвязи национального и социального с общечеловеческим.

Эти проблемы решались и Григорьевым вместе с его друзьями по «молодой редакции» — решались, главным образом, не в поэзии: в пьесах Островского, в рассказах и повестях Писемского, в прозаических переводах Григорьева и в его литературной критике. Но и несколько стихотворений Григорьева «москвитянинской» поры (он очень мало их писал тогда) включаются, пусть и узко, ограниченно и слабо, в этот круг.

После лихорадочных, кризисно хаотичных стихотворений переходного периода, когда, видимо, Григорьев только-только приобщился к кругу Островского (цикл «Дневник любви и молитвы»), поэт неожиданно переходит к яростным, но торжественно-величавым строкам цикла «Подражания» (1852), темы которого навеяны Ветхим Заветом.

Да будет проклят тот, кто сам
Чужим поклонится богам

И — раб греха — послужит им,
Кумирам бренным и земным...

Не без торжественности, но тоже в достаточно хаотическом регистре создано Григорьевым известное стихотворение «Искусство и правда» (1854), жанровое определение которого дано автором в подзаголовке «Элегия-ода-сатира». Три жанра не столько слиты воедино, сколько следуют один за другим: первая часть стихотворения посвящена возвышенно-романтическим воспоминаниям об игре П. С. Мочалова; вторая — пьесе Островского «Бедность — не порок» и замечательному образу, бесконечно близкому Григорьеву, — Любиму Торцову, прекрасно сыгранному Провом Садовским; третья — гастролям знаменитой французской трагической актрисы Рашели. Григорьев, впадая в крайности восторга от реалистического, бытового изображения национальных черт хорошими русскими артистами в хорошей русской пьесе, с порога отвергает «искусственную», «фальшивую» игру классической актрисы французской школы, да еще при этом чуть ли не официозно противопоставляет отечественную жизнь — западной:

Пусть будет фальшь мила Европе старой
Или Америке беззубо-молодой,
Собачьей старостью больной...
Но наша Русь крепка. В ней много силы, жара;
И правду любит Русь...

Несколько лет спустя Григорьеву самому было стыдно вспоминать эти наивно-нелепые строки.

Но такова уж была натура этого поэта: он почти всегда свои идеи и желания доводил до диких крайностей. В «москвитянинский» период он явно пришел к узкому национализму, возвышая все русское над «чужим» миром, возвышая даже над другими славянскими народами. В письме к А. И. Кошелеву от 25 марта 1856 года, говоря об отличиях своих (то есть «молодой редакции») воззрений от славянофильских, касается и национального вопроса: «Глубоко сочувствуя, как вы же, всему разноплеменному славянскому, мы убеждены только в особенном превосходстве начала великорусского перед прочим и, следственно, здесь более исключительны, чем вы, — исключительны даже до некоторой подозрительности, особенно в отношении к началам ляхитскому (польскому. — *Б. Е.*) и хохлацкому»[18].

А в начале 1860-х годов Григорьев в корне изменит свое отношение и к «ляхитскому», и к «хохлацкому» началам. В некрологе Т. Шевченко он даст такую характеристику покойному: «...первый великий поэт новой великой литературы славянского мира»[19]. Возможно, что на Григорьева начали оказывать влияние идеи позднего славянофильства, выдвигавшего на первый план проблемы взаимосвязей славянских народов. Однако он в 1863 году, совсем не в духе славянофилов, уже после вспышки польского восстания, в разгар сплошного воя реакционной прессы, требующей подавить национально-освободительное движение, пишет статью

«Вопрос о национальностях», где подчеркивает права каждой нации «на самобытность существования», на свой язык, свою культуру и т. п.[20]

Интерес к национальной специфике Григорьев сохранит до конца своих дней: постоянно будет рассуждать о немецком, французском, английском характере. Явно привлекал его внимание еврейский «менталитет». В творчестве Г. Гейне он видит сплав немецкого и еврейского начал; очевидно, и обращение Григорьева к переводу шекспировского «Венецианского купца» тоже связано с его интересом к еврейскому характеру. Непосредственные высказывания поэта и критика по данному вопросу часто эмоционально отрывочны, резки, и необходимо брать совокупность подобных суждений, чтобы более ясно понять сущность взглядов автора. Вот, например, россыпь его высказываний в письме к Е. С. Протопоповой от 20 октября 1857 года. После подробного анализа «Мадонны» Мурильо он пишет: «Тут есть аналогия с бетховенским творчеством, которое тоже выходит из бездн и мрака, и также своей простотою уничтожает все кричащее, все жидовское». Если здесь остановиться, то можно решить, что Григорьев достаточно пренебрежительно, даже уничижительно отзывается о еврействе (надо, однако, учесть, что до 1860-х годов в русской печати еще не установилась окончательно оценочная антитеза «еврей — жид», тем более она еще не существовала в просторечии, в письмах). Впрочем, тут же автор письма оговаривается: «...(хоть *жидовское*, т. е. Мейербера и Мендельсона, — как Вы знаете, я страстно люблю)». Правда, совершенно непонятно в данном контексте, почему при рассуждении о Мурильо и Бетховене вдруг всплывает «кричащее» и «жидовское». Оказывается, Григорьев полон впечатлений от постановки во флорентийском театре Пальяно оперы Мейербера «Гугеноты», о чем пойдет речь несколькими строками ниже: «А в Пальяно — ревут и орут "Гугенотов", и все жидовски-сатанинское, что есть в музыке великого маэстро, выступает так рельефно — что сердце бьется и жилы на висках напрягаются. Меня пятый раз бьет лихорадка — от четвертого акта до конца пятого... Эта вещь *ужасная*, буквально *ужасная* <...> Повторяю, это вещь ужасная с ее фанатиками, с ее любовью на краю бездны, с ее венчанием под ножами и ружейным огнем. А все-таки — жид, жид и жид. Марсель, это не гугенот: это жидовский мученик — Боже мой, да разве не слыхать этого в оркестровке его финальной арии: эти арфы — только ради благопристойности — арфы, а в сущности это — оркестровка жидовских цимбалов и шабаша...» (Письма. С. 308).

Больше всего, конечно, Григорьева интересовал русский национальный характер, в котором он отмечал две крайности: смирную, «осаживающую», и «хищную», активную. Но подробная разработка этих проблем велась им, главным образом, в литературной критике, а не в поэзии, хотя и там они затронуты.

К периоду «молодой редакции», то есть к первой половине пятидесятых годов, относится знакомство Григорьева с одной незаурядной женщиной, — знакомство, которое сыграло ни с чем

не сравнимую, выдающуюся, исключительную роль в его жизни и творчестве. В самом начале десятилетия, как раз к моменту сближения его с кругом Островского, он встретил Леониду Яковлевну Визард, красивую москвичку французского происхождения, дочь учителя, коллеги Григорьева по Воспитательному дому (Григорьев преподавал там законоведение, Визард — французский). Семья Визардов была в гуще ученых, литературных, музыкальных интересов: брат Леониды Яковлевны Дмитрий был секретарем профессора Т. Н. Грановского; сама Леонида служила учительницей в доме Н. Г. Фролова, ученого и журналиста, участника кружка Герцена—Огарева: музыку молодым Визардам преподавала Е. С. Протопопова, будущая жена А. П. Бородина. Многолетняя безответная любовь Григорьева к Леониде Яковлевне — самое сильное его чувство, оно преследовало его всю жизнь, даже перед смертью он пишет стихотворение, обращенное к «далекому призраку», Леониде Яковлевне. Но она, как и в свое время А. Ф. Корш, предпочла другого, вышла замуж за приятеля Григорьева, второстепенного драматурга и актера М. Н. Владыкина (формально она и не могла выйти за Григорьева — он ведь был женат). Леонида Яковлевна оказалась весьма незаурядной женщиной. Уехав вместе с мужем в его родовое имение в Чембарском уезде Пензенской губернии (одно время Владыкин, кстати, двоюродный племянник В. Г. Белинского, — был уездным предводителем дворянства), Леонида Яковлевна решила открыть лечебницу для крестьян, а для совершенствования своих медицинских познаний отправилась учиться в Швейцарию (в России высшее образование для женщины было запретным), защитила докторскую диссертацию «О действии синильной кислоты на организм» и занималась потом медицинской практикой в Москве. Она еще не очень старой мучительно умерла от рака. Вся поэзия Григорьева пятидесятых — начала шестидесятых годов, и прежде всего циклы «Борьба» и «Титании» (оба — 1857), все поздние поэмы пронизаны этой драматической любовью.

Цикл «Борьба» является кульминационной вершиной поэтического творчества Григорьева. Включив в него, с небольшими поправками, некоторые старые свои стихотворения, написав десяток новых, автор создал яркое, зрелое и абсолютно уникальное произведение.

Сам по себе жанр цикла, естественно, не был оригинальным созданием Григорьева. Циклизация[21] является достаточно характерным, типичным явлением позднеромантической поры, в том числе характерным и для русской литературы сороковых—пятидесятых годов: с одной стороны, поэты явно тянутся к широкому охвату чувств и событий, им тесно в рамках отдельных стихотворений, а с другой — им недостает широкого, масштабного кругозора, необходимого для создания цельносюжетной поэмы (а когда авторы все-таки создавали поэмы, то они были или стихотворными переложениями жанра повести натуральной школы, или неоконченными отрывками). Поэтому формируются циклы, где есть хотя бы пунктирно очерченное движение мысли или фабулы, и в

то же время это собрание малых стихотворений, каждое из которых значимо и само по себе. Подобные циклы создавали и Фет, и Ап. Майков, и Огарев, и К. Павлова, и А. К. Толстой. (В несколько ином плане развивались реалистические циклы Некрасова.) Но, пожалуй, самым обильным «циклизатором» оказался именно Ап. Григорьев. Почти все его циклы базировались на романтической интенсивности чувства, динамическом напоре, рвущем границы одного стихотворения, но в эту романтическую основу вмешалось глубокое воздействие реалистического метода (натуральной школы сороковых годов и психологической прозы пятидесятых), воздействие историзма и, следовательно, исторического событийного движения, превращающего цикл в сюжетную повесть. Поэтому циклы Григорьева существенно отличаются от тематических, внесобытийных созданий этого рода у Фета и от описательных очерковых циклов Майкова и А. Толстого (а также близких к ним циклов К. Павловой). А событийным циклам Огарева недостает безудержной страстности, «густоты» чувства Григорьева, они слишком вялы.

Рассмотрим подробнее лучший цикл Григорьева, чтобы понять художественные принципы автора.

Уже первое стихотворение из цикла «Борьба» начинается чрезвычайно характерным для Григорьева (об этом уже шла речь) негативным оборотом: «Я ее не люблю, не люблю...». Поэт был «задирист» не только в своей жизни, не только в критике, но и в поэзии. Многие его стихотворения сразу, с первой строки, начинаются отрицаниями: «Нет, за тебя молиться я не мог...», «Нет, никогда печальной тайны...», «Нет, нет — наш путь иной...», «Нет, не тебе идти со мной...», «Нет, не рожден я биться лбом...».

Но первое стихотворение из «Борьбы» несет в себе другое отрицание: там речь шла о противопоставлении себя («я») или узкого круга близких («мы») чужому, враждебному миру; здесь — о борьбе в душе самого героя. Любовь захватывает героя, он в ужасе отшатывается от нее, шепчет заклинания, завораживает себя отказами, но ничего не получается из этих ритуальных клятв: поэт превосходно показывает диалектику чувства, властное вторжение позитивного начала любви, с которым не справиться никакими отрицаниями.

Каждое последующее стихотворение цикла будет не только давать временнóе развертывание чувств и событий, по сравнению с предыдущим, но и обязательно вносить какую-то контрастность, противоположность: «развертывание» соединяет стихотворения, делает их и фабульно и тематически близкими, а контрастность отталкивает; тем самым будет постоянно поддерживаться напряженность развития, мерцающая переходность, одновременно сходство и отличие.

Так, второе стихотворение показывает дальнейшее заполонение героя любовным чувством, похожим на болезнь, но, в противовес первому, оно обращено уже не к душевному «я» героя, а к «ней», к виновнице, поэтому стихи становятся заклинанием героини.

Третье стихотворение еще дальше развивает сюжет (недаром в черновой рукописи подзаголовок цикла — «лирический роман»!): здесь уже звучит прямое, как бы реальное объяснение в любви, обращение на «вы», в противовес идеализированной мечте второго стихотворения, где герой называл «ее» более интимно — на «ты». (Ср. признание Григорьева в поэме «Venezia la bella» (1857):

...слово *ты*
С тревогой тайной ставить начинаю,
С тоской о том, что лишь в краях мечты
Мои владенья...)

Интересно отметить, что Григорьев в своих поэмах и стихотворениях не любил называть героиню по имени, обычно это просто «она», «ты», «вы». Лишь изредка он использовал значимый литературный псевдоним, — значимый не только по содержательному смыслу, но и по звучанию: так, Лавиния — не только героиня Жорж Санд, но и имя, вызывающее целую цепь звуковых ассоциаций: лава, лавина, вина... Возможно, у Григорьева, хорошо знавшего английский язык, возникала еще связь и с love («лав») — любовь, любить.

Сквозь все три первых стихотворения «Борьбы» героиня проходит как светлый, возвышенный образ: «тихая девочка», «воздушная гостья», «ангел», «ребенок чистый и прекрасный». Герой же, кроме его «безумия страсти», слабо определен, и только в третьем, благодаря сравнению «Как недоступен рай для сатаны», он зачисляется в темный мир, к которому еще прикован «цепями неразрывными». Эти цепи можно, конечно, трактовать как автобиографический намек Григорьева на свою семейность, на юридическую несвободу, но значение их шире и глубже, о чем узнаем далее — в шестом стихотворении:

Но если б я свободен даже был...
Бог и тогда б наш путь разъединил.

Так что дело не в цепях брака, а в том, что герой «веком развращен, сам внутренне развратен», отсюда такой контраст между «ангелом» и «сатаной».

Пушкин, а позднее в более узкой сфере Кольцов и Фет создали замечательные картины гармоничной, высокой любви, целостного и возвышенного состояния души, когда даже печаль оказывалась светлой. Лермонтов показал сложность и даже изломанность двух натур, которые трагично борются, без надежды и просвета в этом трагизме. Еще более социально сложные характеры героев некрасовской лирики усугубили подобную конфликтность, но Некрасов пытался просветительски найти укромные гармонические участки в драматических житейских столкновениях любящих. Григорьеву ближе всего в этих ситуациях лермонтовская линия, но, в отличие от предшественника, наш поэт впервые, пожалуй, в русской литературе так подробно разработал тему о значимости, о великой ценности трагической любви, о счастье трагизма, о «безумном счастье страданья». Когда Белинский встретил у Григорь-

ева эти слова, то ему как просветителю они очень не понравились своей противоречивостью, алогичностью: «"Безумное счастье страданья" — вещь возможная, но это не нормальное состояние человека, а романтическая искаженность чувства и смысла. Есть счастие от счастия, но счастие от страдания — воля ваша — от него надо лечиться — классицизмом здравого смысла, полезной деятельностью...»[22].

Между тем подобная противоречивость была одним из глубинных признаков художественного мировоззрения Григорьева и его творческого метода. Здесь громадную роль играла общеромантическая традиция, в которой антитеза, контрастность занимала отнюдь не последнее место. Но Григорьев осложнил ее переливчатой диалектикой чувства, где крайности причудливо переплелись:

Только тому я раб, над чем безгранично владею,
Только с тобою могу я себе самому предаваться,
Предаваясь тебе... Подними же чело молодое,
Руку дай мне и встань, чтобы мог я упасть пред тобою.

(*Элегии 3, 1846*)

Страдание — об этом уже писалось в нашем литературоведении[23] — для Григорьева чрезвычайно сложное и емкое понятие: это и боль, и болезнь, и интенсивность, и этическая высота, и признак настоящего человеческого чувства, в противовес бездушию, тупому безразличию, серенькому, бесстрастному существованию. Это тот противовес, который стал типичным для русской поэзии XIX века. У Пушкина: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...». У Тютчева: «О Господи, дай жгучего страданья И мертвенность души моей рассей...». У Некрасова: «Но мне избыток слез и жгучего страданья Отрадней мертвой пустоты...».

Отсюда возникает и григорьевское понятие «счастья муки», «счастья страданья»: это трагическое счастье возвышенного чувства, насыщенной страстями жизни.

Следует подчеркнуть еще один аспект, обычно не учитываемый, — рыцарственное благородство героя: он как бы берет на себя, на свои плечи всю тяжесть, всю боль страдания, благородно стремясь освободить от них героиню. Возникает высокое христианское счастье, страдальческое счастье, счастье Дон Кихота, героев Достоевского, принимающих на себя несчастья других.

Но герой — сын больного века, он далеко не последователен в идеалах и поступках, он вполне может «сорваться». В стихотворении «Опять, как бывало, бессонная ночь!..» (в цикле оно четвертое) героиня освещается уже по-иному: оказывается, «тихая девочка» с ангельской улыбкой может быть «насмешливо-зла и досады полна». А раз так, то она опускается с недосягаемого пьедестала на грешную землю, она уже не ангел, а «Евы лукавая дочь», и, следовательно, ни к чему рыцарское самопожертвование, более уместно лермонтовское построение сюжета, борьба, — теперь она переносится вовне, в конфликтное столкновение с героиней. И — нехоро-

шо так предполагать, но уж слишком закономерно получается! — когда героиня «падает», то есть становится язвительной и лукавой, обладающей «дыханьем ядовитым» (особенно в стихотворении четвертом и тринадцатом), то у героя вырастает, крепнет вера и надежда в возможность соединения двух душ...

Чрезвычайно важным и сложным у Григорьева было понятие рока, впервые заявленное в цикле именно в стихотворении «Опять, как бывало, бессонная ночь!..». Иногда рок понимается поэтом в античном смысле, в смысле заранее подготовляемой человеку судьбы, иногда (в том числе и дальше в цикле) — в смысле фольклорной фатальной «доли», но довольно часто в своеобразной григорьевской интерпретации этого понятия, куда включалась и судьба, и доля, но при этом человек не ждал покорно и немо «божеских» предначертаний, а бросался сам на испытание рока, чтобы скорее узнать, что ему уготовано, или, что еще интереснее, слал судьбе гордый вызов, хотел в борьбе помериться с нею:

И думал я, что ту печать
Ты сохранишь среди борьбы,
Что против света и судьбы
Ты в силах голову поднять.

(*«Нет, не тебе идти со мной...», 1845*)

Но, высоко поднявши чело, на вражду, на борьбу,
Видно, звать ей надменно всегда лиходейку-судьбу.

(*Старые песни, старые сказки, 5, 1846*)

Пафос борьбы, где нет заранее предсказуемого результата, снимает фатальность, однозначную предрешенность, придает стиху энергию, надежду, перспективу, которые обращают стихотворение в будущее. Этим свойством поэзия Григорьева заметно отличается от фетовского стремления «закруглить» стихотворение, ограничить его волшебным мигом. В раннем творчестве Григорьева подобный романтический «миг» тоже играл существенную роль. Правда, иногда он по-тютчевски или по-лермонтовски расширялся до значительно более крупного масштаба, чуть ли не до вечности, но при этом принципиально подчеркивалась его вневременная сущность:

Чтобы, вечного шума значенье
Разумея в таинственном сне,
Мы хоть раз испытали забвенье
О прошедшем и будущем дне.

(*К Лавинии, 1843*)

Недаром тогда у Григорьева возникал идеал покоя, своеобразного «истощения» всех душевных сил. Впрочем, поэт тут же «взрывался» борьбой, интенсивностью переживания и свысока третировал это «истощенье жалкое покоя»; замкнутый временной круг, «коловратность бессмысленного дня» становились чужими и даже

враждебными — см. «Город» («Великолепный град! пуская тебя иной...»). В поэзии Григорьева пятидесятых годов, особенно в цикле «Борьба», вообще не найти «уютных» идеалов, не найти замкнутого временнóго «мига». Поэт не может существовать без «прошедшего и будущего дня», особенно без будущего, его постоянно тянет узнать свою «судьбу», он никак не может отказаться от надежды.

В пятом и шестом стихотворениях, наполненных страстными переливами любовного чувства, снова восстанавливается чистота и нравственная высота героини: она — «светлый серафим», поэтому становится совершенно недоступной.

На фоне предшествующих стихотворений очень контрастно выглядит седьмое — «Доброй ночи!.. Пора!..», первое «идеальное», гармоническое стихотворение цикла. Здесь наблюдается не только идеализированный отход от реального жизненного «романа» Григорьева, но и очень вольная интерпретация подлинника — ведь стихотворение является переводом соответствующего сонета Мицкевича. У польского поэта прощание происходит вечером у комнаты возлюбленной, любовь еще только-только зарождается; Григорьев же создает совершенно другую ситуацию, сохраняя возвышенную чистоту чувства и всей поэтической атмосферы стихотворения Мицкевича. Его возлюбленные прощаются на рассветной заре, превращаясь в своеобразных Ромео и Джульетту, их чувства поэтому становятся полнее, глубже, ярче. Григорьев мог быть хорошим и относительно точным переводчиком, но если в его творческих интересах было важно «своличать», то он свободно переставлял акценты, изменял ситуацию, форму, ритм. Вместо строгой формы сонета в мицкевическом подлиннике Григорьев вводит четыре четверостишия, с обособленной рифмовкой, а вместо постоянного польского силлабического тринадцатисложника (тринадцать слогов в каждой строке) — хаотически разностопный (от двух до пяти стоп в строке) анапест.

Здесь уместно рассмотреть особенности ритмической организации стихотворений Григорьева, типично отразившиеся в цикле «Борьба». Пушкинская силлаботоническая гармония (строгое единство размера: ямб, хорей, трехсложные стопы) и соразмерность (равностопность) строк уже в лермонтовской поэзии стали дисгармонически нарушаться; еще большая ритмическая дисгармония в виде смешения стоп, усеченных стоп, ведущих к дольнику Блока, Брюсова, в виде разноразмерных и разностопных строк — появлялась в поэзии середины XIX века. Григорьев был одним из пионеров, расширивших ритмические возможности русского стиха[24]. Он часто применял разностопность строк, создающую нервное «спотыкание» ритма, неустойчивость, переменчивость, что очень хорошо отвечало лихорадочным переходам и переливам чувства лирического героя.

Все перебивы ритма — собственное изобретение Григорьева. Если в первом стихотворении цикла частые смены ритма (перемешаны трех- и четырехстопные анапесты) соответствуют очень неспокойному характеру текста, то в седьмом они резко контрастируют с идеально-гармоническим содержанием; на самом деле

здесь аритмия как бы глубинно предвещает кульминационную лихорадку последующих стихотворений, подобно тому как в симфониях Шостаковича происходит вторжение тревожных диссонансов в идиллическую мелодию, — вторжение, обещающее бури и катастрофы... И особенно хаотичным по ритму, да и по содержанию, окажется кульминационное, четырнадцатое стихотворение цикла — «Цыганская венгерка» (Григорьев мог и, наоборот, заковать поток страстных чувств в строгие рамки классического сонета — в поэме «Venezia la bella»).

Но мы пока остановились еще на седьмом. Оно дает для всего цикла кульминацию гармонии, мира, доброго и светлого чувства. И как бы резчайший контраст к нему — стихотворение восьмое:

Вечер душен, ветер воет,
Воет пес дворной;
Сердце ноет, ноет, ноет,
Словно зуб больной.

Небосклон туманно-серый,
Воздух так сгущен...
Весь дыханием холеры,
Смертью дышит он.

И далее оказывается, что героиня умерла! Ее кладут на стол, она теперь «навек сомкнула вежды, Навсегда нема». Конечно же, смерть в общем контексте цикла воспринимается метафорически: героиня холодна как лед, любовь героя безответна и безнадежна. Абсолютная противоположность седьмому стихотворению. И снова полный контраст восьмому — в девятом, начинающемся именно призывом: «Надежду!». Это перевод отрывка из третьей главы известной поэмы А. Мицкевича «Конрад Валленрод». Любимые разлучены, впереди маячит не надежда, а обреченность, и все-таки духовный порыв, а главное — память о счастливой любви дают надежду и опору:

Я Божье небо в сердце ощутила,
Я человека на земле любила!

Так обобщает героиня в конце отрывка свое состояние. Получается снова идеализированный мир, воплощение мечты о взаимной любви — пусть и окруженной трагическим фоном будущих самоубийств (этот мрачный контраст возникает лишь при знании всей поэмы Мицкевича).

В зависимости от того, на чем делать акцент в девятом стихотворении — на воспоминании о гармонической, счастливой любви или на невозможности соединиться в настоящем, — десятое воспринимается или как контрастное, или как развивающее тему. Здесь главенствуют прощание, расставание, глубина душевных мук от такого разъединения: «От муки разорваться грудь готова» (ср. подобную романтическую утрировку у Огарева в «Монологах»: «Сожжется мозг и разорвется грудь»). В какой-то степени десятое стихотворение на более интенсивном витке подытожива-

ет темы первых частей цикла «Борьба»: здесь еще сильнее звучит желание оттолкнуться, уйти, проститься, сильнее и концентрированнее переданы «сатанинские» черты героя, светлеющие, преображающиеся на фоне ангельской чистоты героини: «Из тьмы греха исторгнут чистой страстью... Я был с тобою свят, моя святая!» Любопытно в связи с такой интенсификацией и расширение типичных для первых стихотворений цикла четырехстишных строф до пятистиший в десятом (а пятистишия, в противовес «закругленным» четверостишьям, часто усиливают дисгармонию).

В стихотворениях одиннадцатом и двенадцатом усилены контрастные темы четвертого: «она» и «ангел света», и в то же время — «темней осенней ночи», да и душа ее — «больная». Попутно усиливается и лермонтовский мотив в гейневском ореоле (вспомним стихотворение Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно...» с эпиграфом из Гейне).

Но лермонтовско-гейневская тональность и здесь переакцентируется Григорьевым. На фоне как будто полной безнадежности подспудно у него постоянно брезжит нечто вроде надежды. Даже, может быть, не надежды. Скорее речь идет о сохранении высокого чувства, о наличии — что бы ни случилось — «таинственной связи» между душами. О сохранении христианских идеалов:

И вновь в молитву обратит
Греховный стон ожесточенья!

В обоих стихотворениях, одиннадцатом и двенадцатом, возникает и тема рока, неумолимой неизбежности, но этот рок не ломает «любви таинственную силу», а скорее усугубляет, упрочивает ее, и это тоже ослабляет черную безнадежность, которая могла бы возникать из развития гейневско-лермонтовских мотивов, охлаждения и разрыва «его» и «ее». Здесь мерцает еще одна григорьевская диалектика противоположностей. С одной стороны, у него постоянно противостоят фатальная заданность судьбы и борьба человека с роком, по крайней мере, желание забежать вперед, испытать судьбу, да впрочем, и попытаться с ней поспорить (любопытно, что и в жизни у Григорьева странно сочетались наивная, почти детская вера в чудо: например, при самом безвыходном безденежье Бог, дескать, подстроит встречу с щедрым человеком или прямо подбросит кошелек с деньгами, — и желание ломать судьбу). А с другой стороны, как видим в описываемых стихотворениях, сам григорьевский рок оказывается в некотором смысле противостоящим обычно понимаемому фатуму: он если и приводит к трагической развязке, то в смягченном варианте: упрочивается таинственная связь душ, сохраняется христианская возвышенность чувств, сохраняется возможность обращения к Богу, а стало быть — и надежды на милосердие, на утешение и утишение страдальческой души.

Так мы приблизились к кульминационному всплеску, к вершинам цикла — к тринадцатому стихотворению «О, говори хоть ты со мной...» и к следующей за ним «Цыганской венгерке». А.

Блок называл их «единственными в своем роде перлами русской лирики» и считал, что они вместе с восьмым стихотворением цикла («Вечер душен, ветер воет...») «приближаются уже каким-то образом к народному творчеству»[25].

Строго говоря — именно приближаются, о слиянии не может быть и речи. Такая направленность тоже может быть рассмотрена как следующее звено в общем процессе развития сюжета и проблематики цикла «Борьба». Движение к фольклору, к народной стихии — еще один поворот и аспект в стремлении автора-героя умиротворить больную душу. Фольклорное, песенное начало тринадцатого стихотворения демонстрируется и лексикой, и ритмом (пропуски ударений в четырехстопном ямбе превращают этот размер в певучий двухстопный пеон второй, то есть в размер, где стопа состоит из четырех слогов, а ударение падает на второй слог: пеоны типичны для многих стихотворений Кольцова, для «Камаринской» и т. д.).

Но как в седьмом стихотворении лихорадочные перебивы ритма входили в явное противоречие с гармоничным содержанием, так и здесь непрерывная перетасовка субъектов создает полный контраст песенным элементам формы. В стихотворении три персонажа: «Я», «Звезда» и «Гитара» (ясно, что Звезда — метафора героини). И — обратим внимание — во всех семи строфах стихотворения персонажи действуют попарно. Последовательно: Я и Гитара, Звезда и Я, Звезда и Я, Я и Звезда, Я и Гитара, Гитара и Звезда, Я и Гитара. Такие перестановки тоже создают неустойчивость, зигзагообразность соединений, зыбкую безосновность. Все это достаточно далеко от фольклорной песенности, хотя известная мелодия сильно «прикипела» к тексту (впрочем, в романсном исполнении добрая половина строф вычеркивается — об этом у нас еще будет идти речь).

А так как приближение к кульминации все более интенсифицирует чувства и черты, то и в этом стихотворении «греховные» свойства героини несравненно более утрированы (по сравнению, скажем, с четвертым стихотворением): звезда горит «мучительно», дразнит сердце героя «язвительно», его сердце «отравою облитое», герой впивает «дыханье ядовитое». Но тем больше возникает надежды, тем ярче желание...

И вот — «Цыганская венгерка», кульминация кульминации, вершина среди двух вершинных стихотворений. Да и вообще это самое замечательное, самое яркое из всех лирических произведений Григорьева.

В предшествующем стихотворении происходило косвенное расщепление «ее» на два образа: далекой звезды — и гитары, как бы «сестры» героини. Здесь же, в «Цыганской венгерке», заметно осуществляется раздвоение лирического героя: он выступает то музыкально и литературно образованным интеллигентом, то человеком из простонародья с совсем не интеллигентскими оборотами речи и лексикой («годилóсь», «оченно», «жизнь», рифмующаяся с «прижмись», наверное, должна произноситься как «жисть»). Если в русской прозе «двойничество» уже разрабатывалось Гого-

лем, Достоевским да и самим Григорьевым в его повестях сороковых годов, то в поэзии такое расщепление проводилось, кажется, впервые.

Переходы от одного к другому образу в «Цыганской венгерке» хаотичны, молниеносны, а иногда оба образа так тесно сливаются, что их невозможно отделить один от другого (хаотичны и стихотворные формы «Цыганской венгерки»: постоянно меняется строфический рисунок, способы рифмования; в мозаику четырех- и трехстопного хореев вторгается трехстопный анапест).

В содержательном отношении в «Цыганской венгерке» заключен своеобразный концентрат всех главных предшествующих мотивов цикла: драматическая безответная любовь; неизбывная надежда на взаимность; смирение перед «долей» и попытки восстания против нее; душа, потрясенная прощанием навсегда... А привнесение народного взгляда на мир, с одной стороны, приглушает индивидуальную страстность и раздерганность, с другой же — включая в себя «цыганщину», еще более интенсифицирует лихорадку чувств.

Расщепление, хаотическое «двойничество» проявлены также на стилистическом и лексическом уровнях. Народное просторечие могуче и разрывно вторгается в литературный стиль, разливается на многие строфы и придает стихотворению совершенно новый облик, не известный ранее в русской литературе. (Следует отметить, что стилистическая и лексическая смелость была всегда присуща Григорьеву: например, в его стихотворениях сороковых годов часты сравнения петербургских белых ночей с «язвой гнойной».) Кажется, что нет предела его стилевому размаху, и народная речь, как и интеллигентская, оказывается у него многопластной — от строк фольклорной песни до грубоватых ругательств.

Причудливо соотносятся и оба лексико-стилистических и даже мировоззренчески-психологических пласта: голос поэта-интеллигента и голос народной массы, фольклорный голос. Иногда — впрочем, очень редко — они существуют отдельно, не смешиваясь, например:

Звуки шепотом журчат
        Сладострастной речи...
Обнаженные дрожат
        Груди, руки, плечи.
Звуки все напоены
        Негою лобзаний.
Звуки воплями полны
        Страстных содроганий...

А с другой стороны:

Значит, просто всё хоть брось...
        Оченно уж скверно!
Доля ж, доля ты моя,
        Ты лихая доля!..

Интересно, что в процессе создания окончательного текста Григорьев усиливал простонародность стиля. Строка 61 в рукописи звучала: «По бессонным, по ночам», а в журнальном варианте: «По бесонныим ночам». Но в целом, почти по всему стихотворению, происходит смешение двух голосов, когда трудно их отделить один от другого, когда в совершенно фольклорный текст вмешивается музыкальный термин «квинта» или, наоборот, в интеллигентскую фразу — просторечье:

Что за дело? ты моя!
Разве любит он, как я?
Нет — уж это дудки!

Смешиваются и приемы: в духе параллелизма народной песни звучит литературный голос героя, а романтический оксюморон («Ты слиянье грусти злой С сладострастьем баядерки») влияет на создание подобного же контраста в просторечьи — «Буйного похмелья, Горького веселья».

Следует учесть еще, что в стихотворении описывается пребывание героя в цыганском «таборе», поэтому в тексте содержатся и прямые цитаты из цыганской песни:

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка...
...Басан, басан, басана,
Басаната, басаната...

В основе этого припева, вероятно, лежат реальные цыганские слова (в севернорусском цыганском диалекте *башана* — играют на инструменте, *башан, башанте* — играйте; *багана* — поют, *баган, баганте* — пойте; *басано* — басовый, басовитый; любопытно еще, что эти слова очень похожи на грубое венгерское ругательство: может быть, и оно включалось в эмоциональные выкрики цыганских певцов и танцоров?). Но Григорьев, как поэт, тонко чувствующий звуковую игру и многозначность смыслов (ср. выше отмеченную многозначность слова «Лавиния»), возможно, имел в виду еще и басовую гитарную струну («проходка по баскам», «басок»), и народное слово «басота» — красота. И фольклорный голос как бы в целом сливается с хоровым цыганским пением и вряд ли может быть строго выделен из него. А в какой-то степени, если учесть страстность и трагедийность как уже постоянные атрибуты цыганского исполнения, не так-то легко отделить от этой «цыганщины» и голос героя. В самом деле, если индивидуальная активность, напористость героя, готового даже классическую «долю» сломить, и может быть противопоставлена представлениям о судьбе-доле в русских лирических песнях, то в соотношении с напряженностью и действенностью персонажей цыганских песен и плясок эта активность не выглядит инородной. Да и вся гиперболически страстная, залихватская, трагически-пессимистическая стихия «Цыганской венгерки», вплоть до концовки: «Чтобы сердце поскорей Лопнуло от муки!», — противостоит стыдли-

вой скромности русских народных песен и зато вполне сочетается с содержанием и формой цыганских пения и пляски. А Григорьеву всегда был присущ именно «цыганский» утрированный максимализм чувств и желаний, — как он точно заявил о себе в поэме «Venezia la bella»:

Уж если пить — так выпить океан!
Кутить — так пир горой и хор цыган!

Нельзя, конечно, не учитывать и прямого, и косвенного влияния на «Цыганскую венгерку» и чисто русской народной песни. Обилие фольклорных образов и эпитетов («завей веревочкой горе», «лихая доля», «лютая змея», «ретиво сердечко» и т. д.), оглядка на народное мнение («Станут люди толковать: Это не годится!»), идеализация героини — все это идет от хорошего знания и творческого усвоения автором русского фольклорного наследия.

Особый вопрос — что конкретно заимствовал Григорьев в «Цыганской венгерке» из «таборного» фольклора? Мелодии венгерских танцев, очевидно, были популярны в России задолго до середины XIX века. Григорьев ведь начинает «Цыганскую венгерку» строкой «С детства памятный напев». Венгерские танцы в репертуаре цыганских трупп зафиксированы многими современниками и исследователями. М. И. Пыляев отметил: «...племянница Ильи Соколова Аннушка славилась как плясунья в венгерке»[26]; сам Григорьев в поэме «Venezia la bella» вспомнил московское прошлое:

И в такт один, я знаю, бьются наши
Сердца — под эту песню, что дрожит
Всей силой страсти, всем контральтом Маши...
Но ты, как бы испугана, встаешь,
Мятежную венгерки слыша дрожь!

Но уже здесь, в последнем примере, речь идет не только о танце, но и о пении: венгерка «пелась». «С детства памятный напев» тоже может означать песню. Была ли это одна песня, или было несколько венгерок, установить не удалось. Сам Григорьев, а также Фет в рассказе «Кактус» явно имели в виду одно и то же произведение, вспоминая московскую жизнь середины 1850-х годов. Григорьев говорил об этом в письме к Е. С. Протопоповой от 6 января 1858 года: «...*ожесточенно* звенела венгерка, эта метеорская кабацкая поэма звуков безвыходного страдания... Эх!

На горе ли ольха,
Под горою вишня...
Любил барин цыганочку,
Она замуж вышла!..

Когда вы прочтете это, подойдите к фортепьяно и возьмите заветные аккорды» (Письма. С. 178).

А Фет в «Кактусе» писал следующее об исполнении Григорьевым цыганских песен: «Репертуар его был разнообразен, но любимою его была венгерка, перемежавшаяся припевом:

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка!

Понятно, почему эта песня пришлась ему по душе, в которой набегавшее скептическое веяние не могло загасить пламенной любви, красоты и правды. В этой венгерке сквозь комически-плясовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья. Особенно оттенял он куплет:

Под горой-то ольха,
На горе-то вишня,
Любил барин цыганочку, —
Она замуж вышла».

(Восп. С. 331)

Так и не понять из этих воспоминаний, имеется в виду какая-то не григорьевская венгерка, популярная в его кругу и распевавшаяся им, или же речь идет о его собственном сочинении? Нам кажется, что по контексту, особенно фетовскому, скорее предполагается первое. В самом деле, четверостишие об ольхе и вишне не входит в известное стихотворение: правда, оно очень близко ему по духу и вполне могло входить в какой-то более ранний вариант. Куплет настолько «григорьевский» по духу, что даже такой скрупулезный исследователь, как Б. С. Штейнпресс, не заметив текстологической сомнительности и, видимо, не сверив тексты, прямо заявил о нем: «Эти строки А. Г<ригорьев> включил в свою "Цыганскую венгерку"»[27]. Ведь есть — известный хотя бы по книге Пыляева — еще один куплет, тоже отсутствующий в рукописи и в первоначальном тексте «Цыганской венгерки», но приписываемый Григорьеву:

Это ты: я узнаю
Ход твой в ре миноре
И мелодию твою
В частом переборе.

(Кстати сказать, популярный мотив григорьевской «Цыганской венгерки» создан в си миноре, а не в ре миноре: если даже приведенное апокрифическое четверостишие в самом деле принадлежит Григорьеву, то и здесь вспоминается какая-то другая венгерка.)

Единственный только раз Григорьев упомянул в «Великом трагике» именно свою «Цыганскую венгерку»: «...широкая и хватающая за душу, стонущая, поющая и горько-юмористическая "Венгерка" Ивана Ивановича раздавалась в это время в моих ушах» (Восп. С. 271). Точно свою потому, что Иван Иванович — автобиографический образ. Но эта фраза не снимает проблемы прототипических цыганских венгерок.

Можно с большей или меньшей степенью вероятности предположить, что существовала какая-то исполнявшаяся хором Ивана Васильева цыганская венгерка (возможно, это именно та, мелодия которой и ныне больше других распространена в эстрад-

ном и танцевальном репертуаре в обработке С. Львовского, М. Герасимова, А. Цфасмана, В. Максименко и др.)., куда входил и припев о чибиряке, и куплет об ольхе, и, конечно, что-нибудь вроде «Басан, басан...», а Григорьев написал совершенно оригинальное стихотворение, в котором лишь цитатно, весьма ограниченно использовал текст прежней венгерки и изобразил самое исполнение той венгерки цыганской труппой. Однако даже это предположение не во всем убедительно: зная, что у «виновницы» цикла «Борьба» Л. Я. Визард были голубые глаза, уместно и припев о чибиряке считать чисто григорьевским. Но все-таки в целом влияние на поэта предшествовавших цыганских венгерок несомненно.

В свою очередь, григорьевская «Цыганская венгерка» и стихотворение «О говори хоть ты со мной...» стали популярными песнями, с конца XIX века вошли в репертуар эстрадных певцов и музыкантов. В. Н. Княжнин отмечал в рецензии на «Стихотворения» Ап. Григорьева, изданные А. Блоком, успех «Цыганской венгерки»: «...в наши дни можно услышать ее в исполнении гитариста Де Лазари. К слову сказать, еще два романса Григорьева распеваются в маленьких театриках, а также бродячими певцами. Это "Твои движенья гибкие..." и "Нет, за тебя молиться я не мог..."»[28]. Позднее, как часто бывает с истинно народными произведениями, песни на стихи Григорьева потеряли имя автора и имя композитора. «Цыганская венгерка» и предшествующее ей стихотворение из цикла «Борьба» сильно сократились и даже контаминировались в одну песню, как это получилось в репертуаре известного руководителя театра «Ромэн» Н. Сличенко.

Последние четыре стихотворения цикла «Борьба» по своему художественному значению никак не могут сравниться с «Цыганской венгеркой». Они связаны со спадом напряжения, ведут к развязке цикла. После громкого, страстного крещендо «Цыганской венгерки» они, при всей силе передаваемого чувства, как-то истощенно ослаблены, как бы произносятся шепотом. Они тоже, как и ряд предшествующих им частей, варьируют уже намеченные темы, но со соответствующими сдвигами акцентов и с интересными контрастами друг по отношению к другу. В стихотворениях пятнадцатом и семнадцатом главенствует пушкинская рыцарственная тема «Я вас любил, любовь еще, быть может...». А в шестнадцатом и заключительном восемнадцатом на первый план выступают стоны души, не желающей мириться с безнадежностью. Заключительное стихотворение не только повторяет, не только синтезирует многие темы предшествующих перипетий, но и содержит интересное завершение: казалось бы, в безнадежной, мрачной ситуации цикл должен «закруглиться», безвыходно замкнуться, но поэт, подытоживая прошлое, с теплой надеждой мечтает о душевной связи с героиней, ему так хочется верить,

...что светишь ты из-за туманной дали
Звездой таинственною мне!

Цикл демонстрирует не только борьбу и катастрофу, но и тесное сплетение традиционной триады — веры, надежды, любви. Герой мучительно тянется к идеалу, жизнь бросает его с высот на землю, но он снова верит, надеется и любит... В этом отношении цикл «Борьба» может быть рассмотрен как большой метафорический аналог к жизни самого поэта, находящегося в постоянном метании между идеалами и грешной землею.

Ни один другой цикл Ап. Григорьева не содержит такого потока времени от прошлого через настоящее к будущему. Другие циклы дают лишь тематический или пространственный разброс, наподобие циклов таких поэтических соратников Григорьева, как Фет, Ап. Майков, А. Толстой, К. Павлова. Даже очень близкий к «Борьбе» григорьевский цикл «Титании», также навеянный любовью поэта к Л. Я. Визард, не содержит никакого «романа», никакой последовательности событий: он построен, скорее всего, именно на «круговом», мифологически завораживающем, заклинающем принципе: сплошные повторы тем, сплошные анафоры, четкое ритмическое чередование. Лишь в одном месте прорвалась наружу отчаянная ревность героя, и поэт отважился сделать своего соперника господином с ослиной головою (используя шекспировский образ), да заключительное, итоговое стихотворение сильно напоминает последнее стихотворение «Борьбы».

Хронологическая последовательность «Борьбы» отражает несомненное влияние на Григорьева реалистической повести и романа.

Опыт многовековой истории поэзии показывает, что расцвет лирики наблюдается в эпохи, стимулирующие остроту, интенсивность душевных переживаний. В эпохи мрачные, застойные, неподвижные эта интенсивность проявляется главным образом в уходе в душевные глубины, в самоанализ, в «рефлексии» — такова русская поэзия сороковых годов вообще и Григорьева в частности (хотя и тогда неуемная натура поэта тянулась к «борьбе», к «кометным» темам, и в этом отношении его лирика существенно отличалась от поэзии Фета, Ап. Майкова). Бурные же, переломные эпохи расковывают личность, создается другая интенсивность — интенсивность развития, временны́х сдвигов, напряженных связей человека с меняющимся миром... И после 1855 года, в новой обстановке общественного подъема, — на «расшатывание» романтического «мига», на динамизацию поэзии Григорьева наряду с субъективными факторами влияли и общая атмосфера, и реалистическая проза, и реалистическая поэзия. А в последние годы творческой деятельности Григорьева-поэта на него несомненно оказал влияние Некрасов — и не столько лирикой, сколько поэмами.

Некрасов развивал историзм Пушкина и Лермонтова, он великолепно вписывал своих героев в историческую атмосферу эпохи, а в поэмах впервые в русской литературе показал сложную диалектическую соотнесенность времен. Так, в неоконченной поэме (иногда ее называют стихотворением) «На Волге» (1860) Не-

красов стал радикальным новатором, описывая два времени жизни одного героя, постоянно чередующиеся, перебивающие друг друга (такое смешение и перебивание двух времен жизни станет характерной чертой литературы XX века). Герой поэмы Валежников попадает в родные места, и описание современных его впечатлений перемежается с воспоминаниями о проведенных на Волге детстве и юности.

Поэма Некрасова была настолько необычной, что даже тонкие ценители поэзии не сразу осознали ее новаторство. Например, именно Григорьев игнорировал при разборе ее содержания (в статье «Стихотворения Н. Некрасова», 1862) перебивы двух временных планов и спутал впечатления мальчика и взрослого человека.

Но Григорьев в общем-то разобрался в художественном значении новшества, и в 1860-х годах он явно заимствовал у Некрасова прием перебивов времен в поэме, даже по заглавию и теме связанной с некрасовской «На Волге».

Эта поэма, «Вверх по Волге», с подзаголовком «Дневник без начала и без конца (Из "Одиссеи о последнем романтике")», опубликованная в 1862 году, состоит из восьми небольших глав, каждая из которых построена по сходному с некрасовским стихотворением принципу, который в общих чертах можно свести к схеме «настоящее — прошлое — настоящее — ближайшее будущее».

Первая глава начинается с настоящего, современного размышления поэта о судьбе героини. Первые две строфы посвящены причинам разрыва, в следующих трех автор обращается к далекому прошлому — к причинам, заставившим героиню оказаться в числе «падших» женщин. В шестой и седьмой строфах он рассказывает о первом знакомстве героя и героини, восьмая снова возвращает нас к современности, к терзаниям героя, находящегося в настоящий момент в Самаре. В девятой строфе автор обращается к Богу с просьбами:

Владыко Боже! дай ответ!
Скажи мне: прав я был иль нет?
Покоя дай мне, мира, света!

Григорьев требует от Бога санкционирования прошлого и определенных «подношений» в будущем. Но ввиду отсутствия ответа в десятой строфе поэт без помощи Бога сам устраивает свое будущее:

Вина, вина! Оно одно,
Лиэя древний дар — вино,
Волненья сердца успокоит.

Обращаем внимание на торжественную тональность этого выбора.

Вторая глава начинается с немедленного перехода от современности к прошлому: поэт рассказывает о детстве и юности героини (6 строф), две следующие строфы посвящены воспомина-

ниям о совместной жизни, затем следует возврат к современности, к Самаре; Волга на время поднимает поэта над бытом:

И над великою рекою
Свежею, крепну я душою.

Но ненадолго: промелькнувший облик «самарянки» напомнил героиню, вновь героем овладевает тоска, ревность, ярость — и заключение главы звучит сокращенным вариантом первой. Поэт взывает к Богу, уже не прося мира и света:

... Боже!
Скорей забвенья, вновь вина...

Третья глава начинается с недавнего прошлого («Писал недавно мне один...»), затем следует экскурс на несколько лет назад, в обстановку Венеции 1858 года; описывается влюбленность поэта, предшествовавшая последней страсти, предшествовавшая встрече с последней героиней; отсюда естествен переход к этой героине; затем следует возврат к современности, к пребыванию героя в Нижнем Новгороде, а от современности — снова скачок в дальнее прошлое, в сороковые годы, — и оттуда в Нижний Новгород; последние две строки третьей главы напоминают концовки первой и второй (правда, уже без упоминания Бога):

Вина, вина! Хоть яд оно,
Лиэя древний дар — вино!..

Четвертая глава от современности переводит разговор к оренбургскому периоду жизни героя и героини и заканчивается самым отчаянным возгласом:

...Вина!
И до бесчувствия напиться!

Пятая глава построена на лихорадочных сменах времен в прошлом (точка отсчета — в начальном периоде совместной жизни героя и героини, затем следуют переходы в предшествующий период — «прошлое в прошлом» — и снова возврат в «прошлое — настоящее») и заканчивается современностью. концовка главы неожиданна; впервые о вине нет речи, поэт идет на Волгу, ожидает — по-некрасовски — бурлаков; бурлаки не появляются, но великая река вдохновляет поэта и глава заканчивается рассуждением о пантеизме.

Шестая глава построена по известной уже схеме «настоящее — прошлое — настоящее» с традиционной концовкой:

...Вина, вина!
Эх! жить порою больно, гадко!

Седьмая глава, подобно пятой, выдержана в высокой, торжественной тональности: у гроба Минина поэт стремится подняться над мелочами быта и лихорадкой чувств, отвергает не только житейскую суету, но и героиню, опутанную суетой и дрязгами, неот-

делимую от них. Глава заканчивается словами:

Еще я жив, коль сохранил
Я жажду жизни, жажду Бога!

Восьмая глава, заключительная, снова возвращает нас к традиционной схеме. Герой не устоял, с высоты современности он бросается в пошлую тину прошлого и возвращается в настоящее время измученный и разбитый, в ожидании скорой смерти, желая для героини помощи со стороны своих друзей, а для себя:

Однако знобко... Сердца боли
Как будто стихли... Водки, что ли?

Поэт настолько разбит, что даже забывает о поэтическом обрамлении («вино», «дар Лиэя») и называет вещь своим прямым именем. Водка как бы победила Волгу.

Идя за Некрасовым в приеме перебива времени, Григорьев отличается от предшественника самой сущностью понимания этих времен и смысла их соотнесенности.

Некрасов вписывает личные времена героя в исторический поток, в историю России, в историю народа. И так как для него история прогрессивна, то даже пессимистический вывод в конце поэмы о печальном уделе современных бурлаков не окрашивает пессимистическим светом все произведение: наоборот, все оно пронизано нравственным отрицанием рабства, нравственной несовместимостью рабства и вольной реки; на этом основании возникает горячая вера в его уничтожение.

А Григорьев был чужд представлению о ходе истории по пути прогресса (недаром он так не любил гегельянскую схему восходящих этапов), для него более значительны по-славянофильски «неподвижные» нравственные, эстетические, материальные фундаменты человеческого бытия: национальный характер, традиции, быт, заповеди. Но страстная живая натура поэта и явное воздействие на его мышление нового метода русской литературы отдаляла его от близких, в общем, славянофилов в сторону Достоевского, Островского, Некрасова. И как бы ни было сильно романтическое влияние, Григорьев динамическим развитием своих поэтических характеров, тянущим за собой разные срезы времени и отражающим суть этих времен, создавал историческую основу. Образы и ситуации в его лирике и поэмах носят «цвет и запах», передают драматические судьбы русского интеллигента середины XIX века. А в поэме «Вверх по Волге» Григорьев осветил новую для него тему губительной сущности мещанского бытия и сознания, которое засасывает в свою бездуховную трясину, подрезает крылья, а главное — уничтожает самые дорогие для поэта ценности национального, если не всемирного, масштаба. В поэме Григорьев впервые глубоко сочетает интимные мотивы с гражданскими: до этого две линии были в его творчестве плохо соединены. Но оба мотива для автора лишены радости, они насыщены мрачной безысходностью. Поэма не дает основания истол-

ковывать ее в оптимистическом, некрасовском духе: слишком уж болезненно растерзана душа героя...

«Вверх по Волге» исключительно автобиографична, как и большинство художественных произведений нашего поэта. В 1859 г. Григорьев встретил женщину, по-настоящему полюбившую горемычного поэта, но эта бурная связь тоже оказалась далекой от гармонического единства. Мария Федоровна Дубровская, взятая Григорьевым буквально из притона, была малообразованной, но, будучи страстной и энергичной, она активно тянулась к «культуре», к «свету», настаивала, чтобы Григорьев обучал ее французскому языку. В этой тяге было и искреннее желание встать вровень с любимым человеком, и искреннее стремление к «чистой» жизни, но, к сожалению, все это густо замешивалось гипертрофированной завистью и ревностью, своеобразным комплексом, столь характерным не только для русского, но и для всемирного мещанства: представлением, что именно там, в «свете», существует «настоящая» высокая жизнь, в которую не пускают неизбранных. Больше всего Мария Федоровна терзала Григорьева именно подобным комплексом, дико ревнуя его ко всем знакомым женщинам, требуя постоянного внимания к себе. Она желала быть «барыней», то есть совершенно отказывалась от хозяйственных дел, требуя нанимать горничных и кухарок.

Все попытки Григорьева приобщить ее к своему кругу закончились полной неудачей: чтение ее не интересовало, французский язык не дался, замысел привлечь ее в качестве актрисы в любительскую труппу завершился катастрофическими ссорами со всеми... Деликатность Григорьева и чувство привязанности к единственной женщине, которая его любила, заставляли его терпеть, но долго он не выдерживал, убегал от возлюбленной, с тем чтобы потом опять сойтись...

В поэме «Вверх по Волге» чуть ли не впервые в русской литературе автор отобразил сложный, изломанный характер тянущейся к «свету» мещанки. Между прочим, не исключено, что некоторые черты героинь Достоевского (яркая страстность, неуравновешенность, «скандальность») взяты писателем из его наблюдений над семейной жизнью Григорьева (ссорясь и временно уходя, поэт все-таки почти до самой смерти не порывал с Марией Федоровной).

Поездка поэта по Волге — тоже отображение реальности. Григорьеву было свойственно кризисное состояние души компенсировать побегом, переменой мест, неожиданным перемещением: так сказать, временну́ю заторможенность заменить движением в пространстве. Горькая неудача ранней его влюбленности в Антонину Корш вылилась в буквальный побег из отчего дома в Питер. Страдания от многолетней безответной любви к Леониде Визард, усиленные закрытием родного журнала «Москвитянин» и развалом «молодой редакции», завершились отъездом в Италию, во Флоренцию, в качестве домашнего учителя юноши, князя И. Ю. Трубецкого (1857—1858). Ссора с матерью воспитанника и вообще духовный и душевный кризис Григорьева, остро переживаемый

им за рубежом, опять в результате приводит к побегу из круга Трубецких — на этот раз на родину. В Петербурге и в Москве Григорьев участвует во многих журналах («Русское слово», «Русский мир», «Сын отечества», «Отечественные записки», «Русский вестник»), но постоянно ссорится с руководителями почти всех изданий и порывает с ними. Наконец, в 1861 году он сближается с братьями Достоевскими и активно участвует в их журнале «Время», но и здесь возникают разногласия, а тут еще со всех сторон навалились кредиторы, Григорьев в начале 1861 года сидит в долговой тюрьме... И снова типичный для него выход: уезжает летом 1861 года с М. Ф. Дубровской в Оренбург, преподавать в Кадетском корпусе. Так же, как за границу, убежать, на край страны... А постоянные ссоры с Марией Федоровной вынуждают его в мае 1862 года опять буквально убежать из Оренбурга в Петербург — эти события и описаны в поэме «Вверх по Волге».

Последние годы Григорьева проходят в столице, при тесном участии (в качестве критика и мемуариста) в журналах Достоевских «Время» и «Эпоха» (он вместе с Ф. М. Достоевским создает теорию «почвенничества»), в редактировании собственного журнала «Якорь». Снова безалаберного в быту поэта терзают кредиторы, один из них сажает его в сентябре 1864 года в долговую тюрьму, откуда его выкупила писательница А. И. Бибикова. Вскоре после этого, 25 сентября 1864 года, Григорьева настигла мгновенная смерть от апоплексического удара.

В лихорадке-калейдоскопе переездов, смен журналов, интенсивной критической деятельности у Григорьева оставалось слишком мало времени и сил, чтобы по-настоящему заниматься поэзией. Поэтому кроме двух циклов («Борьба» и «Титании») и двух поэм («Venezia la bella» и «Вверх по Волге») он за последнее десятилетие своей жизни создал всего десяток стихотворений. Впрочем, он в последние годы очень много переводил: пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1857), «Шейлок, венецианский жид» (1860), «Ромео и Джульетта» (1864), поэмы и стихи Байрона (любопытно это позднее обращение к английской литературе: в более ранние годы Григорьев увлекался немецкой, переводя Гете, Шиллера, Гейне, а также частично и французской литературой, переводя Беранже и Мюссе; есть у него также переводы из Мольера и Жорж Санд). Отметим также, что Григорьев был одним из главных тогдашних переводчиков стихотворных либретто опер на русский язык (Бетховен, Мейербер, Верди, Доницетти и др.) — их у него свыше двух десятков.

Переводы Григорьева, особенно драм Шекспира и поэм Байрона, стали заметным явлением в истории русской культуры. Они выполнены профессионально, достаточно близко к подлинникам, хотя, подойдя с современной требовательностью к переводческой деятельности писателя, у него можно найти недостатки[29]. Его переводы относительно объективированы, но сам выбор могучих произведений Шекспира и Байрона свидетельствует о субъективных пристрастиях переводчика. Еще более усиливали личное отноше-

ние к избранным произведениям оригинальные стихотворные добавления Григорьева. В качестве посвящения к переводу «Сна в летнюю ночь» Григорьев публикует цикл «Титании», связывая шекспировский образ с Л. Визард, а в качестве постскриптума к «Ромео и Джульетте» печатает, наверное, самое последнее свое стихотворение (26 июля 1864 года) «И всё же ты, далекий призрак мой...», которое тоже воспринимается как посвящение той же Л. Визард, той неизбывной драматической любви... Эти добавки окрашивают субъективным григорьевским светом, казалось бы, вполне объективные переводы.

Есть, однако, в наследии поэта еще более сложные и изощренные сплавы переводного и оригинального: вспомним хотя бы вкрапление в цикл «Борьба» специально неточно переведенного стихотворения Мицкевича «Доброй ночи». Или приведем такой, еще более интересный пример.

В 1858 году во Флоренции Григорьев написал замечательное стихотворение, посвященное неизвестной нам женщине. Скорее всего, она принадлежала к петербургскому дворянскому семейству Мельниковых, с которым Григорьев познакомился в Италии, находясь в качестве домашнего учителя у князей Трубецких. Любовные стихотворения Григорьева записаны в двух альбомах, один из которых принадлежал Ольге Александровне Мельниковой, будущей жене Д. Ф. Тютчева (сына поэта), второй — ей же или кому-то еще из молодых девушек семейства. Стихотворение начинается четверостишьем:

Прощай и ты, последняя зорька,
Цветок моей родины милой,
Кого так сладко, кого так горько
Любил я последнею силой...

Но это стихотворение из девичьего альбома, донесшего до нас автограф, не самостоятельно: оно по ритму, по смыслу и по положению на страницах является как бы продолжением другого стихотворения, записанного Григорьевым выше и озаглавленного «Из Мицкевича» («Прости-прощай ты, страна родная!..»). Как установлено автором настоящей статьи, впервые опубликовавшим этот перевод[30], подлинник — не оригинальное произведение Мицкевича, а перевод польского поэта из Байрона: Григорьев перевел начало стихотворения Мицкевича «Прощание Чайльд-Гарольда», в свою очередь являющегося переводом отрывка из байроновской поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда».

Таким образом, таинственен не только адресат любовного стихотворения, но и весь рукописный текст из альбома: почему Григорьев собственное стихотворение приписал к переводному? почему то, чужое, переведено не полностью? почему взят посредник, если Григорьев сам очень хорошо знал английский, сам переводил Байрона, в том числе (чуть позднее, в 1862 году) и «Паломничество Чайльд-Гарольда», и то именно место, которое здесь он взял из Мицкевича? Наверное, окончательных ответов на эти

вопросы мы никогда не получим, можно лишь предположительно, гипотетически реконструировать тогдашние творческие мотивы поэта. Очевидно, тяжелое душевное состояние тоскующего по родине Григорьева одновременно ассоциировалось им с настроениями и Байрона, и Мицкевича, знаменитых поэтов-романтиков, воплотивших в данном отрывке всю силу любви и тоски по отечеству; потому-то, возможно, Григорьев и выбрал только начало, что именно в нем содержится квинтэссенция любви и тоски. А Мицкевич выбран в качестве посредника, вероятно, на том основании, что он не просто поэт-патриот, но еще и изгнанник, навсегда отлученный от родины, поэтому особенно тяжко по ней тоскующий (кстати, Байрон в позднейшем романтическом контексте воспринимался в качестве автора «Чайльд-Гарольда» тоже как изгнанник из отечества). Кроме того, Мицкевич — славянин, брат по племени, для Григорьева это тоже было чрезвычайно важно. И конечно же, своеобразное переводное предисловие (или эпиграф?) к собственному стихотворению нужно было поэту для передачи сложного сплава любви-тоски по родине и любви-тоски к женщине, отсюда явно фольклорные образы зорьки и цветка, с которых начинается стихотворение.

Так что и в переводческую деятельность Григорьев мощно включает свои романтические чувства...

Григорьев был противоречивым человеком и писателем, по природе своей парадоксальным, хаотичным, в быту невероятно безответственным и беспорядочным. Но заветные, глубинные убеждения и идеалы держались у него непоколебимо, удивительно для такого характера прочно. Он мог забыть отдать долг, растратить чужие деньги, но дорогие принципы он не растрачивал.

Н. Н. Страхов в своих воспоминаниях о Григорьеве приводит такой эпизод. А. Н. Майков читал в кругу литераторов свою поэму «Смерть Люция», поэму о казни гордого римлянина, сохранившего даже перед чашей с ядом возвышенную душу и благородные убеждения; «Григорьев после чтения воскликнул: "Я умру, как Люций! Ни от чего не отрекаясь!"»[31]. Чаша с ядом миновала нашего поэта, но ведь он много лет убивал себя алкоголем. Впрочем, общественная и литературная жизнь той поры, постоянно разрушавшая романтические идеалы Григорьева, тоже медленно его убивала. Тем значительнее и мощнее оказывается его жизнь и творчество, как образец стойкости, последовательной верности выработанным идеалам и непримиримости ко всему чуждому им.

В этом ряду не последнее место занимает и поэтическое наследие. Поэзия Григорьева благодаря высоким нравственным и эстетическим критериям, в свете которых она создавалась, представляет замечательный образец непрерывной и небезуспешной борьбы за духовную прочность и духовную самостоятельность, за непреходящие ценности жизни, за возвышенность и достоинство человеческой души. И если в своих неблагоприятных социальных, моральных, материальных обстоятельствах герой григорьевской

поэзии (вместе с самим автором) смог сохранить и упрочить свои идеалы, как бы трагично ни складывалась его житейская судьба, это придает его творчеству не только познавательную, но и воспитательную силу. Показательно, что завершается поэтическая деятельность Григорьева стихотворением «И всё же ты, далекий призрак мой...», удивительным не только по глубине чувства (через всю жизнь, через все перипетии, города, тюрьмы прошла незатухающая любовь к Л. Я. Визард), но и по неизменной верности основным принципам.

Представление об искусстве как об органическом целом, выражающем «мысль сердечную», о необычайно сложной и жизненной, «живой» его сущности связывало Григорьева с громадным романтическим пластом русской и даже мировой культуры, а борьба за приоритет национальных и нравственных начал над социально-политическими, борьба за абсолютную правдивость искусства и публицистики включала поэта и критика в литературу трудной переломной эпохи середины XIX века и определила его нестандартное, оригинальное место.

А душевная широта, яркость и интенсивность чувств, тонкость психологического анализа, высокая гуманитарная культура и человеческая простота Григорьева-поэта создали успех его творчеству в последующих поколениях стихотворцев, особенно романтического плана.

Наиболее значительно воздействие поэзии Григорьева на творчество А. Блока. Это громадная тема — «Григорьев и Блок», ей посвящено немало статей (приоритет принадлежит Д. Д. Благому). Отметим лишь, что для Блока наиболее важными оказались тема непредсказуемой «кометы», энергия «борьбы», стихия, народ и народность. В поэзии Блока, в его критических и литературоведческих статьях, в дневниковых записях постоянно присутствует память о Григорьеве.

И наш современный читатель оценит лучшие стихотворения и поэмы Григорьева, сохранит о них память как о самобытном поэтическом явлении, не меркнущем даже в свете всех ярких поэтических звезд — от Пушкина до Блока.

Примечания

[1] *Григорьев Ап.* Избранные произведения. Л., 1959. С. 5.

[2] *Григорьев А. А.* Сочинения: В 2 т. М., 1990.

[3] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1980. Т. 20. С. 136.

[4] Неизданные письма из архива А. Н. Островского. М.; Л., 1932. С. 455—456. О песне «Долго нас помещики душили...» см. подробнее в разделе «Стихотворения, ошибочно приписываемые Григорьеву» (наст. изд., с. 744).

[5] *Федоров Г. А.* Новые материалы о ранних годах жизни Ап. Григорьева // Григорьев Ап. Воспоминания. Л., 1980. Дальней-

шие ссылки на это издание даются в тексте сокращенно: Восп.

[6] См.: Русские пропилеи. М., 1915 Т. 1. С. 213—217.

[7] См.: А. А. Григорьев: Материалы для биографии / Под ред. Влад. Княжнина. Пг., 1917. С. 311—312. Дальнейшие ссылки на это издание даются в тексте сокращенно: Материалы.

[8] *Герцен А. И.* Собр. соч.: в 30 т. М., 1956. Т. 10. С. 344—345.

[9] См.: *Григорьев Ап.* Избранные произведения. С. 34—36.

[10] *Майков В. Н.* Стихотворения Козлова // Литературная критика. Л., 1985. С. 81, 83.

[12] М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. 2. С. 119; указано В. Г. Зиминой.

[13] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 9. С. 593.

[14] *Григорьев Ап..* Избранные произведения. С. 22—23.

[15] См.: *Whittaker R.* Russia's Last Romantic Apollon Grigor'ev. 1822—1864. Leviston; Queenston-Lampeter, 1999. P. 83.

[16] *Соловьев С. М.* Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 296.

[17] *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1897. Кн. 11. С. 88.

[18] *Григорьев А.* Письма. М., 1999. С. 106. Далее ссылки на это издание даются в тексте сокращенно: Письма.

[19] Время. 1861. № 4. С. 637.

[20] Якорь. 1863. № 5. С. 81.

[21] Проблемам лирических циклов посвящена обширная теоретическая литература. Отметим лишь основные работы: *Дарвин М. Н.* Проблема цикла в изучении лирики. Кемерово, 1983; *Лапина Л. Е.* Циклизация в русской литературе XIX века. СПб., 1999 (в примечаниях — обширный список литературы по теме).

[22] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 594.

[23] См.: *Костелянец Б. О.* Поэзия Аполлона Григорьева // Григорьев Ап. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966 (Б-ка поэта; М. С.). С. 30—31.

[24] О новаторстве Григорьева-переводчика, впервые воспроизводящего немецкие дольники Гете и Гейне, см.: *Жирмунский В. М.* Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 306.

[25] *Блок А. А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л. 1962. Т. 5. С. 517.

[26] *Пыляев М. И.* Старый Петербург. 3-е изд. СПб., 1903. С. 413.

[27] *Штейнпресс Б. К.* Из истории «цыганского пения» в России. М., 1934. С. 56.

[28] Русская мысль. 1916. № 5. Отд. III. С. 22.

[29] Подробный анализ переводов Шекспира см.: *Левин Ю. Д.* Шекспир и русская культура. М.; Л., 1965. С. 490—499.

[30] См.: *Григорьев Ап.* Стихотворения и поэмы. М., 1978. С. 278—279.

[31] *Григорьев А. П.* Воспоминания. М.; Л., 1930. С. 470.

Б. Ф. Егоров



СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Е. С. Р

Да, я знаю, что с тобою
    Связан я душой;
Между вечностью и мною
    Встанет образ твой.

И на небе очарован
    Вновь я буду им,
Всё к чертам одним прикован,
    Всё к очам одним.

Ослепленный их лучами,
    С грустью на челе,
Снова бренными очами
    Я склонюсь к земле.

Связан буду я с землею
    Страстию земной, —
Между вечностью и мною
    Встанет образ твой.

1842

2

Нет, за тебя молиться я не мог,
Держа венец над головой твоею.
Страдал ли я, иль просто изнемог,
Тебе теперь сказать я не умею, —
Но за тебя молиться я не мог.

И помню я — чела убор венчальный
Измять венцом мне было жаль: к тебе
Так шли цветы... Усталый и печальный,
Я позабыл в то время о мольбе
И всё берег чела убор венчальный.

За что цветов тогда мне было жаль —
Бог ведает: за то ль, что без расцвета

Им суждено погибнуть, за тебя ль —
Не знаю я... в прошедшем нет ответа...
А мне цветов глубоко было жаль...

1842

3. ДОБРОЙ НОЧИ

Спи спокойно — доброй ночи!
Вон уж в небесах
Блещут ангельские очи
В золотых лучах.
Доброй ночи... Выдет скоро
В небо сторож твой
Над тобою путь дозора
Совершать ночной.

Чтоб не смела сила злая
Сон твой возмущать:
Час ночной, пора ночная —
Ей пора гулять.
В час ночной, тюрьмы подводной
Разломав запор,
Вылетает хороводной
Цепью рой сестер.

Лихорадки им прозванье;
Любо им смущать
Тихий сон — и на прощанье
В губы целовать.
Лихоманок-лихорадок,
Девяти подруг,
Поцелуй и жгуч, и сладок,
Как любви недуг.

Но не бойся: силой взора
С неба сторож твой
Их отгонит — для дозора
Светит он звездой.
Спи же тихо — доброй ночи!..
Под лучи светил,
Над тобой сияют очи
Светлых Божьих сил.

Июнь 1843

4. ОБАЯНИЕ

Безумного счастья страданья
Ты мне никогда не дарила,
Но есть на меня обаянья
В тебе непонятная сила.

Когда из-под темной ресницы
Лазурное око сияет,
Мне тайная сила зеницы
Невольно и сладко смыкает.

И больше все члены объемлет
И лень, и таинственный трепет,
А сердце и дремлет, и внемлет
Сквозь сон твой ребяческий лепет.

И снятся мне синие волны
Безбрежно-широкого моря,
И, весь упоения полный,
Плыву я на вольном просторе.

И спит, убаюкано морем,
В груди моей сердце больное,
Расставшись с надеждой и горем,
Отринувши счастье былое.

И грезится только иная,
Та̀ жизнь без сознанья и цели,
Когда, под рассказ усыпляя,
Качали меня в колыбели.

Июнь 1843

5. КОМЕТА

Когда средь сонма звезд, размеренно и стройно,
Как звуков перелив, одна вослед другой,
Определенный путь свершающих спокойно,
Комета полетит неправильной чертой,
Недосозданная, вся полная раздора,
Невзнузданных стихий неистового спора,
Горя еще сама и на пути своем
Грозя иным звездам стремленьем и огнем,

Что́ нужды ей тогда до общего смущенья,
До разрушения гармонии?.. Она
Из лона Отчего, из родника творенья
В созданья стройный круг борьбою послана,
Да совершит путем борьбы и испытанья
Цель очищения и цель самосозданья.

Июнь 1843

6

Вы рождены меня терзать —
И речью ласково-холодной,
И принужденностью свободной,
И тем, что трудно вас понять,
И тем, что жребий проклинать
Я поневоле должен с вами,
Затем что глупо мне молчать
И тяжело играть словами.
Вы рождены меня терзать,
Зане друг другу мы чужие.
И ничего, чего другие
Не скажут вам, мне не сказать.

Июнь 1843

7

О, сжалься надо мной!.. Значенья слов моих
В речах отрывочных, безумных и печальных
Проникнуть не ищи... Воспоминаний дальных
Не думай подстеречь в таинственности их.
Но если на устах моих разгадки слово,
Полусорвавшись с языка,
Недореченное замрет на них сурово
Иль беспричинная тоска
Из гру́ди, сдавленной бессвязными речами,
Невольно вырвется... молю тебя, шепчи
Тогда слова молитв безгрешными устами,
Как перед призраком, блуждающим в ночи.
Но знай, что тяжела отчаянная битва
С глаголом тайны роковой,

Что для тебя одной спасительна молитва,
Не разделяемая мной...

29 июля 1843

8. ВОЛШЕБНЫЙ КРУГ

Тебя таинственная сила
Огнем и светом очертила,
Дитя мое.
И всё, что грустно иль преступно,
Черты боясь недоступной,
Бежит ее.

И всё, что душно так и больно
Мне давит грудь и так невольно
Перед тобой
Порою вырвется невнятно, —
Тебе смешно иль непонятно,
Как шум глухой...

Когда же огненного круга
Коснется веянье недуга, —
Сливаясь с ним
И совершая очищенья,
К тебе несет оно куренья
И мирры дым.

Июль 1843

9

Нет, никогда печальной тайны
Перед тобой
Не обнажу я, ни случайно,
Ни с мыслью злой...
Наш путь иной... Любить и верить —
Судьба твоя;
Я не таков, и лицемерить
Не создан я.
Оставь меня... Страдал ли много,
Иль знал я рай
И верю ль в жизнь, <и верю ль в Бога —>
Не узнавай.

Мы разойдемся... Путь печальный
Передо мной...
Прости, — привет тебе прощальный
На путь иной.
И обо мне забудь иль помни —
Мне всё равно:
Забвенье полное давно мне
Обречено.

Июль 1843

10

Над тобою мне тайная сила дана,
Это — сила звезды роковой.
Есть преданье — сама ты преданий полна —
Так послушай: бывает порой,
В небесах загорится, средь сонма светил,
Небывалое вдруг иногда,
И гореть ему ярко Господь присудил —
Но падучая это звезда...
И сама ли нечистым огнем сожжена,
Или, звездному кругу чужда,
Серафимами свержена с неба она, —
Рассыпается прахом звезда;
И дано, говорят, той печальной звезде
Искушенье посеять одно,
Да лукавые сны, да страданье везде,
Где рассыпаться ей суждено.
Над тобою мне тайная сила дана,
Эту силу я знаю давно:
Так уносит в безбрежное море волна
За собой из залива судно́,
Так, от дерева лист оторвавши, гроза
В вихре пыли его закружит,
И, с участьем следя, не увидят глаза,
Где кружится, куда он летит...
Над тобою мне тайная сила дана,
И тебя мне увлечь суждено,
И пускай ты горда, и пускай ты скрытна, —
Эту силу я понял давно.

Август 1843

11. К ЛАВИНИИ

Что́ не тогда явились в мир мы с вами,
Когда он был
Еще богат любовью и слезами
И полон сил?..
Да! вас увлечь так искренно, так свято
В хаос тревог
И, может быть, в паденье без возврата
Тогда б я мог...
И под топор общественного мненья,
Шутя почти,
С таким святым порывом убежденья
Вас подвести...
Иль, если б скуп на драмы был печальный
Всё так же рок,
Всё ж вас любить любовью идеальной
Тогда б я мог...
А что ж теперь? Не скучно ль нам обоим
Теперь равно,
Что чувство нам, хоть мы его и скроем,
Всегда смешно?..
Что нет надежд, страданий и волненья
Что драмы — вздор
И что топор общественного мненья —
Тупой топор?

Сентябрь 1843

12. ЖЕНЩИНА

Вся сетью лжи причудливого сна
Таинственно опутана она,
И, может быть, мирятся в ней одной
Добро и зло, тревога и покой...
И пусть при ней душа всегда полна
Сомнением мучительным и злым —
Зачем и кем так лживо создана
Она, дитя причудливого сна?
Но в этот сон так верить мы хотим,
Как никогда не верим в бытие...
Волшебный круг, опутавший ее,
Нам странно чужд порою, а порой
Знакомою из детства стариной
На душу веет... Детской простотой

Порой полны слова ее, и тих,
И нежен взгляд, — но было б верить в них
Безумием... Нежданный хлад речей
Неверием обманутых страстей
За ними вслед так странно изумит,
Что душу вновь сомненье посетит:
Зачем и кем так лживо создана
Она, дитя причудливого сна?

Декабрь 1843

13. К ЛАВИНИИ

Для себя мы не просим покоя
И не ждем ничего от судьбы,
И к небесному своду мы двое
Не пошлем бесполезной мольбы...
Нет! пусть сам он над нами широко
Разливается яркой зарей,
Чтобы в грудь нам входили глубоко
Бытия полнота и покой...
Чтобы тополей старых качанье,
Обливаемых светом луны,
Да лепечущих листьев дрожанье
Навевали нам детские сны...
Чтобы ухо средь чуткой дремоты,
В хоре вечном зиждительных сил,
Примирения слышало ноты
И гармонию хода светил;
Чтобы, вечного шума значенье
Разумея в таинственном сне,
Мы хоть раз испытали забвенье
О прошедшем и будущем дне.
Но доколе страданьем и страстью
Мы объяты безумно равно
И доколе не верим мы счастью,
Нам понятно проклятье оно.
И, проклятия право святое
Сохраняя средь гордой борьбы,
Мы у неба не просим покоя
И не ждем ничего от судьбы...

Декабрь 1843

14. МОЛИТВА

По мере горенья
Да молится каждый
Молитвой смиренья
Иль ропотом жажды,
Зане, выгорая,
Горим мы недаром
И, мир покидая
Таинственным паром,
Как дым фимиама,
Всё дальше от взоров
Восходим до хоров
Громадного храма.
По мере страданья
Да молится каждый —
Тоскою желанья
Иль ропотом жажды!

1843

15. ТАЙНА СКУКИ

Скучаю я, — но, ради Бога,
Не придавайте слишком много
Значенья, смысла скуке той.
Скучаю я, как все скучают...
О чем?.. Один, кто это знает, —
И тот давно махнул рукой.

Скучать, бывало, было в моде,
Пожалуй, даже о погоде
Иль о былом — что всё равно...
А нынче, право, до того ли?
Мы все живем с умом без воли,
Нам даже помнить не дано.

И даже... Да, хотите — верьте,
Хотите — нет, но к самой смерти
Охоты смертной в сердце нет.
Хоть жить уж вовсе не забавно,
Но для чего ж не православно,
А самовольно кинуть свет?

Ведь ни добра, ни даже худа
Без непосредственного чуда
Нам жизнью нашей не нажить
В наш век пристойный... Часом ране
Иль позже — дьявол не в изъяне, —
Не в барышах ли, может быть?

Оставьте ж мысль — в зевоте скуки
Душевных ран, душевной муки
Искать неведомых следов...
Что вам до тайны тех страданий,
Тех фосфорических сияний
От гнили, тленья и гробов?..

1843

16. ПАМЯТИ В***

Он умер... Прах его, истлевший и забытый,
В глуши, как жизнь его печальная, сокрытый,
Почиет под одной фамильною плитой
Со многими, кому он сердцем был чужой...
Он умер — и давно... О нем воспоминанье
Хранят немногие, как старое преданье,
Довольно темное... И даже для меня
Темнее и темней тот образ день от дня...
Но есть мгновения... Спадают цепи лени
С измученной души — и память будит тени,
И длинный ряд годов проходит перед ней,
И снова он встает... И тот же блеск очей
Глубоких, дышащих таинственным укором,
Сияет горестным, но строгим приговором,
И то же бледное, высокое чело,
Как изваянное, недвижно и светло,
Отмечено клеймом Божественной печати,
Подъемлется полно дарами благодати —
Сознания борьбы, отринувшей покой,
И року вечному покорности немой.

1843

17. К***

Мой друг, в тебе пойму я много,
Чего другие не поймут,
За что тебя так судит строго
Неугомонный мира суд...
Передо мною из-за дали
Минувших лет черты твои
В часы суда, в часы печали
Встают в сиянии любви,
И так небрежно, так случайно
Спадают локоны с чела
На грудь, трепещущую тайно
Предчувствием добра и зла...
И в робкой деве влагой томной
Мечта жены блестит в очах,
И о любви вопрос нескромный
Стыдливо стынет на устах...

1843

18. ВОЗЗВАНИЕ

Восстань, о Боже! — не для них,
Рабов греха, жрецов кумира,
Но для отпадших и больных,
Томимых жаждой чад Твоих, —
Восстань, восстань, Спаситель мира!
Искать Тебя пошли они
Путем страдания и жажды...
Как ты *лима савахвани*
Они взывали не однажды,
И так же видели они
Твой дом, наполненный купцами,
И гордо встали — и одни
Вооружилися бичами...

Январь 1844

19. ПАМЯТИ ОДНОГО ИЗ МНОГИХ

В больной груди носил он много, много
Страдания, — но было ли оно

В нем глубоко и величаво-строго,
Или в себя неверия полно —
Осталось тайной. Знаем мы одно,
Что никогда ни делом, ниже словом
Для нас оно не высказалось новым...

Вопросам, нас волнующим, и он,
Холодности цинизма не питая,
Сочувствовал. Но, видимо страдая,
Не ими он казался удручен.
Ему, быть может, современный стон
Передавал неведомые звуки
Безвременной, но столь же тяжкой муки.

Хотел ли он страдать, как сатана,
Один и горд — иль слишком неуверен
В себе он был, — таинственно темна
Его судьба: но нас, как письмена,
К себе он влек, к которым ключ потерян,
Которых смысл стремимся разгадать
Мы с жадною надеждой — много знать.

А мало ль их, пергаментов гнилых,
Разгадано без пользы? что ж за дело!
Пусть ложный след обманывал двоих,
Но третий вновь за ним стремится смело...
. . . .

Таков удел, и в нем затаено
Всеобщей жизни вечное зерно.

И он, как все, он шел дорогой той,
Обманчивой, но странно-неизбежной.
С иронией ли гордою и злой,
С надеждою ль, волнующей мятежно,
Но ей он шел; в груди его больной
Жила одна, нам общая тревога...
Страдания таилось много, много.

И умер он — как многие из нас
Умрут, конечно, — твердо и пристойно;
И тень его в глубокой ночи час
Живых будить не ходит беспокойно.
И над его могилою цветут,
Как над иной, дары благой природы;
И соловьи там весело поют

В час вечера, когда стемнеют воды
И яворы старинные заснут,
Качаяся под лунными лучами
В забвении зелеными главами.

8 февраля 1844

20. ДВЕ СУДЬБЫ

Лежала общая на них
Печать проклятья иль избранья,
И одинаковый у них
В груди таился червь страданья.
Хранить в несбыточные дни
Надежду гордую до гроба
С рожденья их осуждены
Они равно, казалось, оба.
Но шутка ль рока то была —
Не остроумная нимало, —
Как он, горда, больна и зла,
Она его не понимала.
Они расстались... Умер он,
До смерти мученик недуга,
И где-то там, под небом юга,
Под сенью гор похоронён.
А ей послал, как он предрек,
Скупой на всё, дающий вволю,
Чего не просят, мудрый рок
Благополучнейшую долю:
Своя семья, известный круг
Своих, которые играли
По грошу в преферанс, супруг,
Всю жизнь не ведавший печали,
Романов враг, халата друг, —
Ей жизнь цветами украшали.
А всё казалось, что порой
Ей было душно, было жарко,
Что на щеках горел так ярко
Румянец грешный и больной,
Что жаждой прежних, странных снов
Болезненно сияли очи,
Что не одной бессонной ночи
Вы б доискались в ней следов.

Август 1844

21. ПРОСТИ

I only know — we loved in vain —
I only feel — farewell, farewell!

Byron[1]

Прости!.. Покорен воле рока,
Без глупых жалоб и упрека,
Я говорю тебе: прости!
К чему упрек? Я верю твердо,
Что в нас равно страданье гордо,
Что нам одним путем идти.

Мы не пойдем рука с рукою,
Но память прошлого с собою
Нести равно осуждены.
Мы в жизнь, обоим нам пустую,
Уносим веру роковую
В одни несбыточные сны.

И пусть душа твоя нимало
В былые дни не понимала
Души моей, любви моей...
Ее блаженства и мученья
Прошли навек, без разделенья
И без возврата... Что́ мне в ней?

Пускай за то, что мы свободны,
Что горды мы, что странно сходны,
Не суждено сойтиться нам;
Но всё, что мучит и тревожит,
Что грудь сосет и сердце гложет,
Мы разделили пополам.
И нам обоим нет спасенья!..
Тебя не выкупят моленья,
Тебе молитва не дана:
В ней небо слышит без участья
Томленье скуки, жажду счастья,
Мечты несбыточного сна...

Сентябрь 1844

---

[1] Лишь знаю: тщетно мы любили,
Лишь чувствую: прощай, прощай!
Байрон (англ; перевод А. Григорьева). — *Ред.*

22. ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Душный вечер, зимний вечер;
Всё окно заволокло,
Нагорели тускло свечи —
Не темно и не светло...
Брось «Дебаты», ради Бога!
Брось заморское!.. Давно
В «М<осквитянин>е» престрого
О Содоме решено.
Слушай лучше... Тоном выше
Тянет песню самовар,
И мороз трещит на крыше —
Оба, право, Божий дар, —
В зимний вечер, в душный вечер...
Да и вечер нужен нам,
Чтоб без мысли и без речи
Верный счет вести часам.

1844

23. ГОРОД

Да, я люблю его, громадный, гордый град,
    Но не за то, за что другие;
Не здания его, не пышный блеск палат
    И не граниты вековые
Я в нем люблю, о нет! Скорбящею душой
    Я прозреваю в нем иное —
Его страдание под ледяной корой,
    Его страдание больное.

Пусть почву шаткую он заковал в гранит
    И защитил ее от моря,
И пусть сурово он в самом себе таит
    Волненье радости и горя,
И пусть его река к стопам его несет
    И роскоши, и неги дани, —
На них отпечатлен тяжелый след забот,
    Людского пота и страданий.

И пусть горят светло огни его палат,
    Пусть слышны в них веселья звуки, —
Обман, один обман! Они не заглушат
    Безумно страшных стонов муки!

3 Зак. 4110

Страдание одно привык я подмечать,
В окне ль с богатою гардиной,
Иль в темном уголку, — везде его печать!
Страданье — уровень единый!

И в те часы, когда на город гордый мой
Ложится ночь без тьмы и тени,
Когда прозрачно всё, мелькает предо мной
Рой отвратительных видений...
Пусть ночь ясна, как день, пусть тихо всё вокруг,
Пусть всё прозрачно и спокойно, —
В покое том затих на время злой недуг,
И то — прозрачность язвы гнойной.

1 января 1845

24. К ЛАВИНИИ

Он вас любил как эгоист больной,
И без надежд, и без желаний счастья;
К судьбе своей и к вашей без участья,
Он предавался силе роковой...
И помните ль, как он, бывало, вам
Передавал безумно, безотрадно
Свою тоску — и вы к его словам
Прислушивались трепетно и жадно?..
Он понимал, глубоко понимал,
Что не пустым, бесплодно-громким звуком
Его слова вам будут... Обрекал
Он вас давно неисцелимым мукам...

И был вам странен смысл его речей;
Но вполовину понятые речи
Вас увлекали странностью своей
И, всё одни, при каждой новой встрече
Бывали вам понятней и ясней...
И день от дня сильнее обаяли
Вас речи те, как демонская власть,
День ото дня страдание и страсть
Всё новые вам тайны открывали...

И реже стал, и реже с каждым днем
Доверчивый и детски простодушный

Вопрос о жизни, о любви, о том,
Зачем так плакать хочется и скучно...
И всё с ланит заметней исчезал
Румянец детства, глупый и здоровый...
Зато на них румянец жизни новой
Порою ярким пламенем пылал.
И демон жизни с каждым новым днем
Всё новые нашептывал вам сказки,
И стало груди тесно... и огнем,
Огнем соблазна засияли глазки.

И помните ль, как ночь была ясна,
Как шелест листьев страстного лобзанья
Исполнен был... как майская луна
На целый мир кидала обаянье
Несбыточно-восторженного сна?
И помните ль, потупив тихо очи,
Но с радостью, хоть тайной и немой,
Вы слушали — и бред его больной
О полноте блаженства этой ночи,
И то, что он томим недугом злым
И что недуг его неизлечим,
Что он теперь как будто детской сказке
Внимает, что значенье сказки той
Глубоко, но затеряно душой...
И, говоря, он в голубые глазки
Смотрел спокойно, тихо, — а потом
Он говорил так искренно о том,
Что вы — неразрешимая загадка,
Что вы еще не созданы, — и вас
Еще ничто не мучило в тот час,
А с ним была невольно лихорадка...

И лгал ли он пред вами и собой,
Или ему блеснула вера в счастье —
Что нужды вам? зачем ему участье?
Он вас любил как эгоист больной...
И сон любви, и сон безумной муки
Его доныне мучит, может быть,
Но, думаю, от безысходной скуки...
По-моему, пора бы позабыть!

Январь 1845

25. ОТРЫВОК ИЗ СКАЗАНИЙ ОБ ОДНОЙ ТЕМНОЙ ЖИЗНИ

1

С пирмонтских вод приехал он,
Всё так же бледный и больной,
Всё так же тяжко удручен
Ипохондрической тоской...
И, добр по-прежнему со мной,
Он только руку мне пожал
На мой вопрос, что было с ним,
Скитальцем по краям чужим?
Но ничего не отвечал...
Его молчанье было мне
Не новость... Он, по старине,
Рассказов страшно не любил
И очень мало говорил...
Зато рассказывал я сам
Ему подробно обо всех,
Кого он знал; к моим словам
Он был внимателен — и грех
Сказать, чтоб Юрий забывал,
Кого он в старину знавал...
Когда ж напомнил я ему
Про Ольгу... к прошлому всему
Печально-холоден, зевнул
Мой Юрий и рукой махнул...

2

Бывало, часто говорил
Он мне, что от природы был
Он эгоистом сотворен,
Что в этом виноват не он,
Что если нет в душе любви
И веры нет, то не зови
Напрасно их, — спасен лишь тот,
Кто сам спасенья с верой ждет, —
Что неотступно он их звал,
Что, мучась жаждою больной,
Всё ждал их, ждал — и ждать устал...
И, разбирая предо мной
Свои мечты, свои дела,
Он мне доказывал, что в них

Не только искры чувств святых,
Но даже не было и зла.
Он говорил, что для других
В преданьях прошлого — залог
Любви и веры, — а ему
Преданий детства не дал Бог;
Что, веря одному уму,
Привык он чувство рассекать
Анатомическим ножом
И с тайным ужасом читать
Лишь эгоизм, сокрытый в нем,
И знать, что в чувство ни в одно
Ему поверить не дано.

3

Одну привязанность я знал
За Юрием... Не вспоминал
О ней он после никогда;
Но знаю я, что ни года,
Ни даже воля — истребить
Ее печального следа
Не в силах были; позабыть
Не мог он ни добра, ни зла;
И та привязанность была
Так глубока и так странна,
Что любопытна, может быть,
И вам покажется она...
Не думайте, чтоб мог любить
Он женщину, хотя в любовь,
Бывало, веровал вполне,
Хоть в нем кипела тоже кровь...
Но неспособен был вдвойне
И в те лета влюбиться он:
Он был и ветрен, и умен.
Зато в душе иную страсть
Носил он . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

4

Его я знал... Лицо его
Вас поразить бы не могло;

Одно высокое чело
Носило резкую печать
Высоких дум... Но угадать
Вам было б нечего на нем...
Да взгляд его сиял огнем...
Как бездна темен и глубок,
Тот взгляд одно лишь выражал —
Высокий помысл иль упрек...
На нем так ясно почивал
Судьбы таинственный призыв...
К чему — Бог весть! Не совершив
Из дум любимых ни одной,
В деревне, при смерти больной,
Он смерти верить не хотел —
И умер... И его удел
Могилой темною сокрыт...
Но цвет больной его ланит
Давно пророчил для него
Чахотку — больше ничего!

5

Его я знал, — и никого
И никогда не уважал
Я так глубоко, хоть его
Почти по виду только знал,
Иль знал как все, не больше... Он
Ко всем был холоден равно
И неприступно затаен
От всех родных и чуждых; но
Та затаенность не могла
Вас оттолкнуть, — она влекла
К себе невольно. Но о нем
Довольно... К делу перейдем.

6

Одно я знаю: Юрий мой
Был горд до странности смешной;
Ко многим — к тем, кто выше был
Его породой, или слыл
Аристократом (но у нас,
Скажите, где же высший класс?) —
Не слишком ездить он любил...

Но к князю часто он езжал
И свой холодный, резкий тон
С ним в разговоре оставлял...
Хоть с Юрием, быть может, он
Был даже вдвое холодней,
Чем с прочими, — в любви своей
Был Юрий мой неизменим
И, вечно горд, в сношеньях с ним
Был слаб и странен, как дитя...
Да! он любил его, хотя
На сердца искренний привет
Встречал один сухой ответ...

7

Он помнил вечер... Так ясна
Плыла апрельская луна,
Такой молочной белизной
Сияла неба синева,
Так жарко жизнью молодой
Его горела голова,
Так было грустно одному,
И так хотелося ему
Открыться хоть кому-нибудь
И перелить в чужую грудь
Хоть раз один, что он таил,
Как злой недуг, в себе самом,
Чему он с верою служил
И что мучительным огнем
Его сжигало, — и теперь,
В груди его открывши дверь,
На Божий мир взглянуло раз
И с ним слилося в этот час
В созвучье тайном... В этот миг
Зачем судьба столкнула их?
Бог весть!..

8

Случалось вам видать,
Когда начнут издалека
Сбегаться к буре облака
И ветром их начнет сдвигать
Одно с другим? Огонь и гром

Они несут — и ожидать
Сдвиженья страшно вам... Потом
Противный ветер разнесет
Их по противным сторонам...
Скажите: грустно было вам
Иль было весело?..

<Март 1845>

26

Que celui a qui on a fait tort te salue[1]

Когда в душе твоей, сомнением больной,
Проснется память дней минувших,
Надежд, отринутых без трепета тобой
Иль сердце горько обманувших,
И снова встанет ряд первоначальных снов,
Забвенью тщетно обреченых,
Далеких от тебя, как небо от духов,
На небеса ожесточенных,
И вновь страдающий меж ними и тобой
Возникнет в памяти случайно
Смутивший некогда их призрак роковой,
Запечатленный грустной тайной, —
Не проклинай его... Не сожалей о них,
О снах, погибших без возврата.
Кто знает, — света луч, быть может, уж проник
Во тьму страданья и разврата!
О, верь! Ты спасена, когда любила ты...
И в час всеобщего восстанья,
Восстановления начальной чистоты
Глубоко падшего созданья, —
Тебе любовию с ним слиться суждено,
В его сиянье возвращенном,
В час озарения, как будут два одно,
Одним Божественным законом...

Апрель 1845

---

[1] Пусть тебя приветствует тот, кто испытал несправедливость (франц.). — *Ред.*

27. ГЕРОЯМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Facit indignatio versum.
Horatius[1]

Нет, нет — наш путь иной... И дик, и страшен вам
Чернильных жарких битв копеечным бойцам,
Подъятый факел Немезиды;
Вам низость по душе, вам смех страшнее зла,
Вы сердцем любите лишь лай из-за угла
Да бой петуший за обиды!
И где же вам любить, и где же вам страдать
Страданием любви распятого за братий?
И где же вам чело бестрепетно подъять
Пред взмахом топора общественных понятий?
Нет, нет — наш путь иной, и крест не вам нести:
Тяжел, не по плечам, и вы на полпути
Сробеете пред общим криком,
Зане на трапезе Божественной любви
Вы не причастники, не ратоборцы вы
О благородном и великом.
И жребий жалкий ваш, до пошлости смешной,
Пророки ваши вам воспели...
За сплетни праздные, за эгоизм больной,
В скотском бесстрастии и с гордостью немой,
Без сожаления и цели,
Безумно погибать и завещать друзьям
Всю пустоту души и весь печальный хлам
Пустых и детских грез да шаткое безверье;
Иль целый век звонить досужим языком
О чуждом вовсе вам великом и святом
С богохуленьем лицемерья!..
Нет, нет — наш путь иной! Вы не видали их,
Египта древнего живущих изваяний,
С очами тихими, недвижных и немых,
С челом, сияющим от царственных венчаний.
Вы не видали их, — в недвижных их чертах
Вы жизни страшных тайн бесстрашного сознанья
С надеждой не прочли: им книга упованья
По воле Вечного начертана в звездах.
Но вы не зрели их, не видели меж нами

---

[1] Негодование рождает стих. *Гораций* (лат.).— *Ред.*

И теми сфинксами таинственную связь...
Иль, если б видели, — нечистыми руками
С подножий совлекли б, чтоб уравнять их с вами,
В демагогическую грязь!

22 мая 1845

28. ПЕСНЯ ДУХА НАД ХРИЗАЛИДОЙ

1

Ты веришь ли в силу страданья,
Ты веришь ли в право святого восстанья,
Ты веришь ли в счастье и в небо, дитя?
О, если ты веришь — со мною, за мною!
Я дам тебе муки и счастья, хотя
От тебя я не скрою,
Что не дам я покою,
Что тебя я страданьем измучу, дитя!..

2

Ты ждешь ли от сна пробужденья,
Ты ждешь ли рассвета, души откровенья,
Ты чуешь ли душу живую, дитя?
О, если ты чуешь — со мною, за мною!
Сведу тебе с неба я душу, хотя
От тебя я не скрою,
Что безумной тоскою
По отчизне я душу наполню, дитя.

3

Меня ль одного ты любила,
Моя ль в тебе воля, моя ль в тебе сила,
Мое ли дыханье пила ты, дитя?
О, если мое, — ты со мною, за мною!
Во мне ты исчезнешь любовью, хотя
От тебя я не скрою,
Что тобой не одною
Возвращусь я к покою и свету, дитя.

Июль 1845

29

Нет, не тебе идти со мной
К высокой цели бытия,
И не тебя душа моя
Звала подругой и сестрой.

Я не тебя в тебе любил,
Но лучшей участи залог,
Но ту печать, которой Бог
Твою природу заклеймил.

И думал я, что ту печать
Ты сохранишь среди борьбы,
Что против света и судьбы
Ты в силах голову поднять.

Но дорог суд тебе людской,
И мненье дорого рабов,
Не ненавидишь ты оков, —
Мой путь иной, мой путь не твой.

Тебя молить я слишком горд, —
Мы не равны ни здесь, ни там,
И в хоре звезд не слиться нам
В созвучий родственных аккорд.

И пусть твой образ роковой
Мне никогда не позабыть, —
Мне стыдно женщину любить
И не назвать ее сестрой.

Июль 1845

30. ЗВУКИ

А. Е. Варламову

Опять они... Звучат напевы снова
Безрадостной тоской...
Я рад им, рад! они — замена слова
Душе моей больной.

Они звучат безумными мечтами,
Которые сказать

Смешно и стыдно было бы словами,
Которых не прогнать.

Они звучат прошедшим небывалым
И снами светлых лет —
Стремлением напрасным и усталым
К теням, которых нет...

Август 1845

31. ПРИЗРАК

Проходят годы длинной полосою,
Однообразной цепью ежедневных
Забот, и нужд, и тягостных вопросов;
От них желаний жажда замирает,
И гуще кровь становится, и сердце,
Больное сердце, привыкает к боли;
Грубеет сердце: многое, что прежде
В нем чуткое страданье пробуждало,
Теперь проходит мимо незаметно;
И то, что грудь давило прежде сильно
И что стряхнуть она приподнималась,
Теперь легло на дно тяжелым камнем;
И то, что было ропотом надежды,
Нетерпеливым ропотом, то стало
Одною злобой гордой и суровой,
Одним лишь мятежом упорным, грустным,
Одной борьбой без мысли о победе;
И злобный ум безжалостно смеется
Над прежними, над светлыми мечтами,
Зане вполне, глубоко понимает,
Как были те мечты несообразны
С течением вещей обыкновенным.

Но между тем с одним лишь не могу я
Как с истиной разумной примириться,
Тем примиреньем ненависти вечной,
В груди замкнутой ненависти... — Это
Потеря без надежды, без возврата,
Потеря, от которой стон невольный
Из сердца вырывается и трепет
Объемлет тело, — судорожный трепет!..

Есть призрак... В ночь бессонную ль, во сне ли
Мучительно-тревожном он предстанет,
Он — будто свет зловещей, но прекрасной
Кометы — сердце тягостно сжимает
И между тем влечет неотразимо,
Как будто есть меж ним и этим сердцем
Неведомая связь, как будто было
Возможно им когда соединенье.

Еще вчера явился мне тот призрак,
Страдающий, болезненный... Его я
Не назову по имени; бывают
Мгновения, когда зову я этим
Любимым именем все муки жизни,
Всю жизнь... Готов поверить я, что демон,
Мой демон внутренний, то имя принял
И образ тот... Его вчера я видел...

Она была бледна, желта, печальна,
И на ланитах впалых лихорадка
Румянцем жарким разыгралась; очи
Сияли блеском ярким, но холодным,
Безжизненным и неподвижным блеском...
Она была страшна... была прекрасна...

«О, вы ли это?» — я сказал ей. Тихо
Ее уста зашевелились, речи
Я не слыхал, — то было лишь движенье
Без звука, то не жизнь была, то было
Иной и внешней силе подчиненье —
Не жизнь, но смерть, подъятая из праха
Могущественной волей чуждой силы.

Мне было бесконечно грустно... Стоны
Из груди вырвались, — то были стоны
Проклятья и хулы безумно-страшной,
Хулы на жизнь... Хотел я смерти бледной
Свое дыханье передать, и страстно
Слились мои уста с ее устами...
И мне казалось, что мое дыханье
Ее насквозь проникло, — очи в очи
У нас гляделись, зажигались жизнью
Ее глаза, я видел...
Смертный холод
Я чувствовал...

И целый день тоскою
Терзался я, и тягостный вопрос
Запал мне в душу: для чего болезнен
Сопутник мой, неотразимый призрак?
Иль для чего в душе он возникает
Не иначе... Иль для чего люблю я
Не светлое, воздушное виденье,
Но тот больной, печальный, бледный призрак?..

Август 1845

32. ВОПРОС

. . . .
. . . .
Уехал он. В кружке, куда, бывало,
Ходил он выливать всю бездну скуки
Своей, тогда бесплодной, ложной жизни,
Откуда выносил он много желчи
Да к самому себе презренья; в этом
Кружке, спокойном и довольном жизнью,
Собой, своим умом и новой книгой,
Прочтенной и положенной на полку, —
Подчас, когда иссякнут разговоры
О счастии семейном, о погоде,
Да новых мыслей, вычитанных в новом
Романе Санда (вольных, страшных мыслей,
На вечер подготовленных нарочно
И скинутых потом, как вицмундир),
Запас нежданно истощится скоро, —
О нем тогда заводят речь иные
С иронией предоброй и преглупой
Или с участием, хоть злым, но пошлым
И потому нисколько не опасным,
И рассуждают иль о том, давно ли
И как он помешался, иль о том,
Когда он, сыну блудному подобный,
Воротится с раскаяньем и снова
Придет в кружок друзей великодушных
И рабствовать, и лгать...
Тогда она,
Которую любил он так безумно,
Так неприлично истинно, она
Что думает, когда о нем подумать

Ее заставят поневоле? — То ли,
Что он придет, склонив главу под гнетом
Необходимости и предрассудков,
И что больной, но потерявший право
На гордость и проклятие, он станет
Искать ее участья и презренья?
Иль то, что он, с челом, подъятым к небу,
Пройдет по миру, вольный житель мира,
С недвижною презрительной улыбкой
И с язвою в груди неизлечимой,
С приветом ей на вечную разлуку,
С приветом оклеветанного гордым,
Который первый разделил, что было
Едино, и подъял на раменах
Всю тяжесть разделения и жизни?

Сентябрь 1845

33. НОЧЬ

Немая ночь, сияют мириады
Небесных звезд — вся в блестках синева:
То вечный храм зажег свои лампады
Во славу Божества.

Немая ночь, — и в ней слышнее шепот
Таинственных природы вечной сил:
То гимн любви, пока безумный ропот
Его не заглушил.

Немая ночь: но тщетно песнь моленья
Больному сердцу в памяти искать...
Ему смешно излить благословенья
И страшно проклинать.

Пред хором звезд невозмутимо-стройным
Оно судьбу на суд дерзнет ли звать
Или своим вопросом беспокойным
Созданье возмущать?

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Он нет! о нет! когда благословенья
Забыты им средь суетных тревог,
Ему на часть, в час общий примиренья,
    Послал забвенье Бог.

Забвение о том, что половиной,
Что лучшей половиною оно
В живую жертву мудрости единой
    Давно обречено...

Сентябрь 1845

34. ВЛАДЕЛЬЦАМ АЛЬБОМА

Пестрить мне страшно ваш альбом
Своими грешными стихами;
Как ваша жизнь, он незнаком
Иль раззнакомился с страстями.

Он чист и бел, как светлый храм
Архитектуры древне-строгой.
Где служат истинному Богу,
Там места нет земным богам.

И я, отвыкший от моленья,
Я — старый нравственности враг —
Невольно сам в его стенах
Готов в порыве умиленья
Пред чистотой упасть во прах.

О да, о да! не зачернит
Его страниц мой стих мятежный
И в храм со мной не забежит
Мой демон — ропот неизбежный.

Пускай больна душа моя,
Пускай она не верит гордо...
Но в вас я верю слишком твердо,
Но веры вам желаю я.

Ноябрь 1845

35. МОЛИТВА

О Боже, о Боже, хоть луч благодати Твоей,
Хоть искрой любви освети мою душу больную;
Как в бездне заглохшей, на дне всё волнуется в ней,
Остатки мучительных, жадных, палящих страстей...
Отец, я безумно, я страшно, я смертно тоскую!
Не вся еще жизнь истощилась в бесплодной борьбе:
Последние силы бунтуют, не зная покою,
И рвутся из мрака тюрьмы разрешиться в Тебе!
О, внемли же их стону, Спаситель! внемли их мольбе,
Зане я истерзан их страшной, их смертной тоскою.
Источник покоя и мира, — страданий
пошли им скорей,
Дай жизни и света, дай зла и добра разделенья —
Освети, оживи и сожги их любовью своей,
Дай мира, о Боже, дай жизни и дай истощенья!

Май—декабрь 1845

36

Расстались мы — и встретимся ли снова
И где и как мы встретимся опять,
То знает Бог, а я отвык уж знать,
Да и мечтать мне стало нездорово...
Знать и не знать — ужель не всё равно?
Грядущее — неумолимо строго,
Как водится... Расстались мы давно,
И, зная то, я знаю слишком много...
Поверье то, что знание беда, —
Сбывается. Стареем мы прескоро
В наш скорый век. Так в ночь, от приговора,
Седеет осужденный иногда.

1845

37. К ЛЕЛИИ

А. И. О.

Я верю, мы равны... Неутолимой жаждой
Страдаешь ты, как я, о гордый ангел мой!

И ропот на небо мятежный — помысл каждый,
Молитва каждая души твоей больной.
Зачем же, полные страданья и неверья
В кумиры падшие, в разбитые мечты,
Личину глупую пустого лицемерья
Один перед другим не сбросим я и ты?
К чему служение преданиям попранным
И робость перед тем, что нам смешно давно,
Когда в грядущем мы живем обетованно,
Когда прошедшее отвергли мы давно?
Хотела б тщетно ты мольбою и слезами
Душе смирение и веру возвратить...
Молитва не дружна с безумными мечтами,
Страданьем гордости смиренья не купить...
И если б даже ты нашла покой обмана,
То верь, твоя душа, о гордый ангел мой,
Отринет вновь его... И поздно или рано —
Но мы пойдем опять страдать рука с рукой.

1845

38. А. Е. ВАРЛАМОВУ

(ПРИ ПОСЫЛКЕ СТИХОТВОРЕНИЙ)

Да будут вам посвящены
Из сердца вырванные звуки:
Быть может, оба мы равны
Безумной верой в счастье муки.

Быть может, оба мы страдать
И не просить успокоенья
Равно привыкли — и забвенье,
А не блаженство понимать.

Да, это так, я слышал в них,
В твоих напевах безотрадных,
Тоску надежд безумно жадных
И память радостей былых.

1845

39—40. ДВА СОНЕТА

1

Привет тебе, последний луч денницы,
Дитя зари, — привет прощальный мой!
Чиста, как свет, легка, как Божьи птицы,
Ты не сестра душе моей больной.

Душа моя в тебе искала жрицы
Святых страданий, воли роковой,
И в чудных грезах гордостью царицы
Твой детский лик сиял передо мной.

То был лишь сон... С насмешливой улыбкой
Отмечен в книге жизни новый лист
Еще одной печальною ошибкой...

Но я, дитя, перед тобою чист!
Я был жрецом, я был пророком Бога,
И, жертва сам, страдал я слишком много.

2

О, помяни, когда тебя обманет
Доверье снам и призракам крылатым
И по устам, невольной грустью сжатым,
Змея насмешки злобно виться станет!..

О, пусть тогда душа твоя помянет
Того, чьи речи буйством и развратом
Тебе звучали, пусть он старшим братом
Перед тобой, оправданный, восстанет.

О, помяни... Он верит в оправданье,
Ему дано в твоем грядущем видеть,
И знает он, что ты поймешь страданье,

Что будешь ты, как он же, ненавидеть,
Хоть небеса к любви тебя создали, —
Что вспомнишь ты пророка в час печали.

1 декабря 1845

41. ГОРОД

Посвящается И. А. Манну

Великолепный град! пускай тебя иной
Приветствует с надеждой и любовью,
Кому не обнажен скелет печальный твой,
Чье сердце ты еще не облил кровью
И страшным холодом не мог еще обдать,
И не сковал уста тяжелой думой,
И ранней старости не положил печать
На бледный лик, суровый и угрюмый.

Пускай мечтает он над светлою рекой
Об участи, как та река, широкой,
И в ночь прозрачную, любуяся тобой,
Дремотою смежить боится око,
И длинный столб луны на зыби волн следит,
И очи шлет к неведомым палатам,
Еще дивясь тебе, закованный в гранит
Гигант, больной гниеньем и развратом.

Пускай, по улицам угла́женным твоим
Бродя без цели, с вечным изумленьем,
Еще на многих он встречающихся с ним
Подъемлет взор с немалым благоговеньем
И видеть думает избранников богов,
Светил и глав младого поколенья,
Пока лицом к лицу не узрит в них глупцов
Или рабов презренных униженья.

Пускай, томительным снедаемый огнем,
Под ризою немой волшебной ночи,
Готов поверить он, с притворством незнаком,
В зовущие увлажненные очи,
Готов еще страдать о падшей красоте
И звать в ее объятьях наслажденье,
Пока во всей его позорной наготе
Не узрит он недуга истощенье.

Но я — я чужд тебе, великолепный град.
Ни тихих слез, ни бешеного смеха
Не вырвет у меня ни твой больной разврат,
Ни над святыней жалкая потеха.
Тебе уже ничем не удивить меня —

Ни гордостью дешевого безверья,
Ни коловратностью бессмысленного дня,
Ни бесполезной маской лицемерья.
Увы, столь многое прошло передо мной:
До слез, до слез страдание смешное,
И не один порыв возвышенно-святой,
И не одно великое земное
Судьба передо мной по ветру разнесла,
И не один погиб избранник века,
И не одна душа за деньги продала
Свою святыню — гордость человека.

И не один из тех, когда-то полных сил,
Искавших жадно лучшего когда-то,
Благоразумно бред покинуть рассудил
Или погиб добычею разврата;
А многие из них навеки отреклись
От всех надежд безумных и опасных,
Спокойно в чьи-нибудь холопы продались
И за людей слывут себе прекрасных.

Любуйся ж, юноша, на пышный, гордый град,
Стремись к нему с надеждой и любовью,
Пока еще тебя не истощил разврат
Иль гнев твое не обдал сердце кровью,
Пока еще тебе в Божественных лучах
Сияет всё великое земное,
Пока еще тебя не объял рабский страх
Иль истощенье жалкое покоя.

1845 или 1846

42

Нет, не рожден я биться лбом,
Ни терпеливо ждать в передней,
Ни есть за княжеским столом,
Ни с умиленьем слушать бредни.
Нет, не рожден я быть рабом,
Мне даже в церкви за обедней
Бывает скверно, каюсь в том,
Прослушать Августейший дом.
И то, что чувствовал Марат,
Порой способен понимать я,

И будь сам Бог аристократ,
Ему б я гордо пел проклятья...
Но на кресте распятый Бог
Был сын толпы и демагог.

1845 или 1846

42. ВСЕВЕДЕНЬЕ ПОЭТА

О, верь мне, верь, что не шутя
Я говорю с тобой, дитя.
Поэт — пророк, ему дано
Провидеть в будущем чужом.
Со всем, что для других темно,
Судьбы избранник, он знаком.
Ему неведомая даль
Грядущих дней обнажена,
Ему чужая речь ясна,
И в ней и радость, и печаль,
И страсть, и муки видит он,
Чужой подслушивает стон,
Чужой подсматривает взгляд,
И даже видит, говорят,
Как зарождается, растет
Души таинственный цветок,
И куклу-девочку зовет
К любви и жизни вечный рок,
Как тихо в девственную грудь
Любви вливается струя,
И ей от жажды бытия
Вольнее хочется вздохнуть,
Как жажда жизни на простор
Румянца рвется в ней огнем
И, утомленная, потом
Ей обливает влагой взор,
И как глядится в влаге той
Творящий душу дух иной...
И как он взглядом будит в ней
И призывает к бытию
На дне сокрытую змею,
Змею страданий и страстей —
Змею различия и зла...

Дитя, дитя, — ты так светла,
В груди твоей читаю я,
Как бездна, движется она,
Как бездна, тайн она полна,
В ней зарождается змея.

<1846>

44. ОЖИДАНИЕ

Тебя я жду, тебя я жду,
Сестра харит, подруга граций;
Ты мне сказала: «Я приду
Под сень таинственных акаций».
Облито влагой всё кругом,
Немеет всё в томленье грезы,
Лишь в сладострастии немом
Благоуханьем дышат розы,
Да ключ таинственно журчит
Лобзаньем страстным и нескромным,
Да длинный луч луны дрожит
Из-за ветвей сияньем томным.

Тебя я жду, тебя я жду.
Нам каждый миг в блаженстве дорог;
Я внемлю жадно каждый шорох
И каждый звук в твоем саду.
Листы ли шепчутся с листами,
На тайный зов, на тихий зов
Я отвечать уже готов
Лобзаний жадными устами.
Сестра харит, — тебя я жду;
Ты мне сама, подруга граций,
Сказала тихо: «Я приду
Под сень таинственных акаций».

<1846>

45. В АЛЬБОМ В. С. М<ЕЖЕВИ>ЧА

Чредою быстрой льются годы, —
Но, Боже мой, еще быстрей
И безвозвратней для людей
Проходят призраки свободы,

Надежды участи иной,
Теней воздушных легкий рой!
И вы — не правда ль? — вы довольно
На свете жили, чтобы знать,
Как что-то надобно стеснять —
Порывы сердца добровольно,
Зане — увы! кто хочет жить,
Тот должен жизнь в себе таить!
Блажен, блажен, кто не бесплодно
В груди стремленья заковал,
Кто их, для них самих, скрывал;
Кто — их служитель благородный —
На свете мог хоть чем-нибудь
Означить свой печальный путь!
И вы стремились, вы любили
И часто, может быть, любя
Себя — от самого себя —
С сердечной болью вы таили!..
И, верьте истины словам,
«По вере вашей будет вам!»
И пусть не раз святая вера
Была для вас потрясена,
Пусть жизнь подчас для вас полна
Страдания — награды мера!
И кто страданием святым
Страдал — тот возвеличен им!
Да! словом веры, Божьим словом,
На новый жизни вашей год
Я вас приветствую! Пройдет
Для вас, я верю, он не в новом
Стремленье — хоть одной чертой
Означить бедный путь земной!

26 февраля 1846

46. ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ

Прощай, холодный и бесстрастный,
Великолепный град рабов,
Казарм, б<орделей> и дворцов,
С твоею ночью гнойно-ясной,
С твоей холодностью ужасной
К ударам палок и кнутов,
С твоею подлой <царской> службой,

С твоим тщеславьем мелочным,
С твоей чиновнической <жопой>!
Которой славны, например,
И Калайдович, и Лакьер,
С твоей претензией — с Европой
Идти и в уровень стоять...
Будь проклят ты, <е .... мать>!

Февраль 1846

47

Когда колокола торжественно звучат
Иль ухо чуткое услышит звон их дальной,
Невольно думою печальною объят,
Как будто песни погребальной,
Веселым звукам их внимаю грустно я,
И тайным ропотом полна душа моя.
Преданье ль темное тайник взволнует груди
Иль точно в звуках тех таится звук иной,
Но, мнится, колокол я слышу вечевой,
Разбитый, может быть, на тысячи орудий,
Властям когда-то роковой.
Да, умер он, давно замолк язык народа,
Склонившего главу под тяжкий царский кнут;
Но встанет грозный день, но воззовет свобода
И камни вопли издадут,
И расточенный прах и кости исполина
Совокупит опять дух Божий воедино.
И звучным голосом он снова загудит,
И в оный судный день, в расплаты час кровавый,
В нем новгородская душа заговорит
Московской речью величавой...
И весело тогда на башнях и стенах
Народной вольности завеет красный стяг...

1 марта 1846,
Москва

48—50. ЭЛЕГИИ

1

В час, когда, утомлен бездействием душно-тяжелым
Или делом бесплодным — делом хуже безделья, —

Я под кров свой вхожу — и с какой-то тоской озираю
Стены, ложе да стол, на котором по глупой,
Старой, вечной привычке ищу поневоле глазами,
Нет ли вести какой издалёка, худой или доброй
Всё равно, лишь бы вести,
и роюсь заведомо тщетно —
Так, чтоб рыться, — в бумагах... В час, когда обливает
Светом серым своим финская ночь комнату, — снова
Сердце болит и чего-то просит, хотя от *чего-то*
Я отрекся давно, заменил неизвестное *что-то* —
Глупое, сладкое *что-то* — суровым,
холодно-печальным
Нечто... Пусть это нечто звучит душе одномерно,
Словно маятник старых часов, — зато для желудка
Это нечто здоровей... Чего тебе, глупое сердце?
Что за вестей тебе хочется? Знай себе бейся ровнее,
Лучше будет, поверь... Вести о чем-нибудь малом,
Дурны ль они, хороши ль, только кровь
понапрасну волнуют.
Лучше жить без вестей, лучше, чтоб не было даже
И желаний о ком да о чем-нибудь знать. И чего же
Надо тебе, непокорное, гордое сердце, — само ты
Хочешь быть господином, а просишь всё уз да неволи,
Женской ласки да встречи горячей... За эти
Ласки да встречи — плохая расплата, не всё ли
Ты свободно любить, ничего не любя... не завидуй.
Бедное сердце больное — люби себе всё или вовсе
Ничего не любя — от избытка любви одиноко,
Гордо, тихо страдай да живи презрением вволю.

2

Будет миг... мы встретимся, это я знаю — недаром
Словно песня мучит меня недопетая часто
Облик тонко-прозрачный с больным
лихорадки румянцем,
С ярким блеском очей голубых... Мы встретимся —
знаю,
Знаю всё наперед, как знал я про нашу разлуку.
Ты была молода, от жизни ты жизни просила,
Злилась на свет и людей, на себя,
на меня еще злилась...
Злость тебе чудно пристала... но было бы трудно
ужиться

Нам обоим... упорно хотела ты верить надеждам
Мне назло да рассудку назло... А будет время иное,
Ты устанешь, как я, — усталые оба, друг другу
Руку мы подадим и пойдем одиноко по жизни
Без боязни измены, без мук душевных, без горя,
Да и без радости тоже — выдохшись поровну оба,
Мудрость рока сознавши. Дает он, чего мы не просим,
Сколько угодно душе — но опасно, поверь мне,
опасно
И просить, и желать — за минуты мы платим
Дорого. Стоит ли свеч игра?.. И притом же
Рано иль поздно — устанем... Нельзя ж поцелуем
Выдохнуть ду́шу одним... Догорим себе тихо,
Но, догорая, мой друг, в пламень единый сольемся.

3

Часто мне говоришь ты, склонясь
темно-русой головкой,
Робко взор опустив, о грустном и тяжком бывалом.
Бедный, напуганный, грустный ребенок, о, верь мне:
Нас с тобою вполне сроднило крепко — паденье.
Если б чиста ты была — то, знай, никогда б головою
Гордой я не склонился к тебе на колени и страстно
Не прильнул бы ни разу к маленькой ножке устами.
Только тому я раб, над чем безгранично владею,
Только с тобою могу я себе самому предаваться,
Предаваясь тебе... Подними же чело молодое,
Руку дай мне и встань, чтобы мог я упасть
пред тобою.

Май 1846

51. К***

Была пора... В тебе когда-то,
Как и во многих, был готов
Я признавать по духу брата...
Еще тогда себя за злато
Не продал ты в рабы рабов.

Еще тогда, тоской стремленья,
Тоскою общею томим,
Ты не чертил... *для примиренья*

Обычно-глупого теченья
Желаньям бешеным своим.

Была пора... но осквернили
Мы оба праздною враждой
Свое прошедшее, и ты ли,
Иль я был прав — мы оба были
Рабами глупости смешной.

И вновь мы встретилися оба,
Свела случайно нас судьба,
Давно ребяческая злоба
Прошла... но, видно, уж до гроба
Мы вечно будем два раба.

Боясь узнать один другого,
Стыдясь взаимной клеветы,
Из-за тщеславия пустого
Один другому руку снова
Не подадим — ни я, ни ты.

20 июля 1846

52—57. СТАРЫЕ ПЕСНИ, СТАРЫЕ СКАЗКИ

Посвящены С<офье>е Г<ригорьевне>е К<орш>

1

Книга старинная, книга забытая,
    Ты ли попалась мне вновь —
Глупая книга, слезами облитая,
В годы, когда, для любви не закрытая,
    Душа понимала любовь!

С страниц пожелтелых, местами разорванных,
    Что это веет опять?
Запах цветов ли, безвременно сорванных,
Звуки ли струн, в исступлении порванных,
    Святой ли любви благодать?

Что бы то ни было, — книга забытая,
    О, не буди, не тревожь
Муки заснувшие, раны закрытые...
Прочь твои пятна, годами не смытые,
    И прочь твоя сладкая ложь!

Ждешь ли ты слез? Ожидания тщетные! —
    Ты на страницах своих
Слез сохранила следы неисчетные;
Были то первые слезы, заветные,
    Да что ж было проку от них?

В годы ли детства с моления шепотом,
    Ночью ль бессонной потом
Лились те слезы с рыданьем и ропотом, —
Что мне за дело? Изведан я опытом,
    С надеждой давно незнаком.

Звать я на суд тебя, книга лукавая,
    Перед рассудком готов —
Ты содрогнешься пред ним как неправая:
Ты облила своей сладкой отравою
    Ряд даром прожитых годов...

2

В час томительного бденья,
В час бессонного страданья
О тебе мои моленья,
О тебе мои стенанья.

И тебя, мой ангел света,
Озарить молю я снова
Бедный путь — лучом привета,
Звуком ласкового слова.

Но на зов мой безответна —
Тишина и тьма ночная...
Безраздельна, беспредметна
Грусть бесплодная, больная!

Или то, что пережито,
Как мертвец, к стенаньям глухо,
Как эдем, навек закрыто
Для отверженного духа?

Отчего же сердце просит
Всё любви, не уставая,
И упорно память носит
Дней утраченного рая?

Отчего в часы томленья,
В ночь бессонную страданья
О тебе мои моленья,
О тебе мои стенанья?

3

Бывают дни... В усталой и разбитой
Душе моей огонь, под пеплом скрытый,
Надежд, желаний вспыхнет... Снова, снова
Больная грудь высоко подыматься,
И трепетать, и чувствовать готова,
И льются слезы... С ними жаль расстаться,
Так хороши и сладки эти слезы,
Так верится в несбыточные грезы.

Одной тебе, мой ангел, слезы эти,
Одной тебе... О, верь, ничто на свете
Не выжмет слез из глаз моих иное...
Пускай любви, пускай я воли жажду,
В спокойствие закован ледяное,
Внутри себя я радуюсь и стражду,
Но образ твой с очами голубыми
Встречаю я рыданьями глухими.

4

То летняя ночь, июньская ночь то была,
Когда они оба под старыми липами
вместе бродили, —
Казенная спутница страсти, по небу плыла
Луна неизбежная... Тихо листы говорили —
Всё было как следует, так, как ведется всегда,
Они только оба о вздоре болтали тогда.

Две тени большие, две тени по старой стене
За ними бежали и тесно друг с другом сливались.
И эти две тени большие — молчали оне,
Но, видно, затем, что давно уж друг другу сказались;
И чуть ли две тени большие в таинственный миг
Не счастливей были, умней чуть ли не были их.

Был вечер тяжелый и душный... и вьюга в окно
Стучала печально... в гостиной свеча нагорела —

Всё было так скучно, всё было так кстати темно —
Лицо ее ярким румянцем болезни алело;
Он был, как всегда, и насмешлив, и холодно зол,
Зевая, взял шляпу, зевая, с обычным поклоном ушел.

И только... Он ей не сказал на разлуку *прости*,
Комедией глупой не стал добиваться признанья,
И память неконченной драмы унес он в груди...
Он право хотел сохранить на хулу и роптанье —
И долго, и глупо он тешился праздной хулой,
Пока над ним тешился лучше и проще другой.

5

Есть старая песня, печальная песня одна,
И под сводом небесным давно раздается она.

И глупая старая песня — она надоела давно,
В той песне печальной поется всегда про одно.

Про то, как любили друг друга — человек и жена,
Про то, как покорно *ему* предавалась *она*.

Как часто дышала она тяжело-горячо,
Головою склоняяся тихо к нему на плечо.

И как Божий мир им широк представлялся вдвоем,
И как трудно им было расставаться потом.

Как ему говорили: «Пускай тебя любит она —
Вы не пара друг другу», а ей: «Ты чужая жена!»

И как умирал он вдали, изнурен, одинок,
А она изнывала, как сорванный с корня цветок.

Ту глупую песню я знаю давно наизусть,
Но — услышу ее — на душе безысходная грусть.

Та песня — всё к тем же несется она небесам,
Под которыми весело-любо свистать соловьям,

Под которыми слышен страстный шепот листов
И к которым восходят испаренья цветов.

И доколе та песня под сводом звучит голубым,
Благородной душе не склониться во прахе пред ним.

Но, высоко поднявши чело, на вражду, на борьбу,
Видно, звать ей надменно всегда лиходейку-судьбу.

6

Старинные, мучительные сны!
Как стук сверчка иль визг пилы железной,
Как дребезжанье порванной струны,
Как плач и вой о мертвом бесполезный,
Мне тягостны мучительные сны.
Зачем они так дерзко неотвязны,
Как ночи финские с их гнойной белизной, —
Зачем они терзают грудь тоской?
Зачем безумны, мутны и бессвязны,
Лишь прожитым одним они полны —
Те старые, болезненные сны?
И от души чего теперь им надо?
Им — совести бичам и выходцам из ада,
Со дна души подъявшимся змеям?
Иль больше нечего сосать им жадно там?
Иль жив доселе коршун Прометея,
Не разрешен с Зевесом старый спор,
И человек, рассеять дым не смея,
Привык лишь проклинать свой страшный приговор?
Или за миром призрачных явлений
Нам тщетно суждено, бесплодно жизнь губя,
Искать себя, искать тебя,
О разрушения зиждительного гений?
Пора, пора тебе, о демон мировой,
Разбить последние оплоты
И кончить весь расчет с дряхлеющей землей...
Уже совершены подземные работы,
Основы сущего подкопаны давно...
Давно создание Творцом осуждено,
Чего ж ты ждешь еще?
. . . .

Июль 1846

58. К***

— «Ты веришь в правду и в закон,
Скажи мне не шутя?»
— «Дитя мое, любовь — *закон,*

И *правда* — то, что я влюблен
В тебя, мое дитя».
— «Но в благородные мечты
Ты веришь или нет?»
— «Мой друг, ты лучше, чем мечты, —
Что благородней красоты?
В тебе самой ответ!»
— «Хотя в добро бы иль хотя б
В свободу верил ты?»
— «К чему, дитя мое? Тогда б
Я не был счастлив, не был раб
Любви и красоты».
— «Хотя бы в вечную любовь
Ты верить, милый, мог?»
— «Дитя мое! волна — любовь,
Волна с волной сойдется ль вновь —
То знает только Бог!»
— «Ну, если так — то верь хоть в страсть,
Предайся ей вполне!»
— «Тебе ль не знать, что верю в страсть?
Но я, храня рассудка власть,
Блаженствую вдвойне!»

Август 1846

59. АРТИСТКЕ

Когда, как женщина, тиха
И величава, как царица,
Ты предстоишь рабам греха,
Искусства девственного жрица,

Как изваянье холодна,
Как изваянье ты прекрасна,
Твое чело — спокойно-ясно;
Богов служенью ты верна.

Тогда тебе не нужны дани
Вперед заказанных цветов,
И выше ты рукоплесканий
Толпы упившихся рабов.

Когда ж и их восторг казенный
Расшевелит на грубый взрыв

Твой шепот, страстью вдохновленный,
Твой лихорадочный порыв,

Мне тяжело, мне слишком гадко,
Что эта страсти простота,
Что эта сердца лихорадка
И псами храма понята.

Октябрь 1846

60

С тайною тоскою,
Смертною тоской,
Я перед тобою,
Светлый ангел мой.
Пусть сияет счастье
Мне в очах твоих,
Полных сладострастья,
Томно-голубых.

Пусть душой тону я
В этой влаге глаз,
Всё же я тоскую
За обоих нас.
Пусть журчит струею
Детский лепет твой,
В грудь мою тоскою
Льется он одной.

Не тоской стремленья,
Не святой слезой,
Не слезой моленья —
Грешною хулой:
Тщетно на распятье
Обращен мой взор —
На устах проклятье,
На душе укор.

1846?

61. ТОПОЛЮ

Серебряный тополь, мы ровни с тобой,
Но ты беззаботно-кудрявой главой
Поднялся высоко; раскинул широкую тень
И весело шелестом листьев приветствуешь день.

Ровесник мой тополь, мы молоды оба равно
И поровну сил нам, быть может, с тобою дано —
Но всякое утро поит тебя Божья роса,
Ночные приветно глядят на тебя небеса.

Кудрявый мой тополь, с тобой нам равно тяжело
Склонить и погнуть перед силою ветра чело...
Но свеж и здоров ты, и строен и прям,
Молись же, товарищ, ночным небесам!

6 июля 1847

62. АВТОРУ «ЛИДИИ» И «МАРКИЗЫ ЛУИДЖИ»

Кто б ни был ты иль кто б ты ни была,
Привет тебе, мечтатель вдохновенный,
Хотя привет безвестный и смиренный
Не обовьет венцом тебе чела.
Вперед, вперед без страха и сомнений;
Темна стезя, но твой вожатый — гений!

Ты не пошел избитою тропой.
Не послужил ты прихоти печальной
Толпы пустой и мелочной,
Новейшей школы натуральной,
До пресыщенья не ласкал
Голядкина любезный идеал.

Но прожил ты иль прожила ты много,
И много бездн душа твоя прошла,
И смутная живет в тебе тревога;
Величие добра и обаянье зла
Равно изведаны душой твоей широкой.
И образ Лидии, мятежной и высокой,
Не из себя ль самой она взяла?

Есть души, предызбранные судьбою:
В добре и зле пределов нет для них;
  Отмечен помысл каждый их
  Какой-то силой роковою.
И им покоя нет, пока не изольют
  Они иль в образы, иль в звуки
  Свои таинственные муки.
  Но их немногие поймут.
  Толпе неясны их желанья,
  Тоска их — слишком тяжела,
  И слишком смутны ожиданья.

Пусть так! Кто б ни был ты иль кто б ты ни была,
  Вперед, вперед, хоть по пути сомнений,
  Кто б ни был твой вожатый, дух ли зла,
    Или любви и мира гений!

Декабрь 1848

63. <ДНЕВНИК ЛЮБВИ И МОЛИТВЫ>

I

Марта 25, 18.. года

Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,
Nenn's Glück, Liebe, Gott!
Ich kenne keinen Namen
Dafür. Gefühl ist alles...
Name ist Schall und Rauch,
Umnebelnd Himmelsglut[1].

1

И снова он, старинный, мрачный храм,
И тихий свет лампады одинокой,
И в куполе Всевидящее Око,

---

[1] Наполни же всё сердце этим чувством
И, если в нем ты счастье ощутишь,
Зови его как хочешь:
Любовь, блаженство, сердце, Бог!
Нет имени ему. Всё — в чувстве...
А имя — только дым и звук,
Туман, который застилает небосвод (нем., перевод Н. А. Холодковского).— *Ред.*

И лики длинные, как тени, по стенам.
И образы святых над царскими дверями,
Парящих в небе стройными рядами.
И выше всех *Голгофа.* И на ней
Распятый Бог, страдалец за людей.

2

И вспомнил я, как часто в храме том,
Лет за восемь, молился я с отцом,
И снова видел я мольбу его святую,
Восторженный и вместе кроткий взор.
И слышал речь Евангельски простую,
О чудесах Господних разговор...
Как часто он молился со слезами,
И «Верую» с восторгом повторял,
И голову смиренно преклонял
Под выход с страшными и тайными дарами!..
Тогда и я всё ясно понимал
И символ веры набожно читал...
И пению и смыслу дивных слов
Вторил торжественно раскат колоколов...
. . . .
. . . .
И долго был я думой погружен
В былое, пролетевшее как сон.

3

Но я взглянул... И лики предо мною,
Казалось, ожили, но жизнью мертвецов,
И было ли то звон колоколов
Иль смутный сон владел моей душою,
Но слышались мне звуки странных слов.
Казалось мне, ряды святых, как хоры,
Гласили песнь, печальную, как стон,
И вторил им унылый, страшный звон.
Их лики бледные... Недвижимые взоры
И песнь проклятия... То был ужасный сон...
И между них я видел лик знакомый,
Чертами он отца напоминал
И горестным спокойствием сиял...
. . . .
Очнулся я... и было грустно мне,
Но страшно не было. Лишь милой старине

Я отдал дань невольными мечтами;
А вздох сдавил, скрестивши грудь руками.

4

И между тем народ уж находил
И, набожно крестясь, на место становился.
И служба началась, и ряд паникадил
Сиянием свечей мгновенно озарился.
Вдали от всех я у стены стоял
И, ко всему святому равнодушный,
Над верою толпы, живой и простодушной,
В душе, как демон, злобно хохотал.

5

И стало скучно мне.... Ленивою душой
Ни мысль единая, ни чувство не владели.
И проклял я удел блаженный свой,
И мирный быт, и хладный свой покой,
И вечное стремление без цели,
И книжной мудрости на полках длинный ряд,
И споры школьные, и мысли напрокат.
И — почему, зачем — того не знал я,
Но дни младенчества предстали предо мною,
И, словно наяву, я видел пред собою
Картины лучшего, былого бытия.
И видел я в волшебном сновиденье
И детскую постель, и в окна лунный свет,
И над постелью матери портрет,
И образ на стене — ее благословенье.
И вспомнил я, с каким благоговеньем
Я «Отче наш», ложася спать, читал
И на луну смотрел — и тихо засыпал.
И погружался я душой в воспоминанье,
И свиток прошлого внимательно следил.
И, наконец, с тоской и трепетом открыл
Страницу грустную блаженства и страданья.
И снова ты явилась предо мной,
И тот же вид смиренно-горделивый,
И тот же взор коварно-огневой
То блещет радостью, иль опущен стыдливо,
То в небо устремлен с таинственной тоской.
И ожил снова я... и первую любовь,
И слезы, и мечты душа постигла вновь.

И снова видел я — и мраморные плечи,
И ножку легкую, и девственную грудь,
И снова слышал я пленительные речи
Всё так же, как и в день минутной нашей встречи.
Да! ты была одна, с которой жизни путь
Не труден был бы мне... И озарен сияньем
  Звезды моей, могучий упованьем,
Я шел бы с верою путь скорби и труда!..
  Но ты была падучая звезда...
. . . .
. . . .

Не в силах удержать и дум и чувств избыток,
Закрыл я холодно воспоминанья свиток.

6

И стал я на народ смотреть... Но прежних лиц
  Мой взор искал напрасно. Предо мною
  Ряд старых дам да чопорных девиц...
  А назади с смиренной простотою,
  С поклонами земными — ряд купцов
  Да жен и дочек их. Признаться, пустотою
  Душа страдала. Я уж был готов
  Идти скучать домой. Но теснотою
  Удержан был. Ленив я как-то стал
  И до дверей толкаться не желал.
  И вот опять я стал смотреть. Случайно
  (А может быть, по воле неба тайной)
  Мой взгляд упал налево...

7

                    Там *одна*
  Близ гроба Искупителя стояла,
  Молилася так пламенно она,
  Смиренно так колена преклоняла.
  Невольно к ней я взоры приковал
  И отвести не мог... И думать стал:
  Зачем она в тиши уединенья,
  Вдали от всех, хотя и лучше всех?
  И от души ли было то моленье
  Или расчет кокетства? Горький смех
  При мысли той невольный подавляя,
  Я всё смотрел. Меня не замечая,

Всё так же пламенно молилася она,
И никуда свой взор не обращала,
И к миру дольнему была так холодна.
И, признаюсь, за смех мне стыдно стало.
Ее прекрасное и бледное лицо,
Сиявшее тоскою и надеждой,
Тень локонов, свивавшихся в кольцо,
И очи черные, и черный цвет одежды —
Всё было дивно в ней... Печальна и бледна,
Мне Божьим Ангелом явилася она.
Казалось, <он> по небесам грустил
И небеса за грешников молил.

8

И каждый раз, когда, колена преклоня,
Она свой взор на небо обращала,
Мечталось мне: она молилась за меня
И грешника молитвою спасала.
И странно! Сам давно забытые слова
Я лепетал греховными устами
И крест творил — и гордая глава
Склонялася во прах пред образами.

9

И предо мной иконостас сиял,
И лики весело и радостно смотрели,
И Распятый, казалось, призывал
Словами кроткими к Себе, к Единой цели
И блеск свечей на стенах озарял
Изображения святые,
И видел я — и ясли те простые,
Откуда Свет народам воссиял,
И мудрых пред Младенцем поклоненье,
И Ангелов средь пастырей явленье,
И ночь страдания, когда на Элеон
В последний раз пришел молиться Он,
Последнюю с земным где выдержал Он битву...
И тяжкий крест, и за врагов молитву.

10

И помню я: свет черных, жгучих глаз
Во мрак души моей проник тогда не раз...
И взор ее сиял мне примиреньем,
И всякий раз, когда его встречал,
Казалось, я из праха восставал
И постигал святое вдохновенье.

II

Марта 27. 18.. года

Верую, Господи, и исповедую, яко
Ты еси Христос, Сын Бога Живаго,
пришед в мир грешныя
спасти, от них же первый есьмь аз.

1

И подошла она, смиренно-величава,
И вместе с прочими пред чашей пала в прах.
И осияла всех, казалось, Божья слава,
И я почувствовал в душе невольный страх,
И дряхлыми, но твердыми руками
Служитель Вышнего открыл Святой фиал,
И средь молитвы всех — молитву он читал —
Я голову склонил... и с верой и слезами
Его слова тихонько повторял.
И верил я, что Сын Живаго Бога,
Пришедший в мир погибшия взыскать,
Недаром счастья мне послал с небес так много,
Недаром дал любви и веры благодать.

2

Марта 28

Отец Любви! Перед Тобой
Теперь склоняюсь я в смиренье
Когда-то полною сомненья,
Когда-то гордой головой.
Я не ропщу на мой удел,
На бытие без назначенья...
Путем страданья к просветленью
Идти Божественный велел.

И я, страдая и тоскуя,
Тоской стремлюсь куда-нибудь —
Куда-нибудь ведет мой путь...
Цель жизни, может быть, найду я.

3

И брожу я с надеждой, с любовью, с тоской
Мимо дома ее, мимо милых мне окон
И смотрю — не сияют ли очи за рамой двойной,
Не белеет ли ручка, не чернеет ли локон?
И когда луч очей из окна на меня упадет,
Он мне сердце, как свечку к молитве, зажжет.
И сгорает и тает оно перед ним
И довольно, как раем, сгораньем своим.

4

Простите мне! Порывы чувства
Вас оскорбили, может быть, —
Но я не ведаю искусства
В груди прекрасное таить.
Простите мой невольный трепет,
Восторга страсти полный взгляд,
Смятение и странный лепет.
Простите мне — я виноват.
Я забывал, встречая вас,
Что есть толпа, что есть другие,
Что мир разъединяет нас,
Что друг для друга мы чужие.

5

Дитя, дитя! Не смейся надо мной,
На плечи не спускай небрежно черный локон,
Не улыбайся мне улыбкою живой,
Когда, смятенья полн, поникнув головой,
С надеждой робкою брожу я мимо окон.
Дитя! Не знаешь ты, что страшною ценой
Я покупаю счастья миг единый,
Что лучшею души и жизни половиной
Я заплатил за взгляд единый твой,
Звездою тихою горя над миром шумным,
Свое сияние ты льешь на всех равно —
А я?.. я веровал, что счастье быть безумным
От взгляда твоего мне одному дано.

6

Прости, прости! Ни вздохом, ни слезой
Не вспомнишь ты страну, тебе чужую,
Душой давно, быть может, в край иной
Стремилась ты.
О чем же я тоскую,
Чего мне жаль? Сиянья ли очей —
Сиянья звезд блестящих и холодных,
Мечтаний ли, бессонных ли ночей,
На ветер брошенных порывов благородных?
Вот есть о чем жалеть! Прощайте, добрый путь!
Что нужды вам, что в сердце чьем-нибудь
Вы лучшие сгубили упованья,
Что чья-нибудь больна чахоткой грудь,
Что вам вослед несется вздох страданья?
Блаженны вы... Вам не о чем вздохнуть...
Прощайте же, прощайте — добрый путь!

7

Прочь, демон, прочь! Недаром были
Даны мне слезы и мечты,
Что небеса мне возвратили,
Того отнять не можешь ты.
Исчезло дивное виденье,
Но им душа еще полна.
Прочь, демон, прочь! Во мне *Она*,
А надо мною — Провиденье.

Начало 1850-х гг.

64. ПОСЛАНИЕ К ДРУЗЬЯМ МОИМ А. О., Е. Э. и Т. Ф

В давно прошедшие века, «во время оно»
Спасенье (traditur[1]) сходило от Сиона...
И сам я молод был и верил в Благодать,
Но наконец устал и веровать, и ждать,
И если жду теперь от Господа спасенья,
Так разве в виде лишь огромного именья,
И то, чтоб мог иметь и право я, и власть
Хандрить и пьянствовать, избрать благую часть.

[1] Как передают (лат.).— *Ред.*

Теперь, друзья мои, и рад бы я, конечно,
Хандрить и пьянствовать, пожалуй, даже вечно,
Да бедность не велит... Как века сын прямой,
С самолюбивою родился я душой.
Мне в высшей степени бывает неприятно,
Когда меня хандра случайно посетит,
Услышать про себя: «Хандрит? Ну да! Хандрит!»
Он «домотался», вероятно.
Известно, отчего хандрит наш брат бедняк,
Известно, пьянствуя, он заливает горе,
Известно, пьяным всем нам *по колено море.*
Но я б хотел хандрить не так,
Хандрить прилично, благородно,
И равнодушно, и свободно...
Хандрить и пьянствовать! Ужель
Одну ты видишь в жизни цель,
Мне возразишь печально, строго
Ты, ci-devant[1] социалист
И беспощадный атеист,
А ныне весь ушедший в Бога,
Ф<илиппов> мой, кого на памяти моей
Во Ржеве развратил премудрый поп Матвей.
Хандрить и пьянствовать! Предвижу уреканья
Я даже от тебя, души моей кумир,
Полу-Фальстаф, полу-Шекспир,
Распутства с гением слепое сочетанье.
Хандрить и пьянствовать! Я знаю наперед,
Что мне по Бенеке опровергать начнет
Евгений Э<дельсон> печальное ученье
И сам для вящего напьется наставленья...

Начало 1850-х гг.

64—65. ПОДРАЖАНИЯ

1

ПЕСНЯ В ПУСТЫНЕ

Пускай не нам почить от дел
В день вожделенного покоя —

---

[1] В недавнем прошлом (франц.). — *Ред.*

Еговы меч нам дан в удел,
Предуготованным для боя.

И бой, кровавый, смертный бой
Не утомит сынов избранья;
Во брани падших ждет покой
В святом краю обетованья.

Мы по пескам пустым идем,
Палимы знойными лучами,
Но указающим столпом
Егова сам идет пред нами.

Егова с нами — он живет,
И крепче каменной твердыни,
Несокрушим его оплот
В сердцах носителей святыни.

Мы ту святыню пронесли
Из края рабства и пдененья —
Мы с нею долгий путь прошли
В смиренном чаянье спасенья.

И в бой, кровавый, смертный бой
Вступить с врагами мы готовы:
Святыню мы несем с собой —
И поднимаем меч Еговы.

2

ПРОКЛЯТИЕ

Да будет проклят тот, кто сам
Чужим поклонится богам
И — раб греха — послужит им,
Кумирам бренным и земным,
Кто осквернит Еговы храм
Служеньем идолам своим,
Или войдет, подобный псам,
С нечистым помыслом одним...
Господь отмщений, предков Бог,
Ревнив, и яростен, и строг.

Да будет проклят тот вдвойне,
Кто с равнодушием узрит

Чужих богов в родной стране
И за Егову не отмстит,
Не препояшется мечом
На Велиаровых рабов,
Иль укоснит изгнать бичом
Из храма торжников и псов.
Господь отмщений, предков Бог,
Ревнив, и яростен, и строг.

Да будет трижды проклят тот,
Да будет проклят в род и в род,
Кто слезы лить о псах готов,
Жалеть о гибели сынов:
Ему не свят святой Сион,
Не дорог Саваофа храм,
Не знает, малодушный, он,
Что нет в святыне части псам,
Что Адонаи, предков Бог,
Ревнив, и яростен, и строг.

1852

67. ИСКУСТВО И ПРАВДА

Элегия-ода-сатира

> О, как мне хочется смутить
> веселье их
> И дерзко бросить им в лицо
> железный стих,
> Облитый горечью и злостью!
>
> *Лермонтов*

1

Была пора: театра зала
То замирала, то стонала,
И не знакомый мне сосед
Сжимал мне судорожно руку,
И сам я жал ему в ответ,
В душе испытывая муку,
Которой и названья нет.
Толпа, как зверь голодный, выла,
То проклинала, то любила...
Всесильно властвовал над ней
Могучий, грозный чародей.

Я помню бледный лик Гамлета,
Тот лик, измученный тоской,
С печатью тайны роковой,
Тяжелой думы без ответа.
Я помню, как пред мертвецом
С окаменившимся лицом,
С бессмысленным и страшным взглядом,
Насквозь проникнут смертным хладом,
Стоял немой он... и потом
Разлился всем душевным ядом,
И слышал я, как он язвил,
В тоске больной и безотрадной,
Своей иронией нещадной
Всё, что когда-то он любил...
А он любил, я верю свято,
Офелию побольше брата!
Ему мы верили; одним
С ним жили чувством, дети века,
И было нам *за человека,*
За человека страшно с ним!

И помню я лицо иное,
Иные чувства прожил я:
Еще доныне предо мною
Тиран — гиена и змея,
С своей язвительной улыбкой,
С челом бесстыдным, с речью гибкой,
И безобразный, и хромой,
Ричард коварный, мрачный, злой,
Его я вижу с леди Анной,
Когда, как рая древний змей,
Он тихо в слух вливает ей
Яд обаятельных речей,
И сам над сей удачей странной
Хохочет долго смехом злым,
Идя поговорить с портным...
Я помню сон и пробужденье,
Блуждающий и дикий взгляд,
Пот на челе, в чертах мученье,
Какое знает только ад.
И помню, как в испуге диком
Он леденил всего меня
Отчаянья последним криком:
«Коня, полцарства за коня!»

Его у трупа Дездемоны
В нездешних муках я видал,
Ромео плач и Лира стоны
Волшебник нам передавал...
Любви ли страстной нежный шепот,
Иль корчи ревности слепой,
Восторг иль грусть, мольбу иль ропот —
Всё заставлял делить с собой...
В нескладных драмах Полевого,
Бывало, за него сидишь,
С благоговением молчишь
И ждешь: вот скажет два-три слова,
И их навеки сохранишь...
Мы Веронику с ним любили,
  За честь сестры мы с Гюгом мстили,
  И — человек уж был таков —
  Мы терпеливо выносили,
  Как в драме хвастал Ляпунов.

Угас волкан, окаменела лава...
Он мало жил, но много нам сказал,
Искусство в нем нам не была забава;
Страданием его повита слава...
Как Промифей, он пламень похищал,
Как Промифей, он был терзаем враном...
  Действительность с сценическим обманом
  Сливались так в душе его больной,
  Что жил вполне он жизнию чужой
  И верил сердца вымышленным ранам.
Он трагик был с людьми, с собой один,
Трагизма жертва, жрец и властелин.

Угас волкан, но были изверженья
Так страшны, что поддельные волненья
Не потрясут, не растревожат нас.
Мы *правду* в нашем трагике любили,
Трагизма *правду* с ним мы хоронили;
Застыла лава, лишь волкан погас.
Искусственные взрывы сердцу чужды,
И сердцу в них нет ни малейшей нужды,
Покойся ж в мире, старый властелин...
Ты был один, останешься один!

2

И вот, пришла пора другая...
Опять в театре стон стоит;
Полусмеясь, полурыдая,
На сцену вновь толпа глядит,
И с нею истина иная
Со сцены снова говорит.
Но это правда не похожа
На правду прежнюю ничуть;
Она простее, но дороже,
Здоровей действует на грудь...
Дай ей самой здоровье, Боже,
Пошли и впредь счастливый путь.

Поэт, глашатай правды новой,
Нас миром новым окружил
И новое сказал он слово,
Хоть правде старой послужил.
Жила та правда между нами,
Таясь в душевной глубине;
Быть может, мы ее и сами
Подозревали не вполне.
То в нашей песне благородной,
Живой, размашистой, свободной,
Святой, как наша старина,
Порой нам слышалась она,
То в полных доблестей сказаньях
О жизни дедов и отцов,
В святых обычаях, преданьях
И хартиях былых веков,
То в небалованности здравой,
В ума и чувства чистоте,
Да в чуждой хитрости лукавой
Связей и нравов простоте.

Поэта образы живые
Высокий комик в плоть облек...
Вот отчего теперь впервые
По всем бежит единый ток,
Вот отчего театра зала,
От верху до низу, одним
Душевным, искренним, родным
Восторгом вся затрепетала.

Любим Торцов пред ней живой
Стоит с поднятой головой,
Бурнус напялив обветшалый,
С растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но с русской, чистою душой.

Комедия ль в нем плачет перед нами,
Трагедия ль хохочет вместе с ним,
Не знаем мы и ведать не хотим!
Скорей в театр! Там ломятся толпами,
Там по душе теперь гуляет быт родной,
Там песня русская свободно, звонко льется,
Там человек теперь и плачет и смеется,
Там — целый мир, мир полный и живой...
И нам, простым, смиренным чадам века,
Не страшно — *весело теперь за человека!*
На сердце так тепло, так вольно дышит грудь,
Любим Торцов душе так прямо кажет путь!
Великорусская на сцене жизнь пирует,

Великорусское начало торжествует,
Великорусской речи склад
И в присказке лихой, и в песне игреливой,
Великорусский ум, великорусский взгляд —
Как Волга-матушка, широкий и гульливый!
Тепло, привольно, любо нам,
Уставшим жить болезненным обманом...

3

Театра зала вновь полна,
Партер и ложи блещут светом,
И речь французская слышна
Привыкших шаркать по паркетам.
Французский *п* произносить
Тут есть охотников немало
(Кому же обезьяной быть
Ума и сметки не ставало?).
Но не одни *бонтоны* тут:
Видна мужей ученых стая;
Похвальной ревностью пылая,
Они безмездно взяли труд
По всем эстетикам немецким
Втолковывать героям светским,

Что́ есть трагизм и то и сё,
Корнель и *эдакое всё...*
Из *образованных* пришли
Тут два-три купчика в немецком
(Они во вкусе самом светском
Себе бинокли завели).
Но бросим шутки тон... Печально, не смешно —
Что слишком мало в нас достоинства, сознанья,
Что на эффекты нас поддеть немудрено,
Что в нас не вывелся, бичеванный давно,
Дух рабского, слепого подражанья!
Пускай она талант, пусть гений! — дай Бог ей!
Да нам *не ко двору* пришло ее искусство...
В нас слишком девственно, свежо и просто чувство,
Чтобы выкидывать *колена почудней.*
Пусть будет фальшь мила Европе старой
Или Америке беззубо-молодой,
Собачьей старостью больной...
Но наша Русь крепка. В ней много силы, жара;
И правду любит Русь, и правду понимать
Дана ей Господом святая благодать;
И в ней одной теперь приют себе находит
Всё то, что человека благородит.
Пусть дети старые, чтоб праздный ум занять,
Хлам старых классиков *для штуки* воскрешают...
Но нам за ними лезть какая будет стать,
Когда иное нас живит и занимает?
Пускай боролися в недавни времена
И Лессинг там, и Шиллер благородный
С ходульностью (увы — как видится, бесплодно!) —
Но по натуре нам ходульность та смешна.
Я видел, как Рислей детей наверх бросает...
И больно видеть то, и тяжко было мне!
Я знаю, как Рашель по часу умирает,
И для меня вопрос о ней решен вполне!
Лишь в сердце истина: где нет живого чувства,
Там правды нет и жизни нет...
Там фальшь — не вечное искусство!
И пусть в восторге целый свет,
Но наши неуместны восхищенья.
У нас иная жизнь, у нас иная цель!

Америке с Европой мы — Рашель,
Столодвижение, иные ухищренья
(Игрушки, сродные их старческим летам)
Оставим... Пусть они оставят *правду* нам!

1854

68—69. <ПОСЛАНИЯ>

1. ДРУЗЬЯМ

Довольно в простоте своей
Спускали мы врагам:
Пора их — сукиных детей —
Хлестать по морде нам.

Пускай шипят они — и пусть
Кричат они: «Донос!»
Мы это знаем наизусть:
Так исстари велось!

Словечком этим не один
Запуган был порой
Простой и честный словенин,
Незлобивый душой.

Нелестно, нечего сказать,
Попасть в презренный цех;
Но всяким мерзостям спускать
Великий тоже грех.

Бояться нечего врагов:
Щадить их — только вред.
Кто воин — будь на всё готов:
Семь бед — один ответ.

Пришла пора: за правду стой
Кто с словом, кто с мечом.
Будь всякий Щеголев-герой
На месте на своем!

2. ВРАГАМ

Шире дорогу Любиму Торцову!
Ждали ль его вы таким?

Вы посмеялись в нем новому слову —
Слово мы вам разъясним.

Вам бы хотелось, чтоб вышел парадно,
Вышел эффектно на сцену народ,
Блузой французской драпируясь складно,
Полон заморских тревог и забот?

Вам бы хотелось, чтоб чувства чужие,
Ваши бы чувства он в сердце носил,
Ваши места бы затронул больные,
Вашими мыслями жил?

Полноте, братцы! Да стоют ли слова
Ваши больные места?
Пусть вы расслабли — Россия здорова!
Пусть вы в проказе — Россия чиста!

Пьет он, да с горя: авось и очнется!
Все-таки лучше он вас завсегда.
Мудрое слово от века ведется:
Пьяный проспится — дурак никогда.

Шире дорогу Любиму Торцову!
Ждали ль его вы таким?
Вы посмеялись в нем новому слову —
Слово мы вам разъясним.

Вам бы хотелось, чтоб с дикой хулою
Встал он на быт на родной, на семью,
Чтобы совсем всякой порчей чужою
Душу простую испортил свою?

Он бы тогда по душе вам пришелся;
Семинарист с ним хулу б разделил,
С ним бы лакей в озлобленье сошелся,
Сам Гордей Карпыч его б похвалил.

Он бы и Митю на разум наставил,
Личность Любови Гордевне бы дал.
Жаль, что не знает заморских он правил,
Жаль, что беспутно пропал капитал!

Мог бы он с пользой в Берлин прогуляться,
Лекций наслушаться разных таких,

Мог бы с учеными там побрататься
И над семьей своей смело ругаться,
Смело — в числе прогрессистов лихих.

Он оправдал бы софистикой новой
Кражу и пьянство шампанским — и блуд.
Вот это было бы новое слово:
Был бы тогда он Спартак или Брут!

Он же, несчастный, не знает теорий,
Много давал, мало жил он в кредит;
Мало он читывал разных историй,
Совесть ему воровать не велит.

Он лишь для смеха в эффектную позу
Встанет да скажет трагический вздор:
Он не играет Гамлета и Позу,
Бедный, пропившийся весь метеор.

Как Прометей, не встает против неба,
Не потрясает эффектно оков —
Просит под старость лишь честного хлеба,
Вот он каков — Любим Карпыч Торцов!

Шире ж дорогу Любиму Торцову —
Все, в ком есть русская капля в крови!
В нем поклониться новому слову,
Слову смиренья, прощенья, любви!

28 июня 1854

70

Трагедия близка к своей развязке,
И прав Неумолимого закон,
Вольно же сердцу верить старой сказке,
Что приходил взыскать погибших Он.

Свершают непреложные законы
Все бренные создания Твои,
И Ты глядишь, как гибнут миллионы,
С иронией божественной Любви.

Так что же вопль одной визгливой твари,
Писк устрицы иль стон душевных мук,

Проклятья страсти в бешеном разгаре,
Благодарящий иль клянущий звук.

А всё порой на свод небесный взглянешь,
С молитвой, самому себе смешной,
И детские предания вспомянешь,
И чудо, ждешь, свершится над тобой.

Ведь жили ж так отцы и деды прежде
И над собой видали чудеса,
И вырастили нас в слепой надежде,
Что для людей доступны небеса.

Кого спасал от долгого запоя
Господь чудесным сном каким-нибудь,
Кому среди Очаковского боя
Крест матери закрыл от раны грудь.

Пришлося круто, так, что вот немножко
Еще — так тут ложись да умирай...
Вдруг невидимо посылал в окошко
Великий чудотворец Николай.

Навеки нерушимые бывали
Благословенья в тот счастливый век.
И силой их был крепче лучшей стали
Теперь позорно слабый человек.

Отцов моих заветные преданья,
Не с дерзким смехом вызываю вас,
Все праотцев святые достоянья
Хотел в душе собрать бы я хоть раз.

Чтоб пред Тобой с молитвою живою,
Отец Любви, упавши зарыдать,
Поверить, что покров Твой надо мною,
Что ты пришел погибшее взыскать.

Трагедия близка к своей развязке,
Пришел конец мучительной борьбе,
Спаситель! Если не пустые сказки
Те язвы, что носил Ты на себе,

И ежели Твои обетованья
Не звук один, не тщетный только звук...

Спаситель! Есть безумные страданья,
Чернеет сердце, сохнет мозг от мук.

Спаситель! Царь Земли в венце терновом,
С смирением я пал к твоим ногам,
Молю Тебя Твоим же вечным словом:
Ты говорил: «Просите, дастся вам».

23 января 1855

71. ОТРЫВОК ИЗ НЕКОНЧЕННОГО СОБРАНИЯ САТИР

Я не поэт, а гражданин!

Сатиры смелый бич, заброшенный давно,
Валявшийся в пыли, я снова поднимаю:
Поэт я или нет — мне, право, всё равно,
Но язвы наших дней я сердцем понимаю.
Я сам на сердце их немало износил,
Я сам их жертвою и мучеником был.
Я взрос в сомнениях, в мятежных думах века,
И современного я знаю человека:
Как ни вертися он и как ни уходи,
Его уловкам я лукавым не поверю,
Но, обратясь в себя, их свешу и измерю
Всем тем, что в собственной творилося груди.
И, зная наизусть его места больные,
Я буду бить по ним с уверенностью злой
И нагло хохотать, когда передо мной
Драпироваться он в страдания святые,
В права проклятия, в идеи, наконец,
Скрывая гордо боль, задумает, подлец...

23 августа 1855
Москва

72

За Вами я слежу давно
С горячим, искренним участьем
И верю: будет Вам дано
Не многим ведомое счастье.

Лишь сохраните, я молю,
Всю чистоту души прекрасной
И взгляд на жизнь простой и ясный,
Всё то, за что я Вас люблю!

Первая половина 1850-х гг.

73—90. БОРЬБА

1

Я ее не люблю, не люблю...
Это — сила привычки случайной!
Но зачем же с тревогою тайной
На нее я смотрю, ее речи ловлю?

Что мне в них, в простодушных речах
Тихой девочки с женской улыбкой?
Что в задумчиво-робко смотрящих очах
Этой тени воздушной и гибкой?

Отчего же — и сам не пойму —
Мне при ней как-то сладко и больно,
Отчего трепещу я невольно,
Если руку ее на прощанье пожму?

Отчего на прозрачный румянец ланит
Я порою гляжу с непонятною злостью
И боюсь за воздушную гостью,
Что, как призрак, она улетит.

И спешу насмотреться, и жадно ловлю
Мелодически-милые, детские речи;
Отчего я боюся и жду с нею встречи?..
Ведь ее не люблю я, клянусь, не люблю.

<1853, 1857>

2

Я измучен, истерзан тоскою...
Но тебе, ангел мой, не скажу
Никогда, никогда, отчего я,
Как помешанный, днями брожу.

Есть минуты, что каждое слово
Мне отрава твое и что рад

Я отдать всё, что есть дорогого,
За пожатье руки и за взгляд.

Есть минуты мучений и злобы,
Ночи стонов безумных таких,
Что, Бог знает, не сделал чего бы,
Лишь упасть бы у ног у твоих.

Есть минуты, что я не умею
Скрыть безумия страсти своей...
О, молю тебя — будь холоднее
И меня и себя пожалей!

<1857>

3

Я вас люблю... что делать — виноват!
Я в тридцать лет так глупо сердцем молод,
Что каждый ваш случайный, беглый взгляд
Меня порой кидает в жар и холод...
И в этом вы должны меня простить,
Тем более что запретить любить
Не может власть на свете никакая;
Тем более что, мучась и пылая,
Ни слова я не смею вам сказать
И принужден молчать, молчать, молчать!..

Я знаю сам, что были бы преступны
Признанья или смысла лишены:
Затем, что для меня вы недоступны,
Как недоступен рай для сатаны.
Цепями неразрывными окован,
Не смею я, когда порой, взволнован,
Измучен весь, к вам робко подхожу
И подаю вам руку на прощанье,
Сказать простое слово: до свиданья!
Иль, говоря, — на вас я не гляжу.

К чему они, к чему свиданья эти?
Бессонницы — расплата мне за них!
А между тем, как зверь, попавший в сети,
Я тщетно злюсь на крепость уз своих.
Я к ним привык, к мучительным свиданьям...
Я опиум готов, как турок, пить,

Чтоб муку их в душе своей продлить,
Чтоб дольше жить живым воспоминаньем...
Чтоб грезить ночь и целый день бродить
В чаду мечты, под сладким обаяньем
Задумчиво опущенных очей!
Мне жизнь темна без света их лучей.

Да... я люблю вас... так глубоко, страстно,
Давно... И страсть безумную свою
От всех, от вас особенно таю.
От вас, ребенок чистый и прекрасный!
Не дай вам Бог, дитя мое, узнать,
Как тяжело любить такой любовью,
Рыдать без слов, метаться, ощущать,
Что кровь свинцом расплавленным, не кровью,
Бежит по жилам, рваться, проклинать,
Терзаться ночи, дни считать тревожно,
Бояться встреч и ждать их, жадно ждать;
Беречься каждой мелочи ничтожной,
Дрожать за каждый шаг неосторожный,
Над пропастью бездонною стоять,
И чувствовать, что надо погибать,
И знать, что бегство больше невозможно.

1852 (?)

4

Опять, как бывало, бессонная ночь!
Душа поняла роковой приговор:
Ты Евы лукавой лукавая дочь,
Ни хуже, ни лучше ты прочих сестер.

Чего ты хотела?.. Чтоб вовсе с ума
Сошел я?.. чтоб всё, что кругом нас, забыл?
Дитя, ты сама б испугалась, сама,
Когда бы в порыве я искренен был.
Ты знаешь ли всё, что творилось со мной,
Когда не холодный, насмешливый взор,
Когда не суровость, не тон ледяной,
Когда не сухой и язвящий укор,
Когда я не то что с отчаяньем ждал,
Во встрече признал и в очах увидал,
В приветно-тревожных услышал речах?
Я был уничтожен, я падал во прах...

Я падал во прах, о мой ангел земной,
Пред женственно-нежной души чистотой,
Пред искренней, чистой, глубокой, простой!
Я так тебя сам беззаветно любил,
Что бодрость мгновенно в душе ощутил,
И силу сковать безрассудную страсть,
И силу бороться, и силу не пасть.
Хоть весь в лихорадочном был я огне,
Но твердости воли достало во мне —
Ни слова тебе по душе не сказать
И даже руки твоей крепче не сжать!
Зато человека, чужого почти,
Я встретил, как брата лишь встретить мог брат,
С безумным восторгом, кипевшим в груди...
По-твоему ж, был я умен невпопад.

Дитя, разве можно иным было быть,
Когда я не смею, не вправе любить?
Когда каждый миг должен я трепетать,
Что завтра, быть может, тебя не видать,
Когда я по скользкому должен пути,
Как тать, озираясь, неслышно идти,
Бессонные ночи в тоске проводить,
Но бодро и весело в мир твой входить.
Пускай он доверчив, сомнений далек,
Пускай он нисколько не знает тебя...
Но сам в этот тихий земли уголок
Вхожу я с боязнью, не веря в себя.

А ты не хотела, а ты не могла
Понять, что творилось со мною в тот миг,
Что если бы воля мне только была,
Упал бы с тоской я у ног у твоих
И током бы слез, не бывалых давно,
Преступно-заглохшую душу омыл...
Мой ангел... так свято, глубоко, полно
Ведь я никого никогда не любил!..

При новой ты встрече была холодна,
Насмешливо-зла и досады полна,
Меня уничтожить хотела совсем...
И точно!.. Я был безоружен и нем.
Мне раз изменила лишь нервная дрожь,
Когда я в ответ на холодный вопрос,

На взгляд, где сверкал мне крещенский мороз, —
Борьба так борьба! — думал грустно, — ну что ж!
И ты тоже Евы лукавая дочь,
Ни хуже, ни лучше ты прочих сестер.
И снова бессонная, длинная ночь, —
Душа поняла роковой приговор.

20 января 1847 (?)

5

Oh! Qui que vous soyez,
jeune ou vieux, riche ou sage.

V. Hugo[1]

О! кто бы ни был ты, в борьбе ли муж созрелый
Иль пылкий юноша, богач или мудрец, —
Но если ты порой ненастной вечер целый
Вкруг дома не бродил, чтоб ночью наконец,
Прильнув к стеклу окна, с тревожной лихорадкой
Мечтать, никем не зрим и в трепете, что вот
Ты девственных шагов услышишь шелест сладкий,
Что милой речи звук поймаешь ты украдкой,
Что за гардиною задернутой мелькнет
Хоть очерк образа неясным сновиденьем
И в сердце у тебя след огненный прожжет
Мгновенный метеор отрадным появленьем...

Но если знаешь ты по слуху одному
Иль по одним мечтам поэтов вдохновенных
Блаженство, странное для всех непосвященных
И непонятное холодному уму,
Блаженство мучиться любви палящей жаждой,
Гореть на медленном, томительном огне,
Очей любимых взгляд ловить случайный каждый,
Блаженство ночь не спать, а днем бродить во сне...

Но если никогда, печальный и усталый,
Ты ночь под окнами сиявшей ярко залы
Неведомых тебе палат не проводил,
Доколе музыка в палатах не стихала,
Доколь урочный час разъезда не пробил
И освещенная темнеть не стала зала;

---

[1] О, кто бы вы ни были,
юноша или старик, богач или мудрец.

В. Гюго (франц.). — *Ред.*

Дыханье затаив и кутаясь плащом,
За двери прыгая, не ожидал потом,
Как, отделяяся от пошлой черни светской,
Вся розово-светла, мелькнет она во мгле,
С усталостью в очах, с своей улыбкой детской,
С цветами смятыми на девственном челе...

Но если никогда ты не изведал муки,
Всей муки ревности, когда ее другой
Свободно увлекал в безумный вальс порой,
И обвивали стан ее чужие руки,
И под томительно-порывистые звуки
Обоих уносил их вихорь круговой,
А ты стоял вдали, ревнующий, несчастный,
Кляня веселый бал и танец сладострастный...

Но если никогда, в часы, когда заснет
С дворцами, башнями, стенами вековыми
И с колокольнями стрельчатыми своими
Громадный город весь, усталый от забот,
Под мрачным пологом осенней ночи темной,
В часы, как смолкнет всё и с башни лишь огромной,
Покрытой сединой туманною веков,
Изборожденной их тяжелыми стопами,
Удары мерные срываются часов,
Как будто птицы с крыш неровными толпами;

В часы, когда, дитя безгрешное, она
Заснет под сенью крил хранителей незримых,
Ты, обессилевший от мук невыразимых,
В подушку жаркую скрываясь, не рыдал
И имя милое сто раз не повторял,
Не ждал, что явится она на зов мученья,
Не звал на помощь смерть, не проклинал рожденья...

И если никогда не чувствовал, что взгляд,
Взгляд женщины, как луч таинственный сияя,
Жизнь озарил тебе, раскрыл все тайны рая;
Не чувствовал порой, что за нее ты рад,
За эту девочку, готовую смеяться
При виде жгучих слез иль мук твоих немых,
Колесования мученьям подвергаться, —
Ты не любил еще, ты страсти не постиг.

<1853, 1857>

6

Прости меня, мой светлый серафим,
Я был на шаг от страшного признанья;
Отдавшись снам обманчивым моим,
Едва я смог смирить в себе желанье
С рыданием упасть к ногам твоим.
Я изнемог в борьбе с безумством страсти,
Я позабыл, что беспощадно строг
Закон судьбы неумолимой власти,
Что мера мук и нравственных несчастий
Еще не вся исполнилась... Я мог
За звук один, за милый звук привета,
За робкий звук, слетевший с уст твоих
В доверчивый самозабвенья миг, —
Взять на душу тяжелый гнет ответа
Перед судом небесным и земным
В судьбе твоей, мой светлый серафим!
Мне снился сон далеких лет волшебный,
И речь младенчески приветная твоя
В больную грудь мне влагою целебной
Лилась, как животворная струя...
Мне грезилось, что вновь я молод и свободен...
Но если б я свободен даже был...
Бог и тогда б наш путь разъединил,
И был бы прав суровый суд Господень!
Не мне удел с тобою был бы дан...
Я веком развращен, сам внутренне развратен;
На сердце у меня глубоких много ран
И несмываемых на жизни много пятен...
Пускай могла б их смыть одна слеза твоя —
Ее не принял бы правдивый Судия!

<1857>

7

Доброй ночи!.. Пора!
Видишь: утра роса небывалая там
Раскидала вдали озера...
И холмы поднялись островами по тем озерам.

Доброй ночи!.. Пора!
Посмотри: зажигается яркой каймой
На востоке рассвета заря...
Как же ты хороша, освещенная утра зарей!

Доброй ночи!.. Пора!
Слышишь утренний звон с колоколен церквей;
Тени ночи спешат до утра,
До урочного часа вернуться в жилище теней...

Доброй ночи!.. Засни.
Ночи тайные гости боятся росы заревой,
До луны не вернутся они...
Тихо спи, освещенная розовой утра зарей.

<1843>, <1857>

8

Вечер душен, ветер воет,
Воет пес дворной;
Сердце ноет, ноет, ноет,
Словно зуб больной.

Небосклон туманно-серый,
Воздух так сгущен...
Весь дыханием холеры,
Смертью дышит он.

Всё одна другой страшнее
Грезы предо мной;
Всё слышнее и слышнее
Похоронный вой.

Или нервами больными
Сон играет злой?
Но запели: «Со святыми, —
Слышу, — упокой!»

Всё сильнее ветер воет,
В окна дождь стучит...
Сердце ломит, сердце ноет,
Голова горит!

Вот с постели поднимают,
Вот кладут на стол...
Руки бледные сжимают
На груди крестом.

Ноги лентою обвили,
А под головой

Две подушки положили
    С длинной бахромой.

Тёмно, тёмно... Ветер воет...
    Воет где-то пес...
Сердце ноет, ноет, ноет...
    Хоть бы капля слез!

Вот теперь одни мы снова,
    Не услышат нас...
От тебя дождусь ли слова
    По душе хоть раз?

Нет! навек сомкнула вежды,
    Навсегда нема...
Навсегда! и нет надежды
    Мне сойти с ума!

Говори, тебя молю я,
    Говори теперь...
Тайну свято сохраню я
    До могилы, верь.

Я любил тебя такою
    Страстию немой,
Что хоть раз ответа стою...
    Сжалься надо мной.

Не сули мне счастье встречи
    В лучшей стороне...
Здесь — хоть звук бывалой речи
    Дай услышать мне.

Взгляд один, одно лишь слово...
    Холоднее льда!
Боязлива и сурова
    Так же, как всегда!

Ночь темна, и ветер воет,
    Глухо воет пес...
Сердце ломит, сердце ноет!
    Хоть бы капля слез!..

<1857>

9

«Надежду!» — тихим повторили эхом
Брега, моря, дубравы... и не прежде
Конрад очнулся. «Где я? — с диким смехом
Воскликнул он. — Здесь слышно о надежде!
Но что же песня?.. Помню без того я
Твое, дитя, счастливое былое...
Три дочери у матери вас было,
Тебе судьба столь многое сулила...
Но горе к вам, цветы долины, близко:
В роскошный сад змея уже проникла,
И всё, чего коснулась грудью склизкой,
Трава ль, цветы ль — краса и прелесть сада, —
Всё высохло, поблекло, и поникло,
И замерло, как от дыханья хлада...
О да! стремись к минувшему мечтою,
Припоминай те дни, что над тобою
Неслись доселе б весело и ясно,
Когда б... молчишь?.. Запой же песнь проклятья:
Я жду ее, я жду слезы ужасной,
Что и гранит прожечь, упавши, может...
На голову ее готов принять я:
Пусть падает, пускай палит чело мне,
Пусть падает! Пусть червь мне сердце гложет,
И пусть я всё минувшее припомню
И всё, что ждет в аду меня, узнаю!»

«Прости, прости! я виновата, милый!
Пришел ты поздно, ждать мне грустно было:
Невольно песнь какая-то былая...
Но прочь ее!.. Тебя ли упрекну я?
С тобой, о мой желанный, прожила я
Одну минуту... но и той одною
Не поменялась бы с людской толпою
На долгий век томлений и покоя...
Сам говорил ты, что судьба людская
Обычная — судьба улиток водных:
На мутном дне печально прозябая,
В часы одних волнений непогодных,
Однажды в год, быть может, даже реже,
Наверх они, на вольный свет проглянут,
Вдохнут в себя однажды воздух свежий
И вновь на дно своей могилы канут...

Не для такой судьбы сотворена я:
Еще в отчизне, девочкой, играя
С толпой подруг, о чем-то я, бывало,
Вздыхала тайно, смутно тосковала...
Во мне тревожно сердце трепетало!
Не раз, от них отставши, я далёко
На холм один взбегала на высокой
И, стоя там, просила со слезами,
Чтоб Божьи пташки по перу мне дали
Из крыл своих — и, размахнув крылами,
Порхнула б я к небесной синей дали...
С горы бы я один цветок с собою,
Цвет незабудки, унесла, высоко
За тучи, с их пернатою толпою
Помчалася — и в вышине далекой
Исчезла!.. Ты, паря над облаками,
Услышал сердца пылкое желанье
И, обхватив орлиными крылами,
Унес на небо слабое созданье!
И пташек не завидую я доле...
Куда лететь? исполнено не всё ли,
Чего просили сердца упованья?
Я Божье небо в сердце ощутила,
Я человека на земле любила!»

<1857>

10

Прощай, прощай! О, если б знала ты,
Как тяжело, как страшно это слово...
От муки разорваться грудь готова,
А в голове больной бунтуют снова
Одна другой безумнее мечты.

Я гнал их прочь, обуздывая властью
Моей любви глубокой и святой;
В борьбу и в долг я верил, веря счастью;
Из тьмы греха исторгнут чистой страстью,
Я был царем над ней и над собой.

Я, мучася, ревнуя и пылая,
С тобою был спокоен, чист и тих,
Я был с тобою свят, моя святая!
Я не роптал — главу во прах склоняя,
Я горько плакал о грехах своих.

Прощай! прощай!.. Вновь осужден узнать я
На тяжкой жизни тяжкую печать
Не смытого раскаяньем проклятья...
Но, испытавший сердцем благодать, я
Теперь иду безропотно страдать.

<1857>

II

Ничем, ничем в душе моей
Заветной веры ты не сгубишь...
Ты можешь полюбить сильней,
Но так легко ты не разлюбишь,
Мне вера та — заветный клад,
Я обхватил его руками...
И, если руки изменят,
Вопьюсь в безумии зубами.
Та вера — жизнь души моей,
Я даром не расстанусь с ней.

Тебя любил я так смиренно,
Так глубоко и так полно,
Как жизнью новой озаренной
Душе лишь раз любить дано.
Я всё, что в сердце проникало
Как мира высшего отзыв,
Что ум восторгом озаряло, —
Передавал тебе, бывало,
И ты на каждый мой порыв
Созвучьем сердца отвечала.

Как в книге, я привык читать
В душе твоей и мог по воле
Всем дорогим мне наполнять
Страницы, белые дотоле.
И с тайной радостью следил,
Как цвет и плод приносит ныне
То, что вчера я насадил
В заветной, девственной святыне.

Я о любви своей молчал,
Ее таил, как преступленье...
И жизни строгое значенье
Перед тобой разоблачал.

А всё же чувствовали сами
Невольно оба мы не раз,
Что душ таинственная связь
Образовалась между нами.
Тогда... хотелось мне упасть
К твоим ногам в порыве страсти...
Но сила непонятной власти
Смиряла бешеную страсть.

Нет! Не упал бы я к ногам,
Не целовал бы след твой милый,
Храня тебя, хранимый сам
Любви таинственною силой...
Один бы взгляд, один бы звук,
Одно лишь искренне слово —
И бодро я пошел бы снова
В путь одиночества и мук.

Но мы расстались без прощанья,
С тоской суровой и немой,
И в час случайного свиданья
Сошлись с холодностью сухой;
Опущен взгляд, и чинны речи,
Рука как мрамор холодна...
А я, безумный, ждал той встречи,
Я думал, мне простит она
Мою тоску, мои мученья,
Невольный ропот мне простит
И вновь в молитву обратит
Греховный стон ожесточенья!

<1857>

12

Мой ангел света! Пусть перед тобою
Стихает всё, что в сердце накипит;
Немеет всё, что без тебя порою
Душе тревожной речью говорит.

Ты знаешь всё... Когда благоразумной,
Холодной речью я хочу облечь,
Оледенить души порыв безумный —
Лишь для других не жжется эта речь!

Ты знаешь всё... Ты опускаешь очи,
И долго их не в силах ты поднять,
И долго ты темней осенней ночи,
Хоть никому тебя не разгадать.

Один лишь я в душе твоей читаю,
Непрошеный, досадный чтец порой...
Ты знаешь всё... Но я, я также знаю
Всё, что живет в душе твоей больной.

И я и ты равно друг друга знаем,
А между тем наедине молчим,
И я и ты — мы поровну страдаем
И скрыть равно страдание хотим.

Не видясь, друг о друге мы не спросим
Ни у кого, хоть спросим обо всем;
При встрече взгляда лишнего не бросим,
Руки друг другу крепче не пожмем.

В толпе ли шумной встретимся с тобою,
Под маскою ль подашь ты руку мне —
Нам тяжело идти рука с рукою,
Как тяжело нам быть наедине.

И чинны ледяные наши речи,
Хоть, кажется, молчать нет больше сил,
Хоть так и ждешь, что в миг подобной встречи
Всё выскажешь, что на сердце таил.

А между тем, и ты и я — мы знаем,
Что мучиться одни осуждены,
И чувствуем, что поровну страдаем,
На жизненном пути разделены.

Молились мы молитвою единой,
И общих слез мы знали благодать:
Тому, кто раз встречался с половиной
Своей души, — иной не отыскать!

<1857>

13

О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!

Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!

Вон там звезда одна горит
Так ярко и мучительно,
Лучами сердце шевелит,
Дразня его язвительно.

Чего от сердца нужно ей?
Ведь знает без того она,
Что к ней тоскою долгих дней
Вся жизнь моя прикована...

И сердце ведает мое,
Отравою облитое,
Что я впивал в себя ее
Дыханье ядовитое...

Я от зари и до зари
Тоскую, мучусь, сетую...
Допой же мне — договори
Ты песню недопетую.

Договори сестры твоей
Все недомолвки странные...
Смотри: звезда горит ярчей...
О, пой, моя желанная!

И до зари готов с тобой
Вести беседу эту я...
Договори лишь мне, допой
Ты песню недопетую!

<1857>

14

ЦЫГАНСКАЯ ВЕНГЕРКА

Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли...
С детства памятный напев,
Старый друг мой — ты ли?

Как тебя мне не узнать?
На тебе лежит печать
Буйного похмелья,
Горького веселья!

Это ты, загул лихой,
Ты — слиянье грусти злой
С сладострастьем баядерки —
    Ты, мотив венгерки!

Квинты резко дребезжат,
    Сыплют дробью звуки...
Звуки ноют и визжат,
    Словно стоны муки.

Что за горе? Плюнь, да пей!
Ты завей его, завей
    Веревочкой горе!
    Топи тоску в море!

Вот проходка по баскам
    С удалью небрежной,
А за нею — звон и гам,
    Буйный и мятежный.

Перебор... и квинта вновь
    Ноет-завывает;
Приливает к сердцу кровь,
    Голова пылает.

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка!

    Замолчи, не занывай,
        Лопни, квинта злая!
    Ты про них не поминай...
        Без тебя их знаю!
    В них хоть раз бы поглядеть
        Прямо, ясно, смело...
    А потом и умереть —
        Плевое уж дело.
    Как и вправду не любить?
        Это не годится!
    Но, что сил хватает жить,
        Надо подивиться!
    Соберись и умирать,
        Не придет проститься!
    Станут люди толковать:
        Это не годится!

Отчего б не годилось,
        Говоря примерно?
Значит, просто всё хоть брось...
        Очень уж скверно!
Доля ж, доля ты моя,
        Ты лихая доля!
Уж тебя сломил бы я,
        Кабы только воля!
Уж была б она моя,
        Крепко бы любила...
Да лютая та змея,
        Доля, — жизнь сгубила.
По рукам и по ногам
        Спутала-связала,
По бессонным ночам
        Сердце иссосала!
Как болит, то ли болит,
        Болит сердце — ноет...
Вот что квинта говорит,
        Что басок так воет.
. . . .
. . . .
Шумно скачут сверху вниз
        Звуки врассыпную,
Зазвенели, заплелись
        В пляску круговую.
Словно табор целый здесь
        С визгом, свистом, криком
Заходил с восторгом весь
        В упоенье диком.
Звуки шепотом журчат
        Сладострастной речи...
Обнаженные дрожат
        Груди, руки, плечи.
Звуки все напоены
        Негою лобзаний.
Звуки воплями полны
        Страстных содроганий...
Ба́сан, ба́сан, басана́,
Басана́та, басана́та,
Ты другому отдана
Без возврата, без возврата...
Что за дело? ты моя!
Разве любит он, как я?

Нет — уж это дудки!
Доля злая ты моя,
Глупы эти шутки!
Нам с тобой, моя душа,
Жизнью жить одною,
Жизнь вдвоем так хороша,
Порознь — горе злое!
Эх ты, жизнь, моя жизнь...
К сердцу сердцем прижмись!
На тебе греха не будет,
А меня пусть люди судят,
Меня Бог простит...

Что же ноешь ты, мое
Ретиво сердечко?
Я увидел у нее
На руке колечко!..
Ба́сан, ба́сан, басана́,
Басана́та, басана́та!
Ты другому отдана
Без возврата, без возрата!
Эх-ма, ты завей
Веревочкой горе...
Загуляй да запей,
Топи тоску в море!
Вновь унылый перебор,
Звуки плачут снова...
Для чего немой укор?
Вымолви хоть слово!
Я у ног твоих — смотри —
С смертною тоскою,
Говори же, говори,
Сжалься надо мною!
Неужель я виноват
Тем, что из-за взгляда
Твоего я был бы рад
Вынесть муки ада?
Что тебя сгубил бы я
И себя с тобою...
Лишь бы ты была моя,
Навсегда со мною.
Лишь не знать бы только нам
Никогда, ни здесь, ни там
Расставанья муки...

Слышишь... вновь бесовский гам,
Вновь стремятся звуки...
В безобразнейший хаос
Вопля и стенанья
Всё мучительно слилось.
Это — миг прощанья.
Уходи же, уходи,
Светлое виденье!..
У меня огонь в груди
И в крови волненье.
Милый друг, прости-прощай,
Прощай — будь здорова!
Занывай же, занывай,
Злая квинта, снова!
Как от муки завизжи,
Как дитя от боли,
Всею скорбью дребезжи
Распроклятой доли!
Пусть больнее и больней
Занывают звуки,
Чтобы сердце поскорей
Лопнуло от муки!

<1857>

15

Будь счастлива... Забудь о том, что было,
Не отравлю я счастья твоего,
Не вспомяну, как некогда любила,
Как некогда для сердца моего
Твое так безрассудно сердце жило.

Не вспомяну... что было, то прошло...
Пусть светлый сон души рассеять больно,
Жизнь лучше снов — гляди вперед светло.
Безумством грез нам тешиться довольно.
Отри слезу и подними чело.

К чему слеза? раскаянье бесплодно...
Раскаянье — удел души больной,
Твое же сердце чисто и свободно,
И пусть мое измучено борьбой,
Но понесет свой жребий благородно...

О, полюби, коль можешь ты, опять,
Люби сильней и глубже, чем любила...
Не дай лишь сердца силам задремать,
Живым душам бесстрастие — могила,
А на твоей — избрания печать.

Будь счастлива... В последний раз мне руку
Свою подай; прижав ее к устам,
Впервые и на вечную разлуку
В лобзанье том тебе я передам
Души своей безвыходную муку.

В последний раз натешу сердце сном,
Отдамся весь обманчивому счастью,
В последний раз в лобзании одном
Скажусь тебе всей затаенной страстью
И удалюсь в страдании немом.

И никогда, ни стоном, ни мольбою,
Не отравлю покоя твоего...
Я требую всего, иль ничего...
Прости, прости! да будет Бог с тобою!

<1854, 1857>

16

В час томительного бденья,
В ночь бессонного страданья
За тебя мои моленья,
О тебе мои страданья!

Всё твои сияют очи
Мне таинственным приветом,
Если звезды зимней ночи
Светят в окна ярким светом.
Тесно связанный с тобою,
Возникает мир бывалый,
Вновь таинственной мечтою
Он звучит душе усталой.
Вереницей ряд видений
Призван к жизни странной властью.
Неотвязчивые тени
С неотвязчивою страстью!

Пред душевными очами
Вновь развернут свиток длинный...
Вот с веселыми жильцами
Старый дом в глуши пустынной,
Вот опять большая зала
Пред моим воспоминаньем,
Облитая, как бывало,
Бледных сумерек мерцаньем;
И старик, на спинку кресел
Головой склонясь седою,
О бывалом, тих и весел,
Говорит опять со мною;
Скорой смерти приближенье
Он встречает беззаботно.
От него и поученье
Принимаешь так охотно!

И у ног его склоняся,
Вся полна мечты случайной,
Ты впервые отдалася
Грез волшебных силе тайной,
Бледных сумерек мерцанью
Простодушно доверяясь,
Подчинилась обаянью,
Не лукавя, не пугаясь,
Ты мне долго смотришь в очи,
Смотришь кротко и приветно,
Позабыв, что лунной ночи
Свет подкрался незаметно,
Что в подобные мгновенья
Ясно всё без разговора,
Что таится преступленье
Здесь в одном обмене взора.

О ребенок! ты не знала,
Что одним приветным взглядом
Ты навеки отравляла
Жизнь чужую сладким ядом.

Так меня воспоминанья
В ночь бессонную терзают,
И тебя мои стенанья
Снова тщетно призывают,

И тебя, мой ангел света,
Озарить молю я снова
Грустный путь лучом привета,
Звуком ласкового слова...

Но мольбы и стоны тщетны:
С неба синего сверкая,
Звезды хладно-безответны,
Безответна ночь глухая.

Только сердце страшно ноет,
Вызывая к жизни тени,
Да собака дико воет,
Чуя близость приведений.

<1857>

17

Благословение да будет над тобою,
Хранительный покров святых небесных сил,
Останься навсегда той чистою звездою,
Которой луч мне мрак душевный осветил.

А я сознал уже правдивость приговора,
Произнесенного карающей судьбой
Над бурной жизнию, не чуждою укора, —
Под правосудный меч склонился головой.

Разумен строгий суд, и вопли бесполезны,
Я стар, как грех, а ты, как радость, молода,
Я долго проходил все развращенья бездны,
А ты еще светла, и жизнь твоя чиста.

Суд рока праведный душа предузнавала,
Недаром встреч с тобой боялся я искать:
Я должен был бежать, бежать еще сначала,
Привычке вырасти болезненной не дать.

Но я любил тебя... Твоею чистотою
Из праха поднятый, с тобой был чист и свят,
Как только может быть с любимою сестрою
К бесстрастной нежности привыкший с детства брат.

Когда наедине со мною ты молчала,
Поняв глубокою, хоть детскою душой,

Какая страсть меня безумная терзала,
Я речь спокойную умел вести с тобой.

Душа твоя была мне вверенной святыней,
Благоговейно я хранить ее умел...
Другому вверено хранить ее отныне,
Благословен ему назначенный удел.

Благословение да будет над тобою,
Хранительный покров святых небесных сил,
Останься лишь всегда той чистою звездою,
Которой краткий свет мне душу озарил!

<1857>

18

О, если правда то, что помыслов заветных
Возможен и вдали обмен с душой родной...
Скажи: ты слышала ль моих призывов тщетных
        Безумный стон в ночи глухой?

Скажи: ты знала ли, какою скорбью лютой
Терзается душа разбитая моя,
Ты слышала ль во сне иль наяву минутой,
        Как проклинал и плакал я?

Ты слышала ль порой рыданья, и упреки,
И зов по имени, далекий ангел мой?
И между строк для всех порой читала ль строки,
        Незримо полные тобой?

И поняла ли ты, что жар и сила речи,
Что всякий в тех строках заветнейший порыв
И правда смелая — всё нашей краткой встречи
        Неумолкающий отзыв?

Скажи: ты слышала ль? Скажи, ты поняла ли?
Скажи — чтоб в жизнь души я верить мог вполне
И знал, что светишь ты из-за туманной дали
        Звездой таинственною мне!

<1857>

91. ЛЮБОВЬ ЦЫГАНКИ

Любовь цыганки, —
Все нам твердят, —
Самой смуглянке,
Самой цыганке
И рай и ад!
И рай и ад.

Знавали ль Хмару,
Найдете ль пару
В Москве еще таких очей;
Такой певуньи,
Такой плясуньи
Теперь уж нет нигде, ей-ей,
А пела, пела,
Что твой соловей.

Любовь цыганки (...).

Она молчала,
Когда, бывало,
Ее дивятся красоте;
А сердце билось,
Оно просилось
Сказать «люблю»,
Сказать «люблю».
Всё он наяву,
Всё он наяву,
Наяву и в мечте.

Любовь цыганки (...).

В ней сердце ныло,
Она любила,
Он день и ночь за ней следил,
Но лицемерно
Любил, неверный:
Она цыганка, он барин был,
Ее разлюбил,
Ее разлюбил,
Разлюбил и погубил.

Любовь цыганки (...).

Его венчали,
И в пышной зале
Всю ночь был шумный пир потом;
Его венчали,
А в ночь с печали
Заснула Хмара покойным сном.
Она умерла,
Она умерла,
Умерла с тоски по нем.

<1857>

92. ПЕСНЯ ЦЫГАНКИ

Что ж, неугомонное
Сердце, ноешь ты?
Те же в ночь бессонную
Грезятся мечты.
    Нет... нет... нет!
    Он меня не любит.

Поцелуи жаркие
На устах горят,
Его очи яркие
Что-то говорят.
    Нет... (...).

Его ласки жгучие
В душу пламень льют...
Лишь очнусь — горючие
Слезы потекут!
    Нет... (...).

Скоро ли, тревожное
Сердце, стихнешь ты?
Разве невозможные
Сбудутся мечты?
    Нет... (...).

Снова с ним при встрече я
Буду лишь молчать...
Ночью его речи я
Стану вспоминать.
    Нет... (...).

Тайного участия
Буду в них искать
И, безумной страстию
Мучаясь, пылать.
Нет... (...).

<1857?>

93—99. ТИТАНИИ

ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРЕВОДА КОМЕДИИ «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» ШЕКСПИРА

1

Титания! пусть вечно над тобой
Подруги-сильфы светлые кружатся,
Храня тебя средь суеты дневной,
Когда легко с толпой душе смешаться,

Баюкая в безмолвный час ночной,
Как тихим сном глаза твои смежатся.
Зачем не я твой дух сторожевой?
Есть грезы... Им опасно отдаваться.

Их чары сильны обаяньем зла,
Тревожными стремленьями куда-то;
Не улетай за ними, сильф крылатый,
Сияй звездой, спокойна и светла,

В начертанном кругу невозмутима,
Мучительно, но издали любима!

2

Титания! недаром страшно мне:
Ты, как дитя, капризно-прихотлива,
Ты слишком затаенно-молчалива,
И, чистый дух, — ты женщина вполне.

Перед тобой покорно, терпеливо
Душа чужая в медленном огне
Сгорала годы, мучась в тишине...
А ты порой — беспечно-шаловливо

Шутила этой страстию немой,
Измученного сердца лучшим кладом,
Блаженных грез последнею зарей;
Порою же глубоким, грустным взглядом,

Душевным словом ты играть могла...
Титания! ужели ты лгала?

3

Титания! я помню старый сад
И помню ночь июньскую. Равниной
Небесною, как будто зауряд,
Плыла луна двурогой половиной.

Вы шли вдвоем... Он был безумно рад
Всему — луне и песне соловьиной!
Вдруг господин... припомни только: вряд
Найдется столько головы ослиной

Достойный... Но Титания была
Титанией; простая ль шалость детства
Иль прихоть безобразная пришла
На мысли ей, — осел ее кокетства

Не миновал. А возвратясь домой,
Как женщина, в ту ночь рыдал другой.

4

Титания! из-за туманной дали
Ты всё, как луч, блестишь в мечтах моих,
Обвеяна гармонией печали,
Волшебным ароматом дней иных.

Ему с тобою встретиться едва ли;
Покорен безнадежно, скорбно-тих,
Велений не нарушит он твоих,
О, чистый дух с душой из крепкой стали!

Он понял всё, он в жизнь унес с собой
Сокровище, заветную святыню:
Порыв невольный, взор тоски немой,
Слезу тайком... Засохшую пустыню

Его души, как Божия роса,
Увлажила навек одна слеза.

5

Да, сильны были чары обаянья
И над твоей, Титания, душой, —
Сильней судьбы, сильней тебя самой!
Как часто против воли и желанья

Ты подчинялась власти роковой!
Когда, не в силах вынести изгнанья,
Явился он последнего свиданья
Испить всю горечь, грустный и больной,

С проклятием мечтаньям и надежде —
В тот мирный уголок, который прежде
Он населял, как новый Оберон,
То мрачными, то светлыми духами,

Любимыми души своей мечтами, —
Всё, всё в тебе прочел и понял он.

6

Титания! не раз бежать желала
Ты с ужасом от странных тех гостей,
Которых власть чужая призывала
В дотоле тихий мир души твоей:

От новых чувств, мечтаний, дум, идей!
Чтоб на землю из царства идеала
Спуститься, часто игры детских дней
Ты с сильфами другими затевала.

А он тогда, безмолвен и угрюм,
Сидел в углу и думал: для чего же
Бессмысленный, несносный этот шум
Она затеяла?.. Бессмыслен тоже
И для нее он: лик ее младой
Всё так же тайной потемнен тоской.

7

Титания! прости навеки. Верю,
Упорно верить я хочу, что ты —

Слиянье прихоти и чистоты,
И знаю: невозвратную потерю

Несет он в сердце; унеслись мечты,
Последние мечты — и рая двери
Навек скитальцу-другу заперты.
Его скорбей я даже не измерю

Всей бездны. Но горячею мольбой
Молился он, чтоб светлый образ твой
Сиял звездой ничем не помраченной,
Чтоб помысл и о нем в тиши бессонной

Святыни сердца возмутить не мог,
Которое другому отдал Бог.

<1857>

100

Хоть тихим блеском глаз, улыбкой, тоном речи
Вы мне напомнили одно из милых лиц
Из самых близких мне в гнуснейшей из столиц...
Но сходство не было так ярко с первой встречи...
Нет — я к вам бросился, заслыша первый звук,
На языке родном раздавшийся нежданно...
Увы! речь женская доселе постоянно,
Как электричество, меня пробудит вдруг...
Мог ошибиться я... нередко так со мною
Бывало — и могло в сей раз законно быть...
Что я не облит был холодною водою,
Кого за то: судьбу иль вас благодарить?

6 декабря 1857
Флоренция

101. ИНТРОДУКЦИЯ К АЛЬБОМУ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

(ПОКА ТАКОВОЙ ЕЩЕ НЕ СУЩЕСТВОВАЛ)

В *несуществующий* альбом —
Заклятый враг готовых —
Пишу я — в нем, как и во всем,
Краев искатель новых.

Начав шутливо, продолжать
Хандрою беспощадной,
Готов я правду вам сказать
Со злостию отрадной.
Желать ли мне, чтоб в нем всегда
Страницы *чисты* были...
Иль чтобы страсть, любовь, мечта
Их смело исчертили.
Две доли в жизни нам даны:
Тревоги страшной доля
И доля глупой тишины,
Покойная неволя.
Глупа одна, чтоб от души
Я написал желанье,
А про другую напиши —
Заслужишь нареканье!
И справедливое!.. Зачем
Extravagances[1] поэта?
Нет! Лучше буду глуп и нем,
Когда возможно это.

Начало декабря 1857
Флоренция

102. АЛЬБОМУ В ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНИЯ

Имею честь тебя, альбом,
Поздравить с днем рожденья!
Что ты не будешь дураком,
Не нужны уверенья.
Ума и чувства есть печать
На многих, очевидно...
Уму ж и чувству в жизни спать,
Поверь мне, будет стыдно.

11 декабря 1857
Firenze

103

Видом пакостным своим
Вас терзать он снова станет.

---

[1] Экстравагантности (франц.). — *Ред.*

А рассказом Вечный Рим
И Неаполь опоганит.

1857—февраль 1858

104

Страданий, страсти и сомнений
Мне суждено печальный след
Оставить там, где добрый гений
Доселе вписывал привет...

Стихия бурная, слепая,
Повиноваться я привык
Всему, что, грудь мою сжимая,
Невольно лезет на язык...

Язык мой — враг мой, враг издавна...
Но, к сожаленью, я готов,
Как христианин православный,
Всегда прощать моих врагов.

И смолкнет он по сей причине,
Всегда как колокол звуча,
Уж разве в «метеорском чине»
Иль под секирой палача...

Паду ли я в грозящей битве
Или с «запоя» кончу век,
Я вспомнить в девственной молитве
Молю, что был-де человек,

Который прямо, беззаветно
Порывам душу отдавал,
Боролся честно, долго, тщетно
И сгиб или усталый пал.

16 (28) февраля 1858
Флоренция

105. ИЗ МИЦКЕВИЧА

Прости-прощай ты, страна родная!
Берег во мгле исчезает;

Шумит и стонет бездна морская,
    В воздухе чайка ныряет.
Дальше за солнцем, куда покатилась
    Его голова золотая.
Солнце до завтра с нами простилось.
    Прощай, страна ты родная!
Завтра я снова румяную зорю,
    Солнце увижу я снова.
Увижу небо, увижу море...
    Не узрю лишь края родного.
Замок, где мы пировали толпою,
    Вечное горе покроет...
Двор прорастет зеленой травою,
    Глухо пес верный завоет.

16 февраля 1858

106. ПЕСНЯ СЕРДЦУ

Und wenn Du ganz in dem Gefühle selig bist,
Nenn's Glück, Liebe, Gott!
Ich kenne keinen Namen
Dafür. Gefühl ist Alles...
Name ist Schall und Rauch
Umnebelnd Himmelsgluth.

Göthe. Faust, I Teil[1]

Над Флоренцией сонной прозрачная ночь
    Разлила свой туман лучезарный.
Эта ночь — точно севера милого дочь!
    Фосфорически светится Арно...

Почему же я рад как дурак, что грязна,
    Как Москва, и Cittá dei Fiori?[2]
Что луна в облаках, как больная, бледна,
    Смотрит с влагою тусклой во взоре?

---

[1] Наполни же всё сердце этим чувством
И, если в нем ты счастье ощутишь,
Зови его как хочешь:
Любовь, блаженство, сердце, Бог!
Нет имени ему! Всё — в чувстве!
А имя — только дым и звук,
Туман, который застилает небосвод.
Гете. «Фауст», I часть
(нем.; перевод Н. А. Холодковского).— *Ред.*

[2] Город цветов (итал.). — *Ред.*

О Владыка мой, Боже! За душу свою
  Рад я всею *поющей* душою;
Рад за то, что я гимн мирозданью пою
  Не под яркой полудня луною...

Что не запах могучих полудня цветов
  Душу дразнит томленьем и страстью,
Что у неба туманного, серого — вновь
  Сердце молит и требует счастья;

Что я верю в минуту, как в душу свою,
  Что в душе у меня лучезарно,
Что я гимн мирозданью и сердцу пою
  На сыром и на грязном Лунг-Арно.

Тихо спи под покровом прозрачно-сырой
  Ночи, полной туманных видений,
Мой хранитель таинственный, странный, больной,
  Мое сердце, моей северный гений.

17 февраля 1858
Firenze

107

Когда, пройдя, бывало, *Гибеллину*
И выбравшись на площадь *Триниту*,
Дороги к вам свершу я половину
И всё бодрей и веселей иду,
Воображая вечную картину,
Которую, наверное, найду;
Такую же, как и всегда и прежде,
А именно: тревожный дух в Надежде

Филипповне (сей нервный дух забот —
Неутомливый дух самогрызенья),
А в Вас зато — отсутствие хлопот
И жажду вечную движенья...
(Что к Вам так удивительно идет
И на меня наводит умиленье),
Когда, бывало, этот мир, — с душой
Сроднившийся, в душе несешь с собой,

И, входя к Вам, он наяву предстанет,
То сердцу странника или, скорей,

Бездомного бродяги — как же станет
Отрадно и тепло... но, видно, сей
Прекрасный мир, как всякий мир, обманет.
Вы едете... Хоть глупо, но ей-ей...
По Вас мы псами очень безобразно
Завоем от хандры однообразной...

Известно Вам — завоем мы вдвоем,
В обоих развилось нас много дури...
Мы будем выть, поверьте, обо всем
И даже о нескладной «рассикуре»![1]

21 февраля 1858
Firenze

108—112. ИМПРОВИЗАЦИИ СТРАНСТВУЮЩЕГО РОМАНТИКА

1

Больная птичка запертáя,
В теплице сохнущий цветок,
Покорно вянешь ты, не зная,
Как ярок день и мир широк,

Как небо блещет, страсть пылает,
Как сладко жить с толпой порой,
Как грудь высоко подымает
Единство братское с толпой.

Своею робостию детской
Осуждена заглохнуть ты
В истертой жизни черни светской.
Гони же грешные мечты,

Не отдавайся тайным мукам,
Когда лукавый жизни дух
Тебе то образом, то звуком
Волнует грудь и дразнит слух!

Не отдавайся... С ним опасно,
Непозволительно шутить...
Он сам живет и учит жить
Полно, широко, вольно, страстно!

После 26 января 1858

---

[1] Дуэт из «Anna Bolena».

2

Твои движенья гибкие,
Твои кошачьи ласки,
То гневом, то улыбкою
Сверкающие глазки...
То лень в тебе небрежная,
То — прыг! поди лови!
И дышит речь мятежная
Всей жаждою любви.

Тревожная загадочность
И ледяная чинность,
То страсти лихорадочность,
То детская невинность,
То мягкий и ласкающий
Взгляд бархатных очей,
То холод ужасающий
Язвительных речей.

Любить тебя — мучение,
А не любить — так вдвое...
Капризное творение,
Я полон весь тобою.
Мятежная и странная —
Морская ты волна,
Но ты, моя желанная,
Ты киской создана.

И пусть под нежной лапкою
Кошачьи когти скрыты —
А всё ж тебя в охапку я
Схватил бы, хоть пищи ты...
Что хочешь, делай ты со мной,
Царапай лапкой больно,
У ног твоих я твой, я твой —
Ты киска — и довольно.

Готов я все мучения
Терпеть, как в стары годы,
От гибкого творения
Из кошачьей породы.
Пусть вечно когти разгляжу,
Лишь подойду я близко.

Я по тебе с ума схожу,
Прелестный друг мой — киска!

6 (18) февраля 1858
Cittá dei Fiori

3

Глубокий мрак, но из него возник
Твой девственный, болезненно-прозрачный
И дышащий глубокой тайной лик...

Глубокий мрак, и ты из бездны мрачной
Выходишь, как лучи зари, светла;
Но связью страшной, неразрывно-брачной

С тобой навеки сочеталась мгла...
Как будто он, сей бездны мрак ужасный,
Редеющий вкруг юного чела,

Тебя обвил своей любовью страстной,
Тебя в свои объятья заковал
И только раз по прихоти всевластной

Твой светлый образ миру показал,
Чтоб вновь потом в порыве исступленья
Пожрать воздушно-легкий идеал!

В тебе самой есть семя разрушенья —
Я за тебя дрожу, о призрак мой,
Прозрачное и юное виденье;

И страшен мне твой спутник, мрак немой;
О, как могла ты, светлая, сродниться
С зловещею, тебя объявшей тьмой?

В ней хаос разрушительный таится.

21 февраля 1858
Флоренция

4

О, помолись хотя единый раз,
Но всей глубокой девственной молитвой,
О том, чья жизнь столь бурно пронеслась
Кружащим вихрем и бесплодной битвой.
О, помолись!..

Когда бы знала ты,
Как осужденным заживо на муки
Ужасны рая светлые мечты
И рая гармонические звуки...
Как тяжело святые сны видать
Душам, которым нет успокоенья,
Призывам братьев-ангелов внимать,
Нося на жизни тяжкую печать
Проклятия, греха и отверженья...
Когда бы ты всю бездну обняла
Палящих мук с их вечной лихорадкой,
Бездонный хаос и добра и зла,
Всё, что душа безумно прожила
В погоне за таинственной загадкой,
Порывов и падений страшный ряд,
И слышала то ропот, то моленья,
То гимн любви, то стон богохуленья, —
О, верю я, что ты в сей мрачный ад
Свела бы луч любви и примиренья...
Что девственной и чистою мольбой
Ты залила б, как влагою целебной,
Волкан стихии грозной и слепой
И закляла бы силы власть враждебной.
О, помолись!..
Недаром ты светла
Выходишь вся из мрака черной ночи,
Недаром грусть туманом залегла
Вкруг твоего прозрачного чела
И влагою сияющие очи
Болезненной и страстной облила!

27 января (8 февраля) 1858
Флоренция

5

О, сколько раз в каком-то сладком страхе,
Волшебным сном объят и очарован,
К чертам прозрачно-девственным прикован,
Я пред тобой склонял чело во прахе.
Казалось мне, что яркими очами
Читала ты мою страданий повесть,
То суд над ней произнося, как совесть,
То обливая светлыми слезами...

Недвижную, казалось, покидала
Порой ты раму, и свершалось чудо:
Со тьмой, тебя объявшей отовсюду,
Ты для меня союз свой расторгала.
Да! Верю я — ты расставалась с рамой,
Чело твое склонялось надо мною,
Дышала речь участьем и тоскою,
Глядели очи нежно, грустно, прямо.
Безумные и вредные мечтанья!
Твой мрак с тобой слился неразделимо,
Недвижна ты, строга, неумолима...
Ты мне дала лишь новые страданья!

24 февраля 1858
Флоренция

113. ОТЗВУЧИЕ КАРНАВАЛА

Помню я, как шумел карнавал,
Завиваяся змеем гремучим,
Как он несся безумно и ярко сверкал,
Как он сердце мое и колол и сжимал
Своим хоботом пестрым и жгучим.

Я, пришелец из дальней страны,
С тайной завистью, с злобой немою
Видел эти волшебно узорные сны,
Эту пеструю смесь полной сил новизны
С непонятно живой стариною.

Но невольно я змею во власть
Отдался, закружен его миром, —
Сердце поняло снова и счастье, и страсть,
И томленье, и бред, и желанье упасть
В упоенье пред новым кумиром.

Май 1858
Чивитта-Веккиа

114

Прощай и ты, последняя зорька,
Цветок моей родины милой,
Кого так сладко, кого так горько
Любил я последнею силой...

Прости-прощай ты и лихом не вспомни
    Ни снов тех безумных, ни сказок,
Ни этих слез, что было дано мне
    Порой исторгнуть из глазок.

Прости-прощай ты — в краю изгнанья
    Я буду, как сладким ядом,
Питаться словом последним прощанья,
    Унылым и долгим взглядом.

Прости-прощай ты, стемнели воды...
    Сердце разбито глубоко...
За странным словом, за сном свободы
    Плыву я далёко, далёко...

Июнь (?) 1858
Флоренция

115. К МАДОННЕ МУРИЛЬО В ПАРИЖЕ

Из тьмы греха, из глубины паденья
К тебе опять я простираю руки...
Мои грехи — плоды глубокой муки,
Безвыходной и ядовитой скуки,
Отчаянья, тоски без разделенья!

На высоте святыни недоступной
И в небе света взором утопая,
Не знаешь ты ни страсти мук преступной,
Наш грешный мир стопами попирая,
Ни мук борьбы, мир лучший созерцая.

Тебя несут на крыльях серафимы,
И каждый рад служить тебе подножьем.
Перед тобой, дыханьем чистым, Божьим
Склонился в умиленье мир незримый.

О, если б мог в той выси бесконечной,
Подобно им, перед тобой упасть я
И хоть с земной, но просветленной страстью
Во взор твой погружаться вечно, вечно.

О, если б мог взирать хотя со страхом
На свет, в котором вся ты утопаешь,

О, если б мог я быть хоть этим прахом,
Который ты стопами попираешь.

Но я брожу один во тьме безбрежной,
Во тьме тоски, и ропота, и гнева,
Во тьме вражды суровой и мятежной...
Прости же мне, моя Святая Дева,
Мои грехи — плод скорби безнадежной.

16 июля 1858
Париж

116

Мой старый знакомый, мой милый альбом!
Как много безумства посеяно в нем!
Как светит в нем солнце Италии яркое,
Как веет в нем жизни дыхание жаркое
Из моху морского, из трав и цветов,
Из *диких* каракуль и *диких* стихов.

Мой старый знакомый, мой милый альбом,
Как будто поминки творю я по нем,
Как будто бы севера небо холодное
Всё светлое, яркое в нем и свободное
Туманом своим навсегда облекло...
Как будто навек всё, что было, — прошло!

7 ноября 1858
С. Петербург

117. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ОДА НА БЛАГОПОЛУЧНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ «СВИСТКА», НА ВСЕРАДОСТНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО БЛАГОВОННОГО ОЧЕРКА Г. ПОМЯЛОВСКОГО И НА ДРУГИЕ, НЕ МЕНЕЕ ВЕЛИКИЕ В РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ СОБЫТИЯ

Посвящается юному, но могучему племени нигилистов Ненужным человеком

Нет, никогда, ниже когда Пиччини
Успел пленить слух диких парижан...

Пушкин. «Моцарт и Сальери»

Нет, никогда, ниже, когда Булгарин
В Белинском Робеспьера прозревал;

Ниже, когда в Москве известный барин
Элегии с доносами писал;
Ниже когда мелькнул в литературе
Звук сладостный китайский: дзун-кин-дзын
(За что былых, крутых времен цензуре
Был нагоняй — и даже не один);
Ниже, когда извощицки ругались
В ненастны дни Фаддей и Полевой,
Хоть в дни веселья братски лобызались,
Кружася вместе в пляске круговой;
Ниже, когда Межевич благородный
Андрея на Фаддея чуть сменил, —
Панаева любезно и свободно
Рожденным в люпанаре объявил;
Ниже, когда куплетов из лакейской,
Андреева, Григорьева Петра,
Намеков, полных тонкости злодейской,
Цвела александринская пора;
Ниже, когда во дни изобличений
Великий обличительный поэт,
В цинизме чувства, наш российский гений
Подвинул вдруг вперед на столько лет...
Нет, никогда — в столь непомерной силе
Речь русская не увлекала нас!
О, «Père Duchesne»! возрадуйся в могиле!
Аскоченский, ты не один в сей час!
Evviva[1] благодетельная гласность!
Honneur aux preux![2] Российский дух велик!
Настала зрелость мысли, слова ясность...
Не нужен скоро будет и язык...
Писатель русский, брось ты труд сугубый!..
К чему писать? Настала дел пора —
Рычи, мычи — да в ухо или в зубы!
Живее в кнутья, братья-кучера!

Примечание. Ода сия есть не что иное, как лирическое введение к имеющей скоро появиться исторической этюде: Новый Мурет, или Elegantiae orationis Rossicae, сиречь Изящества речи российской.

<1863>

---

[1] Да здравствует (итал.). — *Ред.*

[2] Почет богатырю! (франц.) — *Ред.*

6 Зак. 4110

118. АЛМЕЯ АБЛИЧИТЕЛЮ [1]

Подражание восточному. —
(*Стихотворения Фета*, т. I, стр. 31)

Я люблю его жарко: он бешеным псом
Прямо в тину несется стремглав...
Я люблю абличителя ярого в нем
И ругателя всяческих слав.
Кто б ты ни был, читатель, — но смрадных статей,
Не зажавши свой нос, ты не тронь...
Лишь раскроешь страницу — и сильно от ней
Понесется зловещая вонь.
Если ты, содержатель, заводишь трактир —
Лучше «платье заранее скинь».
Поощрит абличитель, — но он ведь вампир —
Он — бадья при колодце пустынь.
Ты в бездонную глотку не думай вина
Дорогого достаточно влить;
Я люблю его жарко — из жен ни одна
Не могла так «пророка» любить.

<1863>

119. ПОСЛАНИЕ К КРИТИКУ «ЯКОРЯ»

Замолчи, о критик с речью строгой!
Никому речь эта не нужна...
Прошибешь ли шкуру носорога?
Устыдишь ли Теодора <Бурди>на?

Будет он по-старому ломаться
И с «бенгаликой» Краснова нам играть,
Будет <Нильс>кий так же завиваться
И вприсядку Жадова валять!

---

[1] Раз навсегда к любознательному читателю: в отношении слова *обличение* — в этимологическом и всяком другом смысле, — «Оса» строго будет соблюдать старую орфографию; в отношении же достолюбезной головешкинской своры и иных подобных литературщиков, мы отныне узакониваем у себя наименование *абличитель, абличение, абличать и т. д.* Делается же это ради отличия обличения настоящего от абличения головешкинского, с которым оно не имеет ничего общего. — Ред<актор>.

<Нильс>кий будет так же точно
К водке в Разлюляеве скакать...
Тезка ж твой весь век играл «нарочно»,
Так «взаправду» станет ли играть?..

В Лире будет нам наш Гаррик, чудо света,
Старческую немочь выражать,
Без души, но с бородой Гамлета
«В лучшем виде» нам изображать.

Критик мой! считай же в небе звезды
Иль займись толчением воды;
Но, Гамлет Щигровского уезда, —
В Дон-Кихоты что же лезешь ты?

Я сейчас пришел из представленья,
Где Краснова Теодор катал...
Публика — в ужасном восхищенье:
Зарычали все, как он упал!

Я и сам, признаться, даже ахнул!..
Как последний свой монóлог он
Залихватски, братец мой, шарахнул!
Да! Леметром сей артист рожден!

Верь мне, верь: не будет перемены;
Всё пойдет по-старому, как шло...
Не сойдут с Российской нашей сцены
Штуки вроде «Было, да прошло»!

Испокон веков театр Александринский
Был поставлен, друг мой, странно *так*,
На него рукой махнул Белинский,
Хоть сначала, — тоже ведь чудак, —

Пошалил на первый год приезда:
Стал статьи суровые писать!
Но тебе, Гамлет Щигровского уезда,
В Дон-Кихоты глупо попадать!

Жизнью бит ты, кажется, немало!
Ты Рашель, любезный мой, ругал,
Верил ты в Самарина сначала
И о нем «с заскоком» ты писал.

Так уймись! Бегут, о Постум, годы,
Как старик Гораций говорит...
Ты — поклонник всяческой свободы;
Пусть свобода мысль тебе внушит:

Теодору волю дать яриться,
«Милым штатским» кудри в кольца вить,
Канарейкам — с голосу учиться,
Раппопорту — Клестершу хвалить!

Ты ж с своей замолкни речью строгой!
Никому речь эта не нужна...
Прошибешь ли шкуру носорога?
Устыдишь ли Теодора <Бурди>на?

<1863>

120—121. МОНОЛОГИ ГАМЛЕТА ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА

1

Имею честь явиться перед вами:
Пришел сменить я брата Дон-Кихота.
Известно всем, что у него с тенями

Была бороться смертная охота;
Я бесполезным рыцарским потехам
Сочувствовать способен мало что-то...

Я болен нервно-судорожным смехом:
На наш прогресс умею отзываться
Я только этим непристойным эхом;

Я — отсталой, не в силах восторгаться
Ни коммунистским счастьем в мире новом,
Ни даже — в этом на ухо признаться

Едва дерзну — ни даже... «Русским словом»
С передовыми Зайцева статьями,
Ни (о позор мне!) жондом народовым.

Оставьте только это между нами,
Чтоб с вами был я искренен в беседах,
Чтобы я вас не угощал речами,

Какими на торжественных обедах
Во славу «юной гласности» когда-то
Сочувствие будили в дармоедах

Да восхищали Дон-Кихота брата.
О дни, когда мы гласность растлевали,
Когда зато и в срок, и таровато

Издатели бойцов вознаграждали;
О дни надежд и всяких упоений!..
Лишь для меня вы были дни печали!

Лишь мне шептал мой спутник, злобный гений:
«Не верь, не верь, что это — жизнь народа
Проснулася и жаждет обличений,

Не верь, не верь! Всё это — только мода;
И в нашей "благодетельной" мы видим
Лишь выгоды особенного рода.

И зло мы не без цели ненавидим:
Народ мы — ерник. Мы ль когда положим
Охулку на руку, себя обидим

И до костей барашка не обгложем?..
Переменился ветер... что за дело!..
На старой кляче ездить мы не можем —

На новую кобылу вскочим смело,
Помчимся вскачь на гласности ретивой:
Валяй! хотя б под нами околела!

Служить мы честно черни прихотливой
Готовы. Невозможны фельетоны
Булгарина... так что ж за горе? Живо

Гражданские мы "в ход пущаем" стоны
И новую механику подводим;
Хоть так же всё, как и во время оно

Мы в сущности "глаза людям отводим",
Зато теперь отводим благородно,
И если мы мещанство за нос водим,

То всё ж во славу гласности свободной:
Гражданской скорбью мы болеем жолчной,
Печальники мы участи народной!»

Такие речи в уши мне немолчно
Шептал мой демон в оны дни и рушил
Во мне мечты, — и я хоть так же точно

Исправно спал, отлично пил и кушал,
Но скорбию гражданской собирался
Сам занемочь... С негодованьем слушал

Я эти речи; я же задолжался
В счет «гласности» у Мабрие портного...
(Еще доселе с ним я не сквитался!)

Рассчитывал я на два наших «Слова»
(Одно из них замолкло, а другое
Недавно завело передового).

А всё же стал я думать: дескать, что я?
С чего бешусь? Пора уж мне уняться,
Призвание свое сознать прямое

И разве лишь юродствовать приняться,
Как подобает людям, «духом нищим»,
Да нервным смехом Гамлета смеяться

Над тем, как обличаем мы, и свищем,
И скорбно стонем. Грустно стал я снова
Бродить один да рыться по кладбищам

Печального и мрачного былого,
Над старым черепом мечтать уныло...
И обманул надежды я портного.

Да, — думал я, — костюм переменила
Широкая российская природа...
Но утаить в мешке возможно ль шило?

О, ярые печальники народа!
Усердно принялися вы за стоны,
Как некогда — была ведь тоже мода —

Про воеводу пели Пальмерстона
Одни из вас усердно — в дни былые
Гнилых стихов о славной обороне;

Пять умных книжек прочитать другие
Успели в это время, — научились,
Как, следственно, и просвещать Россию

С великодушной яростью пустились.
Жаль, выхода шестой у них терпенья
Не стало ждать: они поторопились!

Меня же книжки только в затрудненье
Всегда приводят. И, пока шестая
Еще не вышла, возымел я рвенье

И сам, ко благу общества пылая,
Усердием речь повести с тобою,
О Севера Пальмира! Сознавая,

Что твоего вниманья мало стою,
Что в мир Фурье я плохо верю новый,
Равно и в то, что с нашею землею

Луна лизаться от души готова,
По ней на небе изнывая томно;
Я только с наших сладких снов покровы

Срывать порою обязуюсь скромно.
И вот, перед началом представленья
(Ведь взял я труд и скучный, и огромный!),

Как следует, прошу о снисхожденье
Тебя, о все видавшая столица!
За тем начну! Лишь не теряй терпенья!

Благослови, Горацио мой, Косица!

2

Мне грезилось обширное кладбище...
Хоть я Гамлет Щигровского уезда,
Но всё ж Гамлет. И мертвецов жилище —

Для мрачных грез приличнейшее место.
«Плохая рифма, принц!» — мне скажут; чую
И сам, — но лучше нет; хоть рифма «звезды»

Годилась бы, да я ее бракую.
Притом же звезд не видно вовсе было
На небесах, а только мглу сырую

Ноябрьских наших сумерек уныло,
С ее обычным серым колоритом,
Я созерцал: и сквозь нее светила

Луна спросонок, мутным и сердитым
Мерцанием: так смотрит с перепоя
Лягушкин в настроенье ядовитом;

И вообще, желание плохое
Выказывало милое светило
Соединиться с нашею землею.

Кругом всё были камни до могилы,
Дул ветер как-то ернически: сзади
И спереди; и что-то ныло, выло

Повсюду: за оградой и в ограде,
Скучнее и глупей, чем, изнывая
Гражданской скорбью, воют в Петрограде

Герои абличения и лая.
Душа тоской сжималася; в такие
Нелегкие минуты я желаю

Допиться до чертей или до змия
Зеленого; Гамлет мещанский, тоже
Как принц Гамлет: «To be or not to be»[1] — я

Казенное твержу... Увы! не к роже
Мне эти речи! Пахнем все мы гнилью:
На Гамлета мы столько же похожи,

Как он на Геркулеса: наши крылья,
Как мокрая мы курица, несмело
Подчас пытаем: тщетные усилья!

Да и к чему? Мы пошлы? Что за дело!
Еще пошлей придет за нами племя;
В конце концов мещанство нас подъело!

Великих дум и дел великих время,
Быть может, миновало без возврата;
Быть может, fors vitalis[2]: жизни семя,

---

[1] «Быть или не быть» (англ.). — *Ред.*

[2] Жизненная сила (франц., лат.). — *Ред.*

Историю рождавшее когда-то, —
Заглохло. Так, среди могил блуждая,
Я размышлял, но Дон-Кихота, брата,

Вдруг увидал, в пространство взгляд вперяя.
По-старому он шел, мечом картонным
С неутомимой яростью махая.

По-старому же всё, с неугомонным,
Достойным лучшей участи стараньем
Он пёр куда-то. Я его поклоном

Приветствовал, — и, помня, что мы братья,
Я с Тацитом, своею вечной книгой,
И с черепом расстался, и объятья

Раскрыл ему; но неприличной фигой
Мгновенно сжал он страшный кулачище
И — обозвал меня он прощелыгой.

«Ты прощелыга, — молвил он, — братище.
Что шляешься?.. побить тебя сбирался
Давно я... что пришел ты на кладбище?

Я целый век работаю и маюсь,
Ни устали не зная, ни покоя, —
На пользу человечества стараюсь

И делом занят: ты же что такое?
Теперь постыдно попусту шататься...
Всё поднялось и рвеньем закипело,

А ты пошляк! Полезным заниматься
Ты должен бы, делить со мной заботы
И "срезать все на нет" скорей стараться».

Мещанский Гамлет, брата Дон-Кихота
По сим речам казенным, хоть задорным, —
Мещанского признал я тотчас. Что-то

В его мозгу, обычно столь упорном,
Перевернулось: но «отчизны сына»
В бойце многоглаголивом и вздорном

Нетрудно было зреть. Наполовину
Сей бич неправды, взяток и обманок —
Был старый, милый тип россиянина,

Давно известный всем «сосед Буянов,
Пришедший вновь с небритыми усами»,
Наполовину же — сей страх баранов,

Сей либерал с громовыми речами
Мне милым Репетиловым являлся...
Я ждал, что призрак Хлёстовой меж нами

Хоть на одно мгновенье показался,
И мой герой бестрепетно-суровый
Пред ней, как пред грозою, стушевался.

Но сон мой вид внезапно принял новый.

<1863>

122. СКАЖИТЕ МНЕ!

(ИЗ «ROMANCERO» НЕНУЖНОГО ЧЕЛОВЕКА)

Скажите мне: кто может упиваться
Прокислою бурдою Д-на?
Скажите мне: кто может восторгаться
Бенгаликой Леметра Б<урди>на?
Скажите мне!

Скажите мне: где экипажи, кони,
Где общество само градских карет?
Скажите мне: как вновь поет Чеккони?
Что значат бенефисы de retraite[1] ?

Скажите мне: как вдруг Щедрин решился
На службу «в нигилисты» поступить?
Скажите мне: за сколько в год рядился
Журнальный пудель Клестершу хвалить?
Скажите мне!

Скажите мне: на «Барскую затею»
Дал барин фонд иль не дал ничего?
Скажите мне: не колотили ль в шею
На днях из абличителей кого?
Скажите мне!

---

[1] Отставные, пенсионные (франц.). — *Ред.*

Скажите мне: какую будет штуку
«Заноза» в объявлениях пущать?..
Скажите мне: кто взялся оптом скуку
В «Санктпетербургских» Коршу поставлять?
Скажите мне!

Скажите мне: камелий интересы
Поглотят ли всецело нас опять?
Скажите мне: когда престанут бесы
Убогого газетчика смущать?
Скажите мне!

Скажите мне: ужели будем вечно
И тщетно мы водопроводов ждать?..
Но жизнь темна — вопросы бесконечны...
Не лучше ли мне будет замолчать?
Скажите мне!

<1863>

123

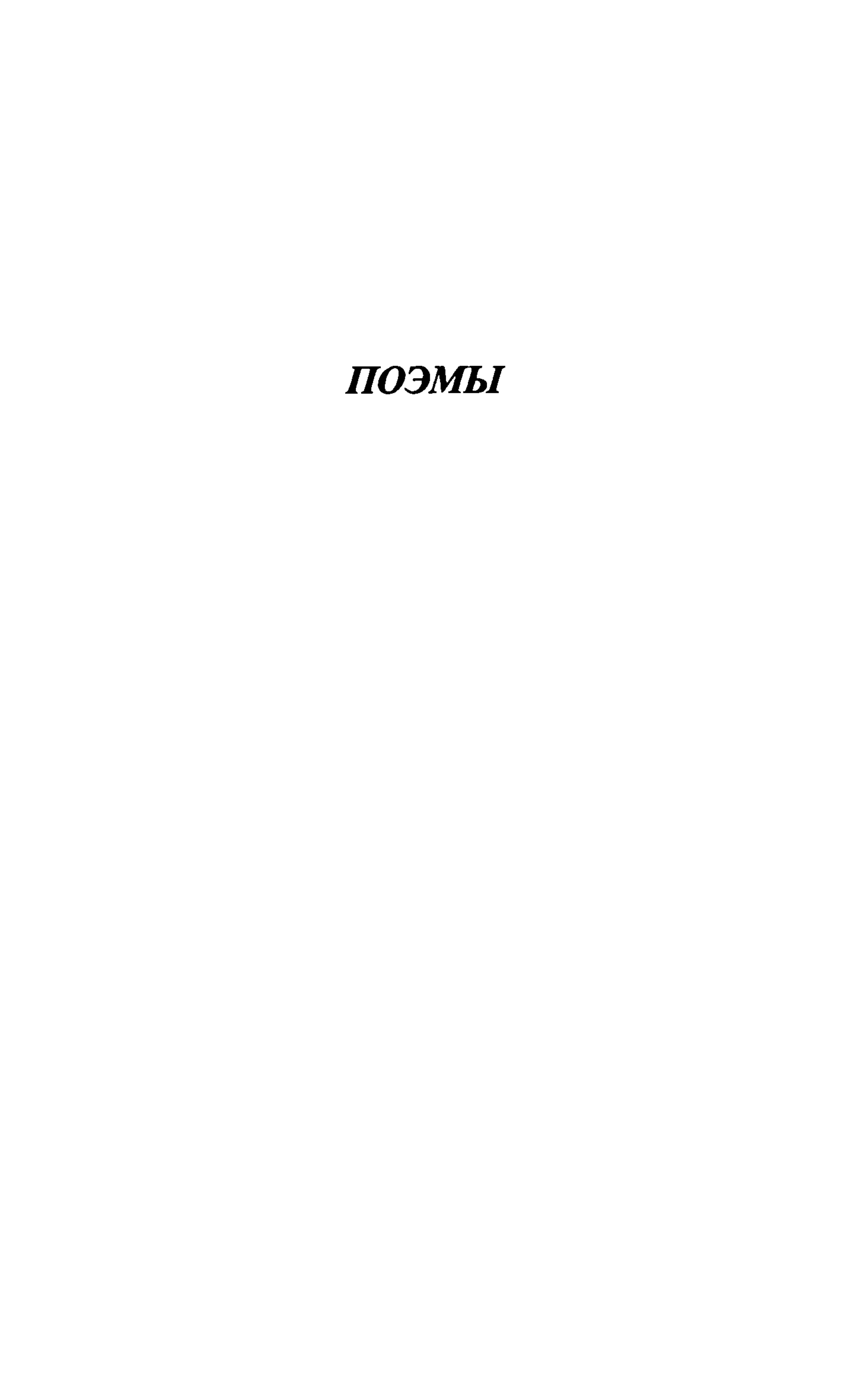
И всё же ты, далекий призрак мой,
В твоей бывалой, девственной святыне
Перед очами духа встал немой,
Карающий и гневно-скорбный ныне,

Когда я труд заветный кончил свой.
Ты молнией сверкнул в глухой пустыне
Больной души... Ты чистою струей
Протек внезапно по сердечной тине,

Гармонией святою вторгся в слух,
Потряс в душе седалище Ваала —
И всё, на что насильно был я глух,

По ржавым струнам сердца пробежало
И унеслось — «куда мой падший дух
Не досягнет» — в обитель идеала.

26 июля 1864



ПОЭМЫ

124. ОЛИМПИЙ РАДИН

Рассказ

1

Тому прошло уж много лет,
Что вам хочу я рассказать,
И я уверен — многих нет,
Кого бы мог я испугать
Рассказом; если же из них
И есть хоть кто-нибудь в живых,
То, верно, ими всё давно
Забвению обречено.
И что до них? Передо мной
Иные образы встают...
И верю я: не упрекнут,
Что их неведомой судьбой,
Известной мне лишь одному,
Что их непризнанной борьбой
Вниманье ваше я займу...

2

Тому назад лет шесть иль пять,
Не меньше только, — но в Москве
Еще я жил... Вам нужно знать,
Что в старом городе я две
Отдельных жизни различать
Привык давно: лежит печать
Преданий дряхлых на одной,
Еще не скошенных досель...
О ней ни слова... Да и мне ль
Вам говорить о жизни той?
И восхищаться бородой,
Да вечный звон колоколов
Церквей различных сороков

Превозносить?.. Иные есть,
Кому охотно эту честь
Я уступить всегда готов;
Их голос важен и силен
В известном случае, как звон
Торжественный колоколов...
Но жизнь иную знаю я
В Москве старинной...
. . . .
. . . .
. . . .

3

Из всех людей, которых я
В московском обществе знавал,
Меня всех больше занимал
Олимпий Радин... Не был он
Умом начитанным умен,
И даже дерзко отвергал
Он много истин, может быть;
Но я привык тот резкий тон
Невольно как-то в нем любить;
Был смел и зол его язык,
И беспощадно он привык
Все вещи звать по именам,
Что очень часто страшно нам...
В душе ль своей, в душе ль чужой
Неумолимо подводить
Любил он под итог простой
Все мысли, речи и дела
И в этом пищу находить
Насмешке вечной, едко-злой,
Над разницей добра и зла...
В иных была б насмешка та
Однообразна и пуста,
Как жизнь без цели... Но на нем
Страданья гордого печать
Лежала резко — и молчать
Привык он о страданье том...
В былые годы был ли он
Сомненьем мучим иль влюблен —
Не знал никто; да и желать
Вам в голову бы не пришло,

Узнав его, о том узнать,
Что для него давно прошло...
Так в жизнь он веру сохранил,
Так был он полон свежих сил,
Что было б глупо и смешно
В нем тайну пошлую искать
И то, что им самим давно
Отринуто, разузнавать...
Быть может, он, как и другой,
До истин жизненных нагих,
Больной, мучительной борьбой,
Борьбою долгою достиг...
Но ей он не был утомлен, —
О нет! из битвы вышел он
И здрав, и горд, и невредим...
И не осталося за ним
Ни страха тайного пред тем,
Что разум отвергал совсем,
Ни даже на волос любви
К прошедшим снам... В его крови
Еще пылал огонь страстей;
Еще просили страсти те
Не жизни старческой — в мечте
О жизни прошлых, юных дней, —
А новой пищи, новых мук
И счастья нового... Смешон
Ему казался вечный стон
О ранней старости вокруг,
Когда он сам способен был
От слов известных трепетать,
Когда в душе его и звук,
И шорох многое будил...
Он был женат... Его жена
Была легка, была стройна,
Умела ежедневный вздор
Умно и мило говорить,
Подчас, пожалуй, важный спор
Вопросом легким оживить,
Владела тактом принимать
Гостей и вечно наполнять
Гостиную и, может быть,
Умела даже и любить,
Что, впрочем, роскошь. Пол-Москвы
Была от ней без головы,

И говорили все о ней,
Что недоступней и верней
Ее — жены не отыскать,
Хотя, признаться вам сказать,
Как и для многих, для меня,
К несчастью, нежная жена —
Печальный образ... — Но она
Была богата... Радин в ней
Нашел блаженство наших дней,
Нашел свободу — то есть мог
Какой угодно вам порок
Иль недостаток не скрывать
И смело тем себя казать,
Чем был он точно...

4

Я ему
Толпою целою друзей
Представлен был, как одному
Из замечательных людей
В московском обществе... Потом
Видался часто с ним в одном
Знакомом доме... Этот дом
Он постоянно посещал,
Я также... Долго разговор
У нас не ладился: то был
Или московский старый спор
О Гегеле, иль просто вздор...
Но слушать я его любил,
Затем что спору никогда
Он важности не придавал,
Что равнодушно отвергал
Он то же самое всегда,
Что перед тем лишь защищал.
Так было долго... Стали мы
Друг другу руку подавать
При встрече где-нибудь, и звать
Меня он стал в конце зимы
На вечера к себе, чтоб там
О том же вздоре говорить,
Который был обоим нам
Смешон и скучен... Может быть,
Так шло бы вечно, если б сам

Он не предстал моим глазам
Совсем иным...

5

Тот дом, куда и он, и я
Езжали часто, позабыть
Мне трудно... Странная семья,
Семья, которую любить
Привыкла так душа моя —
Пусть это глупо и смешно, —
Что и теперь еще по ней
Подчас мне скучно, хоть равно,
Без исключений, — прошлых дней
Отринул память я давно...
То полурусская семья
Была, — заметьте: это я
Вам говорю лишь потому,
Что, чисто русский человек,
Я, как угодно вам, вовек
Не полюблю и не пойму
Семейно-бюргерских картин
Немецкой жизни, где один
Благоразумно-строгий чин
Владеет всем и где хранят
До наших пор еще, как клад,
Неоцененные черты
Печально-пошлой чистоты,
Бирсуп и нежность... Русский быт,
Увы! совсем не так глядит, —
Хоть о семейности его
Славянофилы нам твердят
Уже давно, но, виноват,
Я в нем не вижу ничего
Семейного... О старине
Рассказов много знаю я,
И память верная моя
Тьму песен сохранила мне,
Однообразных и простых,
Но страшно грустных... Слышен в них
То голос воли удалой,
Всё злою долею женой,
Всё подколодною змеей
Опутанный, то плач о том,

Что тускло зимним вечерком
Горит лучина, — хоть не спать
Бедняжке ночь, и друга ждать,
И тешить старую любовь,
Что ту лучину залила
Лихая, старая свекровь...
О, верьте мне: невесела
Картина — русская семья...
Семья для нас всегда была
Лихая мачеха, не мать...
Но будет скучно вам мои
Воззрения передавать
На русский быт... Мы лучше той
Не чисто русскою семьей
Займемся...
Вся она была
Из женщин. С матери начать
Я должен... Трудно мне сказать,
Лет сорок или сорок пять
Она на свете прожила...
Да и к чему? В душе моей
Хранятся так ее черты,
Как будто б тридцать было ей...
Такой свободной простоты
Была она всегда полна,
И так нежна, и так умна,
Что становилося при ней
Светлее как-то и теплей...
Она умела, видя вас,
Пожалуй, даже в первый раз,
С собой заставить говорить
О том, о чем не часто вам
С другим придется, может быть;
Насмешке ль едкой, иль мечтам
Безумно-пламенным внимать
С участьем равным; понимать
Оттенки все добра и зла
Так глубоко и так равно,
Как женщине одной дано...
Она жила... Она жила
Всей бесконечной полнотой
И мук, и счастья, — и покой
Печально-глупый не могла
Она от сердца полюбить...

Она жила, и жизни той
На ней на всей печать легла,
И ей, казалось, не забыть
Того, чего не воротить...
И тщетно опыт многих лет
Рассудка речи ей шептал
Холодные, и тщетно свет
Ее цепями оковал...
Вам слышен был в ее речах
Не раболепно-глупый страх
Пред тем, что всем уже смешно,
Но грустный ропот, но одно
Разуверенье в гордых снах...
И между тем была она
Когда-то верная жена
И мать примерная потом,
Пример всегда, пример во всем.
Но даже добродетель в ней
Так пошлости была чужда,
Так благородна, так проста,
Что в ней одной, и только в ней,
Была понятна чистота...
И как умела, Боже мой!
Отпечатлеть она во всем
Свой мир особый, — и притом
Не быть хозяйкой записной, —
Не быть ни немкою, и речь
Вести о том, как дом беречь,
Ни русской барыней кричать
В огромной девичьей... О нет!
Она жила, она страдать
Еще могла иль сохранять,
По крайней мере, лучших лет
Святую память... Но о ней
Пока довольно: дочерей,
Как я умею, описать
Теперь, мне кажется, пора...
Их было две, и то была
Природы странная игра:
Она, казалось, создала
Необходимо вместе их,
И нынче, думая о них,
Лишь вместе — иначе никак —
Себе могу представить их.

Их было две... И, верно, так
Уж было нужно... Создана
Была, казалося, одна
Быть вечной спутницей другой,
Как спутница земле луна...
И много общих черт с луной
Я в ней, особенно при той,
Бывало, часто находил,
Хоть от души ее любил...
Но та... Ее резец Творца
Творил с любовью без конца,
Так глубоко и так полно,
И вместе скупо, что одно
Дыханье сильное могло
Ее разбить... Всегда больна,
Всегда таинственно-странна,
Она влекла к себе сильней
Болезнью странною своей...
И я так искренно любил
Капризы вечные у ней —
Затем ли, что каприз мне мил
Всегда, во всем — и я привык
Так много добрых, мало злых
Встречать на свете, — или жаль
Цветка больного было мне,
Не знаю, право; да и льзя ль,
И даже точно ли дано
Нам чувство каждое вполне
Анализировать?.. Одно
Я знаю: с тайною тоской
Глядел я часто на больной,
Прозрачный цвет ее лица...
И долго, долго, без конца,
Тонул мой взгляд в ее очах,
То чудно ярких, будто в них
Огонь зажегся, то больных,
Полупогасших... странный страх
Сжимал мне сердце за нее,
И над душой моей печаль
Витала долго, — и ее
Мне было долго, долго жаль...
Она страдать была должна,
Страдать глубоко, — не одна
Ей ночь изведана без сна

Была, казалось; я готов
За это был бы отвечать,
Хоть никогда б не отыскать
Вам слез в очах ее следов...
Горда для слез, горда и зла,
Она лишь мучиться могла
И мучить, может быть, других,
Но не просить участья их...
Однако знал я: до зари
Сидели часто две сестры,
Обнявшись, молча, и одна
Молиться, плакать о другой
Была, казалось, создана...
Так плачет кроткая луна
Лучами по земле больной...
Но сухи были очи той,
Слова молитв ее язык
Произносить уже отвык...
Она страдала: много снов
Она рассеяла во прах
И много сбросила оков,
И ропот на ее устах
Мне не был новостью, хотя
Была она почти дитя,
Хоть часто был я изумлен
Вопросом тихим и простым
О том, что детям лишь одним
Ново; тем более что он
Так неожиданно всегда
Мелькал среди ее речей,
Так полных жизнию страстей...
И вдвое, кажется, тогда
Мне становилося грустней...
Ее иную помню я,
Беспечно-тихое дитя,
Прозрачно-легкую, как тень,
С улыбкой светлой на устах,
С лазурью чистою в очах,
Веселую, как яркий день,
И юную, как детский сон...
Тот сон рассеян... Кто же он,
Который первый разбудил
Борьбу враждебно-мрачных сил

В ее груди и вызвал их,
Рабов мятежных власти злой,
Из бездны тайной и немой,
Как бездна, тайных и немых!

6

Безумец!.. Знал или не знал,
Какие силы вызывал
Он на страданья и борьбу, —
Но он, казалось, признавал
Слепую, строгую судьбу,
И в счастье веровать не мог,
И над собою и над ней
Нависший страшно видел рок...
То был ли в нем слепых страстей
Неукротимый, бурный зов,
Иль шел по воле он чужой —
Не знаю: верить я готов
Скорей в последнее, и мной
Невольный страх овладевал,
Когда я вместе их видал...
Мне не забыть тех вечеров,
Осенних, долгих... Помню я,
Как собиралась вся семья
В свой тесный, искренний кружок,
И лишь она, одна она,
Грозой оторванный листок,
Вдали садилась. Предана
Влиянью силы роковой,
Всегда в себя погружена,
И, пробуждаяся порой
Лишь для того, чтоб отвечать
На дважды сделанный вопрос,
И с гордой грустию молчать,
Когда другому удалось
Ее расстройство увидать...
Являлся он... Да! в нем была —
Я в это верю — сила зла:
Она одна его речам,
Однообразным и пустым,
Давала власть. Побывши с ним
Лишь вечер, грустно было вам,
Надолго грустно, хоть была

Непринужденно-весела
И речь его, хоть не был он
«Разочарован и влюблен»...
Да! обаянием влекло
К нему невольно... Странно шло
К нему, что было бы в другом
Одной болезнью иль одним
Печально-пошлым хвастовством.
И взором долгим, и больным,
И испытующим она
В него впивалась, и видна
Во взгляде робость том была:
Казалось, трудно было ей
Поверить в обаянье зла,
Когда неумолим, как змей,
Который силу глаз своих
Чутьем неведомым постиг,
Смотрел он прямо в очи ей...

7

А было время... Предо мной
Рисует память старый сад,
Аллею лип... И говорят
Таинственно между собой,
Качая старой головой,
Деревья, шепчутся цветы,
И, озаренные луной,
Огнями светятся листы
Аллеи темной, и кругом
Прозрачно-светлым, юным сном
Волшебным дышит всё... Они
Идут вдали от всех одни
Рука с рукой и говорят
Друг с другом тихо, как цветы...
И светел он, и кротко взгляд
Его сияет, и возврат
Первоначальной чистоты
Ему возможен... С ней одной
Хотел бы он рука с рукой,
Как равный с равною, идти
К высокой цели... В ней найти,
Лишь в ней одной найти он мог
Ту половину нас самих,

Какую с нами создал Бог
Неразделимо . . . .
. . . .
. . . .

8

То был лишь сон один... иных,
Совсем иных я видел их...
Я помню вечер... Говорил
Олимпий много, помню я,
О двух дорогах бытия,
О том, как в молодости был
Готов глубоко верить он
В одну из двух... и потому
Теперь лишь верит одному,
Что верить вообще смешно,
Что глупо истины искать,
Что нужно счастье, что страдать
Отвыкнуть он желал давно,
Что даже думать и желать —
Напрасный труд и что придет
Для человечества пора,
Когда с очей его спадет
Безумной гордости кора,
Когда вполне оно поймет,
Как можно славно есть и пить
И как неистинно любить...
С насмешкой злобною потом
Распространялся он о том,
Как в новом мире все равны,
Как все спокойны будут в нем,
Как будут каждому даны
Все средства страсти развивать,
Не умерщвляя, и к тому ж
Свободно их употреблять
На обрабатыванье груш.
Поникнув грустно головой,
Безмолвно слушала она
Его с покорностью немой,
Как будто власти роковой
И неизбежной предана...
Что было ей добро и зло?
На нем, на ней давно легло

Проклятие; обоим им
Одни знакомы были сны,
И оба мучились по ним,
Еще в живых осуждены...
Друг другу никогда они
Не говорили ни о чем,
Что их обоих в оны дни
Сжигало медленным огнем, —
Обыкновенный разговор
Меж ними был всегда: ни взор,
Ни голос трепетный порой
Не обличили их...
Лишь раз
Себе Олимпий изменил,
И то, быть может, в этот час
Он слишком искренно любил...
То было вечером... Темно
В гостиной было, хоть в окно
Гляделся месяц; тускло он
И бледно-матово сиял.
Она была за пьяно; он
Рассеянно перебирал
На пьяно ноты — и стоял,
Облокотяся, перед ней,
И в глубине ее очей
С невольной, тайною тоской
Тонул глазами; без речей
Понятен был тот взгляд простой:
Любви так много было в нем,
Печали много; может быть,
Воспоминания о том,
Чего вовек не возвратить...
Молчали тягостно они,
Молчали долго; начала
Она, и речь ее была
Тиха младенчески, как в дни
Иные... В этот миг пред ним
Былая Лина ожила,
С вопросом детским и простым
И с недоверием ко злу...
И он забылся, верить вновь
Готовый в счастье и любовь
Хоть на минуту... На полу
Узоры странные луна

Чертила... Снова жизнью сна,
Хотя больного сна, кругом
Дышало всё... Увы! потом,
К страданью снова возвращен,
Он снова проклял светлый сон...

9

Его проклясть, но не забыть
Он мог — хоть гордо затаить
Умел страдание в груди...
Казалось, с ним уже всему
Былому он сказал прости,
Чему так верил он, чему
Надеялся не верить он
И что давно со всех сторон
Рассудком бедным осудил...
Я помню раз, в конце зимы,
С ним долго засиделись мы
У них; уж час четвертый был
За полночь; вместе мы взялись
За шляпы, вместе поднялись
И вышли... Вьюга нам в глаза
Кидалась... Ветер грустно выл,
И мутно-темны небеса
Над нами были... Я забыл,
С чего мы начали, садясь
На сани: разговора связь
Не сохранила память мне...
И даже вспомнить мне о нем,
Как о больном и смутном сне,
Невольно тяжко; об одном
Я помню ясно: говорил
К чему-то Радин о годах
Иных, далеких, о мечтах,
Которым сбыться не дано
И от которых он не мог —
Хоть самому ему смешно —
Отвыкнуть... Неизбежный рок
Лежал на нем, иль виноват
Был в этом сам он, но возврат
Не для него назначен был...
Он неизменно сохранил
Насмешливый, холодный взгляд

В тот день, когда была она
Судьбой навек осуждена...

10

Ее я вижу пред собой...
Как ветром сломанный цветок,
Поникнув грустно головой,
Она стояла под венцом...
И я... Молиться я не мог
В тот страшный час, хоть все кругом
Спокойны были, хоть она
Была цветами убрана...
Или в грядущее проник
Тогда мой взгляд — и предо мной
Тогда предведеньем возник,
Как страшный сон, обряд иной —
Не знаю, — я давно отвык
Себе в предчувствиях отчет
Давать, но ровно через год,
В конце другой зимы, на ней
Я увидал опять цветы...
Мне живо бледные черты
Приходят в память, где страстей
Страданье сгладило следы
И на которых наложил
Печать таинственный покой...
О, тот покой понятен был
Душе моей, — печать иной,
Загробной жизни; победил,
Казалось, он, святой покой,
Влиянье силы роковой
И в отстрадавшихся чертах
Сиял в блистающих лучах...

11

Что сталось с ним? Бежал ли он
Куда под новый небосклон
Забвенья нового искать
Или остался доживать
Свой век на месте? — Мудрено
И невозможно мне сказать;
Мы не встречались с ним давно
И даже встретимся едва ль...

Иная жизнь, иная даль,
Необозримая, очам
Моим раскинулась... И свет
В той дали блещет мне, и там
Нам, вероятно, встречи нет...

1845

125. ВИДЕНИЯ

Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu[1]

1

Опять они, два призрака опять...
Старинные знакомцы: посещать
Меня в минуты скорби им дано,
Когда в душе и глухо, и темно,
Когда вопрос печальный не один
На дно ее тяжелым камнем пал
И вновь со дна затихшую подъял
Змею страданий... Длинный ряд картин
Печальною и быстрой чередой
Тогда опять проходит предо мной...
То — образы давно прошедших лет,
То — сны надежд, то — страсти жаркий бред,
То радости, которых тщетно жаль,
То старая и сладкая печаль,
То всё — чему в душе забвенья нет!
И стыдно мне, и больно, и смешно,
Но стонов я не в силах удержать
И к призракам, исчезнувшим давно,
Готов я руки жадно простирать,
Ловить их тщетно в воздухе пустом
И звать с рыданьем...

2

Вот он снова — дом
Архитектуры легкой и простой,
С колоннами, с балконом — и кругом
Раскинулся заглохший сад густой.

---

[1] Старинная сказка! Но вечно
Останется новой она (нем.; перевод А. Н. Плещеева). — *Ред.*

Луна и ночь... Всё спит; одно окно
В старинный сад свечой озарено,
И в нем — как сон, как тень, мелькнет подчас
Малютка ручка, пара ярких глаз
И детский профиль... Да! не спит она, —
Взгляните — вот, вполне она видна —
Светла, легка, младенчески чиста,
Полуодета... В знаменье креста
Сложились ручки бледные!.. Она
В молитве вся душой погружена...
И где ей знать, и для чего ей знать,
Что чей-то взгляд к окну ее приник,
Что чьей-то груди тяжело дышать,
Что чье-то сердце мукою полно...
Зачем ей знать? Задернулось окно
Гардиною, свеча погашена...
Немая ночь, повсюду тишина...

3

Но вот опять виденье предо мной...
Дом освещен, и в зале небольшой
Теснятся люди; мирный круг *своих*
Свободно-весел... Ланнера живой
Мотив несется издали, то тих,
Как шепот страсти, то безумья полн
И ропота, как шумный говор волн,
И вновь она, воздушна и проста,
Мелькает легкой тенью меж гостей,
Так хороша, беспечна так... На ней
Лишь белизной блестит одной убор...
Ей весело. Но снова чей-то взор
С болезненным безумием прильнул
К ее очам — и словно потонул
В ее очах: молящий и больной,
За ней следит он с грустию немой...

4

И снова ночь, но эта ночь темна.
И снова дом — но мрачен старый дом
Со ставнями у окон: тишина
Уже давным-давно легла на нем.
Лишь комната печальная одна
Лампадою едва озарена...

И он сидит, склонившись над столом,
Ребенок бледный, грустный и больной...
На нем тоска с младенчества легла,
Его душа, не живши, отжила,
Его уста улыбкой сжаты злой...
И тускло светит страшно впалый взор, —
Печать проклятья, рока приговор
Лежит на нем... Он вживе осужден,
Зане и смел, и неспособен он
Ценой свободы счастье покупать,
Зане он горд способностью страдать.

5

Старинный сад... Вечернею росой
Облитый весь... Далекий небосклон...
Как будто чаша, розовой чертой,
Зари сияньем ярко обведен.
Отец любви!.. В священной ночи час
Твой вечный зов яснее слышен в нас.
Твоим святым наитием полна,
Так хороша, так девственна она,
Так трепетно рука ее дрожит
В чужой руке — и робко так глядит
Во влаге страсти потонувший взгляд...
Они идут и тихо говорят.
О чем? Бог весть... Но чудно просветлен
Зарей любви, и чист, и весел...
. . . .
. . . .

6

Опять толпа... Огнями блещет зал,
Огромный и высокий: светский бал
Веселостью натянутой кипит,
И масок визг с мотивом вальса слит.
Всё тот же Ланнер страстный и живой,
Всё так же глуп, бессмыслен шум людской,
И средь людей — детей или рабов
Встречает он, по-прежнему суров,
По-прежнему святым страданьем горд —
Но равнодушен, холоден и тверд.
И перед ним — она, опять она!
И пусть теперь она осквернена

Прикосновеньем уст и рук чужих, —
Она — его, и кто ж разрознит их?
Не свет ли? Не законы ли людей?..
Но что им в них? — Свободным нет цепей...
Но этот робкий, этот страстный взгляд,
Ребячески-пугливый, целый ад
В его груди измученной зажег.
О нет, о нет! не люди — гневный Бог
Их разделил... Обоим дико им
Среди людей встречаться, как чужим,
Но суд небес над ними совершен,
И холоден взаимный их поклон,
Едва заметный, робкий.

7

И опять
Видение исчезло, чтобы дать
Иному место. Комната: она
Невелика, но пышно убрана
Причудливыми прихотями мод...
В замерзшее окно глядит луна,
И тихо всё, ни голоса... но вот
Послышался тяжелый чей-то вздох.
Опять они... и он у милых ног,
С безумством страсти в очи смотрит ей...
Она молчит, от головы своей
Не отрывает бледных, сжатых рук.
Он взял одну... он пламенно приник
Устами к той руке — но столько мук
В ее очах: больной их взгляд проник
Палящим, пожирающим огнем
В его давно истерзанную грудь...
Он тихо встал и два шага потом
К дверям он сделал... он хотел вздохнуть
И зарыдал, как женщина... и стон,
Ужасный стон в ответ услышал он.
И вновь упал в забвении у ног...
И долго слов никто из них не мог
На языке найти — и что слова?
Она рыдала... на руки опять
Горячая склонилась голова...
Она молчала... он не мог сказать
Ни слова... Даль грядущего ясна

Была обоим и равно полна
Вражды, страданья, тайных, жгучих слез,
Ночей бессонных... Смертный приговор
Давно прочтен над ними, и укор
Себе иль небу был бы им смешон...
Она страдала, был он осужден.

8

Исчезли тени... В комнате моей
По-прежнему и пусто, и темно,
Но мысль о нем, но скорбь и грусть о ней
Мне давят грудь... Мне стыдно и смешно,
А к призракам давно минувших дней
Готов я руки жадно простирать
И, как ребенок, плакать и рыдать...

28 января 1846

126. ПРЕДСМЕРТНАЯ ИСПОВЕДЬ

And lives as saints have died — a martyr.

Byron[1]

1

Он умирал один, как жил,
Спокойно горд в последний час;
И только двое было нас,
Когда он в вечность отходил.
Он смерти ждал уже давно;
Хоть умереть и не искал,
Он всё спокойно отстрадал,
Что было отстрадать дано.
И жизнь любил, но разлюбил
С тех пор, как начал понимать,
Что всё, что в жизни мог он взять,
Давно, хоть с горем, получил.
И смерти ждал, но верил в рок,
В определенный жизни срок,
В задачу участи земной,
В связь тела бренного с душой
Неразделимо; в то, что он
Не вовсе даром в мир рожден;
Что жизнь — всегда он думал так —
С известной целью нам дана,
Хоть цель подчас и не видна, —
Покойник страшный был чудак!

2

Он умирал... глубокий взгляд
Тускнел заметно; голова

---

[1] И живет, как умирают святые, — мучеником. *Байрон* (англ.). — *Ред.*

Клонилась долу, час иль два
Ему еще осталось жить,
Однако мог он говорить.
И говорить хотел со мной
Не для того, чтоб передать
Кому поклон или привет
На стороне своей родной,
Не для того, чтоб завещать
Для мира истину, — о нет!
Для новых истин слишком он
Себе на горе был умен!
Хотел он просто облегчить
Прошедшим сдавленную грудь
И тайный ропот свой излить
Пред смертью хоть кому-нибудь;
Он также думал, может быть,
Что, с жизнью кончивши расчет,
Спокойней, крепче он уснет.

3

И, умирая, был одним,
Лишь тем одним доволен он,
Что смертный час его ничьим
Участьем глупым не смущен;
Что в этот лучший жизни час
Не слышит он казенных фраз,
Ни плача пошлого о том,
Что мы не триста лет живем,
И что закрыть с рыданьем глаз
На свете некому ему.
О да! не всякому из нас
Придется в вечность одному
Достойно, тихо перейти;
Не говорю уже о том,
Что трудно в наши дни найти,
Чтоб с гордо поднятым челом
В беседе мудрой и святой,
В кругу бестрепетных друзей,
Среди свободных и мужей,
С высоким словом на устах
Навек замолкнуть иль о той
Желанной смерти, на руках
Души избранницы одной,

Чтобы в лобзании немом,
В минуте вечности — забыть
О преходящем и земном
И в жизни вечность ощутить.

4

Он умирал... Алел восток,
Заря горела... ветерок
Весенней свежестью дышал
В полуоткрытое окно, —
Лампады свет то угасал,
То ярко вспыхивал; темно
И тихо было всё кругом...
Я говорил, что при больном
Был я один... Я с ним давно,
Почти что с детства, был знаком.
Когда он к невским берегам
Приехал после многих лет
И многих странствий по пескам
Пустынь арабских, по странам,
Где он — о, суета сует! —
Целенье думал обрести
И в волнах Гангеса святых
Родник живительный найти
И где под сенью пальм густых
Набобов видел он одних,
Да утесненных и рабов,
Да жадных к прибыли купцов.
Когда, приехавши больной,
Измученный и всем чужой
В Петрополе, откуда сам,
Гонимый вечною хандрой,
Бежал лет за пять, заболел
Недугом смертным, — я жалел
О нем глубоко: было нам
Обще с ним многое; судить
Я за хандру его не смел,
Хоть сам устал уже хандрить.

5

Его жалел я... одинок
И боле был он; говорят,

Что в этом сам он виноват...
Судить не мне, не я упрек
Произнесу; но я слыхал,
Бывало, часто от него,
Что дружелюбней ничего
Он стад бараньих не видал.
«Львы не стадятся», — говорил,
Бывало, часто он, когда
И горд, и смел, и волен был;
Но если горд он был тогда,
За эту гордость заплатил
Он, право, дорого: тоской
Тяжелой, душной; он родных
Забыл давно уже; друзэй,
Хоть прежде много было их,
Печальной гордостью своей
И едкой злостию речей
Против себя вооружил.
И точно, в нем была странна
Такая гордость: сатана
Его гордее быть не мог.
Он всех так нагло презирал
И так презрительно молчал
На каждый дружеский упрек,
Что только гений или власть
Его могли бы оправдать...
А между тем ему на часть
Судьба благоволила дать
Удел и скромный, и простой.
Зато, когда бы мог прожить
Спокойно он, как и другой,
И с пользой даже, может быть,
Он жил, томясь тоскою злой,
И, словно чумный, осужден
Был к одинокой смерти он.

6

Но я жалел о нем... Не раз,
Когда, бездействием томясь,
В иные дни он проклинал
Себя и рок, напоминал
Ему о жизни я былой
И память радостных надежд

Будил в душе его больной,
И часто, не смыкая вежд,
Мы с ним сидели до утра
И говорили, и пора
Волшебной юности для нас,
Казалось, оживала вновь
И наполняла, хоть на час,
Нам сердце старая любовь
Да радость прежняя... Опять
Переживался ряд годов
Беспечных, счастливых; светлей
Нам становилось: из гробов
Вставало множество теней
Знакомых, милых... Он рыдал
Тогда, как женщина, и звал
Невозвратимое назад;
И я любил его, как брат,
За эти слезы, умолял
Его забыть безумный бред
И жить как все, но мне в ответ
Он улыбался — этой злой
Улыбкой вечною, змеей
По тонким вившейся устам...
Улыбка та была страшна,
Но обаятельна: она
Противоречила слезам,
И между тем я даже сам
Тогда смеяться был готов
Своим словам: благодаря
Змее-улыбке смысл тех слов
Казался взят из букваря.
Так было прежде, и таков
Он был до смерти; вечно тверд,
Он умер зол, насмешлив, горд.

7

Он долго тяжело дышал
И бледный лоб рукой сжимал,
Как бы борясь в последний раз
С земными муками; потом,
Оборотясь ко мне лицом,
Сказал мне тихо: «Смертный час
Уж близок... правда или нет,

Но в миг последний, говорят,
Нас озаряет правды свет
И тайна жизни нам ясна
Становится — увы! навряд!
Но — может быть! Пока темна
Мне жизнь, как прежде». И опять
Он стал прерывисто дышать
И ослабевшей головой
Склонился... Несколько минут
Молчал и, вновь борясь с мечтой,
Он по челу провел рукой.
«Вот наконец они заснут —
Изочтены им были дни —
Они заснут... но навсегда ль?» —
Сказал он тихо. — «Кто они?» —
С недоуменьем я спросил.
«Кто? — отвечал он. — *Силы!* Жаль
Погибших даром мощных сил.
Но точно ль даром? Неужель
Одна лишь видимая цель
Назначена для этих сил?
О нет! я слишком много жил,
Чтоб даром жить. Отец любви,
Огня-зиждителя струю,
Струю священную твою
Я чувствовал в своей крови,
Страдал я, мыслил и любил —
Довольно... я недаром жил».
Замолк он вновь; но для того,
Чтоб в памяти полней собрать
Пути земного своего
Воспоминанья, он отдать
Хотел отчет себе во всем,
Что в жизни он успел прожить,
И, приподнявшися потом,
Стал тихо, твердо говорить.
Я слушал... В памяти моей
Доселе исповедь жива;
Мне часто в тишине ночей
Звучат, как медь, его слова.

8

«Еще от детства, — начал он, —
Судьбою был я обречен

Страдать безвыходной тоской,
Тоской по участи иной,
И с верой пламенною звать
С небес на землю благодать.
И рано с мыслью свыкся я,
Что мы другого бытия
Глубоко падшие сыны.
Я замечал, что наши сны
Полней, свободней и светлей
Явлений бедных жизни сей;
Что нечто сдавленное в нас
Наружу просится подчас
И рвется жадно на простор;
Что звезд небесных вечный хор
К себе нас родственно зовет;
Что в нас окованное ждет
Минуты цепи разорвать,
Чтоб целый новый мир создать,
И что, пока еще оно
В темнице тела пленено,
Оно мечтой одной живет;
И, чуть лишь враг его заснет,
В самом себе начнет творить
Миры, в которых было б жить
Ему не тесно... То мечта
Была пустая или нет,
Мне скоро вечность даст ответ.
Но, правда то или мечта,
Причина грез моих проста:
Я слишком гордым создан был,
Я слишком высоко ценил
В себе частицу божества,
Ее священные права,
Ее свободу; а она
Давно, от века попрана,
И человек, с тех пор как он,
Змеей лукавой увлечен,
Добро и зло равно познал,
От знанья счастье потерял.

9

Я сам так долго был готов
Той гордости иных основ

Искать в себе и над толпой
Стоять высоко головой,
И думал гения залог
Носить в груди, и долго мог
Себя той мыслью утешать,
Что на челе моем печать
Призванья нового лежит,
Что, рано ль, поздно ль, предлежит
Мне в жизни много совершить
И что тогда-то, может быть,
Вполне оправдан буду я;
Потом, когда душа моя
Устала откровений ждать,
Призванья нового, мечтать
И грезить стал я как дитя
О лучшей участи, хотя
Не о звездах, не о мирах,
Но о таких же чудесах:
О том, что по природе я
К иным размерам бытия
Земного предназначен был,
Что гордо голову носил
Недаром я и что придет
Пора, быть может, мне пошлет
Судьба богатство или власть.
Увы, увы! так страшно пасть
Давно изволил род людской,
Что не гордится он прямой
Единой честию своей,
Что он забыл совсем о ней
И что потеряно навек
Святое слово — *человек.*

10

Да — этой гордостью одной
Страдал я... Слабый и больной,
Ее я свято сохранил
И головы не преклонил
Ни перед чем: печален, пуст
Мой бедный путь, но ложью уст
Я никогда не осквернил,
Еговы имени не стер
Я чуждым именем с чела;

И пусть на мне лежит укор,
Что жизнь моя пуста была.
Я сохранил, как иудей,
Законы родины моей,
Я не служил богам иным,
Хотя б с намереньем благим,
Я жизни тяжесть долго нес,
Я пролил много жгучих слез,
Теряя то, чем мог владеть,
Когда б хотел преодолеть
Вражду к кумирам или лгать
Себе и людям; но страдать
Я предпочел, я верен был
Священной правде, и купил
Страданьем право проклинать...
Не рок, конечно, нет, ему
Я был покорен одному
И, зная твердо наперед,
Что там иль сям, наверно, ждет
Потеря новая, на зов
Идти смиренно был готов.

II

Я был один, один всегда,
Тогда ль, как в детские года
Подушку жарко обнимал
И ночи целые рыдал;
Тогда ль, как юношей потом,
Глухой и чуждый ко всему,
Что ни творилося кругом,
Стремился жадно к одному
И часто всем хотел сказать:
"О Марфа, Марфа! есть одно,
Что на потребу нам дано...
Пора благую часть избрать!"
Тогда ль, когда, больной и злой,
Как дикий волк, в толпе людской
Был отвергаем и гоним,
И эгоистом прозван злым,
И сам вражды исполнен был,
Вражды ко псам, вражды жида,
Зане я искренно любил;
Я был один, один всегда.

Увы! кто прав, кто виноват?
Другие, я ли? Но, как брат,
Других любил я, и прости
Мне гордость, Боже, но вести
К свободе славы Божьих чад
Хотел я многих... Сердце грусть
Стесняет мне при мысли той;
Любил я многих, молодой,
Святой любовью, да — и пусть
Я был непризнанный пророк,
Но не на мне падет упрек,
Когда досель никто из них
Нейдет дорогой Божьих чад;
И пусть из уст безумцев злых
Вослед проклятья мне гремят
И обвиненья за разврат;
Я жил недаром!»

12

Смолкнул он
И вновь склонился, утомлен,
Отягощенной головой.
Молчал я... Грустно предо мной
Годов минувших длинный ряд,
Прожитых вместе, проходил,
И понял я, за что любил
Его я пламенно, как брат.
Да, снова всё передо мной
Былое ожило... и он,
Ребенок, бледный и больной,
Судьбой на муки обречен,
Явился мне: предстал опять
Тогда души моей очам
Старинный, тесный, мрачный храм,
Куда он уходил рыдать,
Где в темноте, вдали, в углу,
Моленье жаркое лилось,
Где, распростертый на полу,
Он пролил много жгучих слез,
Где он со стоном умолял
Того, чей Лик вдали сиял,
Ему хоть каплю веры дать
И где привык он ожидать

Явлений женщины одной...
Я видел снова пред собой
Патриархально-тихий дом
И мук семейных целый ряд,
Упреки матери больной,
Однообразных пыток ряд
И ряд печальных сцен порой...
Молчал я, голову склоня,
В раздумье тяжком, для меня
Он был оправдан... Тяжело
Вздохнул опять тогда больной,
И вновь горячее чело
Он обмахнул себе рукой.

13

«Но ты любил», — я начал речь,
Желая мысль его отвлечь
От слишком тяжких бытия
Вопросов к грезам юных лет,
С которыми, как думал я,
Покинуть веселее свет.
«Любил ты, кажется, не раз?» —
Я продолжал; но он в ответ
Как будто грезил тихо: «Нас, —
Он говорил, — еще детей
Друг другу прочили, и с ней
Мы свыклись... Бедный ангел мой!
Теперь ты снова предо мной
Сияешь, девственно-чиста
И простодушна... Вот места,
Знакомые обоим нам, —
Пригорок, роща; там и сям
Еще не смолкли голоса
И стад мычанье, хоть роса
Ночная падает... горит
Зарею алой неба свод,
И скоро ярко заблестит
Звезд величавый хоровод;
И мы одни: привольно нам,
Как детям, под шатром небес,
И вместе странно... Близок лес,
Вечерний шепот по ветвям
Уж начался, и робко мне

Ты руку жмешь, и локон твой,
Твой длинный локон над щекой
Скользит моей; она в огне.
Не видишь ты, она горит,
По телу сладостно бежит
Досель неведомая дрожь...
Мы были дети, да и кто ж
Нас разлучал тогда? Росли
Мы вместе... бедный ангел мой,
Моей сестрой, моей женой
Тебя от детства нарекли,
Чтобы с бесчувственностью злой
Обоим нам потом сказать:
"Прошла ребячества пора, —
Ведь это всё была игра;
Идите врозь теперь страдать".

14

И говорят, я сам виной,
Как и всего, потери той...
Не та беда, что одинок
Я в Божьем мире брошен был,
Что слишком долог был бы срок,
Когда бы я соединил
Свою судьбу с ее судьбой...
И это правда, может быть;
Но свято гордости служить
Привык я, бедный ангел мой,
Любя тебя, тебе одной
Служа безумно... Ты могла
Любить того лишь, чье чело
Всегда подъято и светло.
Ты так горда, чиста была!
В тебе я сам же разбудил
Борьбу души мятежных сил,
Любовь к избранникам богов,
Презрение к толпе рабов.
О да! ты мною создана,
И ты со мной осуждена.
Меня, быть может, проклинать
В часы недуга ты могла;
Но ты не властна презирать
Того, чья жизнь всегда была
Неукротимою борьбой...

И чист, и светел образ мой
Среди вражды, среди клевет,
Быть может, пред одной тобой,
Мой бедный ангел лучших лет.

15

И помню: душно, тяжело
Обоим было нам; легло,
Казалось, что-то между нас.
Одни в гостиной, у окна
Мы были; но за нами глаз
Следил чужой; была больна,
Была, как тень, бледна она,
И лихорадки блеск больной
Сверкал в задумчивых очах...
Мне было тяжко; мне во прах
Упасть хотелось перед ней
И руку бледную прижать
К горячей голове моей
И, как дитя, пред ней рыдать.
Но странен был наш разговор.
В ее лице немой укор
Порой невольно мне мелькал...
Укор за то, что я не лгал
Перед другими, перед ней,
Пред гордой совестью своей;
Укор за то, что я любил,
Что я любимым быть хотел,
Всей полнотой душевных сил
Любимым быть, что, горд и смел,
Хотел пред ней всегда сиять,
Хотел бороться и страдать;
Но вечно выше быть судьбы
Среди страданий и борьбы...
Молчали грустно мы... Потом
Я говорить хотел о том,
Что нас разрознило; она
Безмолвно слушала — грустна,
Покорна, голову склоня;
И вдруг, поднявши на меня
Болезненно сверкавший взгляд,
Сказала тихо, что "навряд

Другие это всё поймут",
Что "так на свете не живут".

16

Я долго по свету бродил,
С тех пор как рок нас разделил;
Но, видно, так судил уж Бог, —
Ее я позабыть не мог,
Не потому, чтобы одна
Была любима мной она,
Не потому, чтоб истощил
Избыток всех душевных сил
Я в страсти той; еще не раз
Любил я, может быть, сильней
И пламенней, но каждый час
Страданья с мыслию о ней
Сливался странно... Часто мне
Она являлася во сне,
Почти всегда в толпе чужих,
Почти всегда больна, робка,
С упреком на устах немых;
И безотрадная тоска
Меня терзала. Ты видал,
Что я, как женщина, рыдал
В часы иные... Или есть
Родство существ? Увы! Бог весть!
Но знаю слишком я одно,
Что было бытие мое,
Назло рассудку, без нее
Отравлено и неполно.
Но будет... вновь меня тоска
Начнет терзать, а смерть близка.
В себе присутствие ее
Я начинаю ощущать...
Зачем земное бытие
В устах с проклятьем покидать?
Благословение всему,
Благословение уму,
За то что Он благословлять
До смерти жизнь нам запретил.
Благословение судьбе,
Благословение борьбе,
Хотя бесплодной, наших сил!

Дай руку мне... открой окно,
Прекрасно... так! Еще темно,
Но загорелась неба твердь...
Туда, туда! Авось хоть смерть
С звездами нас соединит,
И к бездне света отлетит
Частица светлая моя.
Авось ее недаром я,
Как клад заветный, сохранил.
Но, так иль иначе, я жил!»

17

И с этим словом на устах
Замолк он: больше не слыхал
Ни звука я; в моих руках
Я руку хладную держал
И думал, что забылся он.
И точно, будто в тихий сон
Он погрузился... Ничего
В чертах измученных его
Не изменилось; так же зла
Улыбка вечная была,
И так же горд и грустен взгляд.
Мне было тяжко... Никогда
Лучу дневному не был рад
Я так от сердца, как тогда;
Вставало солнце, и в окно
Блеснуло, юное всегда,
Всегда прекрасное равно,
И озарило бедный прах,
Мечтавший так же, как оно,
Лучами вечными сиять,
И на измученных чертах
Еще не стертую печать,
Недавней мысли грустный след,
Всему насмешливый привет.

Февраль 1846

127. ВСТРЕЧА

Рассказ в стихах

Посвящается А. Фету

1

Опять Москва, — опять былая
Мелькает жизнь передо мной,
Однообразная, пустая,
Но даже в пустоте самой
Хандры глубоко безотрадной
В себе таящая залог, —
Хандры, которой русский Бог
Души, до жизни слишком жадной,
Порывы дерзкие сковал, —
Зачем? Он лучше, верно, знал,
Предвидя гордую замашку
Жить чересчур уж нараспашку,
Перехвативши на лету
И пережив почти задаром,
Что братья старшие в поту
Чела, с терпением и жаром
Века трудились добывать,
. . . .

2

Одни верхушки, как известно,
Достались нам от стран чужих.
И что же делать? Стало тесно
Нам в гранях, ими отлитых.
Мы переходим эти грани,
Но не уставши, как они:
От их борьбы, от их страданий
Мы взяли следствия одни.
И русский ум понять не может,
Что их и мучит, и тревожит,

Чего им рушить слишком жаль...
Ему, стоящему на гранях,
С желаньем жизни, с мощью в дланях,
Ясней неведомая даль,
И видит он орлиным оком
В своем грядущем недалеком
Мету совсем иной борьбы —
Иракла новые столбы.

3

Теперь же — зритель равнодушный
Паденья старых пирамид —
С зевотой праздною и скучной
На мир спросонья он глядит,
Как сидень Муромец, от скуки
Лежит да ждет, сложивши руки...
Зачем лежит? чего он ждет?
То знает Бог... Он воззовет
К работе спящий дух народа,
Когда урочный час придет!
Недаром царственного рода
Скалы недвижней в нем оплот...
Недаром бдят неспящим оком
Над ним преемники Петра! —
Придет та славная пора,
Когда в их подвиге высоком
Заветы Господа поймет
Избранный Господом народ!

4

И пусть покамест он зевает,
В затылке роется подчас,
Хандрит, лениво протирает
Спросонья пару мутных глаз.
Так много сил под ленью праздной
Затаено, как клад, лежит,
И в той хандре однообразной
Залог грядущего сокрыт,
И в песни грустно-полусонной,
Ленивой, вялой, монотонной
Порыв размашисто-живой
Сверкает молнией порой.

То жажда лесу, вольной воли,
Размеров новых бытия —
Та песнь, о родина моя,
Предчувствие великой доли!..
Проснешься ты, — твой час пробьет,
Избранный Господом народ!

5

С тебя спадут оковы лени,
Сонливость праздной пустоты;
Вождем племен и поколений
К высокой цели встанешь ты.
И просияет светом око,
Зане, кто зрак раба приял,
Тебя над царствами высоко,
О Русь, поставить предызбрал.
И воспарит орел державный,
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

6

Но в срок великого призванья,
Всё так же степь свою любя,
Ты помянешь, народ избранья,
Хандру, вскормившую тебя,
Как нянька старая, бывало...
Ты скажешь: «Добрая хандра
За мною по пятам бежала,
Гнала, бывало, со двора
В цыганский табор, в степь родную
Иль в европейский Вавилон,
Размыкать грусть-кручину злую,
Рассеять неотвязный сон».
Тогда тебе хандры старинной,
Быть может, будет даже жаль —

Так степняка берет печаль
По стороне своей пустынной;
Так первый я — люблю хандру
И, вероятно, с ней умру.

7

Люблю хандру, люблю Москву я,
Хотел бы снова целый день
Лежать с сигарою, тоскуя,
Браня родную нашу лень;
Или, без дела и без цели,
Пуститься рыскать по домам,
Где все мне страшно надоели,
Где надоел я страшно сам
И где, приличную осанку
Принявши, с повестью в устах
О политических делах,
Всегда прочтенных наизнанку,
Меня встречали... или вкось
И вкривь — о вечном Nichts и Alles[1]
Решали споры. Так велось
В Москве, бывало, — но остались
В ней, вероятно, скука та ж,
Вопросы те же, та же блажь.

8

Опять проходят предо мною
Теней китайских длинный ряд,
И снова брошен я хандрою
На театральный маскарад.
Театр кончается: лакеи,
Толчками все разбужены,
Ленивы, вялы и сонны,
Ругая барские затеи,
Тихонько в двери лож глядят
И карт засаленных колоды
В ливреи прячут... Переходы
И лестницы уже кипят
Толпой, бегующею заране
Ко входу выбраться, — она

[1] Ничто и Всё (нем.). — *Ред.*

Уж насладилася сполна
И только щупает в кармане,
Еще ль фуляр покамест цел
Или сосед его поддел?

9

А между тем на сцене шумно
Роберта-Дьявола гремит
Трио последнее: кипит
Страданием, тоской безумной,
Борьбою страшной.. Вот и *он*,
Проклятьем неба поражен
И величав, как образ медный,
Стоит недвижимый и бледный,
И, словно вопль, несется звук:
Gieb mir mein Kind, mein Kind zurück![1]
И я... как прежде, я внимаю
С невольной дрожью звукам тем
И, снова полон, болен, нем,
Рукою трепетной сжимаю
Другого руку... И готов
Опять лететь в твои объятья —
Ты, с кем мы долго были братья,
Певец хандры, певец снегов!..

10

О, где бы ни был ты и что бы
С тобою ни было, но нам,
Я верю твердо, пополам
Пришлось на часть душевной злобы.
Разубеждения в себе,
Вражды ко псам святого храма,
И, знаю, веришь ты борьбе
И *добродетели* Бертрама,
Как в годы прежние... И пусть
Нас разделили эти годы,
Но в час, когда больная грусть
Про светлые мечты свободы
Напомнит нам, я знаю, вновь
Тогда является пред нами

[1] Отдайте мне мое дитя, верните мне мое дитя! (нем.) — *Ред.*

Былая, общая любовь
С ее прозрачными чертами,
С сияньем девственным чела,
Чиста, как луч, как луч, светла!

11

Но вот раздался хор финальный,
Его не слушает никто,
Пустеют ложи; занято
Вниманье знати театральной
Совсем не хором: бал большой
В известном доме; торопливо
Спешат кареты все домой
Иль подвигаются лениво.
Пустеет кресел первый ряд,
Но страшно прочие шумят...
Стоят у рампы бертрамисты
И не жалеют бедных рук,
И вновь усталого артиста
Зовет их хлопанье и стук,
И вас (о, страшная измена!),
Вас, петербургская Елена,
С восторгом не один зовет
Московской сцены патриот.

12

О да! Склонился перед вами,
Искусством дивным увлечен,
Патриотизм; он был смешон,
Как это знаете вы сами.
Пред вами в прах и строгий суд
Парижа пал — . . . .
Так что же вам до черни праздной,
До местных жалких всех причуд?
Когда, волшебница, в Жизели
Эфирным духом вы летели
Или Еленою — змеей
Вились с вакхическим забвеньем,
Своей изваянной рукой
Зовя Роберта к наслажденьям,
То с замирающей тоской,
То с диким страсти упоеньем, —

Вы были жрицей! Что для вас
Нетрезвой черни праздный глас?

13

Смолкают крики постепенно,
Всё тихо в зале, убрались
И бертрамисты, но мгновенно
От кресел очищают низ,
Партер сливается со сценой,
Театр не тот уж вовсе стал —
И декораций переменой
Он обращен в громадный зал,
И отовсюду облит светом,
И самый пол его простой
Хоть не совсем глядит паркетом,
Но всё же легкою ногой
По нем скользить, хоть в польке шумной,
Сумеют дамы... Но увы!
Не знать красавицам Москвы
Парижа оргии безумной.
. . . .
. . . .

14

Уж полночь било... масок мало,
Зато — довольно много шляп...
Бот он, цыганский запевало
И атаман — son nom m'échappe[1].
Одно я знаю: всё именье
Давно растратив на цыган,
Давно уж на чужой карман
Живет, по общему он мненью;
А вот — философ и поэт
В кафтане, в мурмолке старинной...
С физиономиею длинной,
Иссохший весь во цвете лет,
И целомудренный, и чинный...
Но здесь ему какая стать?
Увы — он ходит наблюдать:
Забавы умственной, невинной

[1] Я забыл его имя (франц.). — *Ред.*

Пришел искать он на балу
И для того засел в углу.

15

Вот гегелист — филистер вечный,
Славянофилов лютый враг,
С готовой речью на устах,
Как Nichts и Alles бесконечной,
В которой четверть лишь ему
Ясна немного самому.
А вот — глава славянофилов
Евтихий Стахьевич Панфилов,
С славянски-страшною ногой,
Со ртом кривым, с подбитым глазом,
И весь как бы одной чертой
Намазан русским богомазом.
С ним рядом маленький идет
Московский мистик, пожимая
Ему десницу, наперед
Перчатку, впрочем, надевая...
Но это кто, как властелин,
Перед толпой прошел один?

16

Он головой едва кивает
На многих дружеский привет,
Ему философ и поэт
С смущеньем руку пожимает.
В замену получает он
Один сухой полупоклон,
Да нагло резкий, нагло длинный
На синий охабень старинный
Насмешки злобной полный взгляд,
И дико пятится назад
Пред ним славянофил сердитый,
Нечесаный и неумытый...
Но прямо он идет к нему
С улыбкою великодушной,
Дивится он его уму,
Потом зевает равнодушно,
Лишь только тот разинул рот,
И дальше чрез толпу идет.

17

Кто он? — вы спросите, читатель. —
Кто он? — Во-первых, мой герой,
Потом — хороший мой приятель,
Сергей Петрович Моровой.
Родясь полуаристократом —
Немного с левой стороны, —
Он, говоря витиеватым
Казенным слогом, в дни весны,
Хандрою мучась беспощадной,
Свой миллионный капитал
В четыре года промотал
И, наслаждений вечно жадный,
Кругом в долгах, еще живет,
Как прежде, весело, покойно,
Пустых не ведая забот
И думая, что недостойно
С умом и волею людей
Перед судьбой упасть своей.

18

. . . .
. . . .
Не одного уж язвой дома
Его признал степенный град;
И не один, дотоле мирный,
Семейный круг расстроил он,
И не один рогато-смирный
Супруг покоя им лишен.
Его бранят и проклинают,
Он — давний ужас всех старух,
И между тем — таков уж дух! —
Его радушно принимают
Во всех порядочных домах
Богоспасаемого града,
Где он на всех наводит страх,
И в нем Москва — скандалу рада,
Хотя по сказкам — шулер он.
. . . .

19

Лукавство вкрадчивого змея,
И математика расчет,
И медный лоб, который лжет
Спокойно, гордо, не краснея,
И обаятельная речь,
И злость насмешки страшно едкой,
Всегда губительной и меткой,
И способ верный в сеть увлечь,
Владенье вечное собою —
Вот что герою моему
Дало влиянье над толпою,
Всегда покорною уму.
Он к людям не скрывал презренья —
Но их природу он постиг
И нагло требовал от них,
Как от рабов, повиновенья, —
И, сам не зная почему,
Покорен каждый был ему.

20

Его победам нет и счета,
Как говорит молвы язык, —
Но от любви уж он отвык
И любит только из расчета
Или из прихоти; зато
В искусстве дивном обольщенья
С ним не сравняется никто,
И он избытком пресыщенья,
И сердца хладом ледяным,
И зорким взглядом, вечно верным
И равнодушно-лицемерным,
Терпеньем старческим своим
Царит над женскою толпою...
Над ней лишь только тот один
Всевластный, гордый властелин,
Кто отжил жизнью молодою,
И чует хлад в своей крови,
И только требует любви.

21

Его расчет был слишком верен,
И план рассчитан наперед.
В себе вполне он был уверен
И знал, что в прах он не падет
Холодно-гордой головою
Ни пред какою красотою
Иль чистотой, ни пред каким
Порывом девственно-святым.
Давно отвык он удивляться,
Давно не верил ничему,
Давно не мог он предаваться
Порыву сам ни одному,
И, тактик вечно равнодушный,
В порыве каждом видел он
Открытье слабых лишь сторон
Да слишком длинный, слишком скучный
Маневров и усилий ряд,
Чему он вовсе не был рад.

22

И тихо, верно, постепенно
Умел до цели он дойти,
И выжидал почти смиренно,
Пока сокрытая в груди
Страсть жертвы бедной незаметно
Пробьет последний свой оплот,
Пока безумно, беззаветно
Она на грудь его падет.
Но и тогда, собой владея,
Он принимал холодный тон
И, сострадательно жалея,
Читал ей проповеди он;
Он не любил ловить мгновенья,
Он безгранично-роковой
Хотел преданности одной,
А не безумного забвенья.
Притом — упреков не любил
И нервами расстроен был.

23

Совсем иным его видали
С *девоткой* строгой и сухой
И с резвой, свежей, молодой,
Еще не ведавшей печали
Благоухающей душой.
Любовью пламенной и томной,
И с маской чуть ли не святой,
И речью тихою и скромной
Ловил он первую; . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Но был с другою он другой:
Он с ней свободно обращался,
Брал на руки, как пожилой,
Над ней, как над дитей, смеялся
И постепенно, день от дня,
Вливал в нее струю огня.

24

Взгляните: вот он, гордый, стройный,
Во фраке английском своем,
Вполне комфортном и простом,
С физиономиею знойной,
С бездонной пропастью очей,
Как ночь таинственная, темных
И полных пламенем страстей,
С его лениво-беззаботной
Походкой, с вечною хандрой
И с речью вялой, неохотной,
Но иронической и злой.
Взгляните: вот, толпу раздвинув,
Он в угол устремил лорнет,
От коего спасенья нет,
И, взглядом масок рой окинув,
Уже вдали узнал одно
С зеленой веткой домино.

25

Подходит он, — но как-то робко
И странно руку подает

То домино ему; идет
С ним неохотно и неловко,
А он свой беззаботный вид
Хранит по-прежнему; играя
Цепочкой, что-то говорит
Спокойно, строго, и, сгорая
Под маской злостью и стыдом,
Его молчать уж умоляют,
Но, с сожаленьем незнаком,
Он тихо проповедь читает,
За сплетню сплетней платит злой,
И дамы маленькую руку
Он щиплет в кровь своей рукой.
Потом, окончив эту муку,
Уходит, поклонившись ей,
Влюбленной спутнице своей.

26

Идет он дальше... Писком шумным
Знакомых масок окружен,
Болтаньем их неостроумным
И сплетнями скучает он.
Уже зевать он начинает,
Готов отправиться домой,
Но вот одно его рукой
Из домино овладевает.
Он смотрит долго — кто оно,
Таинственное домино?
И видит только, из-под маски
Блестят полуденные глазки.
Она воздушна и мала,
Ее рука бледна, бела,
И кончик ножки из-под платья —
Из общих дамских ног изъятье.
И должен он сознаться в том,
Что с нею вовсе не знаком.

27

Была пора — и я когда-то
Любил безумно маскарад...
Годам минувшим нет возврата,
Но память их будить я рад.

И снова вы передо мною,
С своей живою красотою,
Царица масок, пронеслись!..
В ушах как будто раздались
И ваша речь, и смех ваш звонкой,
И остроумно-милый вздор,
Блестящий, светский разговор
И прелесть шутки вашей тонкой.
Философ jusqu'au de doigts[1],
Как вы меня назвали сами,
Заветы мудрости едва
Не забывал я вовсе с вами,
Чуть не терял я головы,
Когда шутили только вы!..

28

Но я увлекся... О герое
Я позабыл моем. Идут
Они давно уж вместе двое
И разговор живой ведут;
Но, равнодушный постоянно
И вечно дерзкий, мой герой,
Сергей Петрович Моровой,
Невольно ожил как-то странно,
И маски лепет внемлет он
С живым участьем.... Неужели
Он также может быть влюблен?
О нет, о нет — но, в самом деле,
Полузагадочная речь
И тон таинственный намека
Опять могли его увлечь
К тому, что уж давно далёко,
К его забытым юным дням,
К его любви, к его мечтам...

29

И тщетно он припоминает
Событий прошлых длинный ряд, —
Так много их! Но озаряет
Его одно — и странный хлад

---

[1] До кончика ногтей (франц.). — *Ред.*

При мысли той бежит невольно
По телу... судорожно ей
Жмет руку он рукой своей
И, кажется, довольно больно;
Но так же весело она
Хохочет, та же речь живая
В устах, то страстная, то злая...
Она причудливо-странна,
И, околдован обаяньем,
Ей молча внемлет Моровой
И вновь уносится душой
К своим былым воспоминаньям.
Но вот из рук его, змеей
Скользнувши к домино другой,

30

Она исчезла... Изумленный
Остался он; за нею вслед,
Встревоженный, почти смущенный,
Идти он хочет; но лорнет
В углы он тщетно направляет, —
Она исчезла, словно сон...
И сам он плохо доверяет
Тому, что здесь не грезит он.
Как? неужели это снова
Она, погибшая давно?..
То не она... твердит одно
Ему рассудок, но готово
Поверить сердце даже в вздор...
Но этот лепет, этот взор,
Как пламя яркий, долгий, нежный,
Но этот страстный и мятежный,
Причудливый и злой язык?
Он знает их... он к ним привык!

31

Пред ним опять старинной сказки,
Волшебной сказки вьется нить,
Опять ребяческие ласки
В лобзанья страсти обратить
Он жаждет... Пылкий и богатый,
Препятствий он не хочет знать.

Но не объятия разврата
Он ищет златом покупать.
Нет! Вызывать в душе невинной
Потребность жить, любить, страдать —
Вот цель его... И в вечер длинный,
Когда заснет старушка мать,
Он начинает понемногу
Змеиной хитростью речей
В душе неопытной страстей
Будить безумную тревогу
И краску первого стыда
Сгонять лобзаньями тогда.

32

Ее ланиты рдеют жаром,
Она дрожит в его руках,
Опалена страстей пожаром,
И сердце ей стесняет страх.
Но равнодушно перед нею
Он держит зеркало... Она
Взглянуть боится... сожжена
Стыдом и страстию своею...
Но он спокоен, он глядит
Ей прямо в очи, говорит
Свободно... Жарко ей, неловко,
И темно-русая головка
На грудь склоняется к нему...
Прерывисто ее дыханье,
И внятен страстный вздох ему,
И жарких персей колыханье —
. . . .
. . . .

33

И что ж потом? Увы! укором
Встает прошедшее пред ним, —
Ребенка грустным, скорбным взором,
Старухи камнем гробовым...
Поражена стыдом разврата,
Ребенок бедный, умерла
Или исчезла ты куда-то?
А он! Ужели ты была

Одною искреннею страстью
В эгоистически-сухой
И пресыщением больной
Душе его? Ужели счастью
С тобой одною верил он?
И вот опять твой детский лепет
Услышан им — и пробужден
В его душе бывалый трепет.
Но ты ли точно? Иль обман
Ему на миг судьбою дан?

34

Стоит он грустный и суровый,
Сложивши руки на груди,
И смотрит — но народ всё новый
Напереди и назади;
Один лишь атаман цыганский,
Приятель карточный его,
Известный публике Рыганский,
Проходит мимо. «Отчего
Ты нынче невесел?» — с вопросом
Казенным подступает он
И, резким взглядом огромлен,
Ворча, уйти уж хочет с носом.
Но вдруг, припомня что-то вмиг,
Опять к нему он добродушно:
«Не знал я всех проказ твоих,
Ты ходишь с ней!» Но равнодушно,
Досаду скрывши, Моровой
В ответ махнул ему рукой.

35

«А чудо женщина, ей-Богу,
Цыганки лучше!» — продолжал,
Одушевляясь понемногу,
Неумолкающий нахал.
«Да кто она? скажи, пожалуй», —
Спросил спокойно Моровой.
«Эге! ну, славный же ты малый,
Не знаешь Кати!..» Как чумой,
Мгновенным хладом пораженный,
Сергей Петрович отступил
И, страшным словом огромленный,

Истолкованья не просил.
Довольно!.. Всё ему понятно...
Сказали гнусные уста
Ее названье... Чистота
Ее погибла безвозвратно!
И дальше он скорей спешит,
Растерзан и почти убит.

36

Она погибла... Кто ж виною?
Не сам ли ты, кто разбудил
В ее груди начало злое?
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Она погибла... Боже мой!
И знал другой ее объятья!
Молчит он... но в груди больной
Стесняет страшный стон проклятья.
И тихо, медленно идет
Под тихим бременем мученья,
И до дверей дошел... Но вот
Он чует вновь прикосновенье
Руки иной к руке своей,
И вновь она, и вновь он с ней...

37

Она влечет его... Послушно
Идет за нею он... Увы!
Где прежний гордо-равнодушный
Герой и властелин Москвы?
Он снова внемлет эти речи,
Он снова, снова, если б мог,
Упал у этих милых ног,
Лобзал с безумством эти плечи...
Он забывается опять
Под этот лепет детски страстный,
Уж он не может проклинать,
Уж он влюблен опять, несчастный!
Он позабыл, что чуждых уст
Осквернена она лобзаньем,

Что мир и наг ему, и пуст,
И что испытан он страданьем.
Он снова верит, снова он
Безумен, счастлив и влюблен!

38

«Пускай погибла... что за дело?
Так судит свет . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . . И есть родные степи,
В степях иное небо есть.
Туда, туда! Мы позабудем
С тобою света жалкий суд,
Свободны, вольны, горды будем».
Так говорит он — жадно льнут
Его болезненные взгляды
Под маски траурный покров...
Нетерпеливый, он готов
Сорвать несносные преграды.
Но вот, далёко от людей,
Они в фойе садятся с ней.

39

Упала маска, с упоеньем
Он видит прежние черты —
Печать нездешней красоты.
Она молчит, его моленьям,
Его порывистым речам
Внимает тихо, как, бывало,
Дитя покорное внимало
Его властительным словам.
Его она не прерывает,
С него не сводит влажный взор
И, как бывало, понимает
Его мольбу, его укор;
В его душе ей всё понятно.
Но то, что было, — то прошло,
Оно прекрасно и светло,
Но, к сожаленью, невозвратно.
Меж ними опыт долгих лет...
И говорит она в ответ:

40

«Безумец, с вечной волей рока
Оставь надежду враждовать:
На нас лежит его печать,
На нас обоих; пусть жестоко
Решенье воли роковой,
Но — рока суд не суд людской;
Печален путь, избранный мною,
Но он, как все, ведет к покою...
Нам не дано с тобой любить
И мир иным и лучшим видеть,
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

41

Как жрица древняя, сияла
Она волшебной красотой,
И мерно речь ее звучала
Какой-то силою иной.
Эллады юной изваяньем
Ему казалася она...
Пред ним, перед его рыданьем
Была она светла, сильна...
И гордо встал он... Молча руку
Ей подал он, не на разлуку —
На путь свободно-роковой,
На путь борьбы, хотя бесславной,
На путь, в который, равный с равной,
Пошли они рука с рукой...
И вот уж снова пред толпою
Они идут спокойно двое,
Равно презренья к ней полны,
Равно судьбой осуждены.

Они идут — для них дорога
Давно пустынна и ровна.
За ними — прожитого много,
Пред ними — смерти тишина...
Им нет на завтра упованья;
На них печальное легло
Всей безнадежностью сознанья,
И пусть подъято их чело
Всегда невозмутимо-гордо
Пред ликом истины нагим,
Но жизнь пуста обоим им,
Хотя спокойно, тихо, твердо
Рука с рукой они идут,
Отринув радость и страданья,
И сердца суд, и света суд,
И даже суд воспоминанья...
Им прозвучал уж суд иной
Своей последнею трубой...

Март 1846

128. ПЕРВАЯ ГЛАВА ИЗ РОМАНА «ОТПЕТАЯ»

1

О мой читатель... вы москвич прямой
И потому, наверно, о Коломне
Не знаете... конечно, не о той
Я говорю, которая, как помню,
Лежит в стране, и мне, и вам родной,
Верст за сто от Москвы, да, впрочем, что мне
До счета верст — и вам, конечно... Есть
Другая — дай ей небо вечно цвесть!

2

В Коломне той вы, верно, не бывали.
Вы в Петербург езжали по делам —
Иль, ежели за делом приезжали,
То, вероятно, не селились там...
Литовский замок, впрочем, вы видали —
Я говорю без оскорбленья вам, —
О нет, вы не сидели в заточенье,
Ни — даже за долги в известном отделенье.

3

Но, может быть, вы в северную ночь
Болезненно-прозрачную бродили
По городу, как я... когда невмочь
От жару, от тоски, от страшной пыли
Вам становилось... Вас тогда томили
Бесцельные желанья — вы бежали прочь
От этих зданий, вытянутых фронтом,
От длинных улиц с тесным горизонтом.

4

Тогда, быть может, память вас влекла
Туда, где «ночь над мирною Коломной
Тиха отменно»; где в тиши цвела
Параша красотой своею скромной;
Вы вспоминали, как она была мила,
Наивно любовавшаяся томной
Луной, мечтавшая Бог весть о чем...
И, думая о ней, вы думали о нем.

5

О том певце с младенческой душою,
С божественною речью на устах,
С венчанной лаврами кудрявой головою,
С разумной думой мужеской в очах;
Вы жили вновь его отрадною тоскою
О тишине полей, о трех соснах,
Тоской, которой даже в летах зрелых
Страдал «погибший рано смертью смелых»[1].

6

Иль нет — простите, я совсем забыл —
Вы человек другого поколенья:
Иной вожатый вас руководил
В иные страсти, муки и волненья;
Другой вожатый верить вас учил...
И вы влюбились в демона сомненья,
Вблизи Коломны Пушкина — увы! —
С тем злобным демоном бродили вечно вы!

7

А может быть, и вовсе не бродили,
Что даже вероятней... По ночам
Вы спали, утром к должности ходили
И прочее, как следует... Но вам
Европеизм по сердцу... Выходили
Из оперы вы часто, где певцам,
Желая подражать приемам европейским,
С остервенением вы хлопали злодейским.

---

[1] Стих из «Евгения Онегина».

8

Зимой, конечно, было это; нос
Вы в шубу прятали — и не глядели
Кругом... и гнал вас северный мороз
Скорей — но не домой и не к постели —
На преферанс... Но, верно, удалось,
Когда вы на санях к Морской летели,
Вам видеть замок с левой стороны...
И дальше вы теперь идти со мной должны.

9

В Коломне я искать решился героини
Для повести моей... и в том не виноват.
В частях других, как некие твердыни,
Все дамы неприступны... как булат
Закалены... в китайском тверды чине...
Я добродетели их верить очень рад —
Им только семь в червях представить могут грезы
Да повесть Z... исторгнуть может слезы.

10

А героиня очень мне нужна,
Нужнее во сто тысяч раз героя...
Герой? герой известный — сатана...
Рушитель вечный женского покоя,
Единственный... Последняя жена,
Как первая, увлечена змеею —
Быть может... демон <ей> сродни,
И понял это в первые же дни...

11

По-старому над грешною землей,
Неистощимой бездною страданий,
Летает он, князь области мирской...
По-старому, заклятый враг преданий,
Он вечно к новому толкает род людской,
Хоть старых полон сам воспоминаний.
Всегда начало сходится с концом,
И змей таинственным свивается кольцом.

12

Он умереть не может... Вечность, вечность
Бесплодных мук, бессмысленных страстей
Сознание и жажды бесконечность!..
И муки любит старый враг людей...
И любит он ту гордую беспечность
Неисправляемых Адамовых детей,
С которою они, вполне как дети,
Кидаются в расставленные сети...

13

. . . .

14

Но что до ней, что до него?.. С зарею
Слилась заря... и, влагою облит
Прозрачною, туманной, водяною, —
Петрополь весь усталый мирно спит;
Спят здания, спят флаги над Невою;
Спит, как всегда, и вековой гранит;
Спит ночь сама... но спит она над нами
Сном ясновидящей с открытыми очами.

15

Болезненны прозрачные черты
Ее лица в насильственном покое.
То жизнь иль смерть? Тяжелые мечты
Над ней витают... Бытие иное
В фосфоре глаз сияет... Страшной красоты
Полна больная... Так и над Невою
Ночь севера заснула чутким сном...
Беда, кто в эту ночь с бессонницей знаком!

16

Беда тебе, дитя мое больное!..
Зачем опять сидишь ты у окна
И этой ночи влажное, сырое
Дыхание впиваешь?.. Ты больна,
Дитя мое... засни, Господь с тобою...
Твой мир заснул... и ты не спишь одна...

Твой мир... и что тебе за дело до иного?
Твой мир — Коломна, к празднику обнова.

17

Известный круг, *балки*, порою офицер
Затянутый, самодовольно-ловкой...
Мечтай о нем... об этом, например,
С усами черными... займись обновкой...
Вот твой удел; цвет глаз твоих так сер,
Как небо Петербурга... Но головкой
Качаешь ты, упрямица, молчишь,
С досадой детской ножкой в пол стучишь.

18

Чего ж тебе?.. Ты точно хороша —
Утешься... Эти серенькие глазки
Темны, облиты влагой... в них душа
И жажда жизни светится. Но сказки
Пока тебе любовь и жизнь... Дыша
Прерывисто, желанья, грезы, ласки
Передаешь подушке ты одной...
Ты часто резвишься, котенок бедный мой!

19

Гони же прочь бессонницу, молю я:
Тебе вредна болезненная ночь,
Твои уста так жаждут поцелуя,
И грудь твоя колышется точь-в-точь,
Как сладострастная Нева... Тоскуя,
Ведь ты сама тоски не хочешь превозмочь.
Засни, засни... и так уж засверкали
Твои глаза холодным блеском стали.

20

Погибнешь ты... меж ночью и тобой
Родство необъяснимое заметно...
Забудь о нем... Удел прекрасен твой,
Со временем и он блеснет тебе приветно
В лице супруга с Анной, даже со звездой, —
Чего тебе... Но тщетно, тщетно, тщетно!

Погибла ты... и чей-то голос над тобой
Звучит архангела судебною трубой.

21

Не слышишь ты, но вся природа внемлет
Ему в забвении, как первая жена,
И чутким сном под этот голос дремлет.
Таинственного трепета полна,
Тоска ее глубокая объемлет...
Князь области воздушной, сатана,
В сей час терзается тоскою бесконечной
И говорит с своей иронией вечной:

1

«Мелеет он, Адамов род,
И чем быстрей бежит вперед,
Тем распложается сильней,
И с каждым шагом человек
Дробится мельче на людей.
Я жду давно — который век! —
Разбить запор тюрьмы моей,
Пробиться всюду и во всем
Всепожирающим огнем,
Проклятием, объявшим всех...
. . . .

2

Был век великий, славный век,
Когда меня лицом к лицу
Почти увидел человек;
Мои страдания к концу,
Казалось, близились... Во всем
Я разливаться начинал,
И вместе с чернью с торжеством
Дубов верхушки обрезал.
Мне надоело в них сиять
Лучами славы и борьбы,
Хоть было жалко обрезать
Те величавые дубы...
Я в них страдал, я в них любил
И, как они же, полон был

Презренья к мелочи людской
И враждования с землей...
Мне стало жаль... мне гнусен стал
Пигмеев кровожадный пир...
Я с чернью пьянствовать устал
И заливать без цели мир
Старинной кровью... Я узнал,
Что вечный рок сильней меня,
Что есть один еще оплот,
Что он созданье бережет
От разрушителя огня.

3

. . . .

4

Но близок час... огонь пробьет
Последний, слабый свой оплот,
И, между тем, меня печаль
Терзает, и тебя мне жаль...
Мне страшно грустен образ твой;
Тебя я с бешеной хулой
Влеку к паденью... чистота
Твоя исчезла, и бежит
С твоих ланит хранитель — стыд;
Не облит влагой тихий взор —
Холодным блеском светит он;
Вошла ты также с небом в спор;
Из груди также рвется стон
Проклятий гордых на судьбу.
Как я, отвергла ты закон,
Как я, забыла ты мольбу,
И скоро для обоих нас
Пробьет покоя вечный час...»

22

В таком ли точно тоне говорил
Князь области воздушной, я наверно
Сказать вам не могу: сатаниил —
Поэт не нам чета, и лишь примерно
Его любимый ритм я здесь употребил —

Ритм Байрона, — хотя, быть может, скверно.
Не в этом дело, впрочем: смысл же слов,
Ручаюсь головою, был таков.

23

Любил не раз он — это вам известно —
По крайней мере, вам то Мейербер
И Лермонтов открыли — очень лестно
Для женщин это... надоел размер
Страстей обыкновенных им — и тесно
Им в узких рамках . . . .
. . . .
. . . .

24

В наш век во вкусах странен Евин род;
Ни красота, тем меньше добродетель,
Ни даже ум в соблазн его влечет:
К уродам страсть бывает... Не один свидетель
Тому найдется. Дьявольский расчет
И равнодушие (в глуши ль то будет, в свете ль)
С известной степенью цинизма — вот
Что нынче увлекает Евин род.

25

Жуанов и Ловлесов племя ныне
Уж вывелось — героев больше нет;
Герой теперь сдал место героине,
И не Жуан — Жуана ныне свет
Дивит своим презрением к святыне
Любви и счастья, дерзостью побед...
Змеиной гибкостью души своей и стана,
Пантеры злостию — вперед, вперед, Жуана.

26

Вперед, Жуана... путь перед тобой
Лежит отныне ровный и свободный...
Иди наперекор себе самой
В очах с презрением и дерзостью холодной,
В страдающей груди с глубокою тоской,
Иди в свой путь, как бездна, неисходный,

Не знаешь ты, куда тот путь ведет, —
Но ты пошла — что б ни было — вперед!

27

Светлеет небо... близок час рассвета,
А всё моя красотка у окна...
Склонившись головой, полураздета,
Полусидит, полулежит она,
Чего-то ждет... Но ожиданье это
Обмануто... Она тоски полна,
Вот-вот на глазках засверкают слезы,
Но нет... смежает сон их... Снова грезы...

28

И девочке всё грезится о нем,
О ком и думать запретили б строго...
Герой ее танцклассам всем знаком,
Играет в карты, должен очень много...
С ним Даша часто видится тайком;
Он проезжает этою дорогой
В извозчичьей коляске на лихих,
Немного пьян — но вечно мимо них.

29

Андрей Петрович... но о нем потом...
Семнадцать лет моей шалунье было,
Родительский ей страшно скучен дом,
В ней сердце жизни да любви просило,
Рвалось на волю... Вечно мать с чулком,
Мораль с известной властию и силой;
Столоначальник, скучный, как жених,
Который никогда не ездит на лихих.

30

И в будущем всё то же, вечно то же,
Всё преферанс в копейку серебром,
Всё так на настоящее похоже —
Так страшно глупо смотрит целый дом.
Нет, нет, не создана она, мой Боже!
К тому, что многим кажется добром,

И не бывать ей верною подругой...
Притом уже она просвещена подругой.

31

От наставлений матушки не раз,
От этой жизни праздной и унылой
С подругою она тайком в танцкласс
Зимою ездила... Подруге было
Лет двадцать... Даже не в урочный час
Они домой являлись. Но сходило
Всё это с рук. Умела веру дать
В сердечной простоте всему старушка мать.

32

Жених-столоначальник глуповато
Смотрел на всё: он был совсем готовый муж,
Чуждался сильно всякого разврата,
Особенно карманного, к тому ж
Доверчивостью был он одарен богато,
Носил в себе одну из допотопных душ
И, несмотря на то, что родился в столице,
Невинностью подобен был девице.

33

Поутру, вставши, пил он скеерный чай,
Смотрел в окно, погоду замечая,
И собирался к должности, там рай
И ад свой весь прескромно заключая.
Но пред уходом в свой обетованный край
Он в книжке отмечал, «что будет кушать чаю
Такой-то у него», и книжку клал;
Потом: «со сливками» — подумав, прибавлял.

34

Вы спросите: зачем? Уж я не знаю —
Есть разные привычки. Так текла
Вся жизнь его. Ему всех благ желаю —
Но страшно ведь глупа она была
Во все периоды: и *до* и *после* чаю...
И Дашу бедную такая жизнь ждала,

Когда б так называемый злой гений
Ей не дал мук, желаний и волнений.

35

Пускай она заснула — в ней не спят
Безумные, тревожные волненья;
Уста полураскрытые дрожат,
Облиты глазки влагою томленья.
Что снится ей?.. Соблазна полные виденья
Над нею видимо летают и кружат...
А чей-то голос слышен из-за дали,
Исполненный таинственной печали.
Дитя мое! очей твоих
Так влажно-бархатен привет...
Не звездный свет сияет в них —
Кометы яркий свет...
Лукавой хитрости полна
Улыбка детская твоя,
И гибок стан твой, как волна...
И вся ты — как змея.
Ты так светла, что не звездам
Спокойным вечно так сиять;
Ты так гибка, что разгадать
В тебе легко сестру змеям.
Дитя мое! так много их
По тверди неба голубой
Светил рассыпано благих, —
О, будь кометой роковой!
И дольний мир — ваш мир земной —
Богат стадами душ простых...
В нем много добрых, мало злых, —
О, будь же, будь змеей!

36

Тот голос был ли внятен ей?.. Она
Едва ль могла понять слова такие
Мудреные, хоть и весьма простые.
Прочла она в свой век Карамзина
Две повести да две Марлинского другие
(«Фрегат "Надежда"», помнится, одна
Была из них). Отборно объясняться
Привыкла потому — я должен вам признаться.

37

Но странно, что ее тревожил сон
Не Гремин с пламенной душою и с усами...
Ее герой усами не снабжен —
Он, вероятно, сталкивался с вами,
Читатель мой, быть может, часто. Он
Играет, я сказал; со многими домами
Знаком поэтому; ни дурен, ни хорош
Собой особенно — на всех людей похож.

38

Чиновник он — и жить не мог иначе,
Москвич — но с Петербургом ужился,
Привык зимой к театру, летом к даче,
Хоть молод, но серьезно занялся
Устройством дел карманных и тем паче
Служебных: рано он за ум взялся,
Как истый петербургец. Был ласкаем
Почтенными людьми и всеми уважаем.

39

Играл же он, во-первых, потому,
Что этим путь в дома чиновнической знати
Открыл себе свободный — хоть в палате
Служил какой-то... а притом ему,
Как, верно, русскому не одному,
Разгул по сердцу был — а здесь и кстати.
Играл он ловко, нараспашку жил
И репутацию с тем вместе заслужил.

40

На женщин он смотрел с полупрезреньем,
От добродетельных чиновниц прочь
Бежал всегда... Искать любви терпеньем
Ему казалось глупо и невмочь,
В чем был он прав... Свободным наслажденьям
Любил он посвящать гораздо лучше ночь.
Он был герой, и даже очень пылкой,
В танцклассе и с друзьями за бутылкой.

41

И там-то Даша встретилася с ним.
Он был хорош, особенно вполпьяна;
В минуту эту мог он быть любим;
Разочарован был, казалось, очень рано
И, дорожа мгновением одним,
Безумствовал. Чем не герой романа,
Особенно когда другого нет?
Ведь было ей всего семнадцать лет.

42

Он дерзостью какой-то начал с нею.
Она краснела, хоть не поняла...
Переглянувшись с менторшей своею,
Ему на польку руку подала
И улыбнулася ему, злодею...
Потом уж с ним шампанское пила
И глупости девчонка лепетела,
Хоть вся, как лист, от страха трепетала.

43

А стоил ли он трепета любви? —
Другой вопрос... Не в этом, впрочем, дело
Он был любим... Увы! в твоей крови,
Дитя мое, страсть бешено кипела,
Рвалась наружу... и глаза твои
Сияли слишком ярко, хоть несмело,
Стыдливо опускались... ты была в огне...
Пусть судит свет — судить тебя не мне!

44

А свет свершит свой строго-неизбежный
И, может быть, свой справедливый суд,
И над твоей головкою мятежной,
Быть может, многие теперь произнесут
Свой приговор бесстрастный и безгрешный;
Быть может, камень многие возьмут,
И в том сама виновна ты, конечно...
Ты жизни предалась безумно и беспечно.

45

А впрочем, что ж? Да разве ты одна
Осуждена толпой безгрешной и бесстрастной
За то что ты, как женщина, страстна?
Утешься — и не в этом твой ужасный
Удел, дитя мое... Иное ты должна
Узнать еще... Покамест, сладострастно
Раскинувшись... ты грезам предана...
. . . .

46

Но вот она проснулась... С Офицерской
Коляска мчится... точно, это он,
Кому от матушки иного нет, как «мерзкой»,
Названия... Завоеватель дерзкой,
Он, как всегда, разгулен и хмелен...
Его немножко клонит даже сон...
Но, тем не менее, зевая, он выходит
Из экипажа — и к окну подходит.

47

Зевая — правду вам, читатель мой,
Я говорить обязан, — да-с, зевая,
«Здорово!» — он сказал ей... На такой
Привет что отвечать, почти не зная,
Она «здорово!» с странною тоской
Сказала также... Он, не замечая,
С ней начал говорить о том, как он играл
И как на рысака пари держал.

48

И Даша молча слушала... И в очи
Ему смотрела робко... чуть дыша...
При тусклом свете петербургской ночи
Она была так чудно хороша...
Собой владеть ей не ставало мочи,
Из груди вон просилась в ней душа;
Болезненно и сладостно тоскуя...
Уста ее просили поцелуя...

49

И вот в окошко свесилась она,
И обвила его прозрачными руками,
И, трепета безумного полна,
К его устам прижалася устами...
И в полусонных глазках так видна
Вся страсть ее была.... что, небесами
Клянусь, я отдал бы прохладу светлых струй,
Как некогда поэт, за этот поцелуй.

50

О поцелуй!.. тебя давно не пели
Поэты наши... Злобой и тоской
Железные стихи их нам звенели —
Но стих давно уж не звучал тобой...
На Божий мир так сумрачно глядели
Избранники, нам данные судьбой,
И Лермонтов и Гоголь... так уныло,
Так без тебя нам пусто в мире было!

51

Мы знали все — я первый, каюсь, знал
Безумство влажного вакханок поцелуя...
И за него я душу отдавал,
Когда она, болезненно тоскуя,
Томилась жаждой... Но иной люблю я,
Иной я поцелуй теперь припоминал...
То первый поцелуй, упругий, острый, жгучий,
Как молния, прорезавшая тучи.

52

Как молния, по телу он бежит
Струею сладкого, тревожного томленья...
Как детский сон, он быстро пролетит —
Похищенный украдкой... Но волненья,
Оставленного им, — ничто не заменит,
Но рад бы каждый, хоть ценой спасенья...
Так робко, нежно, девственно опять
Тот поцелуй с упругих уст сорвать.

53

О Ромео и Юлия! Вы были
Так молоды, так чисты: целый мир
Вы в поцелуе первом позабыли...
За что же вас и люди, и Шекспир,
Насмешник старый, злобно так сгубили
За этот поцелуй?.. Безжалостный вампир
Был автор ваш... наполнил вас любовью,
Чтобы вкусней упиться вашей кровью.

54

О Ромео и Юлия!.. Не раз
Ночь, ночь Италии, я вижу пред собою,
Лимонов запах слышу, вижу вас
Под тенью их стыдливою четою,
С ресницами опущенными глаз,
Увлажненных безумной, молодою,
На всё готовой страстью... Божий мир
Благословлял вас... дьявол был Шекспир!

55

Вот поцелуй куда красотки нашей
Завел меня... Что делать? виноват,
И каюсь в том: быть может, слишком Дашей
Я занимаюсь... Но часы летят,
И веет утром... Тот, кто полной чашей
Любви блаженство пьет, едва ли утру рад...
Его наивно Даша проклинала, —
Со мною, с вами это же бывало.

56

Андрей Петрович был, напротив, рад
Успокоению от жизненных волнений;
Любил он крепко стеганый халат
И сладкий сон без всяких сновидений...
Они простились... Сел он — быстро мчат
Его лихие кони... и мгновений
Любви не жаль ему... Но думал он о чем
Дорогою — узнаете потом.

57

Она же долго вдаль с тоской глядела,
Потом окно закрыла и легла,
Всё думала, и хоть заснуть хотела,
Но и заснуть бедняжка не могла...
Уж солнце встало... Ложками гремела
Старушка мать и к ней потом вошла,
Неся с собой свой кофе неизбежный
Да вечную мораль родительницы нежной.

58

И снова день, бесплодно-глупый день
С уборкою того, что убирать не надо,
И с вечной пустотой, которой лень
И праздность жизни прикрывать так рада
Была старушка... Вновь ночную тень
Зовет моя красотка... Хуже ада
Такая жизнь... со сплетнями, с чулком,
И с кофеем, и с глупым женихом.

1847

129. VENEZIA LA BELLA[1]

ДНЕВНИК СТРАНСТВУЮЩЕГО РОМАНТИКА

(Отрывок из книги: «Одиссея о последнем романтике»)

> ...Beatrice, loda di Dio vera,
> Chй non soccorri quei che t'amy tanto.
> Ch'usci per te della volgare schiera?
> Non odi tu la piйta del suo pianto?
> Non vedi tu la morte, che'l combatte
> Su la fiumana, ove'l mar non ha vanto?
>
> *Dante «Inferno», Canto II*[2]

1

Есть у поэтов давние права,
Не те одни, чтоб часто самовольно
Растягивать иль сокращать слова
Да падежи тиранить произвольно;
Есть и важнее: тем, кого едва
Назвать вы смеете — и с кем невольно
Смущаетесь при встрече, слова два
С трудом проговорите... смело, вольно
Вы можете эпистолы писать...
Я выбрал формы строгие сонета;
Во-первых, честь Италии воздать
Хоть этим за радушие привета
Мне хочется, а во-вторых, в узде
Приличной душу держат формы те!

---

[1] Прекрасная Венеция (итал.). — *Ред.*

[2] О Беатриче, помоги усилью
Того, который из любви к тебе
Возвысился над повседневной былью.
Или не внемлешь ты его мольбе?
Не видишь, как поток, грознее моря,
Уносит изнемогшего в борьбе?
Данте. «Ад», Песнь II (итал.; перевод М. Л. Лозинского). — *Ред.*

2

И ты прочтешь когда-нибудь (вступаю
Я в давности права и слово *ты*
С тревогой тайной ставить начинаю,
С тоской о том, что лишь в краях мечты
Мои владенья), ты прочтешь, я знаю,
Чего, о жрица гордой чистоты,
Какой тебя поднесь воображаю,
В твоей глуши, средь праздной суеты
И тишины однообразно-пошлой, —
Ты не прочла бы, судорожно смяв,
Как лист завялый, отзыв жизни прошлой,
Свой пуританский чествуя устав,
Когда б мольбы, призывы и упреки
В размеренные не замкнулись строки!

3

«Но благородно ль это?» — может быть,
Ты скажешь про себя, сей бред тревожный
Читая... В самом деле, возмутить
Пытаться то, что нужно осторожно
В тебе беречь, лелеять, свято чтить...
Да! это *безобразно* и ничтожно...
Я знаю сам... Но *так* тебя любить
Другому, кто б он ни был, — невозможно...
Где б ни был я, куда б судьба меня
Ни бросила — с собой мечту одну я
Ношу везде: в толпе ли, в шуме ль дня,
Один ли, в ночь бессонную тоскуя,
Как молодость, как свет, как благодать,
Зову тебя! Призыв мой услыхать

4

Должна же ты!.. Увы! я верю мало,
Чтоб две души беседовать могли
Одна с другой, когда меж ними стало
Пространство необъятное земли;
Иль искренней сказать: душа устала
Таинственному верить; издали
Она тебя столь часто призывала,
Что звезд лучи давно бы донесли,
Когда б то было делом их служенья,

Тебе и стон, и зов безумный мой...
Но звезды — прехолодные творенья!
Текут себе по тверди голубой
И нам бесстрастно светят в сей юдоли.
Я им не верю больше... А давно ли

5

Я звал тебя, трикраты звал, с мольбой,
С томленьем злой тоски, всей силой горя
Бывалого, всей жаждой и тоской
Минуты?.. Предо мной царица моря
Узорчатой и мрачной красотой
Раскидывалась, в обаянье споря
С невиданною неба синевой
Ночного... Вёсел плеск, как будто вторя
Напевам гондольера, навевал
На душу сны волшебные... Чего-то
Я снова жаждал, и молил, и ждал,
Какая-то в душе заныла нота,
Росла, росла, как длинный змей виясь...
И вдруг с канцоной страстною сплелась!

6

То не был сон. Я плыл в Риальто, жадно
Глядя на лик встававших предо мной
Узорчатых палаццо. С безотрадной,
Суровой скорбью памяти немой
Гляделся в волны мраморный и хладный,
Запечатленный мрачной красотой,
Их старый лик, по-старому нарядный,
Но плесенью подернутый сырой...
Я плыл в Риальто от сиявших ярко
Огней на площади Святого Марка,
От праздника беспутного под звон
Литавр австрийских... сердцем влекся в даль я,
Туда, где хоть у волн не замер стон
И где хоть камень полн еще печалью!

7

Печали я искал о прожитом,
Передо мной в тот день везде вставала,

Как море, вероломная в своем
Величии La bella. Надевала
Вновь черный плащ, обшитый серебром,
Навязывала маску, опахало
Брала, шутя в наряде гробовом,
Та жизнь, под страхом пытки и кинжала
Летевшая каким-то пестрым сном,
Та лихорадка жизни с шумно-праздной
И пестрой лицевою стороной,
Та греза сладострастья и соблазна,
С подземною работою глухой
Каких-то сил, в каком-то темном мире
То карнавал, то Ponte dei sospiri[1].

8

И в оный мир я весь душой ушел, —
Он всюду выжег след свой: то кровавый,
То траурный, как черный цвет гондол,
То, как палаццо дожей, величавый.
Тот мир не опочил, не отошел...
Он в настоящем дышит старой славой
И старым мраком; память благ и зол
Везде лежит полузастывшей лавой:
Тревожный дух какой-то здесь живет,
Как вихрь кружит, как вихрь с собой уносит,
И сладкую отраву в сердце льет;
И сердце, ноя, неотступно просит
Тревожных чувств и сладострастных грез,
Лобзаний лихорадочных и слез.

9

Я плыл в Риальто. Всюду тишь стояла:
В волнах канала, в воздухе ночном!
Лишь изредка с весла струя плескала,
Пронизанная месяца лучом,
И долго позади еще мелькала,
Переливаясь ярким серебром.
Но эта тишь гармонией звучала,
Баюкала каким-то страстным сном,
Прозрачно-чутким, жаждущим чего-то.

---

[1] Мост вздохов (итал.). — *Ред.*

И сердце, отозвавшись, стало ныть,
И в нем давно не троганная нота,
Непрошеная, вздумала ожить
И быстро понеслась к далекой дали
Призывным стоном, ропотом печали.

10

Тогда-то ярко, вольно разлилась
Как бы каденца из другого тона,
Вразрез с той нотой сердца, что неслась
Печали ропотом, призывом стона,
Порывисто сверкая и виясь,
Божественной Италии канцона,
Которая как будто родилась
Мгновенно под колоннами балкона,
В час ожиданья трепета полна,
Кипенья крови, вздохов неги сладкой,
Как страстное лобзание звучна,
Тревожна, как свидание украдкой...
В ней ритм не нов, однообразен ход,
Но в ней, как встарь, волкана жизнь живет.

11

Ты вырвалась из мощного волкана,
Из груди гордым холмом поднятой,
Широкой, словно зыби океана,
Богатой звука влагою густой
И звонкостью и ясностью стеклянной,
И силой оглушительной порой;
И ты не сжалась в тесный круг избранный,
А разлилась по всей стране родной,
Божественной Италии канцона!
Ты всем далась — от славных теноров
До камеристки и до ладзарона,
До гондольеров и до рыбаков...
И мне, пришельцу из страны туманной,
Звучала ты гармонией нежданной.

12

К нам свежий женский голос долетал,
Был весь грудной, как звуки вьолончели;

Он страстною вибрацией дрожал,
Восторг любви и слезы в нем кипели...
Мой гондольер всё ближе путь держал
К палаццо, из которого летели
Канцоны звуки. Голос наполнял
Весь воздух; тихо вслед ему звенели
Гитарные аккорды. Ночь была
Такая, что хотелось плакать — много
И долго плакать! вод сырая мгла,
Вся в блестках от лучей луны двурогой,
Истому — не прохладу в грудь лила.
Но неумолчно северная нота
Всё ныла, ныла... Это было что-то

13

Подобное германских мастеров
Квартетам, с их глубокою и странной
Постройкою, с подземной, постоянно
Работающей думой! Средь ходов
Веселых поражающий нежданно
Таинственною скорбью вечный зов
В какой-то мир, погибший, но желанный;
Подслушанная тайна у валов
Безбрежного, мятущегося моря,
У леса иль у степи; тайный яд
Отравы разъедающего горя...
И пусть аккорды скачут и звенят,
Незаглушим в Бетховена иль Шпора
Квартете этот вечный звук раздора.

14

Ты помнишь ли один, совсем больной,
Квартет глухого мастера? Сидела,
Как статуя, недвижно ты, с слезой
В опущенных очах. О! как хотела
Ты от себя прогнать меня, чтоб мой
Язык, тебе разоблачавший смело
Весь новый мир, владеющий тобой,
Замолк! Но тщетно: делал то же дело
Квартет. Дышал непобедимой он,
Хотя глухой и сдавленною страстью,

И слышалось, что в мир аккордов стон
Врывался с разрушительною властью,
И разъедал основы строя их,
И в судорожном tremolo[1] затих.

15

О, вспомни!.. И нельзя тебе забыть!
Твоя душа так долго, так сурово
Возобладать собою допустить
Боялася всему, что было ново.
Ты не из тех, которые шутить
Спокойно могут с тайным смыслом слова,
Которым любо век себя дразнить,
Которым чувство каждое обнова...
Ты не из тех! И вечно будь такой,
Мой светлый сильф, с душой из крепкой стали,
Пусть жизнь моя разбита вся тобой,
Пусть в душу мне влила ты яд печали, —
Ты права!.. Но зачем у ног твоих
Я не могу, целуя страстно их,

16

Сказать, что, право, честно ты решила
Вопрос, обоим, может быть, равно
Тяжелый нам? Безмолвна, как могила,
Твоя душа на зов моей давно...
Но знай, что снова злая нота ныла
В разбитом сердце, и оно полно
Всё той же беззаконной жажды было.
Где б ни был я — во мне живет одно!
И то одно старо, как моря стоны,
Но сильно, как сокрытый в перстне яд:
Стон не затих под страстный звук канцоны,
Былые звуки tremolo дрожат,
Вот слезы, вот и редкий луч улыбки —
Квартет и страшный вопль знакомой скрипки!

17

За то, чтоб ты со мной была в сей миг,
За то, чтобы, как встарь, до нервной дрожи

---

[1] Дрожании (итал.). — *Ред.*

Заслушавшись безумных грез моих,
Ты поняла, как внутренно мы схожи,
Чтобы, следя за ходом дум твоих
И холод их искусственный тревожа,
Овладевать нежданно нитью их...
О! я за это отдал бы, мой Боже,
Без долгих справок всё, что мне судил
Ты в остальном грядущем!.. Было б пошло
Назвать и жертвой это. Тот, кто жил
Глубоким, цельным чувством в жизни прошлой
Хоть несколько мгновений, — не мечтай
Жить вновь — благодари и умирай!

18

Один лишь раз... о да! сомнений нет —
Раз только — хаос груди проникает
Таинственный глагол: «Да будет свет!»
Встает светило, бездну озаряет,
И всё, что в ней кипело много лет,
Теплом лучей вкруг центра собирает.
Что жить должно — на жизнь дает ответ;
В чем меры нет — как море опадает;
Душевный мир замкнут и завершен:
Не темная им больше правит сила,
А стройно, мерно двигается он
Вокруг животворящего светила.
Из бездны темной вырвавшись, оно
Всё держит властно, всё живет равно.

19

О, не зови мечтанием безумным
Того, что сердцу опытом далось!
Едва ль не всё, что названо разумным,
Родилося сначала в царстве грез,
Явясь на свет, встречалось смехом шумным
Иль ярым кликом бешеных угроз,
Таилось в тишине благоразумным
И кровью многих смелых полилось.
И вновь нежданно миру представало,
И, бездны мрак лучами озаря,
Блестящим диском истины сияло,
А греза — то была его заря!

То было бездны смутное стремленье
Создать свой центр, найти определенье.

20

Нет! не зови безумием больным
Того, что ты, пугливою борьбою
Встречая долго и мечтам моим
Отдаться медля, чуткою душою
Поймешь, бывало, ясно той порою,
Когда пойдут по небесам ночным
Лампады зажигаться над землею!
В тот час к земле опущенным твоим
Ресницам длинным было подниматься
Вольнее — и, борьбой утомлена,
Решалася ты вере отдаваться,
И, девственно-светла, чиста, нежна,
Ты слушала с доверчивостью жадной
То проповедь, то ропот безотрадный!

21

Как я любил в тебе, мой серафим,
Борьбу твою с моею мыслью каждой,
Ту робость, что лишь избранным одним
Душам дается, настоящей жаждой
Исполненным... Приходит вера к ним
Не скоро, но, поверивши однажды,
Они того, что истинно святым
Признали раз, не поверяют дважды.
Таких не много. Их благословил
Иль проклял рок — не знаю. В битву смело
Они идут, не спрашиваясь сил.
Им жизнь не сон, а явь, им слово — дело.
И часто... Но ведь есть же, наконец,
Всеправящий, всевидящий Отец!

22

И что мне было в этих слепо-страстных
Иль страстно-легкомысленных душах,
Которых вечно можно влечь, несчастных,
Из неба в ад, с вершины в грязь и прах,
Которых, в сердца *чувствиях* невластных,

Таскай куда угодно, — в тех рабах,
Привыкших пыл движений любострастных
Цитатами и в прозе и в стихах
Раскрашивать? Душе противно было
Слепое их сочувствие всегда,
Пусть не одна из них меня любила
С забвеньем долга, чести и стыда,
Бессмысленно со мною разделяя
И тьму и свет, и добрая и злая!

23

Но ты... Нервический удар в тот час,
Когда б сбылись несбыточные грезы,
Разбил бы полнотой блаженства нас,
Деливших всё: молитву, думы, слезы...
Я в это верю твердо... Но не раз
Я сравнивал тебя с листом мимозы
Пугливо-диким, как и ты подчас,
Когда мой ропот в мрачные угрозы
Переходил, и мой язык, как нож,
В минуты скорби тягостной иль гнева,
Мещанство, пошлость, хамство или ложь
Рубил сплеча направо и налево...
Тогда твои сжималися черты,
Как у мимозы трепетной листы.

24

Прости меня! Романтик с малолетства
До зрелых лет — увы! я сохранил
Мочаловского времени наследство
И, как Торцов, «трагедии любил».
Я склонность к *героическому* с детства
Почувствовал, в душе ее носил
Как некий клад, испробовал все средства
Жизнь прожигать и безобразно пил;
Но было в этом донкихотстве диком
Не самолюбье пошлое одно:
Кто слезы лить способен о великом,
Чье сердце жаждой истины полно,
В ком фанатизм способен на смиренье,
На том печать избранья и служенья.

25

А всё же я «трагедии ломал»,
Хоть над трагизмом первый издевался...
Мочаловский заветный идеал
Невольно предо мною рисовался;
Но с ужасом я часто узнавал,
Что я до боли сердца заигрался,
В страданьях ложных искренно страдал
И гамлетовским хохотом смеялся,
Что билася действительно во мне
Какая-то *неправильная жила*
И в страстно-лихорадочном огне
Меня всегда держала и томила,
Что в меру я — уж так судил мне Бог —
Ни радоваться, ни страдать не мог!

26

О вы, насмешкой горько-ядовитой
Иль шуткой меткой иль забавно-злой
Нередко нарушавшие покой
Скрываемой и часто ловко скрытой,
Но вечной язвы, вы, кому душой,
Всей любящей без меры, хоть разбитой,
Душой, я предавался — раны той,
Следов борьбы не стихшей, но прожитой,
Касались вы всегда ли в добрый час,
Всегда ль с сознаньем истины и права?
Иль часто брат, любивший братски вас,
Был дружескому юмору забава?..
Что б ни было — я благодарен вам:
Я в юморе искал отрады сам!

27

Но ты... тебя терзать мне было любо,
Сознательно, расчетливо терзать...
Боль сердца — как нытье больного зуба
Ужасную — тебе не передать
Безжалостно хотел. Я был сугубо
Виновен — я, привыкший раздувать
В себе безумство, наслаждался грубо
Сознанием, что в силах ты страдать,

Как я же! О, прости меня: жестоко
Наказан я за вызов темных сил...
Проклятый коршун памяти глубоко
Мне в сердце когти острые вонзил.
И клювом жадным вся душа изрыта
Nell mezzo del cammin di mia vita![1]

28

Я не пою «увядший жизни цвет»,
Как юноша, который сам не знает
Цены тому, что он, слепец, меняет
На тяжкое наследье зол и бед.
Обновка мрачной скорби не прельщает
Меня давно — с тех пор, как тридцать лет
Мне минуло... Не отжил я — о нет!..
И чуткая душа не засыпает!
Но в том и казнь: на что бы ни дала
Душа свой отзыв — в отзыве таится
Такое семя будущего зла,
Что чуткости своей она боится,
Но и боясь, не в силах перестать
Ни откликаться жизни, ни страдать.

29

Порой единый звук — и мир волшебный
Раскрылся вновь, — и нет пределов снам!
Порою женский взгляд — и вновь целебный
На язвы проливается бальзам...
И зреет гимн лирически-хвалебный
В моей душе, вновь преданной мечтам;
Но образ твой, как хлад зимы враждебной,
Убийствен поздней осени цветам.
Из опьяненья сердце исторгая
Явленьем неожиданным своим,
Всей чистотой, всей прелестью сияя,
Мой мстительный и светлый серафим
То тих и грустен, то лукав и даже
Насмешлив, шепчет он: «Я та же, та же

---

[1] На середине моего пути (итал.). — *Ред.*

30

Твоя звезда в далекой вышине,
Твой страж крылатый и твое творенье,
Твой вздох в толпе, твой вопль наедине,
Твоя молитва и твое сомненье;
Я та же, та же — мне, единой мне,
Принадлежит и новое волненье.
Вглядись, вглядись!.. Не я ли в глубине
Стою, светла, за этой бледной тенью:
И в ней моей улыбки ищешь ты,
Моих ресниц, опущенных стыдливо,
Моей лукаво-детской простоты,
Отзывчивости кротко-молчаливой...
Зачем искать? Безумец! Я одна
Твоей сестрой, подругой создана.

31

Не верь во мне — ни гордости суровой,
Ни равнодушной ясности моей.
Припомни, как одно, бывало, слово
Изобличит всю ложь моих речей.
Вглядись, вглядись! Я в мире жизни новой
Всё тот же лик волшебницы твоей,
На первый зов откликнуться готовой,
На песню первую бывалых дней!
Твоим мольбам, мечтам, восторгам, мукам
Отвечу я, сказавшись чутко им
Фиалки скромной запахом ночным,
Гитары тихим, таинственным звуком.
Ты знаешь край? О! мы опять пойдем
В тот старый сад, в тот опустелый дом!»

32

И жадно я знакомым звукам внемлю,
И обольщенья призрака порой
За тайный зов души твоей приемлю,
И мнится мне, я слышу голос твой,
Чрез горы и моря в чужую землю
Ко мне достигший из земли родной...
Но пробудясь — ясней умом объемлю
Всю бездну мук души своей больной:

Мысль о тебе железом раскаленным
Коснется ран, разбередит их вновь,
Разбудит сердце и взволнует кровь.
И нет тогда конца ночам бессонным
Или горячке безотвязных снов...
То — пса тоска, то — мука злых духов!

33

Да, пса тоска! Тот жалобно-унылый,
Однообразный вой во тьме ночей,
Что с призраками ночи и с могилой
Слился в пугливой памяти людей...
У сладостных певцов «тоской по милой»
На нежном языке бывалых дней
Звалась она, — но кто со всею силой
Ее изведал, тот зовет верней.
Правдивое, хоть грубое названье
Пришло давно мне в голову... Оно
Разлуками, отравами свиданья
До осени ночами создано...
Глядишь, как сыч, бывало... сердце ноет,
А пес так глупо, дико, жалко воет!

34

Из тех ночей особенно одна
Мне памятна дождливая. — Проклятья
Достаточные от меня она
Терпела. В этот вечер увидать я
Тебя не мог — была увезена
Куда-то ты, — но дверь отворена
В твой уголок, дышавший благодатью,
В приют твой девственный была, и платье
Забытое иль брошенное там
Лежало на диване... С замираньем
Сердечным, с грустью, с тайным содроганьем
Я прижимал его к моим устам,
И ночь потом — сколь это ни обидно —
Я сам, как пес, выл глупо и бесстыдно!

35

И здесь, один, оторванный судьбой
От тягостных вопросов, толков праздных,

От дней, обычной текших чередой,
От дружб святых и сходок безобразных,
Я думы сердца, думы роковой
Не заглушил в блистательных соблазнах
Былых веков, встававших предо мной
Громадами чудес разнообразных...
Хоть накануне на хребте своем,
На тихом, бирюзово-голубом,
Меня адриатические волны
Лелеяли... хоть изумленья полный
Бродил я день — душою погружен
В великолепно-мрачный пестрый сон.

36

Царица моря предо мной сияла
Красой своей зловещей старины;
Она, как море, бездны прикрывала
Обманчивым покровом тишины...
Но сих-то бездн душа моя алкала!
Пришлец из дальней северной страны,
Хотел сорвать я жадно покрывало
С закутанной в плащ бархатный жены...
У траурных гондол дознаться смысла
Их тайны сладострастно-гробовой...
И допроситься, отчего нависло
С иронией сумрачной и злой
Лицо палаццо старых над водою,
И мрак темниц изведать под землею...

37

В сей мрак подземный, хладный и немой,
Сошел я... Стоном многих поколений
Звучал он — их проклятьем и мольбой...
И мнилось мне: там шелестели тени!
И мне гондолы траур гробовой
Понятен стал. День страстных упоений
В той, как могила, мрачной и немой
Обители плывучей наслаждений
Безумно-лихорадочных — прием
Волшебного восточного напитка...
Нажиться жизнью в день один... Потом
Холодный мрак тюрьмы, допрос и пытка,

Нежданная, негаданная казнь...
О! тут исчезнет всякая боязнь.

38

Тут смолкнут все пугливые расчеты.
Пока живется — жизни дар лови!
О том, что завтра, — лишние заботы:
Кто знает? chi lo sa?..[1] В твоей крови
Кипит огонь?.. Лишь стало бы охоты,
А то себе безумствуй и живи!
Какой тут долг и с жизнью что за счеты!
Пришла любовь?.. Давай ее, любви!
О милый друг! Тогда под маской черной
Ты страсти отдавалась бы смелей.
И гондольер услужливо проворный
Умчал бы нас далеко от людей,
От их суда, нравоучений, крика...
Хоть день, да наш! а там — суди, Владыка!

39

Хоть день, да наш! Ужели ж лучше жить
Всей пошлостию жизни терпеливо,
А в праздники для отдыха кутить
(И то, чтоб уж не очень шаловливо!).
Так только немец может с сластью пить
В Тиргартене своем берлинском пиво —
А нам — увы! — в Тиргартен не ходить!
На русский вкус, хотя неприхотливый,
Но тонкий от природы, — ни гроша
Тиргартен их с хваленой дешевизной
Не стоит. Наша странная душа
Широкою взлелеяна отчизной...
Уж если пить — так выпить океан!
Кутить — так пир горой и хор цыган!

40

А там — что будет, будет! И могла же
Ты понимать когда-то, ангел мой,
Что ничего не выдумаешь гаже
Того, в чем немцы видят рай земной;

---

[1] Кто его знает? (итал.) — *Ред.*

Что «прожиганье жизни» лучше даже
Их праздничной Аркадии, сухой
Иль жирно-влажной... Ты всё та же, та же,
Стоишь полна сочувствий предо мной...
И молодую грудь твою колышет
Тревожно всё, в чем мощь и широта,
Морская безграничность жизни дышит,
Любви, надежды, веры полнота:
Свободы ли и правды смелой слово,
Стих Пушкина иль звуки песни новой.

41

Ты предо мной всё та же: узнаю
Тебя в блестящем белизной наряде
Среди толпы и шума... Вновь стою
Я впереди и, прислонясь к эстраде,
Цыганке внемлю, — тайную твою
Ловлю я думу в опущенном взгляде;
Упасть к ногам готовый, я таю
Восторг в поклоне чинном, в чинном хладе
Речей, — а голова моя горит,
И в такт один, я знаю, бьются наши
Сердца — под эту песню, что дрожит
Всей силой страсти, всем контральтом Маши...
Но ты, как бы испугана, встаешь,
Мятежную венгерки слыша дрожь!

42

Как в миг подобный искренности редкой
Бывала ты чиста и хороша!
Из-под ресниц, спадавших мягкой сеткой,
Столь нежная, столь кроткая душа
Глядела долгим взглядом... Если ж едкой
Тоски полна и, тяжело дыша,
Язвила ты насмешливой заметкой
Иль хладом слов того, кто, пореша
Вопрос души заветнейший, тобою,
Твоим дыханьем девственным дышал,
Твоей молился чистою мольбою,
Одной твоей тоскою тосковал...
О, как тогда глаза твои блистали
Безжалостным, холодным блеском стали!

43

Да! помню я тебя такою! Но
И блеск стальной очей, и хлад поклона —
Всё это было муками дано,
Изучено в борьбе как оборона.
Хоть быть иначе было не должно
И не могло в тебе во время оно:
С своей душою кроткой суждено
Тебе бороться было, Дездемона!
И ты боролась честно!.. Из борьбы
С задумчивым, но не смущенным взором
Ты вышла — слава Богу!.. До судьбы
Другой души, зловещим метеором
На небосклоне девственном твоем
Горевшей мутным вражеским огнем,

44

Что нужды?.. Но зачем же лик твой снова
С печалью тихой предо мной стоит...
Зачем опять не гордо и сурово,
А скорбно так и робко он глядит?
Из-под ресниц слеза сбежать готова,
Рука тревожно, трепетно дрожит,
Когда язык разлуки вечной слово
Неумолимо строго говорит.
Опять окно и столик твой рабочий,
Канва шитья узорного на нем,
С печальным взором поднятые очи,
И приговор в унылом взгляде том..
И мнится — вновь я вижу с содроганьем,
Как голову склоняешь ты с рыданьем!

45

Ты знаешь ли?.. Я посетил тот дом.
Я посетил и тот другой, старинный,
С его балконом ветхим, с залой длинной
И с тишиной безлюдною кругом...
Тот старый дом, тот уголок пустынный,
Где жизнь порой неслась волшебным сном
Для нас обоих, где таким огнем,
Такой любовью — под завесой чинной,

Под хладной маской — тайный смысл речей
Пылал порой, где души говорили
То песнию, то молнией очей!
Молил я, помнишь, чтобы там застыли
Иные речи в воздухе навек...
Глуп иногда бывает человек!

46

Я посетил... Отчаянная смелость
Войти в сей мир заглохший и немой
Минувшего, с душой еще больной,
Нужна была. Но мне собрать хотелось,
Прощаяся с родимой стороной,
Хотя на миг сухие кости в целость,
Облечь скелет бывалой красотой...
И если б в них хоть искра жизни тлелась,
В сухих костях, — они на вопль души
Отозвались бы вздохом, звуком, словом,
Хоть шелестом, хоть скрежетом гробовым,
Хоть чем-нибудь... Но в сумрачной тиши
Дышало всё одной тоской немою,
Дом запустел, и двор порос травою!

47

Заглохло всё... Но для чего же ты
По-прежнему, о призрак мой крылатый,
Слетаешь из воздушных стран мечты
В печальный, запустением объятый,
Заглохший мир, где желтые листы,
Хрустя, шумят, стопой тяжелой смяты;
Сияя вся, как вешние цветы,
И девственна, как лик Аннунциаты,
Прозрачно-светлый догарессы лик,
Что из паров и чада опьяненья,
Из кнастерного дыма и круженья
Пред Гофманом, как светлый сон, возник —
Шипок расцвесть готовящейся розы,
Предчувствие любви, томленье грезы!

48

Аннунциата!.. Но на голос мой,
На страстный зов я тщетно ждал отзыва.

Уже заря сменялася зарей
И волны бирюзовые залива
Вдали седели... Вопль безумный мой
Одни палаццо вняли молчаливо,
Да гондольер, встряхнувши головой,
Взглянул на чужеземца боязливо,
Потом гондолу тихо повернул,
И скоро вновь Сан-Марко предо мною
Своей красой узорчатой блеснул.
Спи, ангел мой... да будет Бог с тобою.
А я?.. Давно пора мне привыкать
Senza amare[1] по морю блуждать[2].

1857

---

[1] Без любви (итал.). — *Ред.*

[2] См. повесть Гофмана «Doge und Dogaresse» в «Serapiosbrüder» («Дож и догаресса» в «Серапионовых братьях» (нем.). — *Ред.*).

130. ВВЕРХ ПО ВОЛГЕ

ДНЕВНИК БЕЗ НАЧАЛА И БЕЗ КОНЦА

(Из «Одиссеи о последнем романтике»)

1

Без сожаления к тебе,
Без сожаления к себе
Я разорвал союз несчастный...
Но, Боже, если бы могла
Понять ты только, чем была
Ты для моей природы страстной!..

Увы! мне стыдно, может быть,
Что мог я так тебя любить!..
Ведь ты меня не понимала!
И не хотела понимать,
Быть может, не могла понять,
Хоть так умно подчас молчала.

Жизнь не была тебе борьба...
Уездной барышни судьба
Тебя опутала с рожденья...
Тщеславно-пошлые мечты
Забыть была не в силах ты
В самих порывах увлеченья...

Не прихоть, не любовь, не страсть
Заставили впервые пасть
Тебя, несчастное созданье...
То злость была на жребий свой,
Да мишурой и суетой
Безумное очарованье.

Я не виню тебя... Еще б
Я чей-то медный лоб
Винил, что ловко он и смело
Пустить и блеск, и деньги мог,
И даже опиума сок
В такое «маленькое» дело...

Старо всё это на земли...
Но помнишь ты, как привели
Тебя ко мне?.. Такой тоскою
Была полна ты, и к тебе,

Несчастной, купленной рабе,
Столь тяготившейся судьбою,

Больную жалость сразу я
Почуял — и душа твоя
Ту жалость сразу оценила;
И страстью первой за нее,
За жалость ту, дитя мое,
Меня ты крепко полюбила.

Постой... рыданья давят грудь,
Дай мне очнуться и вздохнуть,
Чтоб передать любви той повесть.
О! пусть не я тебя сгубил, —
Но, если б я кого убил,
Меня бы так не грызла совесть.

Один я в городе чужом
Сижу теперь перед окном,
Смотрю на небо: нет ответа!
Владыко Боже! дай ответ!
Скажи мне: прав я был иль нет?
Покоя дай мне, мира, света!

Убийцу-Каина едва ль
Могла столь адская печаль
Терзать. Душа болит и ноет...
Вина, вина! Оно одно,
Лиэя древний дар — вино,
Волненья сердца успокоит.

2

Я не был в городе твоем,
Но, по твоим рассказам, в нем
Я жил как будто годы, годы...
Его черт три года искал,
И раз зимою подъезжал,
Да струсил снежной непогоды,
Два раза плюнул и бежал.

Мне видится домишко бедный
На косогоре; профиль бледный
И тонкий матери твоей.
О! как она тебя любила,

Как баловала, как рядила,
И как хотелось, бедной, ей,
Чтоб ты как барышня ходила.

Отец суров был и угрюм,
Да пил запоем. Дан был ум
Ему большой, и желчи много
В нем было. Горе испытав,
На жизнь невольно осерчав,
Едва ль он даже верил в Бога
(В тебя его вселился нрав).

Смотрел он с злобою печальной —
Предвидя в будущности дальной
Твоей и горе, и нужду, —
Как мать девчонку баловала,
И как в ней суетность питала,
И как ребенку ж на беду
В нем с детства куклу развивала.

И был он прав, но слишком крут;
В нем неудачи, тяжкий труд
Да жизнь учительская съели
Все соки лучшие. Умен,
Учен, однако в знанье он
Ни проку не видал, ни цели...
Он даже часто раздражен

Бывал умом твоим пытливым,
Уже тогда самолюбивым,
Но знанья жаждавшим. Увы!
Безумец! Он и не предвидел,
Что он спасенье ненавидел
Твоей горячей головы, —
И в просвещенье зло лишь видел.

Работы мозг лишил он твой...
Ведь если б, друг несчастный мой,
Ты смолоду чему училась,
Ты жизнь бы шире понимать
Могла, умела б не скучать,
С кухаркой пошло б не бранилась,
На светских женщин бы не злилась.

Ты поздно встретилась со мной.
Хоть ты была чиста душой,
Но ум твой полон был разврата.
Тебе хотелось бы блистать,
Да «по-французскому» болтать —
А я мечтал тебя спасать.

Вновь тяжко мне. Воспоминанья
Встают, и лютые терзанья
Мне сушат мозг и давят грудь.
О! нет лютейшего мученья,
Как видеть, что, кому спасенья
Желаешь, осужден тонуть,
И нет надежды избавленья!

Пойду-ка я в публичный сад:
Им славится Самара-град...
Вот Волга-мать передо мною
Катит широкие струи,
И думы ширятся мои,
И над великою рекою
Свежею, крепну я душою.

Зачем я в сторону взглянул?
Передо мною промелькнул
Довольно милой «самарянки»
Прозрачный облик... Боже мой!
Он мне напомнил образ твой
Каким-то профилем цыганки,
Какой-то грустной красотой.

И вновь изменчивые глазки,
Вновь кошки гибкость, кошки ласки.
Скользящей тени поступь вновь
Передо мной... Творец! нет мочи!
Безумной страсти нашей ночи
Вновь ум мутят, волнуют кровь...
Опять и ревность, и любовь!

Другой... еще другой... Проклятья!
Тебя сожмут в свои объятья...
Ты, знаю, будешь холодна...
Но им отдашься всё же, всё же!
Продашь себя, отдашься... Боже!
Скорей забвенья, вновь вина...
И завтра, послезавтра тоже!

3

Писал недавно мне один
Достопочтенный господин
И моралист весьма суровый,
Что «так и так, дескать, ты в грязь
Упал: плотская эта связь,
И в ней моральной нет основы».

О старый друг, наставник мой
И в деле мысли вождь прямой,
Светильник истины великий,
Ты страсти знал по одному
Лишь слуху, а кто жил — тому
Подразделенья ваши дики.

Да! было время... Я иной
Любил любовью, образ той
В моей «Venezia la bella»[1]
Похоронен; была чиста,
Как небо, страсть, и песня та —
Молитва: Ave Maria stella![2]

Чтоб снова миг хоть пережить
Той чистой страсти, чтоб вкусить
И счастья мук, и муки счастья,
Без сожаленья б отдал я
Остаток бедный бытия
И все соблазны сладострастья.

А отчего?.. Так развилось
Во мне сомненье, что вопрос
Приходит в ум: не оттого ли,
Что не была моей она?..
Что в той любви лишь призрак сна
Все были радости и боли?

Как хорошо я тосковал,
Как мой далекий идеал
Меня тревожно-сладко мучил!
Как раны я любил дразнить,
Как я любил тогда любить,
Как славно «псом тогда я скучил»!

---

[1] «Прекрасная Венеция» (итал.). — *Ред.*
[2] Славься, Мария, звезда! (лат.). — *Ред.*

Далекий, светлый призрак мой,
Плотскою мыслью ни одной
В душе моей не оскорбленный!
Нет, никогда тебя у ног
Другой я позабыть не мог,
В тебя всегда, везде влюбленный.

Но то любовь, а это страсть!
Плотская ль, нет ли — только власть
Она взяла и над душою.
Чиста она иль не чиста,
Но без нее так жизнь пуста,
Так сердце мучится тоскою.

Вот Нижний под моим окном
В великолепии немом
В своих садах зеленых тонет;
Ночь так светла и так тиха,
Что есть для самого греха
Успокоение... А стонет

Всё так же сердце... Если б ты
Одна, мой ангел чистоты,
В больной душе моей царила...
В нее сошла бы благодать,
Ее теперь природа-мать
Радушно бы благословила.

Да не одна ты... вот беда!
От угрызений и стыда
Я скрежещу порой зубами...
Ты всё передо мной светла,
Но прожитая жизнь легла
Глубокой бездной между нами.

И Нижний-город предо мной
Напрасно в красоте немой
В своих садах зеленых тонет...
Напрасно ты, ночная тишь,
Душе забвение сулишь...
Душа болит, и сердце стонет.

Былого призраки встают,
Воспоминания грызут
Иль вновь огнем терзают жгучим.

Сырых Полюстрова ночей,
Лобзаний страстных и речей
Воспоминаньями я мучим.
Вина, вина! Хоть яд оно,
Лиэя древний дар — вино!..

4

А что же делать? На борьбу
Я вызвал вновь свою судьбу,
За клад заветный убеждений
Меня опять насильно влек
В свой пеной брызжущий поток
Мой неотвязный, злобный гений.

Ты помнишь ли, как мы с тобой
Въезжали в город тот степной?
Я думал: вот приют покоя;
Здесь буду жить да поживать,
Пожалуй, даже... прозябать,
Не корча из себя героя.

Лишь жить бы *честно*... Бог ты мой!
Какой ребенок я смешной,
Идеалист сорокалетний! —
Жить честно там, где всяк живет,
Неся усердно всякий гнет,
Купаясь в луже хамских сплетней.

В Аркадию собравшись раз
(Гласит нам басенный рассказ),
Волк старый взял с собою зубы...
И я, в Аркадию хамов
Взял, не бояся лая псов,
Язык свой вольный, нрав свой грубый.

По хамству скоро гвалт пошел,
Что «дикий» человек пришел
Не спать, а честно делать дело...
Ну, я, хоть вовсе не герой,
А человек весьма простой,
В борьбу рванулся с ними смело.

Большая смелость тут была
Нужна... Коли б тут смерть ждала!

А то ведь пошлые мученья,
Рутины ковы мелочной,
Интриги зависти смешной...
В конце же всех концов *лишенья.*

Ну! ты могла ль бы перенесть
Всё, что худого только есть
На свете?.. всё, что хуже смерти, —
Нужду, скопленье мелких бед,
Долги докучные? О нет!
Вы в этом, друг мой, мне поверьте...

На жертвы ты способна... да!
Тебя я знаю, друг! Когда
Скакала ты зимой холодной
В бурнусе легком, чтоб опять
С безумцем старым жизнь связать,
То был порыв — и благородный!

Иль за бесценок продала
Когда ты всё, что добыла
Моя башка работой трудной, —
Чтоб только вместе быть со мной,
То был опять порыв святой,
Хотя безумно-безрассудный...

Но пить по капле жизни яд,
Но вынесть мелочностей ад
Без жалоб, хныканья, упреков
Ты, даже искренно любя,
Была не в силах... От тебя
Видал немало я уроков.

Я обмануть тебя хотел
Иною страстью... и успел!
Ты легкомысленно-ревнива...
Да сил-то где ж мне было взять,
Чтоб к цели новой вновь скакать?
Я — конь избитый, хоть ретивый!

Ты мне *мешала*... Не бедна
На свете голова одна, —
Бедна, коль есть при ней другая...
Один стоял я без оков
И не пугался глупых псов,
Ни визга дикого, ни лая.

И мне случалось (не шутя
Скажу тебе, мое дитя)
Не раз питаться коркой хлеба,
Порою кров себе искать
И даже раз заночевать
Под чистым, ясным кровом неба...

Зато же я и устоял,
Зато же идолом я стал
Для молодого поколенья...
И всё оно прощало мне:
И трату сил, и что в вине
Ищу нередко я забвенья.

И в тесной конуре моей
Высокие случались встречи,
Свободные лилися речи
Готовых честно жить людей...
О молодое поколенье!
На Волге, матери святой,
Тебе привет, благословенье
На благородное служенье
Шлет старый друг, наставник твой.

Я устоял, я перемог,
Я *победил*... Но знает Бог,
Какой тяжелою ценою
Победа куплена... Увы!
Для убеждений головы
Я сердцем жертвовал — тобою!

Немая ночь, и всё кругом
Почиет благодатным сном,
А мне не дремлется, не спится,
Страшна мне ночи тишина:
Я слышу шорох твой... Вина!
И до бесчувствия напиться!

5

Зачем, несчастное дитя,
Ты не слегка и не шутя,
А искренне меня любила.
Ведь я не требовал любви:
Одно волнение в крови
Во мне сначала говорило.

С Полиной, помнишь, до тебя
Я жил; любя иль не любя,
Но по душе... Обоим было
Нам хорошо. Я знать, ей-ей,
И не хотел, кого дарила
Дешевой лаской своей
Она — и с кем по дням кутила.

Во-первых, всех не перечесть...
Потом, не всё ль равно?.. Но есть
На свете дурни. И влюбился
Один в Полину; был он глуп,
Как говорят, по самый пуп,
Он ревновал, страдал, бесился
И, кажется, на ней женился.

Я сам, как честный человек,
Ей говорил, что целый век
Кутить без устали нельзя же,
Что нужен маленький расчет,
Что скоро молодость пройдет,
Что замужем свободней даже...

И мы расстались. Нам была
Разлука та не тяжела;
Хотя по-своему любила
Она меня, и верю я...
Ведь любит борова свинья,
Ведь жизнь во всё любовь вложила.

А я же был тогда влюблен...
Ах! это был премилый сон:
Я был влюблен слегка, немножко...
Болезненно-прозрачный цвет
Лица, в глазах фосфора свет,
Воздушный стан, испанки ножка,
Движений гибкость... Словом: кошка

Вполне, как ты же, может быть...
Мне было сладко так любить
Без цели, чувством баловаться,
С больной по вечерам сидеть,
То проповедовать, то петь,
То увлекать, то увлекаться...
Но я боялся заиграться...

Всецело жил в душе моей
Воздушный призрак лучших дней:
Молился я моей святыне,
И вклад свой бережно хранил,
И чувствовал, что свет светил
Мне издали в моей пустыне...
Увы! тот свет померкнул ныне.

Плут Алексей Арсентьев, мой
Личарда верный, нумерной
Хозяин, как-то «предоставил»
Тебя мне. Как он скоро мог
Обделать дело — знает <Бог>
Да он. Купцом московским славил
Меня он, сказывала ты...
А впрочем — Бог ему прости!

И впрямь, как купчик, в эту пору
Я жил... Я деньгами сорил,
Как миллионщик, и — кутил
Без устали и без зазору...
Я «безобразие» любил
С младых ногтей. Покаюсь в этом,
Пожалуй, перед целым светом...
Какой-то странник вечный я...
Меня оседлость не прельщает,
Меня минута увлекает...
Ну, хоть минута, да моя!

А там... а там суди, Владыко!
Я знаю сам, что это дико,
Что это к ужасам ведет...
Но переспорить ли природу?
Я в жизни верю лишь в свободу,
Неведом вовсе мне расчет...
Я вечно, не спросяся броду,
Как омежной кидался в воду,

Но честно я тебе сказал
И кто, и что я... Я желал,
Чтоб ты не увлекалась очень
Ни положением моим,
Ни особливо мной самим...
Я знал, что в жизни я не прочен...
Зачем же делать вред другим?

Но ты во фразы и восторги
Безумно диких наших оргий,
Ты верила... Ты увлеклась
И мной, и юными друзьями,
И прочной становилась связь
Между тобой и всеми нами.
Меня притом же дернул черт
Быть очень деликатным. Горд
Я по натуре; не могу я,
Хоть это гнусно, может быть,
По следствиям, — переварить
По принужденью поцелуя.
И сам увлечься, и увлечь
Всегда, как юноша, хочу я...
А мало ль, право, в жизни встреч,
В которых лучше, может статься,
Не увлекать, не увлекаться...
В них семя мук, безумства, зла,
Быть может, в будущем таится:
За ним расплата тяжела,
От них морщины вдоль чела
Ложатся, волос серебрится...
Но продолжаю... Уж не раз
Видал я, что, в какой бы час
Ни воротился я, — горела
Всё свечка в комнатке твоей.
Горда ты, но однажды с ней
Ты выглянуть не утерпела
Из полузамкнутых дверей.

Я помню: раз друзья кутили
И буйны головы сложили
Повалкой в комнате моей...
Едва всем места доставало,
А всё меня раздумье брало,
Не спать ли ночь, идти ли к ней?

Я подошел почти смущенный
К дверям. С лукаво-затаенной,
Но видной радостью меня
Ты встретила. Задул свечу я...
Слились мы в долгом поцелуе,
Не нужно было нам огня.

А как-то раз я воротился
Мертвецки — и тотчас свалился
Иль сложен был на свой диван
Алешкой верным. Просыпаюсь...
Что это? сплю иль ошибаюсь?
Что это? правда иль обман?

Сама пришла — и, головою
Склонившись, опершись рукою
На кресла... дремлет или спит...
И так грустна, и так прекрасна...
В тот миг мне стало слишком ясно,
Что полюбила и молчит.

Я разбудил тебя лобзаньем,
И с нервно-страстным содроганьем
Тогда прижалась ты ко мне.
Не помню, что мы говорили,
Но мы любили, мы любили
Друг друга оба — и вполне!..

О старый, мудрый мой учитель,
О ты, мой книжный разделитель
Между моральным и плотским!..
Ведь ты не знал таких мгновений?
Так как же — будь ты хоть и гений —
Даешь названье смело им?

Ведь это не вопрос норманской,
Не древность азбуки славянской,
Не княжеских усобиц ряд...
В живой крови скальпель потонет,
Живая жизнь под ним застонет,
А хартии твои молчат,
Неловко ль, ловко ль кто их тронет.

А тут вот видишь: голова
Горит, безумные слова
Готовы с уст опять срываться...
Ну, вот себя я перемог,
Я с ней расстался — но у ног
Теперь готов ее валяться...
Какой в анализе тут прок?

Эх! Душно мне... Пойду опять я
На Волгу... Там «бурлаки-братья
Под лямкой песню запоют»...
Но тихо... песен их не слышно,
Лишь величаво, вольно, пышно
Струи багряные текут.
Что в них, в струях, скажи мне, дышит?
Что лоно моря так колышет?
Я море видел: убежден,
Что есть у синего у моря
Волненья страсти, счастья, горя,
Хвалебный гимн, глубокий стон...

Привыкли плоть делить мы с духом...
Но тот, кто слышит чутким ухом
Природы пульс... будь жизнью чист
И непорочен он пред Богом,
А всё же, взявши в смысле строгом,
И он частенько пантеист,
И пантеист весьма во многом.

6

А впрочем, виноват я сам...
Зачем я волю дал мечтам
И чувству разнуздал свободу?
Ну, что бы можно, то и брал...
А я бесился, ревновал
И страсти сам прибавил ходу.

Ты помнишь ночь... безумный крик
И драку пьяную... (Я дик
Порою.) Друг с подбитым глазом
Из битвы вышел, но со мной
Покойник — истинный герой, —
Успел он сладить как-то разом:
Он был силен, хоть ростом мал, —
Легко три пуда поднимал.

Очнулся я... Она лежала
Больная, бледная... страдала
От мук душевных... Оскорбил
Ее я страшно, но понятно
Ей было то, что я любил...
Ей стало больно и приятно...

Ведь без любви же ревновать,
Хоть и напрасно, — что за стать?

О, как безумствовали оба
Мы в эту ночь... Сменилась злоба
В душе — меня так создал Бог —
Безумством страсти без сознанья,
И жгли тебя мои лобзанья
Всю, всю от головы до ног...
С тобой — хоть умирать мы будем —
Мы ночи той не позабудем.

Ведь ты со мной, с одним со мной,
Мой друг несчастный и больной,
Восторги страсти узнавала, —
Ведь вся ты отдавалась мне,
И в лихорадочном огне
Порой, как кошка, ты визжала.

Да! вся ты, вся мне отдалась,
И жизнь, как лава, понеслась
Для нас с той ночи! Доверяясь
Вполне, любя, шаля, шутя,
Впервые, бедное дитя,
Свободной страсти отдаваясь,
Резвясь, как кошка, и ласкаясь,
Как кошка... чудо как была
Ты благородна и мила!

Прочь, прочь ты, коршун Прометея,
Прочь, злая память... Не жалея,
Сосешь ты сердце, рвешь ты грудь...
И каторжник, и тот ведь знает
Успокоенье... Затихает
В нем ад, и может он заснуть.

А я Манфреда мукой адской,
Своею памятью дурацкой
Наказан... Иль совсем до дна,
До самой горечи остатка
Жизнь выпил я?.. Но лихорадка
Меня трясет... Вина, вина!
Эх! жить порою больно, гадко!

7

У гроба Минина стоял
В подземном склепе я... Мерцал
Лишь тусклый свет лампад. Но было
Во тьме и тишине немой
Не страшно мне. В душе больной
Заря рассветная всходила.

Презренье к мукам мелочным
Я вдруг почувствовал своим —
И тем презреньем очищался,
Я крепнул духом, сердцем рос...
Молитве, благодати слез
Я весь восторженно отдался.

Хотелось снова у судьбы
Просить и жизни, и борьбы,
И помыслов, и дел высоких...
Хотелось, хоть на склоне дней,
Из узких выбравшись стезей,
Идти путем стезей широких.

А ты... Казалось мне в тот миг,
Что тайну мук твоих постиг
Я глубоко, что о душе я
Твоей лишь, в праздной пустоте
Погрязшей, в жалкой суете
Скорблю, как друг, как брат жалею...

Скорблю, жалею, плачу... Да —
О том скорблю, что никогда
Тебе из праха не подняться,
О том жалею, что, любя,
Я часто презирал себя,
Что должно было нам расстаться.

Да! что тебе ни суждено —
Нам не сойтись... Так решено
Душою. Пусть воспоминаний
Змея мне сердце иссосет, —
К борьбе и жизни рвусь вперед
Я смело, не боясь страданий!

Страданья ниже те меня...
Я чувствую, еще огня

Есть у души в запасе много...
Пускай я сам его гасил,
Еще я жив, коль сохранил
Я жажду жизни, жажду Бога!

8

Дождь ливмя льет... Так холодна
Ночь на реке и так темна,
Дрожь до костей меня пробрала.
Но я... я рад... Как Лир, готов
Звать на себя я и ветров,
И бури злобу — лишь бы спала
Змея-тоска и не сосала.

Меня знобит, а пароход
Всё словно медленней идет,
И в плащ я кутаюсь напрасно.
Но пусть я дрогну, пусть промок
Насквозь я — позабыть я мог
О ней, о ней, моей несчастной.

Надолго ль? Ветер позатих...
Опять я жертва дум своих.
О, неотвязное мученье!
Коробит горе душу вновь,
И горе это — не любовь,
А хуже, хуже: сожаленье!

И снова памяти моей
Из многих горестных ночей
Одна, ужасная, предстала...
Одна некрасовская ночь,
Без дров, без хлеба... Ну, точь-в-точь
Как та, какую создавала

Поэта скорбная душа,
Тоской и злобою дыша...
Ребенка в бедной колыбели
Больные стоны моего
И бедной матери его
Глухие вопли на постели.

Всю ночь, убитый и немой,
Я просидел... Когда ж с зарей

Ушел я... Что-то забелело,
Как нитки, в бороде моей:
Два волоса внезапно в ней
В ту ночь клятую поседело.

Дня за два, за три заезжал
Друг старый... Словом донимал
Меня он спьяну очень строгим;
О долге жизни говорил
Да связь беспутную бранил,
Коря меня житьем убогим,
Позором общим — словом, многим...

Он помощи не предлагал...
А я — ни слова не сказал.
Меня те речи уязвили.
Через неделю до чертей
С ним, с старым другом лучших дней,
Мы на Крестовском два дня пили —
Нас в часть за буйство посадили.

Помочь — дешевле, может быть,
Ему бы стало... Но спросить
Он позабыл или, имея
В виду высокую мораль,
И не хотел... «Хоть, мол, и жаль,
А уж дойму его, злодея!»

Ну вот, премудрые друзья,
Что ж? вы довольны? счастлив я?
Не дай вам Бог таких терзаний!
Вот я благоразумен стал,
Союз несчастный разорвал
И ваших жду рукоплесканий.

Эх! мне не жаль моей семьи...
Меня все ближние мои
Так равнодушно продавали...
Но вас, мне вас глубоко жаль!
В душе безвыходна печаль
По нашей дружбе... Крепче стали
Она казалась — вы сломали.

А всё б хотелось, чтоб из вас
Хоть кто-нибудь в предсмертный час

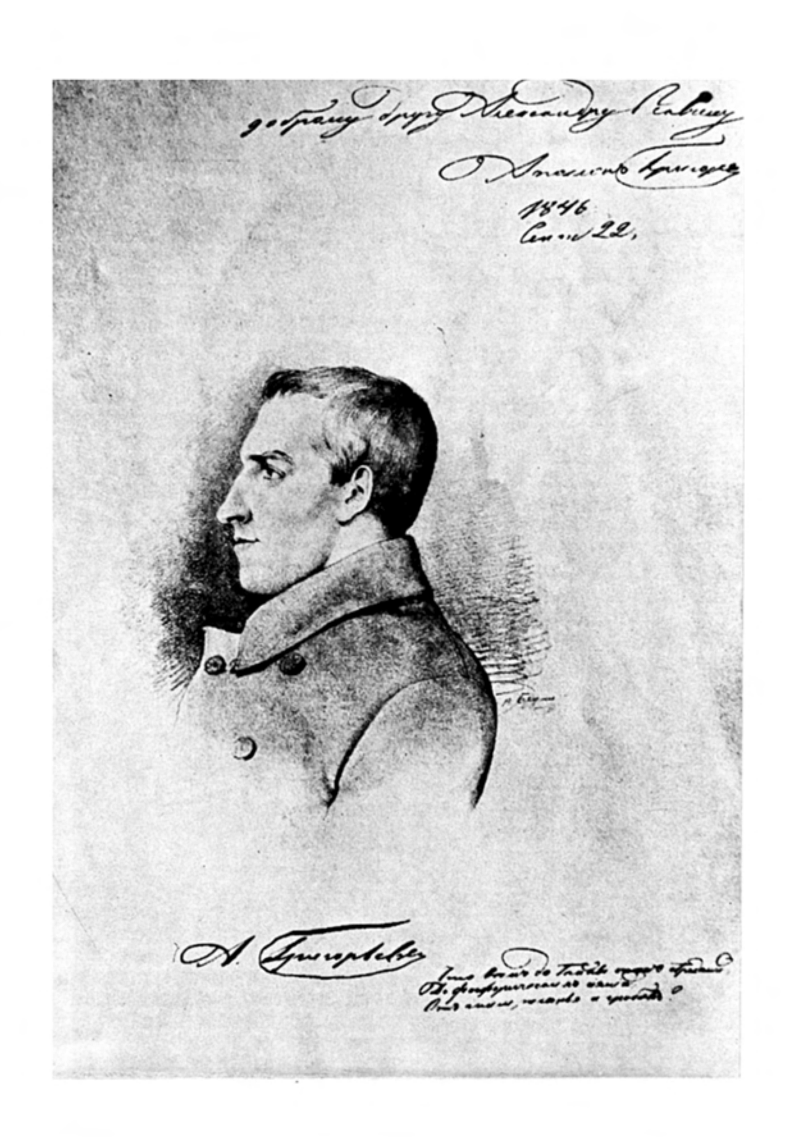
Мою хладеющую руку
Пришел по-старому пожать
И слово мира мне сказать
На эту долгую разлуку,
Чтоб тихо старый друг угас...
Придет ли кто-нибудь из вас?

Но нет! вы лучше остудите
Порывы сердца; помяните
Меня одним... Коль вам ее
Придется встретить падшей, бедной,
Худой, больной, разбитой, бледной,
Во имя грешное мое
Подайте ей хоть грош вы медный.

Монета мелкая, но всё ж
Ведь это ценность, это — грош.

Однако знобко... Сердца боли
Как будто стихли... Водки, что ли?
. . . .
. . . .

<1862>



Ап. Григорьев. Портрет работы П. Бруни



А. Ф. Корш (в замуж. Кавелина). Фотография. 1850-е гг.

Ап. Григорьев. Автограф стихотворения
«Отрывок из неоконченного собрания сатир»



Члены «молодой редакции» «Москвитянина».
Сидят (слева направо): Е. Н. Эдельсон (?), Ап. Григорьев,
А. Н. Островский, стоит справа Б. Н. Алмазов.
Фотография. 1850-е гг.



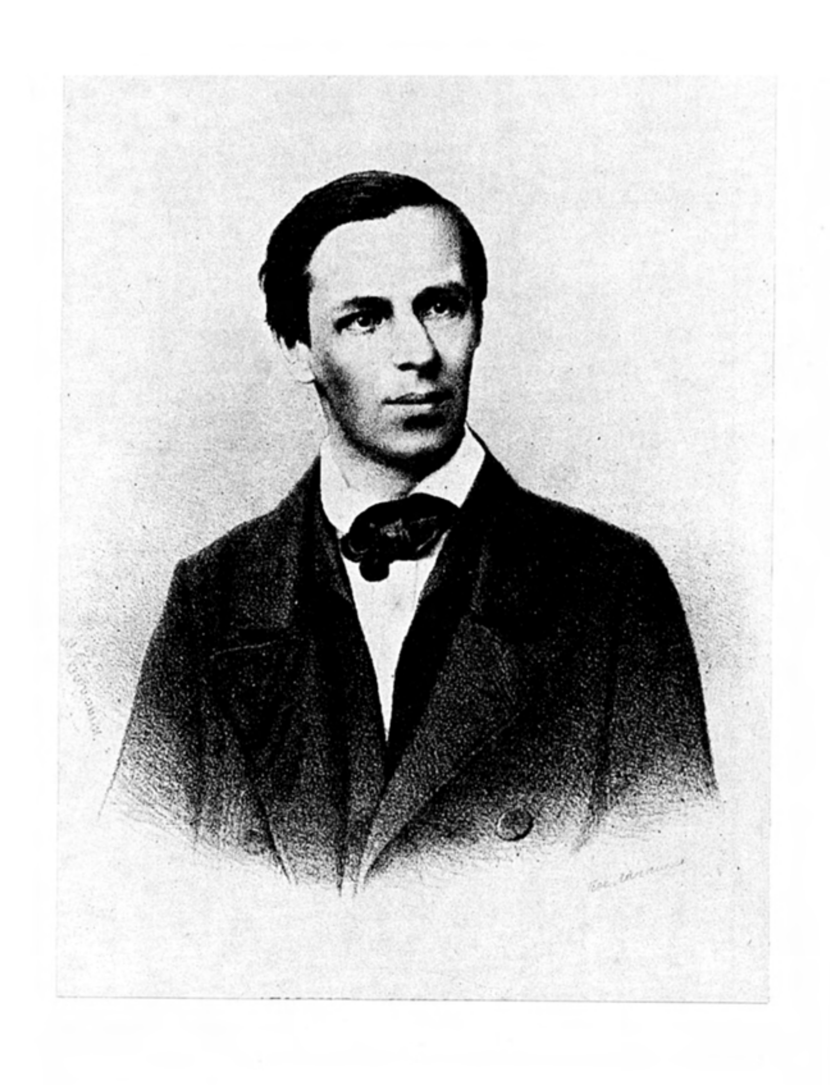
М. П. Погодин. Литография. 1850-е гг.



Л. Я. Визард (в замуж. Владыкина).
С копии рис. К. Горбунова. 1860-е гг. (?). (Пенза)



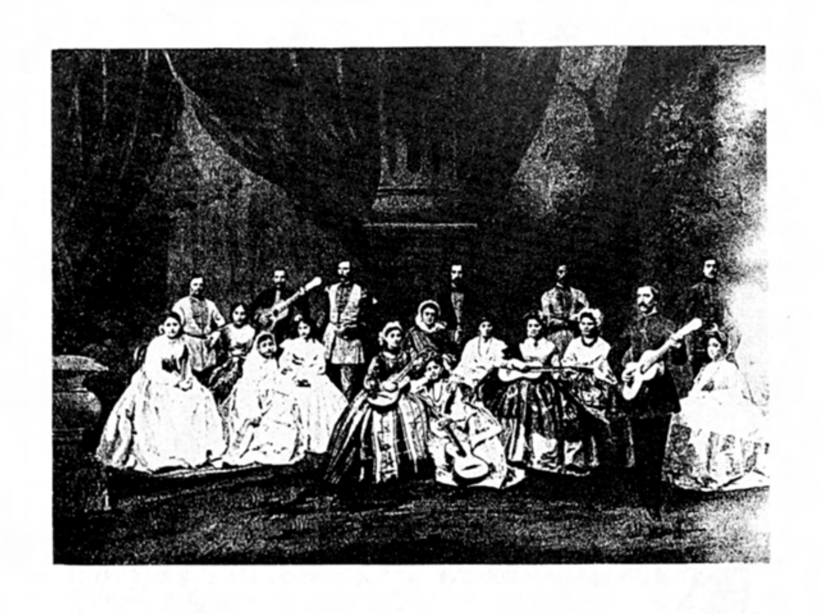
А. А. Фет. Литография. Сер. 1850-х гг.



А. Н. Майков. Фотография. 1856



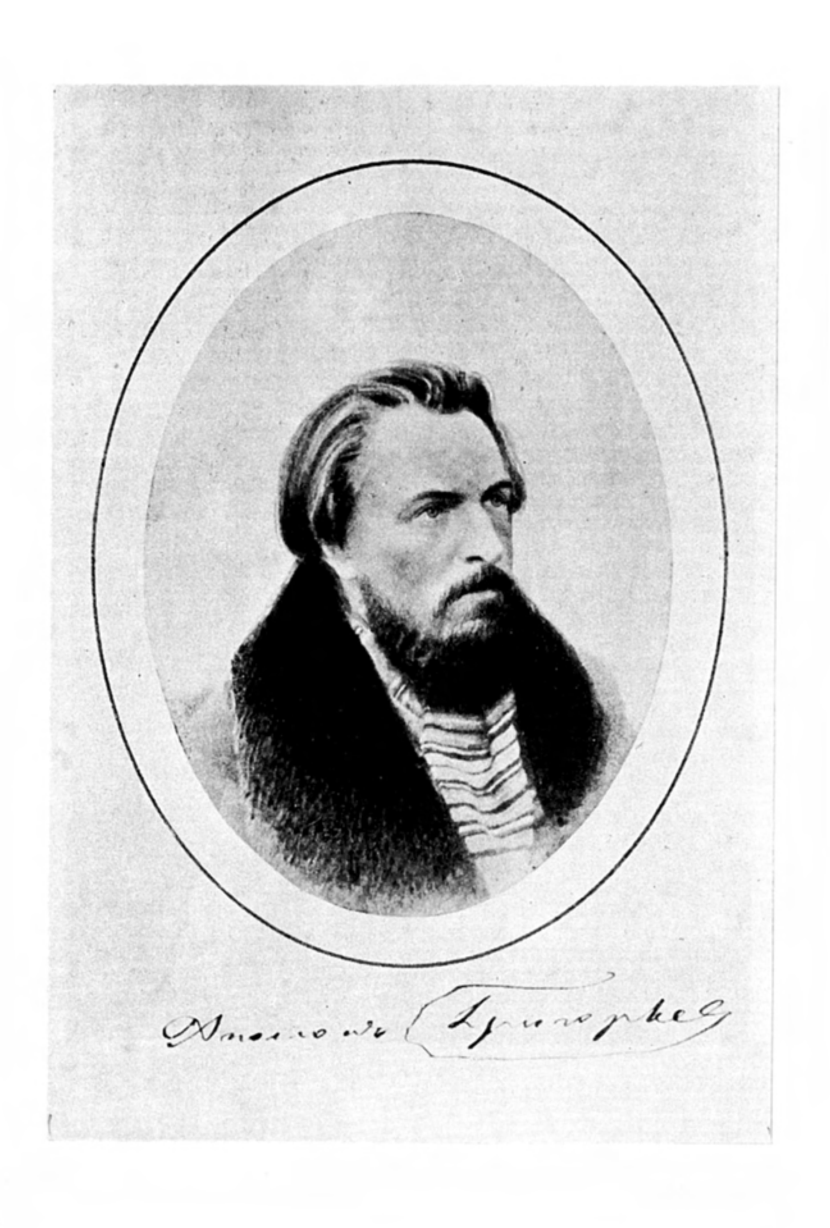
Я. П. Полонский. Литография. 1850-е гг.



Цыганский хор в подмосковном имении графа Орлова-Давыдова «Отрада». Фотография. 1860-е гг.



Б. Э. Мурильо «Мадонна с младенцем» (ок. 1650 г.).
Галерея Питти, Флоренция



Ап. Григорьев. Фотография. Конец 1850-х гг.



Ап. Григорьев. Фотография. Нач. 1860-х гг.

Прометей
(изъ Байрона)
А. П. Милюкову

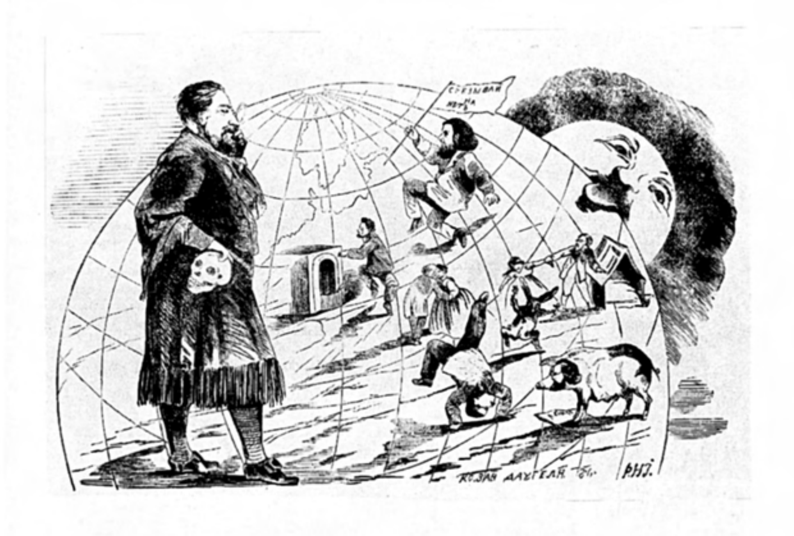
I

Титанъ! безсмертными очами
Ты скорбь смертныхъ ты прозрѣлъ,
Съ ея печальными бѣдами
Не ихъ, какъ боги, не презрѣлъ.
И что жъ тебѣ за состраданье
Наградой было отъ боговъ?
Безмолвно-тяжкое страданье
Скала и коршунъ... гнетъ оковъ...
Вся мука гордости, всѣ боли
Которыхъ видѣть недолжны
Враги, — да душный стонъ неволи,
Въ безмолвномъ мракѣ тишины,
Лишь раздающійся порою...
Чтобы подслушанный землею
До неба не достигъ тотъ стонъ...
Что бы безъ эха замеръ онъ!

II.

Титанъ, Титанъ! ты могъ узнать
Страданья съ волей споръ суровый
Что ежечасно пыткой новой
Терзаетъ тамъ, гдѣ убивать
Не можетъ... Злыми небесами,
Глухой судьбы тиранствомъ злымъ,

Ап. Григорьев. Автограф перевода стихотворения Байрона «Прометей» (1860)



Карикатура художника Н. В. Иевлева — иллюстрация к «Монологам Гамлета Щигровского уезда» (Гамлет изображен с лицом Ап. Григорьева) из сатирического журнала «Оса», издававшегося Григорьевым (1864. 4 янв., № 1).



Карикатура художника Н. В. Иевлева.
(Оса. 1864. 11 янв., № 2).

ДРАМЫ

131. ДВА ЭГОИЗМА

Драма в четырех действиях, в стихах

Они любили друг друга так долго и нежно
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной.
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.

Лермонтов

ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

Степан Степанович Донской, московский барин, член Английского клуба.
Марья Васильевна, его жена.
Любовь Степановна, или Эмé, сестра его, 30-летняя дева.
Владимир Петрович Ставунин, молодой неслужащий человек.
Николай Ильич Столетний, капитан в отставке
Борис Федорыч Вязмин, 18-летний юноша.
Кобылович, заезжий петербургский чиновник.
Баскаков, философ-славянофил.
Мертвилов, философ-гегелист.
Петушевский, фурьерист из Петербурга.
Раскатин, молодой поэт, подающий большие надежды.
Ломберов, поэт безнадежный.
Подкосилов, опасный сосед.
Отец семейства.
Постин, богатый откупщик.
Корнет.
Доктор Гольдзелиг.
Вера Вязмина.
Елена.
Дама под вуалем.
Незнакомец.
Маски.

Действие — в Москве.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Аванзала Благородного собрания, налево ряд колонн. Маски и лица без масок входят почти беспрестанно. Из залы несутся «Hoffnungs Strahlen»[1].
(С т а в у н и н в маске и шляпе выходит из залы и медленно идет к креслам направо. Вскоре за ним К а п у ц и н.)

С т а в у н и н

(*про себя*)

Безумец! та же дрожь и нетерпенье то же,
Как за пять лет тому назад.
И для чего я здесь? Чего ищу я, Боже!..
Чего я трепещу, чему я глупо рад?..
Пять лет... Давно, давно... Иль дано забвенья
Душе измученной моей?..
Иль в пустоте ее сильнее и сильней
Воспоминания мученья?..
Иль есть предчувствие? Иль точно было нам
Не суждено расстаться без признанья,
И равнодушного страданья
Мы выпьем чашу пополам?

К а п у ц и н

(*ударяя его по плечу, тихо*)

Memento mori![2]

С т а в у н и н

(*спокойно вглядываясь в него*)

Вы ошиблись, вероятно,
Святой отец!

К а п у ц и н

Что, верно, не совсем
Memento mori нравится вам всем?
Напоминанье неприятно?

---

[1] «Лучи надежды» (нем.). — *Ред.*
[2] Помни о смерти (лат.). — *Ред.*

Ставунин

Ступай к другим, тебе я незнаком.

Капуцин

Бог ведает, но дело лишь в одном
Memento mori. Час расплаты,
Быть может, близок, быстрым сном
Бегут минуты без возврата.

Ставунин

Я старых истин не люблю,
Ступай других морочить ими...

Капуцин

Я так не говорю с другими, —
На уду их другую я ловлю...

Ставунин

(*оборачиваясь к нему спиною*)

Так в добрый час!

Капуцин

(*тихо*)

Ставунин... В час последний
Ты также ль скажешь «В добрый час»?..

Ставунин

(*быстро оборачиваясь, но твердо и спокойно)*

А отчего же нет? Давно не раб я бредней,
И удивить меня труднее во сто раз,
Чем знать, что многие не знают.

Капуцин

Memento mori — повторяю
Уставы братства моего.

Ставунин

И что же? Верно, оттого
Гораздо легче умирают?

Капуцин

Быть может.

Ставунин

Знаешь ли — тебе обязан я
За развлечение...

Капуцин

Давно душа твоя
Искала мира и забвенья, —
Ты их найдешь...

Ставунин

Всё это знаю я.

Капуцин

И скоро, может быть...

Ставунин

(*задумчиво*)

Но тайны разрешенья
Добиться ль мне?..

Капуцин уходит.

Кто он? Но что за дело мне?
Смутить меня не мог он речью страшной...
Ведь к жизни ль, к смети ль — постоянно
Я равнодушен — и вполне.

(*Садится.*)

Вязмин и Столетний (в костюме петуха, рука об руку.)

Столетний

Вот видишь, милый мой... я плохо как-то верю
В эманципацию — и в этом вовсе я
Для странности не лицемерю.
По-моему, для женщины семья
Есть дело первое. Донская,
Положим, и умна, как бес, и хороша...

Ставунин

(*вздрагивая, про себя*)

Донская...

Столетний

Но поверь, моя душа,
Что мужу-то с ней каторга прямая...

Вязмин

(*с жаром*)

Молчи — не оскорбляй, чего не в силах ты
Понять и оценить. Вгляделся ты глубоко
В ее болезненно-прозрачные черты?
В ее страданием сияющее око?..
Да! женщины судьбу готовы вы всегда
Понять по-своему — и гнусного суда
Неотменимы приговоры...
Зачем она чиста, зачем она горда,

Зачем больна она? Зачем пустые вздоры
Ее не могут занимать...
Зачем ей гадок муж? Как смеет презирать
Она рабов общественного мненья?

Столетний

Не то, совсем не то... Ведь мужа жизнь —
мученье;
Его не знаешь ты, добрейший человек;
Немного лгать привык — и то, когда женился;
Водой не замутит — и без нее бы ввек
С ним никогда никто не побранился.

(Уходят оба в залу.)

Ставунин

Я узнаю ее... Проклятия печать
Лежит на ней — ей суждено страдать,
И мучить суждено. Но, Боже, эти муки
Мне возврати скорей... Бежал я тщетно их,
Ни здесь, ни в небе нет разлуки
Для нас двоих!

Ставунин, Розовое домино.

Розовое домино

(вглядываясь, про себя)

Да, это точно он, меня не обманули.

(Ему.)

Je vous connais, beau masque. [1]

Ставунин

Едва ль.
А если так, то очень жаль...

---

[1] Я вас знаю, прекрасная маска (франц.). — *Ред.*

Розовое домино

Жаль — отчего ж?

Ставунин

Вы вспомянули
Некстати слишком старину.
Скажу вам истину одну,
Увы! печальную, быть может:
Я знаю вас...

Розовое домино

И что же?..

Ставунин

Это вас тревожит?
Не правда ли?.. Но верьте, между нас
Давным-давно печальною развязкой
Окончилась комедия, — одно
Скажу я вам: расстались мы давно.

Розовое домино

(с *видимым волнением*)

Хотите ль, вас я позабавлю сказкой,
И длинною?

Ставунин

(*спокойно подавая стул*)

Садитесь — всё равно —
Я слушаю.

Розовое домино

(с *трепетом*)

Она и он когда-то...

С т а в у н и н

(*улыбаясь*)

Она и он — заглавие старо.

Р о з о в о е д о м и н о

(*сквозь слезы*)

О, знаю я, что вам ничто не свято,
Что надо всем вы шутите остро,
Но умоляю вас, как брата,
Как друга, выслушать...

С т а в у н и н

Известно вам, что слез
Я не терплю, — воспоминаний тоже.

Р о з о в о е д о м и н о

Ставунин... я была тогда моложе
И ветренней...

С т а в у н и н

И, кроме детских грез,
Из жизни ничего не вынесли вы, Боже!
О, мне вас жаль, глубоко жаль.

Р о з о в о е д о м и н о

И только?..

С т а в у н и н

Что же вам угодно?

Розовое домино
(*схватывая его за руку*)

Любви...

Ставунин

Увы — любовь свободна.

Розовое домино

Ты любишь?

Ставунин

Может быть.

Розовое домино

Любил?

Ставунин

Едва ль.

Розовое домино
(*грустно*)

По крайней мере!

Ставунин

Рада ты?

Розовое домино

Чему же?

Мне разве лучше оттого,

Что для тебя на свете хуже?..
Ты женщин знаешь, может быть,
Но не совсем...

Ставунин

Любить и мстить —
Вот общий их девиз...

Розовое домино

О нет... любить, любить
И только... Ты бежишь...

Ставунин

(*вставая*)

Прощайте, маска...

Розовое домино

Минуту: обещал ты — что же сказка?

Ставунин

Конец я знаю наперед.

Розовое домино

А если нет?..

Ставунин

Так пусть нежданно он придет.

(*Уходит.*)

Розовое домино, потом Капуцин.

Розовое домино

Безумная!.. искать, что отвергала прежде,
И глупо верить так несбыточной надежде...
О Боже, Боже! пала я...
Но, что бы ни было, слезами и тоскою
Ужель хоть миг один забвения с тобою
Не заслужила я?

Капуцин

Зачем ты здесь?

Розовое домино

Кто вы?..

Капуцин

Тебе скажу я,
Кто ты.

(*Говорит ей на ухо.*)

Розовое домино

(*с смущением*)

Что ж далее?

Капуцин

Ты хочешь?

Розовое домино

Да, хочу...

Капуцин

(*тихо*)

Оставь его!

Розовое домино

Его?..

Капуцин

Твою мечту пустую.
Тебя не любит он.

Розовое домино

Молчите.

Капуцин

Я молчу.

Розовое домино

Скажите,
Что нужно вам: молений, слез?.. Кого
Он любит?.. Говорите, говорите...

Капуцин

Узнаете... За мною!

Розовое домино

Для чего?

Капуцин

Узнаете...

Подает ей руку; они уходят.
Вязмин, Баскаков, рука об руку.

Баскаков

Семья — славянское начало,
Я в диссертации моей
Подробно изложу, как в ней преобладала
Без примеси других идей
Идея чистая, славянская идея...
Читая Гегеля с Мертвиловым вдвоем,
Мы согласились оба в том,
Что, чувство с разумом согласовать умея,
Различие полов — славяне лишь одни
Уразуметь могли так тонко и глубоко...
У них одних, от самой старины,
Поставлена разумно и высоко
Идея мужа и жены...
Жена не res[1] у них, не вещь, но нечто; воля
Не признается в ней, конечно, но она
Законами ограждена...
Муж может бить ее, но убивать не смеет:
Над ней духовное лишь право он имеет,
И только частию in corpore[2] притом,
Глубокий смысл в преданье том,
Иль, лучше, в мысли той о власти над женою.
Пусть проявляется под жесткою корою,
Под формою побой; что форма? Признаюсь,
Семья меня всегда приводит в умиленье...
Власть мужа, и жены покорное смиренье...
Чета славянская — я ей не надивлюсь!

Те же. Петушевский, Мертвилов.

Мертвилов

Баскаков, — вот рекомендую,
Мсье Петушевский...

---

[1] Предмет, вещь (лат.). — *Ред.*
[2] Над телом (лат.). — *Ред.*

Петушевский и Баскаков кланяются друг другу и проницают один другого взглядами.

Петушевский

Вас узнать
Давно хотелось мне... Я истины искать
Привык во всем, и мненья чту я.

Баскаков

Да... то есть, мненье...

Петушевский

Да, субъекты изучать,
Как анатомик, я в виду имею...
Семейства, слышал я, штудируя идею,
О нем хотите вы писать?
Вы «Новый мир» Фурье изволили читать?

Баскаков

(*вспыльчиво*)

Фурье, сударь... ужель отсталое ученье?

Петушевский

(*оскорбленный*)

Отсталое? — Я фурьерист!

Баскаков

Тем хуже вам — вы в заблужденье.

Петушевский

(*насмешливо*)

Не вы ль, скорей, московский гегелист?

Мертвилов

(становясь между ними)

Messieurs[1], помилуйте... За мнения!

Петушевский

Но мненье
И человек — одно и то ж...

Мертвилов

Э, полноте шутить — ну кто ж
Серьезно верит в убежденье?

Те же, Донской, Донская, за нею два поэта.

Донская

(обращаясь к ним)

Bonsoir, messieurs![2]

Мертвилов

(давая ей дорогу)

Madame.[3]

Донская

(к Баскакову)

Вы спорили?

Петушевский

(красуясь)

Со мной.

---

[1] Господа (франц.). — *Ред.*
[2] Добрый вечер, господа (франц.). — *Ред.*
[3] Мадам (франц.). — *Ред.*

Донская

(*небрежно*)

Танцуют там?

Вязмин

Давно.

Донская

(*подавая ему руку*)

Вы нынче мой.

Вязмин

(*робко и почтительно*)

Madame.

Донская

(*к трем философам*)

К себе вас завтра жду я...

Они безмолвно кланяются.

(*Мужу.*)

Etienne, поправьте мне боа...
Как душно, Боже мой...

(*Мужу и двум поэтам.*)

Messieurs, suivez moi.[1]

Баскаков, Мертвилов, Петушевский.

Мертвилов

(*в середине)*

Не вздорьте, господа...

[1] Господа, пойдемте (франц.). — *Ред.*

Петушевский

Все мненья свято чту я...

Мертвилов

(à parte)[1]

Свое особенно...

(Вслух.)

Я также гегелист.
Как он, как все в Москве... здесь редкость фурьерист.
Подайте ж руки мне...

(Соединяет их руки.)

Обоих вас везу я
Отсюда в Английский... За ужином скорей
Сойдутся крайности идей...

Уходит под руку с обоими; Баскаков, видимо, недоволен.

Столетний

(выходит из залы)

И вот он, их кумир!.. За них мне, право, стыдно!
Как мальчиков, она трактует их,
А им нисколько не обидно...
Презренье женщины, ее насмешек злых
Они совсем не замечают...
Эх, жаль мне Вязмина — им женщины играют,
Как куклою...

(Садится.)

Капуцин

(подходит к нему)

Кричи скорей, петух.
Зови скорее час рассвета...

---

[1] В сторону (итал.). — *Ред.*

Столетний

Гм! Кажется, что мне знакома маска эта...
Кто вы?..

Капуцин

Зачем тебе? Твой друг.

Столетний

Пусть будет так... Что ж дальше?

Капуцин

Пробужденье
От сна любви, от жизни сна
Подчас невесело... Лови скорей мгновенье
У женщины — как вольная волна,
Лобзает грудь твою она,
Потом уходит вдаль, упасть на грудь иную...

Столетний

Загадки!..

Капуцин

Разгадать успеешь скоро сам...
Скажу одно — не верь волнам...

Столетний

Каким волнам?.. Оставь игру пустую.

Капуцин

Ты веришь? Да... но веру потерять
Придется, может быть...

Столетний

(бледнея)

Ты должен мне сказать...

Те же. Подкосилов. Капуцин уходит.

Подкосилов

Моншер[1], не скроешься... У Ваньки я справлялся,
В чем ты сегодня отправлялся...
Ну, молодец же, петухом!
Да что же ты молчишь?.. Ну полно же, кутнем
Сегодня мы с тобой?

Столетний

(хочет идти за Капуцином)

Оставь меня.

Подкосилов

Куда ты?
Что Верочка твоя?.. Ее я видел брата
Недавно... Что с тобой?

Столетний

(с нетерпением)

Я нездоров.

Подкосилов

Пойдем
Отсюда! Скучно здесь... Кутнем, душа, кутнем...
Развеселись же, брат!.. Ты обещал недавно
Со мною покутить... Мы дернем на лихих.

---

[1] Мой дорогой (mon cher, франц.). — *Ред.*

Столетний

Чтоб черт тебя побрал!

Подкосилов

Мы в табор хватим вмиг,
И «Я на лавочке сижу...» отдернуть славно.
Поедем же.

Столетний

Отстань.

Подкосилов

«Пойду, пойду косить...»
Эх, черт меня возьми... Душа, тебя люблю я...
Поедем же... Ну, что ты за подлец!
Сам для тебя вприсядку отдеру я...
Поедем, милочка...

Те же, Ломберов с неестественно растрепанною физиономиею.

Ломберов

(*не замечая никого*)

Итак, всему конец...
Непризнанный людьми, обманутый любовью...
О! я обиду смою кровью!

Подкосилов

(*подходя к нему и корча одного комика*)

О! крови, крови жажду я!

Ломберов

Эх, Боже мой, — всё те же вечно шутки.

Подкосилов

(*подмигивая*)

Кутнем, душа.

Ломберов

Ни-ни... ни зá что!

Подкосилов

Дудки!
Ведь ты — поэт, ведь ты — душа!
Ну, пусть Донская хороша.
Да Груша, Груша-то чего-нибудь да стоит!

Ломберов

Когда б ты знал... Молокосос
У ней какой-то там.

Подкосилов

Эх, плюнь, душа, — не стоит!
Зацепим лихача.

Ломберов

Куда же?

Подкосилов

Вот вопрос!
Известно уж куда!

Ломберов

Я твой... Живую душу
Я утоплю в вине.

Подкосилов

Поедем слушать Грушу.

(*Уходит под руку с Ломберовым, напевая вполголоса.*)

С тобой на поле чести,
С тобою неразлучно...
С тобою встретим вместе
Победу или смерть...

Столетний

Мне душно... голова горит.
Кто эта маска?.. Что за речи?..
Быть может, вздор, но кровь моя кипит...
Пойду искать с ним новой встречи.

(*Уходит.*)

Донская об руку с Ставуниным.

Ставунин

Но если для кого забвенья нет,
Но если для кого и муки даже сладки?..

Донская

Поверьте мне, что вот уж много лет
Я не больна болезнью лихорадки...

Ставунин

(*с иронией*)

Я верю вам... я верить вам готов
Во всем, хотя бы вы сказали мне, что в счастье
Вы верите, что любите глупцов,
Что в них вы ищете участья...
О, верьте мне, во всем я верить вам готов...
И как не верить вам?

Донская

Мне кажется, вы сами
Теперь играете словами?

Ставунин

Не правда ли?.. О да! вам это лучше знать,
Вы так в игре искусны этой...

Донская

(*задумчиво идя с ним*)

Вы странны, как всегда... Законов света
Вы так упорно не хотите знать?

Ставунин

А вы их знаете?.. Скажите, ради Бога,
Давно ль? Послушайте: я знал вас слишком много,
Чтобы теперь вас также знать,
К чему притворство вам со мною?..
Я вас не стану упрекать
Иль тешить праздною хвалою...
И знаю вас.

Донская

(*играя концом боа*)

Давно вы здесь?

Ставунин

Вчера приехал я.

Донская

(*бросая на него испытующий взгляд*)

И надолго?

Ставунин

Бог весть!

Донская

Зачем вы здесь?

Ставунин

Зачем? Я сам не знаю...
Есть слово: так! Я всё им объясняю.

Донская

(*качая головою*)

Безумец вы по-прежнему

Ставунин

Всегда.
Себе я верен... Кстати, хоть случайно,
Собою вы бываете ль когда?

Донская

Была.

Ставунин

Но будете ль?

Донская

Покамест это тайна.

Ставунин

Неразрешимая?

Донская

Быть может.

Ставунин

Никогда?

Донская

Есть час один, когда вполне собою
Я буду.

Ставунин

Это?

Донская

Смертный час.

Ставунин

Но он далек...

Донская

И близок он от нас.

Ставунин

Смеетесь вы...

Донская

Над чем же?

Ставунин

Над судьбою!

Донская

Ее я жду с покорностью немою.

Ставунин

А ежели она нежданно встретит вас?

Донская

(*грустно*)

Так что же?

Те же. Донской, Раскатин, еще несколько молодых людей.

Донская

(*идя к ним навстречу*)

Вот мой муж... Этьен, рекомендую,
Знакомый старый мой, monsieur Ставунин.

Донской

(*дружески тряся руки Ставунина*)

Рад,
Душевно рад... Вас в клубе не видать?

Ставунин

Я только что вчера...

Донской

Я вас баллотирую...
Пожалуй, завтра же... Вы завтра, верно, к нам?

Донская

Вы будете?

Ставунин

Когда угодно вам...

Раскатин

(*лорнируя, про себя*)

Ставунин... Que'est ce que c'est?[1] Соперник
неопасный.

Донской

(*Ставунину*)

Ведь вы играете, надеюсь?

Ставунин

Иногда.

Донской

Теперь бы партию составить.

Ставунин

Я всегда
К услугам вашим.

---

[1] Что это такое? (франц.) — *Ред.*

Донской берет его под руку и ведет с собою. Донская садится у колонны и рассеянно смотрит им вслед. Раскатин лорнирует и красуется.

Раскатин

(*à parte*)

Труд напрасный
Припоминать...

(*Донской.*)

Вам кажется скучна
Веселость общая... Быть может, вы устали?

Донская

(*вздрагивая*)

Ах, Боже мой, меня вы напугали.

Раскатин

Нечаянно.

Донская

(*подавая ему руку*)

Пойдемте.

Идут и встречают Капуцина об руку с Розовым домино.

Капуцин

(*останавливаясь у колонны и показывая глазами на Донскую*)

Вот она!

Розовое домино пристально смотрит на Донскую.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Гостиная Донских. Мебель рококо; по местам козетки. Освещено. 9 часов вечера.

Донской

(*с сигарой прохаживается взад и вперед, заложа руку за спину*)

Чтоб черт его побрал!.. Его я жду с утра...
И в клуб не удалось... Неужто, как вчера,
Обманет он? Ну, ну, тогда я славный малый!
Блажен, стократ блажен, кто может отдавать
Имение в залог... Ну то ли, как бывало,
Лишь в Опекунский заезжать?
А то гоняй себе по всем концам столицы
Иль дома целый день сиди,
Зевай, кури и спи — да аферистов жди...
И что за тон, и что за лица
У этих всех господ? Ей-Богу, на порог
Я не пустил бы их к себе в другую пору...
А вот теперь попутал Бог —
Всем кланяйся и без разбору...
На спекуляцию надеяться пришлось...
Акционером быть... Именье
Разорено, хоть просто брось...
А надо поддержать общественное мненье.
Женатый человек — нельзя ж без вечеров!
Женатый, Боже мой, — да это не во сне ли
Уж делается всё?.. Но нет, от этих слов
Седеет голова... И для какой мне цели
Жениться вздумалось?.. Зачем и для чего?
Женат не для себя, живу не для себя я;
Жена умна как бес, но в женщине ума я
Терпеть не мог давно: довольно своего...

Донской, Донская, совершенно одетая.

Донская

(*тихо*)

Вы так встревожены; что с вами?

Донской

(*бросая сигару*)

Ничего.
Жду кой-кого теперь... Mon ange,[1] вы очень кстати,
Я с вами говорить хотел.

Донская

(*с удивлением*)

Со мной? о чем?

Донской

Я был вчера в палате, —
Хотелось ускорить раздел
С кузином... Дело в том, к необходимой трате
Всё это повлекло.

Донская

(*холодно*)

Так что ж за дело мне?

Донской

Придется заложить нам тульское именье...

Донская

(*пристально смотря на него*)

Скажите мне, Этьен, зачем вы лжете мне?

Донской

(*с видом оскорбленного достоинства*)

Я лгу, сударыня?

[1] Мой ангел (франц.). — *Ред.*

Донская

(*презрительно*)

Вам правда — оскорбленье...
Но дело в том — к чему без нужды лгать?..
Вчера, наверно, вам случилось проиграть...
Но мне-то что до этого за дело?
Зачем же прямо вам и смело,
Иль лучше вовсе не сказать?..

Донской, уничтоженный, садится на козетку.
Донская на диван.

Слуга

(*входит*)

Приехал-с!

Донской

(*поспешно вставая*)

В кабинете?

Слуга

В кабинете.

Донской

(*уходя*)

Вели закладывать! Поеду я в карете.

Донская

(*одна*)

Несчастный человек! Его мне часто жаль!
Но виновата ль я в моем к нему презренье?
Друг другу чужды мы — едва ль
Не будем вечно так: чужое униженье

Мне слишком тягостно... сама я для смиренья
Не создана, о нет, мой Боже, нет!..
Что будет далее?.. Я чувствую, больна я,
Быть может, зла... Мечты минувших лет
Меня преследуют... День каждый, засыпая,
Молюся я о вечном сне...
Мечты прошедшего гоню я — но оне
Меня тоскою безотрадной
Неумолимо-долго жгут...
И снова образы встают,
И сердце просится так жадно
Вздохнуть вольней — любить хоть что-нибудь,
Надеяться, молиться, плакать, верить...
Но день встает — и снова лицемерить,
И снова сдавлена моя больная грудь...
Он часто говорил, я помню: мы одною
Идем дорогою, и вы когда-нибудь
Меня поймете... Этот путь
Теперь, как он, уже прошла я,
Теперь его насмешка злая,
Его проклятие безумное всему...
Его неверие и искренность сухая,
Бывало, вредная ему,
Они понятны мне.

Донская, Любовь Степановна, или Эме (вся в розовом).

Эме

Cher ange...[1] Вы замечтались...
Я испугала вас.

Донская

(*равнодушно*)

О нет.

Эме

Готова я...
А вы еще не одевались?

---

[1] Милый ангел (франц.). — *Ред.*

Донская

Давно уже.

Эме

Советовала б я
Надеть вам черное... вы в нем чудесно милы...
Блондинкам черное пристало à merveille...[1]
Но вы сегодня так унылы...
Так бледны — et faut-il que je vous conseille?[2]
Вам просто надобно лечиться...

Донская

(*рассеянно*)

Вы думаете?

Эме

Цвет у вас совсем больной...

Донская

Вам кажется...

Эме

Cher ange... Вы скрытны...
Не годится
Так скрытной быть с сестрой.

Донская

(*с улыбкою*)

Эме, сегодня вас, наверно, ждут победы?

---

[1] Чудесно (франц.). — *Ред.*
[2] И могу ли я вам посоветовать? (франц.) — *Ред.*

Эме

(*скромно потупляя глаза*)

Меня?

Донская

Я думаю...

Мертвилов (входит фатом.)

Мертвилов

Bonsoir, mesdames,[1] я к вам
Сегодня рано — с званого обеда.

Донская

Садитесь.

Мертвилов

(*разваливаясь подле нее на козетке*)

Что ваш муж?

(*Доставая porte de cigares*[2])

Vous permettez, madame?[3]

Донская

Уехал.

Мертвилов

В клуб?

---

[1] Добрый вечер, мадам (франц.). — *Ред.*
[2] Портсигар (франц.). — *Ред.*
[3] Вы позволите, мадам? (франц.) — *Ред.*

Донская

О нет, напротив, по делам.

Мертвилов

Сегодня много вам готовлю я смешного.

Донская

Чего ж? — Баскакова!

Мертвилов

Кого ж иного?
Во-первых, явится он к вам
В костюме истинно славянском.

Донская

Вы злы...

Мертвилов

Мы с ним друзья. В театре итальянском
Его вчера уже я многим показал.
Он будет в ухабне: за вход сюда свободный
Уже за вас я слово дал.
Он чудно сановит в одежде благородной,
Приедет вместе с ним заезжий фурьерист...

Донская

Вы их поссорите?

Мертвилов

Я умываю руки
И, как Пилат, хочу быть в этом чист.

Еще кто будет к вам? Наверно, Кобылович?
Il est habitué chez vous...[1]

Эме

(*облокачиваясь на спинку козетки*)

Кто это? Николай Петрович?

Мертвилов

Я злым у вас давно слыву,
А всё не в силах удержаться,
Чтоб русской правды не сказать...
В Москве я не встречал, признаться,
Подобной глупости: за деньги я казать
Его готов, как редкость, — любоваться
Им надобно — он просто клад,
Его всегда я видеть рад,
Чтоб Петербургу удивляться,
Как дураками он богат.

Эме

Он что-то медлит здесь... По важным приказаньям...

Мертвилов

По государственным... Так говорит он сам
За тайну всем, а чудесам
Здесь верят свято, по преданьям...

Донская

Смотрите! — Он известный дуэлист.

Мертвилов

Уж он вам сказывал?.. Слыхал я, перед боем
Он удивительно речист...

---

[1] Он завсегдатай ваш... (франц.). — *Ред.*

Глядит решительно героем
И не один последний лист
С рапортом или отношеньем
В последний раз успел уж подписать
С трагическим телодвиженьем.
Дивлюсь я, как он уцелел
В несостоявшихся дуэлях...

Донская

Но он не очень глуп.

Мертвилов

Да! — всё о высших целях
Толкует он. И даже он умел
Под ум подделаться; о нем слыхал он много.

Донская

Скажите мне, вы ум встречали ли когда?

Мертвилов

Да, редко, но встречал...

Донская

А чувство?

Мертвилов

Никогда.

Эме

Ах, перестаньте ради Бога:
Вы в чувстве не судья.

Мертвилов

Сужу я слишком строго...
Что делать... Но умы — их всех наперечет
Я знаю, — два иль три, не больше: остальное
С чужого голосу поет.

Донская

Знавали вы Ставунина?

Мертвилов

Его я
Имел сейчас в виду... Знаком он вам?

Донская

Знаком.

Мертвилов

Он дьявольски умен, но дело только в том,
Что, к сожалению, картежным игроком
Он сделался...

Донская

(*равнодушно*)

Давно?

Мертвилов

Лет пять иль шесть. Именье
Он проиграл давно; общественное мненье...
С тех пор...

Донская

С тех пор, когда именье проиграл?
Не правда ли? — добавьте прямо.

Мертвилов

Почти что так: но нет, он мнением играл
Непозволительно упрямо...
Наперекор идя всему,
Рассудку, чести и преданьям,
И веря одному уму...
За то общественным наказан он изгнаньем...

Те же, Вязмин (одет довольно изысканно).

Вязмин

Простите — без докладу к вам
Вошел я нынче...

Мертвилов

(*протягиваясь на козетке*)

Стыд и срам!
Что говорите вы, мой милый?..

(*Пожимает ему руку.*)

Донская

Я очень рада вам... Садитесь! Вы давно
Мне ничего не говорили
О ваших.

Вязмин

(*садясь против нее на кресло*)

От сестры — я с сентября одно
Всего лишь получил письмо.

Донская

И отвечали?..
Молчите... Верно, нет, — ну, как не стыдно вам?

Мертвилов

Вас en flagrant délit, mon cher ami,[1] поймали.
Вперед остерегайтесь дам...
Вы курите — хотите ли сигару?
Берите же смелей...

Донская

Курите.

Вязмин

Mais, madame...[2]

Донская

К сигарам я привыкла.

Мертвилов

И угару
Вы не боитесь уж давно,
Не правда ли?

Те же, Кобылович, разодетый в пух, входит с уверенностью.

Кобылович

(*кланяясь*)

Mesdames, messieurs, сейчас лишь дело
Окончил — тотчас к вам... Мне редко суждено

[1] На месте преступления, мой дорогой друг (франц.). — *Ред.*
[2] Но, мадам... (франц.). — *Ред.*

Свободно подышать... У вас, скажу я смело,
Совсем забудешься.

Донская

(*грациозно улыбается*)

Тем лучше.

Кобылович

(*садясь*)

Да — оно,
Когда хотите, так; в Москву для излеченья
Приехал я, — рассеянье, забвенье
Мне нужно было бы зимой,
Пророчил мне чахотку доктор мой...
Да что прикажете?... Когда же мне лечиться?
Андрей Михайлыч навязал
Мне поручений тьму; работой наповал
Я завален и здесь. Решительно кружится
От дел различных голова...
У вас в Москве совсем не знают, как трудиться...
Чужим трудом живет Москва...
Ей до практических вопросов
И дела нет — она абстрактами живет,
И каждый здесь сидит и ждет
Доходов с пашни, с сенокосов
И прочего... Прощаяся со мной,
Мне говорил Андрей Михайлыч мой,
Что он и воздуха московского боится...
Но, видно, мне не заразиться
Московской праздностью... Я страшною хандрой
Томлюсь в бездействии, — мне дела вечно мало...
Андрей Михайлыч говорит,
Что он, хоть также мало спит,
Но больше моего... Me croirez-vous?[1] Бывало,
Двенадцать сряду я часов
Был просидеть всегда готов,
Потом куда-нибудь на вечер отправляться.
И там всё та ж потребность заниматься...
Не сладить с глупою хандрой...

[1] Поверите ли мне? (*франц.*). — *Ред.*

Что ж делал я?.. Чтоб силам дать движенье,
Я занимал себя азартною игрой...
Всё это что-нибудь, всё это раздраженье,
А не восточный наш покой...
И раз Андрей Михайлыч мой...

Донская

(*которая слушала всё это, видимо, рассеянно*)

Вы были в Лючии?.. Как Сальви вам в сравненье
С Рубини кажется?

Кобылович

Да кстати! здесь и мненья
Общественного нет, — у нас
Гарсисты есть, кастелянисты,
Есть жизнь, есть общество — у вас
Ничто нейдет: одни лишь гегелисты
С абстрактами! Андрей Михайлыч раз...

Мертвилов

(*перебивая его*)

Скажите, говорят, у вас в ходу букеты, —
Возами возят их на сцену, слышал я?

Кобылович

Бросают даже и браслеты,
Особенно Вьярдо... и точно, должен я
Сознаться, есть за что... Не понимал нимало
Я вкусу в музыке, бывало, —
Но с итальянцами... я к пению привык
И даже понимал язык —
Так мелодичен он... Мне говорил недавно
Андрей Михайлович, что слух развил я славно.

Те же, Елена с мужем.

Донская

(*вставая и идя к ней навстречу*)

Que vous êtes obligeante![1]

Елена

Я вам плачу визит...
Без церемонии — мой муж, рекомендую.

Донская

(*ведет ее на диван*)

Садитесь здесь... со мной...

Елена

(*садясь*)

Merci.[2]

Донская

Сегодня жду я
Madame Приклонскую.

Елена

Она
Недели с две была больна
И уж давно не выезжала...

Донская

Она помолвлена. C'est une nouvelle du jour...[3]

---

[1] Как вы любезны! (франц.) — *Ред.*

[2] Спасибо (франц.). — *Ред.*

[3] Это последняя новость... (франц.). — *Ред.*

Мертвилов

(*громко*)

C'est un scandale du jour.[1]

Елена

(*увидя его*)

Ах, это вы, bonjour.[2]
Вы вечно с сплетнями, — сначала
Я не видала вас.

Мертвилов

(*вставая*)

Приклонской суждено
Переживать мужей. Одно
Готов я предвещать, что много два, три года
Осталось Постину прожить...

Муж Елены

Ему — помилуйте, для этого народа,
Откупщиков, и смерть нетрудно подкупить.

Те же, Ставунин; при появлении его Мертвилов принимает еще более небрежную позу; Кобылович оправляет галстук и идет к огню закуривать сигару.

Донская

Так поздно...

Ставунин

Виноват, простите, ради Бога,
Меня за медленность винить
Я умоляю вас не строго:

---

[1] Это последний скандал (франц.). — *Ред.*

[2] Здравствуйте (франц.). — *Ред.*

В Москве мне так давно не приходилось быть,
И я обычаев салонных
Успел так много позабыть...

Донская

С друзьями стыдно вам.

Ставунин

Вы слишком благосклонны.

(*Садится и взглядывает на всех равнодушно.*)

Скажите, где ж monsieur Донской?

Донская

Он будет скоро...

Перебирает конец шарфа. Минута общего молчания, во время которого Елена оставляет свое место на диване и садится на креслах подле Ставунина так, что он сидит между ней и Донской.

Ставунин

(*с иронией*)

Я с Москвой
Расстался так давно; в ней многое и многих
Не узнаю теперь, что шаг, то новость мне.
Скажите, в ней по старине
Полны ли все приличий строгих?

Мертвилов

(*Эме*)

Удар назначен, верно, мне,
Но я вам говорил...

Ставунин

(*равнодушно и спокойно*)

Давно уж с удивленьем
Я раззнакомился совсем,
И удивляться, между тем,
Теперь учуся я с терпеньем,
Как учатся иные удивлять.

Минута молчания.

Елена

(*громко и смело*)

Вы сами удивить, как кажется, забвеньем,
Хотите здесь меня?

Муж Елены смотрит на нее чуть не с изумлением ужаса. Мертвилов иронически улыбается. Эме опускает глаза в землю. Кобылович поправляет галстук.

Ставунин

О! памятью скорей
Меня вы так нежданно изумили.
Merci, merci, madame...[1] Я думал, вы забыли...

Елена

Не стыдно ль забывать старинных всех друзей?

Ставунин

О! дружбу женщины ценю я слишком свято.

Елена

(*добродушно-насмешливо*)

Вы доказали это мне.

---

[1] Спасибо, спасибо, мадам... (франц.). — *Ред.*

Ставунин

(*наклонясь к ее уху*)

Тебя я понял — и вполне,
О добрый ангел мой...

Мертвилов

(*комически с пафосом Кобыловичу*)

Не правда ль? век разврата.

Те же, Донской.

Донской

(*входя*)

Je vous salue, messieurs...[1] Простите, по делам
Я хлопотал, теперь... Monsieur Ставунин, вам
Глубокий мой поклон за вист вчерашний, — ныне
Мы сядем, верно, вновь?

Ставунин

Играть?
Простите, не могу...

Донская

(*быстро приподнимая голову*)

Я с вами в половине.

Ставунин

Вам не могу я отказать.

Донской

(*которому человек раздает карты*)

Monsieur Мертвилов, вы?

[1] Я вас приветствую, господа... (франц.). — *Ред.*

Мертвилов

Увольте, умоляю.

Донской

(*с маленьким неудовольствием*)

Насильно я играть не заставляю.
Вы, Николай Петрович?

Кобылович

Нет, —
И я сегодня не играю.

Донской

Вот странность, господа, у вас один ответ.
Так как же партию?..

(*Мужу Елены.*)

Фома Ильич, мы с вами.
Да вот monsieur Ставунин, и втроем
Сыграем пульку мы?

Муж Елены

(*нехотя*)

Пожалуй!..

Те же, Постин, Петушевский, Баскаков в красных шароварах, бархатном охабне, с мурмолкой под мышкой.

Донской

(*с радостью*)

Вчетвером!
Брависсимо! Иван Игнатьич с нами.

Постин

(*раскланиваясь с неловкостью*)

Мое почтение... Я часом опоздал,
Да вот господ к себе всё долго поджидал.

Баскаков и Петушевский

(*в один голос*)

Pardon, mesdames.[1]

Мертвилов

(*подавая им руки*)

Друзья! Я говорил, с Москвою
Сойдется Петербург и с Гегелем Фурье.

Петушевский

(*Донской, вынимая книгу из кармана*)

Имел я честь вам обещать Минье.

Донская

Merci beaucoup.[2]

Донской

(*подавая Постину карту*)

Иван Игнатьич, вы со мною
Садитесь vis-a-vis.[3]

Уходят под руку с Ставуниным,
за ними идут Постин и муж Елены.

---

[1] Простите, мадам (франц.). — *Ред.*
[2] Большое спасибо (франц.). — *Ред.*
[3] Напротив (*франц.*). — *Ред.*

Петушевский

(*вынимая porte de cigares, Донской*)

Вас не обеспокою
Я пахитоскою?

Донская

Fumez, je vous en prie.[1]

Кобылович

(*Метвилову, показывая на уходящего Ставунина*)

Ведь надо ж, — front l'airain![2] Нет, что ни говори,
А мненье общества...

Мертвилов

(*громко*)

Общественное мненье
Есть воля общества живая и оплот
Цивилизации, — и горе, кто пойдет
Бороться с волею истории.

Баскаков

Смиренье
Пред этой волею славяне лишь одни
Способны понимать.

Кобылович

И кто же в наши дни
Серьезно верует в какие убежденья?
Бороться с обществом!..

---

[1] Курите, прошу вас (франц.). — *Ред.*
[2] Медный лоб (франц.). — *Ред.*

Петушевский

Позвольте... различать
Привык я мнения от мнений,
Иное можно защищать,
Иное же не стоит защищений,
А ваше таково... Я слышал про оплот
Цивилизации... ну стоит ли хлопот
Цивилизация?

Кобылович

Позвольте наперед
Вам о приличии напомнить... Защищений
Не стоит мнение мое,
Сказали вы?

Мертвилов

(*с хохотом*)

Опять конфликт противных мнений.
Laissez donc vos folies, messieurs.[1]

Донская

(*поднимаясь с места*)

Здесь душно, chère amie,[2] пойдемте в залу.

Она и Елена уходят, за ними Вязмин.

Мертвилов

(*оглядываясь*)

Mais vous chassez les dames...[3] и Боже, как отстало
От века это всё, к чему враждебный тон,
За дамами пойдемте лучше в залу.

---

[1] Оставьте же ваши безумства, господа (франц.). — *Ред.*
[2] Милый друг (франц.). — *Ред.*
[3] Но вы пугаете дам (франц.). — *Ред.*

Кобылович

Ставунин там?

Мертвилов

Играет он.

Все уходят, кроме Мертвилова и Эме, которые сидят у окна.
Мертвилов, Эме.

Мертвилов

Ставунин с вашею сестрою
Знаком давно?

Эме

(*с досадою*)

Не знаю я.

Мертвилов

Вы скажете, я зол... но я от вас не скрою,
Что странно это всё.

Эме

(*с скромностью потупляя глаза*)

Она — сестра моя.

Мертвилов

Послушайте, ведь есть всему границы.
Когда в ваш дом такие лица
Являться будут...

Эме

(*с злостью*)

Он старинный друг.

Мертвилов

Да старина забудется, конечно...

Эме

Но согласитесь, что не вдруг.

Мертвилов

Возобновиться может...

Эме

Злы вы вечно.

Мертвилов уходит. Эме одна.

Эме

Так вот оно... Его я поняла.
Да, да — она горда и зла,
Но не для всех... И что в ней все находят?
И что за вкус у всех дурной?
О, хорошо! Ее приводят
В пример... Хорош пример... А! это братец мой.

Донской

(*входя*)

Где мел? Подайте мел...

Эме

Mon frère...[1] Два слова.

Донской

Скорее, матушка, — там партия готова.

Эме

Кого вы в дом к себе изволили принять?

Донской

(*с изумлением*)

Кого? Но я тебя не понимаю.

Эме

Нетрудно будет вам понять,
Когда я вам скажу, что знаю...
Известный он игрок.

Донской

Кто он?

Эме

(*злобно*)

Приятель новый ваш, друг дома...

Донской

Говорите,
Эме, понятнее... Мне странен этот тон.

---

[1] Брат (франц.). — *Ред.*

Эме

Ах, братец, вы себя стыдите...
Но тише...

Те же, Мертвилов

Мертвилов

Партия расстроилась совсем,
Играть никто теперь не хочет.
Напрасно братец ваш хлопочет...
Да вот и сам он...

Донской

Так совсем
Расстроилась?.. Эме, скажите, ради Бога...

Эме

Пойдемте, вам сказать мне нужно много.

(*Уходят в кабинет направо.*)

Мертвилов

Как это всё смешно! Удача нынче мне:
Во-первых, общая тревога,
Как будто целый дом в огне,
Потом, в душонке престарелой девы
Поднял я столько зависти и гнева.

(*Уходит.*)

Елена, Ставунин.

Ставунин

Зачем ты здесь, зачем играть
Так бесполезно общим мненьем...

Зачем привязанность пустую показать!
Ведь я сказал тебе: забвеньем
Пока окончить всё давно.

Елена

Нет, мне забвенье не дано.
Но что тебе до этого за дело!

Ставунин

Мне? Видишь ли: я сам, могу я смело
И гордо голову поднять...
Но ты — к чему тебе страдать?

Елена

Владимир, есть блаженство и в страданье,
Ты знаешь сам.

Ставунин

Да, знаю, — что ж потом?

Елена

Ты шел один твоим путем,
Теперь пойдем рука с рукою...

Ставунин

Нет, нет, — оставь меня. Безумною, больною,
Неизлечимой страстью болен я.

Елена

Я знаю... Мы больны болезнию одною...
Лечиться вместе нам.

Ставунин

Дитя, оставь меня...
Бороться не тебе с стоглавой гидрой мненья!..
Когда, когда кругом тебя раздастся грозный клик
Ожесточенного гоненья,
Тогда что скажешь ты?

Елена

Но ты...

Ставунин

О, я привык
Презреньем отвечать на общее презренье,
А твой удел иной, оставь меня, дитя...
Дай руку на прощанье.
Я мог бы, над тобой презрительно шутя,
Как эгоист, тебя увлечь в мои страданья...

Елена

(*с отчаянием*)

Меня не любишь ты...

Ставунин

(*оглядываясь*)

Сюда идут, — скорей.
Оставь меня.

Елена

(*уходя*)

Владимир, до свиданья...

Ставунин

За гробом, если есть за гробом для людей
Хоть что-нибудь...
Безумец бедный,
Ужель всё прошлое, как призрак грустно-бледный,
Способно обдавать меня одной тоской?
И ни один порыв святой
Не в силах отзыва найти во мне: ужели
Я вовсе чужд всему? Иль точно в самом деле
Осталось мне лишь смерть лицом к лицу узнать?
Да, правду он сказал — пора мне умирать.
Одно живет во мне, одно во мне покоя
Не знает: эгоизм... то не любовь, о нет,
Мне нужно лишь одно — ее прямой ответ...
Страдал недаром я... Что б ни было, его я
Так или иначе, но вырву... Много лет
Меня вопрос неразрешенный
Преследовал, как труд недовершенный!
Пора окончить всё, пора испить до дна
Всю чашу бытия... Но тише, вот она.

Донская, Ставунин.

Донская

Я вас искала.

Ставунин

Вы?

Минута молчания.

Донская

(*в замешательстве*)

Я вас просить хотела
Мне объяснить... Когда в вас память прежних лет
И прежних дружб...

Ставунин

Я знаю... Мой ответ
Короток будет вам и груб, но что за дело?..
Я презираю всё — и презираю смело.

Донская

Да — клеветы.

Ставунин

(*спокойно*)

Здесь нет клевет.

Минута молчания. Донская опускает глаза.

Ставунин

(*так же спокойно*)

Да — я таков... я даже не скрываю
Презренья ко всему, ко всем... Идти с собой
Я никого не принуждаю...
Но с вами б я хотел идти рука с рукой.

Донская

Со мной?

Ставунин

Да, с вами, только с вами...
Вы миру чужды, как и я,
Вы надо всем смеетесь сами...
И вы давно — сестра моя...
За вас одних я не боюсь страданий,
И вам одним готов я целый ад
Мук без конца, без упований
Желать бестрепетно, как брат...
Вам чужд такой язык, как чужды эти речи...

Но вспомните одно — я вами жил одной,
Всю жизнь я жаждал этой встречи,
Чтоб всё безумие любви моей больной
Вам высказать хоть раз, бестрепетно и прямо,
Я к смерти близок был, но жить хотел упрямо.
И жив, вы видите...

Донская

Молчите... Смерти час
Еще не близок... Между нами
Есть жизнь и люди... Так вы сами
Сказали мне в последний раз,
Когда надолго мы прощались с вами...
Страдала ль я, любила ль я...
Вам не узнать...

(*Хочет идти.*)

Ставунин

(*останавливается*)

Я это знаю...
Моя любовь — сестра моя...

Донская

(*вырывая свою руку*)

Есть час один, я повторяю,
Когда собою буду я.

Идет. Ее встречают гости, которые идут в гостиную.

Мертвилов

(*иронически*)

А мы искали вас.

Донская

(*равнодушно*)

Вы, верно, извините
Мое отсутствие, messieurs...

(*Подавая руку Ставунину, который берет безмолвно шляпу и раскланивается.*)

Monsieur Ставунин, вы спешите?
Увидимся.

Эме

(*выходя из кабинета с Донским, тихо*)

Mais quelle horreur! O cieux![1]

Ставунин уходит. Все в каком-то неподвижном изумлении смотрят на Донскую.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина первая

Комната Ставунина, у письменного стола кресла; Ставунин лежит в них и дремлет, из отворенной двери слышны звуки рояля и голос Веры. Вечер.

Голос Веры

Когда без движенья
И без речей,
В безумстве забвенья,
С твоих очей
Очей не сводя, я
Перед тобой
Томлюсь и сгораю,
О милый мой...
И долгие ночи
Без слов и сна
Очами я в очи
Погружена...

[1] Но какой ужас! О небеса! (франц.) — *Ред.*

О, знай — я читаю
В очах твоих,
И верь — я страдаю,
Читая в них...
Ты скрытен глубоко
О милый мой,
Но светлое око
Предатель твой...
<И> пусть я страдаю
Тоской твоей,
Но я понимаю
Язык очей...

Голос Веры становится все тише и тише.

С т а в у н и н

(*просыпаясь*)

Проклятый сон... так душно! Вера, Вера!

В е р а

(*входя тихо*)

Тебя я разбудила?

С т а в у н и н

Нет, давно
Пора уж встать.

В е р а

(*подавая ему письмо*)

Письмо.

С т а в у н и н

По почте?

Вера

От курьера,
По городской...

Ставунин

Подай сюда, — окно
Нельзя ли отворить?

Вера

Зимою?

Ставунин

Забылся я...

(*Пробегая письмо и бросая его на стол.*)

Мне душно.

Вера

(*садясь на табурет, почти у ног его*)

Что с тобою?

Ставунин

Так.

Вера

Болен ты?..

Ставунин

(*играя ее волосами*)

Нет, нет... на память мне
Пришли теперь ребяческие годы...

(*Как бы говоря с самим собою*)

Одну тоску я помню в старине...
Всё так же душно было мне,
И всё хотелося свободы,
И всё сжимало что-то грудь,
И всё просило что-то воли...
И что-то сжатое свободнее вздохнуть
Хотело... Боже мой... широкой, светлой доли
Молил я жадно... жил во мне недуг
Неизлечимый вечно — а вокруг
Всё было пусто так и душно...
Тогда я подходил к замерзшему окну
Взглянуть на звезды... Звезды равнодушно
Сияли мне... И что-то в вышину
Просилось — здесь ему казалось скучно...
Над этим сам смеялся я потом...
Но что же делать? Жил я долго сном,
Не жизнию... и верил долго вздору,
И вздор один сменил на вздор другой,
Такой же странный...
                                        И другую пору
Я помню: стал мне гадок шум людской...
Среди людей, как и с самим собою,
Мне стало душно... был я одинок
Средь их толпы, меня с рожденья рок
Наполнил глупою тоскою...
И в жизни также жил я сном,
И также пусто было всё кругом...
В сравненье с этим сном так вяло, бледно,
Так даже злом и горем бедно...
К звездам я не стремлюся... но не мог
Владеть я тем, что грудь мою давило...
Во мне по-прежнему неведомая сила
Искала расширенья... На Восток
Помчался я искать успокоенья, —
Надежда тщетная... но верю, близок срок,
Когда и я дождуся примиренья...

Вера

(*поднимая на него глаза*)

Умрем мы вместе?

Ставунин

Бедное дитя!
Зачем тебя увлек я в путь страданья?
Ты жить могла б, жить долго...

Вера

Без желанья
Жить долго.

Ставунин

(*берет ее руку*).

Говоришь ты не шутя?

Вера

(*спокойно и тихо*)

Страдала я с тобой одной тоскою,
От жизни жизни так же я ждала,
Но я любила, я жила...
Жила с тобой, жила тобою!..

Ставунин

(*грустно*)

А я?

Вера

Ты дал мне жизнь... ее я прожила
В одном мятежно-страстном поцелуе...
Чего мне ждать? Пускай теперь умру я:
Земля мне всё в мгновении дала...
В мгновеньи вечность я вкусила...
Я знаю полноту и радость бытия...
Довольно, больше я от неба не просила,
Его я поняла...

Ставунин

А я?..
Чего я ждал, чему я верил?..
Что жизнью долгой нажил я?..
Зачем разувереньем мерил
Мой грустный путь... и лицемерил
С людьми... с тобою, наконец?..
Давным-давно живой мертвец,
Зачем я жил? Зачем надежде
Безумной долго предан был,
Что всё, чему я верил прежде,
Что всё, что прежде я любил,
Предстанет мне в иной одежде,
Просветлено, озарено
Лучами света и свободы...
Чего я ждал? Промчались годы...
Всё было душно и темно
Во мне, за мной, передо мною...
Не веря в чувство ни в одно,
От скуки я играл твоей душою...

Вера

Я это знала и — давно.

Ставунин

И шла за мной ты?

Вера

За судьбою.

Ставунин

Жила обманом ты?

Вера

Обман
Иль правда было то, но смело
Я шла за роком... Что за дело,
Что краткий срок блаженству дан?

Ставунин

Блаженству?..

Вера

Да... за счастие мученье,
За миг единый сбывшегося сна
Благодарю тебя, о милый... Пусть одна
Любила я, без разделенья...
Любила я... довольно. Решена
Моя судьба. Пред вечным роком
Смиренно голову склоня,
Его не оскорблю упреком...
Любила я...

Ставунин

И для меня
Отвергла ты семейство, счастье...

Вера

(*иронически*)

Счастье?

Ставунин

Да — счастье тишины, спокойствия...

Вера

Цепей?..

Ставунин

Пожалуй, да — цепей участья,
Цепей любви, цепей связей...

Вера

Ты жил без них?

Ставунин

Но много жил я с ними
И отстрадал глубоко в них...
И смело разорвал... зане ужиться с ними
Всю невозможность я постиг,
И что ж?.. Рассудком понимая,
Как жалок человек — великий житель рая,
В стране отцов и матерей...
Изведав связи те, отринув без возврата,
И одинок среди других людей,
Я часто был готов за миг минувших дней
Всю славу гордого разврата,
Всю жизнь страданий и страстей
Отдать за миг один... хоть миг забыться сладко
Среди друзей, средь братьев и родных,
Но я — чужой в толпе чужих...
Пусть сладок сон, но пробужденье — гадко,
Я слишком знаю ласки их.
Нет! есть страдание без страха и смиренья,
Есть непреклонное величие борьбы,
С улыбкой гордою насмешки и презренья
На вопль душевных сил, на бранный зов судьбы...

Погружается в задумчивость; Вера сидит у его ног, склонивши ему голову на колена. Колокольчик раздается у дверей через несколько минут.

Вера

(*испуганная, вскакивает*)

К тебе идут...

Ставунин

Ко мне? Кому же
Быть в этот час?..

Ставунин, Вера за креслом его.
Незнакомая дама под вуалем.

Ставунин

(*всматриваясь*)

Елена!

Дама

(*сбрасывая вуаль*)

Нет...
То я, Владимир...

Ставунин

(*изумленный, но спокойно*)

Вы...

Минутное молчание.

Дама

(*глубоко тронутым голосом, почти с рыданиями*)

Прошло так много лет...
Владимир...

Ставунин

Да, что вспомнить вы о муже
От скуки вздумали. Прекрасно! Ваш визит
Приятен очень мне, садитесь.
Садитесь же...

Дама садится безмолвно против него.

Дрожите, вы боитесь...
Чего, скажите мне?.. Какая вам грозит
Опасность страшная?..

Дама

(*в сильном движении*)

Вы тот же равнодушный,
Холодный человек... Вам так же дела нет
До слез моих.

Ставунин

Увы! мне слезы скучны...
Притом же, право, целый свет
Вы ими залили бесплодно.

Дама

Смеетесь вы — как это благородно!..

(*Возвышая голос*)

Но вы смеяться можете — и я
Готова всё сносить, — да, смейтесь как угодно...
Мои права, обязанность моя,
Долг матери...

Ставунин

Вы мать? Давно ли?..

Дама

О! вы чудовище!

Ставунин

Чего ж вам, пятой доли
Или которой там, седьмой,
Из моего именья?

Дама

(*с отчаянием*)

Боже мой!

Ставунин

Чего же, говорите смело...
Люблю не слезы я, а дело...

Дама

(*с усилием*)

Ставунин... сжальтесь надо мной...
Была неправа я.

Ставунин

(*насмешливо*)

О нет, вы были правы!

Дама

(*с силою*)

Была неправа я... Но Боже, Боже мой...
Страдала долго я...

Ставунин

Не я ваш демон злой —
А воспитание и нравы.
Чего ж хотите вы, Евгения?.. На вас
Женился я почти случайно,
Судьба свела обоих нас,
Увы, с иронией тайной...
Любви хотели вы — я дать ее не мог,
Вступивши в брак почти по договору...
К капризам вашим был я строк.
Что ж делать? исстари уж я не верю вздору,

Друг друга мучить стало нам
Обоим тягостно, решились мы расстаться...
Свободу предоставив вам,
Я сам свободно мог предаться
Другим и планам, и связям...
Богаты были вы — и промотать именье
Я ваше так же б скоро мог,
Как и свое. Но я вас не увлек
Ни в нищету, ни в разоренье.
Чего же нужно вам?

Дама

(*падая перед ним на колени*)

О! вашего прощенья,
Владимир...

Ставунин

Но за что?.. какой у вас упрек
Лежит на совести? Общественное мненье
Горой стоит за вас давно,
И им мне изверга названье
Так правосудно придано...

Дама

Но я любила вас... Быть может, в наказанье,
За что бы ни было... но я любила вас...
Владимир... Боже мой, вы верите в страданье!

Ставунин

Я был обманут — и не раз,
Но если б даже так — положим, даже верить
Любви способен вашей я...
Утомлена душа моя
Необходимостью печальной лицемерить...
Нет, нет, Евгения, я эгоист большой,
Оставь меня, иди своей дорогой,

Моя же кончена... Дай руку — пред тобой
Не судия уж больше строгой,
Но брат, страдающий, как ты... В последний раз
Мы видимся... и слово примиренья
Я говорю тебе, то нет соединенья
До часа смертного для нас...

Дама молча встает с места и идет, в дверях она встречается с Незнакомцем
Те же и Незнакомец.

Незнакомец

Простите, к вам вошел я без докладу...

Ставунин

(*пораженный, про себя*)

О! этот голос помнить смертный час
Мне завещал...
Что нужно вам?

Незнакомец

(*садясь*)

Я сяду,
Пока вы кончите.

Ставунин

(*вставая и приветливо делая знаки прощания жене, которая наконец уходит*)

Я кончил... И для вас
Готов к услугам.

Незнакомец

(*мрачно*)

Будто бы?

Ставунин

Но кто вы?

Незнакомец

Кто? — Человек, вам услужить готовый...
Довольно вам... Видались мы иль нет,
Я не берусь решить — подумайте вы сами.
Есть у меня для вас секрет,
И говорить мне нужно с вами.
Угодно ль ехать вам со мной?

Ставунин

Куда?... Но всё равно... я еду... Пред судьбой
Напрасно отступать...

Незнакомец

(*идя к двери*)

Идите же за мной.

(Ставунин берет со стола шляпу и следует за ним).

Картина вторая

Вечер у откупщика Постина. Большая диванная с аркой вместо дверей, в которую видна анфилада освещенных комнат. Посередине комнаты пять карточных столов; за одним сидят несколько стариков, за другим Столетний, муж Елены, Кобылович. На диванах, по стенам комнаты, гости сидят в разных положениях, курят, пьют пунш и т. п. В огромных креслах подле стола, за которым играют Столетний и прочие, лежит сам Постин с сигарой; Мертвилов, также с сигарой, ходит по комнате. Налево от зрителей, в отворенных дверях, виден хор цыган и в самых дверях Подкосилов, который в неистовстве поет и пляшет с ними; вместе с ним, прислонясь к дверям, стоит безнадежный поэт и мрачно смотрит; оба беспрестанно пьют пунш. Цыгане поют: «Я пойду, пойду косить зеленый луг».

Столетний

В червях.

Муж Елены

(*кладя карты*)

Пас.

Кобылович

Тоже пас.

Постин

(*Столетнему*)

Везет вам нынче славно...

Столетний

Но только что это за глупая игра?

Постин

Вам всё бы банк да банк!

Кобылович

А кстати, вот забавно!
Я страшно счастлив в банк и в горку... До утра
Играл я раз — и всё на даму...
И мне везло... Андрей Михайлыч мне
Заметил, впрочем, раз...

Мертвилов

(*наклонясь к Постину*)

Заметьте.

Кобылович

Что упрямо,
Как дамы, счастие — и так же, как оне,
Обманчиво... Я, бывши на Волыни,
Природу женщины чертовски изучал...
Я там ревизовал и, признаюсь, доныне
Подобных женщин не видал.
И счастье мне везло, как в банке.

Мертвилов

(*на ухо Постину*)

Четырнадцать любовниц на Волыни.

(*Громко*)

Как Геркулес, слыхал я, вы
Двенадцать подвигов свершили?

Кобылович

(*самодовольно улыбаясь и поправляя галстук*)

Четырнадцать... но головы
Они моей не закрутили...
Я строго там ревизовал,
В архивах поднял много пыли
Старинных дел, — и мне сказал
Матвей Михайлыч раз...

Столетний

Однако вы забыли,
Что ваша очередь сдавать.

Подкосилов

(*кричит*)

Иван Ильич!.. вели подать
Чего-нибудь сюда... Чудесно откосили!

Корнет

(*за другим столом*)

Ва-банк!

Постин

(*обращаясь туда*)

А куш велик?

Корнет

(*меча карты, с презрением*)

Что! триста серебром...

Отец семейства

(*за одним столом с корнетом*)

Ну, было — не было! последнюю ребром!

Постин

(*обращаясь к нему*)

Эй, брось играть... Домой придется воротиться!

Отец семейства

Ну, что бы ни было, косить, так уж косить!..
Вот угораздил черт меня жениться...
Да, впрочем, что тут говорить,
Валяй, коси, руби... Вели мне дать хватить
Скорее «ромео»... да пусть поют цыганы...

Постин

А вот за этим к атаману
Мы обратимся... Эй ты, любезный друг...

Подкосилов

(*подходит, немного шатаясь, к Столетнему*)

Что, каково поют?..

Столетний

(*ставя карту*)

Отстань, мне недосуг.

Подкосилов

Иван Ильич, вели подать туда съестного.

Постин

Распоряжайся сам, да кстати, атаман,
Вели — «Лови, лови!»

Подкосилов

(*ревет неестественно в пифическом восторге*)

Лови, лови
Часы любви...

Те же, доктор Гольдзелиг.

Постин

(*вставая*)

А! гостя дорогого
Я только что и ждал — садитесь на диван,
Ложитесь лучше, вы устали,
Я думаю...

Гольдзелиг

(*подавая ему руку*)

День целый я гонял...
Минуты просто нет свободной...

(*Постину тихо.*)

Что за народ у вас!..

П о с т и н

(*насмешливо*)

Народ всё благородный,
И даже столбовой.

Г о л ь д з е л и г

Ставунин не бывал?

П о с т и н

Покамест нет еще.

Г о л ь д з е л и г

Но будет?

П о с т и н

Обещал.

М е р т в и л о в

(*подходя к Гольдзелигу*)

Вы были у Донской?

Г о л ь д з е л и г

(*сухо*)

Она больна.

М е р т в и л о в

С скандала?

Гольдзелиг

(*так же сухо*)

С какого?

Мертвилов

Разве нынче вам
Эме о том не рассказала?

Гольдзелиг

(*почти презрительно*)

Не каждый же к ее вестям,
Как вы, внимателен.

Мертвилов

(*насмешливо*)

Забыл я, извините,
Что влюблены вы, и давно.

Гольдзелиг

(*вспыльчиво*)

Monsieur Мертвилов, если вы не замолчите...

Мертвилов

(*с хохотом*)

Мы будем драться?

Гольдзелиг

Вам смешно?

М е р т в и л о в

Да как же нет — вы мне простите,
Но это странно — медик вы,
Должны людей лечить, а убивать хотите!

(*Отходит.*)

Г о л ь д з е л и г

(*про себя*)

Я глуп!

(*Постину*)

Они играют, — что же вы?

П о с т и н

(*презрительно*)

Помилуйте, они играют по полтине!
Вот подождем Ставунина, тогда...

К о б ы л о в и ч

(*который кончил сдавать, к Постину*)

Послушайте, когда я был в Волыни...
Матвей Михайлыч мне туда
Писал, чтоб я поудержался,
Что с женщинами мне беда,
Но я нисколько не боялся...
И всю натуру их узнал, и на досуге собирался
Писать историю развития идей
О женщине... И даже мне Матвей
Михайлыч говорил...

П о д к о с и л о в

(*подходя об руку с безнадежным поэтом,
оба уже сильно пьяные*)

Что? каково поют — беда...

Безнадежный поэт

Оставь, всё это души
Холодные.

Подкосилов

(*Столетнему*)

Ты слушай соло Груши!

Те же, Ставунин и Незнакомец.

Ставунин

(*Постину*)

Я опоздал к вам — виноват.
Рекомендую вам: двоюродный мой брат.

(*Незнакомец молча кланяется.*)

Я к вам его привез без церемоний, прямо.

Постин

Обязан много. Очень рад знакомству вашему.

(*Пожимает руку незнакомца.*)

Ставунин

Гольдзелиг.

(*Пожимая ему руку.*)

Гольдзелиг

(*отводя его в сторону*)

Ты упрямо
Искал свидания — и что же?

Ставунин

Что она?

Гольдзелиг

Ты знаешь, верно, сам, — она больна.

Ставунин

Опасно?

Гольдзелиг

Может быть... у ней давно чахотка,
Cette femme mourra d'une mort subite, —
Je vous le dis.[1]

Ставунин

(*как бы про себя*)

Да, безмятежно, кротко
Она заснет!..

Гольдзелиг

Когда уже не спит...

Ставунин

(*изменяясь в лице*)

Что говоришь ты?

Гольдзелиг

Да — болезнь такого рода,
Что случай незначительный, пустой
Способен ускорить...

[1] Эта женщина умрет внезапно, — говорю вам (франц.). — *Ред.*

Ставунин

(*про себя*)

Да, видно, час свободы
И для нее настал со мной...

Постин

(*садясь за стол*)

Владимир Федорыч, я понтирую...
Кто с нами, господа?

Корнет

Что, куш большой?

Постин

Пятнадцать тысяч.

Отец семейства

Уж рискну я.

Столетний

(*вставая*)

И я.

Корнет

И я...

Ставунин

(*садится у стола, за ним становится Незнакомец.*)

Мечите... ставлю туз.

Постин

(*мечет*)

Вы страшно счастливы.

Ставунин

На пе.

Цыгане поют, слышен топот и свист, Подкосилов и безнадежный поэт пляшут вприсядку с цыганами.

Столетний

Держу я...
Уймите этот шум.

Постин

(*мечет*)

Нельзя, — питомец муз
И атаман неудержимы стали...
Вот счастье!.. Вы, Столетний, проиграли.

Столетний

На пе...

Те же, входит поспешно Вязмин.

Вязмин

Столетний здесь?

Столетний

(*слыша его голос*)

Зачем ты, подожди,
Борис Владимирыч... На пе...

Вязмин

(*схватывая его руку*)

Нельзя — иди!
Pardon, messieurs.[1]

Столетний

Постой...

Вязмин

Скорее, о, скорее...

(*Тихо.*)

Сестра...

Столетний

(*быстро вскакивает со стула*)

Что?

Вязмин

(*увлекая его в угол*)

Боже мой!.. Гляди,
Письмо от матушки.

Падает на диван в волнении. Столетний, пробегая письмо, бледнеет и остается долго немым.

Столетний

(*приходя в себя*)

О! я убью злодея.

---

[1] Извините, господа (франц.). — *Ред.*

Вязмин

(*бледный*)

Он здесь... он здесь... Ставунин!

Столетний

(*пораженный*)

Он!

Вязмин

Сестра моя... О Боже! это сон,
Ужасный сон!

Столетний

(*с сосредоточенным гневом, подходя к Ставунину*)

Monsieur Ставунин — слово
Одно.

Ставунин

(*спокойно*)

Что нужно вам?..

Столетний

Сказать,
Что вы... что вы... но вам не ново
Прозванье ни одно.

Ставунин

Но я хотел бы знать,
Что значит это всё?

Столетний

Вы знаете... Пред вами
Жених и брат.

Ставунин

(*холодно*)

Так что ж?

Вязмин

(*вставая*)

Так вы деретесь с нами
На чем угодно вам.

Ставунин

Простите, господа,
Но, к сожалению, скажу я,
Что не дерусь я никогда...

Столетний

Но вас заставлю я!

Ставунин

Посмотрим... Метко бью я
И верно, мне не страшен пистолет;
Но, к сожалению, я должен отказаться, —
Я не дерусь.

Столетний

Последний ваш ответ?

Ставунин

Последний... или нет: когда нам нужно драться
И нужно умереть кому-нибудь из двух,
Есть средство лучшее.

Столетний

Какое же?

Ставунин

Сыграться
На жизнь...

Столетний

Я ваш партнер.

Ставунин

Садитесь же...

Вязмин

(*Столетнему*)

Мой друг,
Но он со мною должен рассчитаться...

Столетний

Со мною прежде — и обоим вдруг
Нельзя.

Ставунин

Так, если будет вам угодно...
Играем мы, но прежде благородно

Поговорим... чтоб наша смерть была
Полезна для нее... чтоб то, что честью в свете
Зовется, — возвратить она могла.
Есть у меня жених для Веры на примете.
Когда мои условья примет он,
Деремся мы, monsieur Столетний, с вами.

(*Вязмину.*)

А с вами я пред светом примирен,
Не правда ль!

Столетний

Это так...

Вязмин

(*презрительно*)

Жених? Но кто же он?
Не вы ль?

Ставунин

Нет, я женат — но здесь он, между нами.

(*Столетнему.*)

Садитесь же за стол, я буду к вам сейчас.

(*Подходя к Мертвилову.*)

Не можете ли вы поговорить со мною?

Мертвилов

(*принужденно*)

Que vous plaît-il, monsieur?[1]

---

[1] Что вам угодно, месье? (франц.). — *Ред.*

Ставунин

(*Вязмину*)

Оставьте нас.
Вот видите ль, заметил в вас давно я
Так много редкого ума и вместе с тем

(*Мертвилов кланяется.*)

Так много редкого презренья
К различным предрассудкам. Так зачем

(*Мертвилов кланяется.*)

Мне предисловие... Общественного мненья
Боитесь вы немного, вот одно,
О чем хотелось мне поговорить давно.
Вы сами знаете, что главное — именье
На этом свете, да?

Мертвилов

Я вас благодарю...
За мнение... но в чем же дело?

Ставунин

Угодно слушать вам? Итак, я говорю.
И говорю без предисловий, смело;
Скажите, если б вам нежданно получить
Хоть тысяч двести, так, задаром?

Мертвилов

Я вижу, что со мной хотите вы шутить...

Ставунин

Нимало.

Мертвилов

Если так... я их бы принял с жаром,
Конечно...

Ставунин

Если б вам сосватал я жену?

Мертвилов

(*немного думая*)

Жену!.. И вы...

Ставунин

Мне кажется, друг друга
Мы поняли...

Мертвилов

Но просьбу я одну
Имею к вам: мне звание супруга
Нейдет.

Ставунин

Вы можете в Карлсбад
Отправиться. Итак?

Мертвилов

Я очень рад.

Ставунин

(*берет его руку*)

Итак — я вам рекомендую...

(*Подходит к Вязмину с ним. Вязмину.*)

Брат вашей будущей жены,
Monsieur Мертвилов...

(*Оставляя их, идет к столу.*)

Постин

Я понтирую.

Ставунин и Столетний становятся друг против друга, за Ставуниным Незнакомец. Мертвое молчание.

Постин

Направо туз... Ну-ну — вы созданы
Под ча́стливой звездой.

Ставунин

(*про себя*)

Не странны ль игры рока?

Столетний

(*ему мрачно и язвительно*)

Желаю счастья вам.

Ставунин

(*грустно*)

Взаимно.

Столетний

(*тихо ему*)

Ей упрека
Не посылаю я... Желаю счастья ей.

Уходит. Вязмин хочет идти за ним, но его удерживает.

Ставунин

(*про себя*)

Да! рок привык играть минутами людей!

Незнакомец

Но игры рока — тайны рока!

Неистовая песня раздается в соседней комнате, с притоптыванием, со свистом и припевом: «Жизнь для нас копейка!»

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Гостиная Донских; вечер.

Донская

(*одна сидит на диване, сжавши голову руками, перед ней книга*)

Так страшно тяжело! Тоска, одна тоска,
И впереди одно и то же.
Больна я, но от гроба далека...
Мне жить еще судил Ты долго, Боже.

(*Бросая книгу.*)

О, для чего раскрыты предо мной
Страданьем говорящие страницы...
Зачем они насмешливо с судьбой
Зовут меня бороться?.. Вереницы
Забытых призраков роятся вкруг меня...
Мне душно, душно... Сжалься надо мною,
Дай мира мне, дай мира и покоя,
Источник вечного огня...
Боролась я... у мира сожаленья
Я не просила... я перед тобой
Горда, чиста... но есть предел терпенья.
Возьми меня, о Вечный, в Твой покой...
Страдала я... конца моим страданьям
Я не просила... я любила их.
Любила ропот гордый — но роптаньям
Пределы есть в объятиях Твоих...

Любила я... мне равное любила,
Не низшее иль высшее меня...
В обоих нас присутствовала сила
Единая палящего огня...
Любила я... свободно, безнадежно
Любила я... любили оба мы...
Мы разошлись, и знаю — неизбежно
Расстаться было нам... не созданы
Равно мы оба были для смиренья,
Любили мы друг друга, как судьбу,
Страдания, как гордую борьбу
Без отдыха, без сладкого забвенья...
Без чудных снов земного бытия...
Отец, Отец, — в борьбе устала я,
Дай мира мне и дай успокоенья...

Донская, Донской.

Донской

Marie, к вам можно?

Донская

(*выходя из самопогружения*)

Что угодно вам?

Донской

Вы помните... Про тульское именье
Я говорил третьего дня — хоть нам
Оно доход порядочный приносит,
Но что же делать?..

Донская

Что же в этом мне?

Донской

Вот видите ль, Marie: для формы просит

Мой кредитор доверенность. Одне

(*Вынимает из кармана доверенность.*)

Лишь формы... это — подписать...

Донская

Извольте.

(*Подписывает.*)

Донской

Благодарю вас, ангел мой, Marie.

(*Смотрит.*)

Вы так добры... Еще здесь слова три
Необходимы.

(*Смотрит.*)

Конечно... Позвольте
Теперь проститься с вами...

Донская

(*презрительно*)

В клуб?

Донской

(*с ужимкою*)

Увы!
Притом же вам авось не будет скучно,

(*Насмешливо.*)

И без меня найдете, верно, вы
Теперь кого-нибудь: я равнодушно
Смотрю на всё...

Донская

(*с оскорбленным достоинством*)

Что говорите вы?

Донской

(*насмешливо пожимая плечами*)

Что говорят.

Донская

Но кто же?

Донской

Пол-Москвы...
Но мне до вас нет вовсе дела,
Вы можете и жертвовать собой,
И с предрассудками бороться смело...
Я человек, известно вам, простой,
Не карточный игрок отъявленный, не гений,
Не понимаю высших я воззрений,
И предпочел давно всему покой.
Adieu, Marie![1]

(*Уходит.*)

Донская

О Боже, Боже мой...
Так судит свет... Что, если бы для света
Любовь мою я в жертву принесла?..
Как жалко бы я пала... как ответа
И даже б веры в свете не нашла...
Но я давно общественному мненью
В лицо взглянула прямо, без страстей,
Свободно предавалась — для людей
Не жертвовала я ничем...
Душой моей
Пожертвовала я давно уж воле рока...

---

[1] До свидания, Мари! (франц.) — *Ред.*

И перед ним чиста я, без упрека,
И перед ним горда я...
Скоро ль путь
Окончу я!.. Скорее бы вздохнуть
Свободнее... Скорее б духу крылья,
За гордую борьбу, за тщетные усилья
В объятиях Отца он мог бы отдохнуть.

(*Погружается в задумчивость.*)

Донская, Ставунин входит тихо.

Донская

(*быстро взглядывает на него*)

Вы! в этот час...

Ставунин

(*с покойною холодностью*)

Проститься с вами.

Донская

Вы едете... куда же?

Ставунин

На Кавказ.

Донская

Хотите вы лечить себя водами...

Ставунин

(*садясь*)

Лечиться глупо кажется для вас
И для меня... Теперь в последний раз
Мы видимся.

Донская

(*подавая ему руку*)

Расстанемтесь друзьями.

Ставунин

(*отдергивая руку быстро*)

О нет, о нет, врагами же скорей!
От вас любовь или вражду возьму я —
Но дружбу — нет...

Донская

(*отнимая руку, печально*)

Вы правы.

Ставунин

Но одну я
Имею просьбу к вам.

Донская

(*чертя по столу пальцем*)

Какую?

Ставунин

Вот видите ль... Прошедшее у вас
Изгладилось иль нет из памяти, не знаю —
Но я — я помню всё... Вы помните ли, раз —
То было вечером.

Донская

(*как бы пораженная*)

О! я припоминаю.

Ставунин

Вы пели песню — песня та была
Исполнена таинственной надежды,
Покоя смерти... Под нее бы вежды
Закрыть хотелось мне всегда... Светла
И так полна печали песня эта...
И так мольбой покоя дышит, — вы
Ее забыли?.. Я стихи поэта
Напомню вам, но звуки, звуки — вы
Найдете в памяти... они просты
И глубоки.

Донская

(*твердо и тихо*)

Я помню их.

(*Выходит в другую комнату.*)

Раздаются звуки рояля.

Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой...
Не пылит дорога,
Не дрожат листы,
Подожди немного,
Отдохнешь и ты...

Ставунин

(*по уходе Донской быстро вскакивая и схватывая стакан с лимонадом на ее столике*)

Мгновенье
В моих руках... прости меня, прости,
Источник жизни, если преступленье
Я совершил.

(*Бросает яд; слышно: «Отдохнешь и ты».*)

Да, да — мы отдохнем,
Мы отдохнем с тобою оба...

Мы жили врозь, но вместе мы умрем,
Соединит нас близость гроба.

Донская

(*входит и бросается на диван в сильном волненье, грудь ее сильно поднимается*)

Ставунин... мы расстаться навсегда
Теперь должны...

Ставунин

Кто знает?

Донская

Воля рока.

Ставунин

Всё рок один!

Донская

Нам больше никогда
Не встретиться... Быть может, я жестоко
Играла вами, вашею душой...
Что ж делать, час последний мой
Еще не близок... Душно мне.

(*Пьет.*)

Ставунин

(*вставая медленно и торжественно*)

Для вас
Теперь он пробил...

Донская

Что?

Ставунин

Ваш смертный час.

Донская смотрит на него неподвижно.

Мари, Мари... вы пили яд.

Донская

(*как бы потрясенная электрическою искрою, с радостью*)

Ужели?..

Ставунин

Ты яд пила, Мари... Безумной цели
Достиг я... я у берега.

Донская

О нет,
Не верю я... вы обмануть хотите
Меня, Ставунин... Искупленье, свет,
Свобода... Говорите, говорите,
То правда ли?

Ставунин

(*падая у ног ее*)

О да, дитя мое...
Прости меня... тебя любил я странно,
Болезненно, безумно, постоянно,
Тебя любил я — бытие свое
Я приковал давно к одной лишь цели,
К тебе одной... Не спрашивай меня,
Зачем я жил так долго, — и тебе ли

Об этом спрашивать?.. Давно, со дня
Разлуки нашей, мыслию одной
Я жил — упасть у ног твоих хоть раз...
Хоть раз один тебе спокойно в очи
Смотреть, в больные очи... Смертный час
Твой пробил... ты свободна; вечной ночи
Добыча ты — ты кончила расчет
С людьми и миром...

Донская

О! как страшно жжет
Мне грудь твой яд...

Ставунин

(*у ног ее*)

Мгновение мученья
Пройдет, дитя...

Донская

(*слабым голосом*)

Проходит... Добрый друг,
Благодарю тебя; освобожденье
Я чувствую.... почти затих недуг...
Свободна я... Владимир, руку, руку,
Дай руку мне!

Ставунин

На вечную разлуку,
Дитя мое, мой ангел... навсегда!
Прости... прости...

Донская

Владимир, до свиданья!
Свиданье есть... я чувствую... о да,
Свиданье есть... кто гордо нес страданье,
Тот в жизнь его иную унесет...

Мне кажется, заря теперь встает,
И дышит воздух утренней прохладой,
И мне дышать легко, легко... отрадой
Мне жизнь иная веет...

Ставунин

О! не умирай,
Еще одно, еще одно мгновенье,
Последнее дыханье передай
В лобзанье мне последнем, первом...

Долгий поцелуй, после которого Донская вдруг отрывается от него.

Донская

(*слабо и прерывисто*)

Пробужденье...
Любовь... Свобода... Руку!..

(*Умирает.*)

Ставунин

Умерла!

(*Склоняется головою на ее колени; потом через несколько минут приподнимается.*)

Всё конечно... теперь скорей с судьбою
Кончать расчет...

(*Бросается, но останавливается на минуту и снова падает у ног ее.*)

Нет, жить ты не могла,
Дитя мое, — обоих нас с тобою
Звала судьба!.. Но ты мертва, мертва...
Мари, Мари, — ужели ты не слышишь?..
Мертва, бледна... О Боже, голова
Моя кружится.. Ты нема, мертва...
Мари, дитя мое, мертва, не дышишь...
О, это страшно... Но твои слова
Я понимаю: до свиданья, до свиданья...
О, если бы!

(*Встает и идет медленно к дверям; тихо.*)

Ставунин и доктор Гольдзелиг.

Гольдзелиг

Ты здесь...

Ставунин

(*тихо*)

Тс!..

Гольдзелиг

Спит она?

Ставунин

(*с страшною улыбкою*)

Сном смерти.

Гольдзелиг

(*бросаясь к ней*)

Умерла!

Ставунин

Отравлена!

Минута молчания.

Гольдзелиг

(*оставляя ее руку, мрачно и грустно*)

Ее, как ты, любил я, — но роптанья
Безумны будут; над тобой, над ней
Лежит судьба.

Ставунин

Прощай.

Гольдзелиг

Навеки?

Ставунин

К ней.

Молча пожимают друг другу руки. Ставунин уходит, в последний раз поцеловавши руку Донской. Гольдзелиг садится и долго смотрит на мертвую.

Гольдезлиг

Да, это странно, странно... Налегла
На них печать страданья и проклятья,
И тем, которых жизнь навеки развела,
Открыла смерть единые объятья...

Донской

(*входя с Кобыловичем*)

Marie, вы здесь...

(*Подходит и с удивлением обращается к доктору.*)

Что с нею?

Гольдзелиг

(*спокойно*)

Умерла.

Донской

(*с удивлением*)

Как? умерла...

(*С горестью ударяя себя в лоб.*)

А я об завещанье
Не хлопотал, — седьмая часть одна
Мне по закону следует.

Кобылович

Она
Скоропостижно так скончалась... Здесь нужна
Полиция... Ничто без основанья
Законного не должно делать вам...
Мне часто говорил Андрей Михайлыч сам...

Занавес падает при последних словах.

1845

132. ОЛЕГ ВЕЩИЙ

Сказание русского летописца.

1

Вечевая[1] площадь в Новегороде Великом, посередине *вечевой* колокол.
Огнищанин[2] Словенского конца[3]. — Торговый человек и Витязь Новогородский. Толпа огнищан и торговых людей.

Огнищанин

Одно скажу: варяги все — варяги;
Князь Рюрик был — не молвлю я неправды,
Для осударя-Новгорода[4] люб,
Да все не свой.

Витязь

А кто ж его призвал,
Не осударь ли Новгород? — за море
Кто посылал? кто говорил: «обильна
И велика земля наша, да нет
Порядку в ней»? Поморские[5] варяги,
Родные нам по крови, — вот хоть ты
Нам скажешь, господин купец, — в Волине[6]
И дальше ты бывал.

Торговый человек

Вестимо так.
Без князя нет порядку... он блюдет
И мир и правду.

Огнищанин

Вам, торговым людям,
Заморские по сердцу гости — знаем!
Товары вам сбывать да покупать
Сподручнее с незваными гостями...
Тебе же, молодец честной, не с нами,
С дружиной братовать Варяжской — ты
И сам не Новгородец, а Варяг;
А каково-то нам, да черным людям
От их тиунов[7], да от разных даней.
Небось о храбром витязе Вадиме[8]
Слыхал ты? — не такой он был.

Витязь

Слыхали,
Как голову ему рассек секирой
Наш сокол — князь покойный.

Торговый человек

Тише — вот
Посадник.

Посадник

(*входя на вече и кланяясь на четыре стороны*)

Мой поклон всем четырем
Концам Новогородским... Ведомо вам всем,
Что волею могущего Перуна,
Князь Рюрик к предкам отошел... остался
По нем нам княжич Игорь, — мал и неразумен,
Да *стрый*[9] его князь Олег, старший в роде...
Ну, люди новгородские, скажите,
Вам люб иль нет князь Олег?

Витязь

Люб, вестимо.

Посадник

Речь впереди твоя, могучий витязь...
Что скажут прежде выборные люди?

Огнищанин словенского конца

Что люб — то люб, хороший Волостель!
Да не любы варяжские тиуны.

Посадник

Так вот что вам велел сказать князь Олег...
Он сам тиуном будет вам верховным,
А выборным судить по всей старинной
Новогородской воле. На полудень
Идет князь Олег, с храброю дружиной,
Добыть себе и ей великой чести
Да грецкого богатства. Кто повольно
За ним пойдет, из наших молодцов,
Тому и честь и славная добыча.

Витязь

За ним, за ним! в бою он сокол ясный;
Добудем чести!

Посадник

Мы же, братья, будем
Блюсти великий Новгород, по старой
Новгородской правде[10] — любо ль?

Народ

Любо!

2

Пир на дворе княжеском. Князь Олег за столом и подле него княжич Игорь, по правую сторону варяги, по левую новогородские витязи. Старец Скальд против Олега.

Олег

(*подымая кубок*)

Последний кубок, ратные друзья —
Последний кубок на прощанье... Выпьем
За наших предков славных, что в Валхалле[11]
Пируют с Фереей и Одином!..[12] Тщетно
Им гибелью грозит проклятый Локке[13]
В последний день — бесстрашные забыли
О гибели, начертанной звездами...
Подобно им, товарищи, забудем,
Что ждет нас гибель, может быть, в далекой,
Безвестной стороне... Скорее песню
О Бальдере[14], о юноше прекрасном,
Запой нам вещий старец... Этой песни
Не любит Локке.

Скальд[15]

Есть иные песни,
Которые приличны пиру князя;
О Бальдере печальна песнь.

Олег

Вещий,
Не нам тебе повелевать... Богами
Руководимый, пой, что знаешь сам.

Скальд

(*поет*)

Не страшися, могучий, ни воды, ни огня;
Не страшися меча и копья.

А страшись своего ретивого коня,
    В нем, могучий, погибель твоя.
Не беги женской ласки, ни веселого дня,
    Ни гречанина хитрых речей;
Словно сталь твоя грудь... но страшися коня,
    Слушай речи, могучий, моей.
Ты по белому свету промчишься грозой,
    Ряд мечей, стену копий пройдешь...
Но от века предписано грозной судьбой,
    От коня своего ты умрешь.

Олег

Что говоришь ты, вещий?

Скальд

То, что вещим
Дано провидеть.

Олег

Говори яснее.

Скальд

Сказал я.

Олег

Быть по-твоему... Коня,
Любимого коня я оставляю.

Скальд

Богам покорен ты... да будет их
Защита над тобою.

Олег

Смело в путь,
Товарищи!.. не стоит жизни тот,
Кто смерть лицом к лицу не смеет встретить.
Не так ли, княжич?

Игорь

Так, любезный стрый, —
Скажи мне только, скоро ли поедем
Мы в землю грецкую с тобой?.. Свенельд,
Ты мне давно хотел про славный грецкий город,
Где был ты, рассказать.

Свенельд

Вот видишь, княжич,
Я странствовал по чуждым сторонам,
Видал я много славных городов;
Уж подлинно, что город, то и норов...
С могучим ярлом[16] Фридборном повсюду
Мы наводили ужас... чуть, бывало,
Завидят наши корабли латинцы,
Зажгут лампады в храминах своих
И бога своего со стоном молят —
По-своему, я помню их и песню:
A furore Normannorum
Libera nos Domine!
По-нашему — «от лютости норманнов
Избави Боже!»... нас они зовут
Норманнами — что значит — северяне.

Игорь

Да то латинцы... что же ты о греках?

Свенельд

О греках, княжич?... О! в Царьграде наших
Не весть числа, там целая дружина

Варяжская — а лучшея дружины
У греков нет, как наши молодцы.[17]

Олег

Товарищи, окончим пир... Заутро
Мы выступаем.

Свенельд

Славно, ярл... на юг!

3

Угорское урочище перед Киевом, где разметаны ставки дружины князя Олега. Перед княжеской ставкой сидит под дубом князь Олег с княжичем Игорем — и перед ними стоят двое старейшин киевских.

Первый старейшина

Нам всё равно — что ты и что другой,
Аскольд и Дир такие же варяги,
А дань давать, тебе аль им с тягла,
Не всё ль равно?..

Второй

Вот прежде брали дань
Хозары... к нам пришли варяги ваши,
Осилили хозар, сказали: нам
Платите дань — платить мы стали! Ваша
Над нами воля.

Первый

Много с ними ваших
Под Цареградом утонуло... Греки
Спалили их ладьи огнем... у них
Огонь есть, словно молынья на небе.

Кто потонул, кто был побит из них —
Не многие вернулись — и князья
Сюда к нам с верой грецкой воротились.

Игорь

А что, Свенельд, за грецкая то вера?

Свенельд

Хорошая, хоть и не то, что наша.
Я, княжич, был в почетной грецкой страже,
За императором ходил я часто.
В их храмину... мне не забыть об этом
Согласном пении, об этом свете,
Подобном свету солнца, — никогда.
Клянусь Одином, никогда мне так
Молиться не хотелось...

Олег

(*старейшинам*)

Ну, идите,
Скажите вы Аскольду с Диром, что приплыли
Из Угорской земли купцы с товаром

(*Старейшины уходят*).

Олег

(*осматриваясь кругом*)

Здесь будет матерь русских городов...
Ты величав, хорош, мой красный Киев,
Ты будешь мой... Своих я посадил
В Смоленске — сам в тебе засяду... только б
Управиться с заезжими князьями.

Свенельд

Что толковать! Варяги — да не наши,
Не руссы...

Аскольд

Вы ль заезжие купцы
Из Угорской земли?

Олег

(*про себя*)

Они одни!..
Простите тени предков, но забуду,
Для цели славной, голос сострáданья.

(*Вслух*)

Да, мы купцы... а вы же кто?

Дир

Князья
Над Киевом.

Олег

Здесь нет иных князей
Окроме нас.

Аскольд

(*насмешливо*)

Откуда вы, *князья!*

Олег

От славного мы роду, — вы же что?
Ни князи, ни бояре.

А с к о л ь д

(*хватаясь за меч*)

Оскорбленье!

О л е г

Рассудит меч!

(*Бьется с Аскольдом, пока Свенельд бьется с Диром*).

А с к о л ь д

(*падая*)

Судьба!.. прощаю я
Тебе, пришелец.... по силе длани, вижу,
Ты Рюрикова рода.

О л е г

(*печально*)

До свиданья
В Валхалле, брат!..

Д и р

(*падая, пораженный Свенельдом*)

Прими меня, Спаситель,
В Твой светлый рай...

О л е г

(*влагая в ножны меч*)

Да будет мир над ними!

4

Во дворе княжеском. Князь Олег, по сторонам его княжич Игорь и Ольга прекрасная, дружина и С к а л ь д.

Олег

Во имя Фреи, дайте ваши руки
И к вещему приближтеся со мной.

(*Подводит их к Скальду*)

Благослови их, сын бессмертных. Вот
Сестра младому княжичу.

Скальд

Да будет
Благословенье неба над тобой,
Мой благородный княжич, —
И над тобою, Ольга Псковитянка.
Да будет ваш союз ненарушим, и вечен,
И крепок, как короткий меч с норманном...
Да будет он союзом равной с равным
И да останется о нем такая ж память,
Как о любви Фритьофа с Ингеборгой,
Гагбарта с Сигной, Акселя с Вальборгой.

Олег

Что ты провидишь, Скальд?

Скальд

Провижу много
Великих, дивных дел; но от чего
Бесссмертны в Валхалле побледнели,
Зачем туман облек их светлый лик?
Кто этот муж, стоящий высоко
Над ними, в беспредельной выси неба,
С таинственным крестом?.. бегут, как тени,
Бессмертные властители Валхаллы...
Иная жизнь мне веет...

Олег

Вещий, вещий,
Что говоришь ты? странны эти речи.

Скальд

Чтоб ни было — благослови вас небо!
На жизнь и смерть соединяю вас.

Дружина

Да здравствует князь Игорь с Ольгою прекрасной.

5

Поляна перед Киевом. Дружина в боевом порядке. Князь Олег, княжич Игорь с Ольгою, народ и старейшины.

Олег

(*обнимая княжича*)

Прощай, мой княжич, володей землею
По старой правде — заповедной правде...
Блюдите землю, выборные — также,
А мы пойдем с храброю дружиной
Добыть от греков золота и чести.

Старейшина

Князь осударь — да сохранят тебя
Перкун и боги!.. не боимся мы
Ни хитрых гречан за тебя, ни их
Небесного огня — боимся только
Порогов мы Днепровских.

Свенельд

Не впервой
С водой нам ладить, стрый.

Старейшина

Ты ладил с морем,
Могучий витязь, — а с Днепром не сладишь.

Скальд

Не страшись, могучий, ни воды, ни огня,
А любимого бойся ты только коня...

Олег

(быстро)

Где конь мой ратный, друзья?

Мечник

Пасется
В лугах зеленых киевских.

Олег

Храните
Его, как глаз... Прощай, мой княжич... В путь!

6

Перед Царемградом
Олег, дружина, послы Императора.

Посол

Так говорит могучий Император
Тебе, князь Олег, — отступи от града,
Да не сразит тебя молниеносным
Огнем своим.

Олег

Скажи ему, посол,
Что русский князь не знает отступать,
Что нет твердынь, и силы нет на свете,
Которые б остановили руссов;
Вольна судьба в отважных жизни... смело
Мы вступим в бой.

Посол

Не каяться бы после,
Варанг надменный... много ваших мы
Видали под стенами Цяряграда!

Свенельд

Не каяться бы вам скорей, гречане...

Олег

Коль хочет мира Император, пусть
По гривне золотой на человека
Он даст нам.

Посол

Мир и дружбу между руссов
И греков мы установить желаем;
Но хочешь брани ты... да будет брань.

(*Уходит.*)

Олег

(*дружине*)

Товарищи!.. хитрее всех гречане,
А нам и их удастся переклюкать...[18]
Рубите лес... колесами ладьи
Вооружите... и попутный ветер
Нас понесет по суше, как по морю.

Дружина

Да здравствует наш князь, наш вещий Олег!
Рубите лес — и на ладьях к Царьграду!

7

У ворот Царьграда. Олег прибивает свой щит к воротам, окруженный дружиною, вдали послы греческие с дарами и хартиями договора.

Олег

Взаимной клятвой утверждаем мы
Сей договор... Клянитеся, вы, руссы, —
Одином; вы, поляне, — вашим богом
Перкуном; я клянусь моим щитом,
Который ныне ко вратам Царьграда
Я прибиваю... Чести мы добыли
И злата также... время воротиться.

Посол

Великий Император бьет тебе челом;
Счастливого пути тебе желаем.

Свенельд

Небось, скорей бы только нас спровадить...
Что взяли, хитрые гречане?

Олег

(*про себя*)

Будут
Потомки поздние Олега помнить;
Он не умрет в бытописаньях грецких
И в песнях скальдов не умрет!

(*Дружине*)

Пора,
Товарищи! попутный дует ветер.

8

Пир во дворе княжеском в Киеве. Олег, старик, сидит за столом с дружиною, задумчиво склонясь.

Олег

Погибло много сильных, благородных,
Испытанных друзей... один, как дуб
Средь срубленного лесу, я остался...
Убеленная глава моя
Готова долу преклониться... сила
Руки моей слабеет, — может быть,
В последний раз пирую с вами,
И отойду беседовать с тенями
Друзей почивших...

Свенельд

Полно, ярл, — прожить
Еще ты можешь десять лет.

Олег

Прожить?
Да разве это жизнь? Нет, видно, надо
Мне поступить как предки;
Когда им жизнь уж в тягость становилась,
Они мечом пронзали грудь — и в море
Бросались.

Свенельд

Да, в свое родное море,
Которое при жизни пенили ладьями.

Олег

(*склоняя голову*)

А где мой скальд?..

Свенельд

Ты сам нам скальд, о Вещий!

Олег

И конь мой где? Давно истлел в земле...
Товарищи, скажите, где зарыты
Любимого коня сухие кости?
Мне дорог конь мой... молодость мою
И ратные дела напоминал он,
На нем я край родной покинул... Где ты,
Моя Торильда, с русыми власами
И с голубым, как небо, светлым взором,
Дочь севера, прекрасная сестра
Могучего Олега... На коня
Садился я... она стояла тихо,
Не пролила слезинки... долго, долго
Оглядывался я... Где конь мой, где?
Товарища найти хоть кости мне...

Старик киевлянин

За Угорским холмом, князь-осударь!

Олег

(*с трепетом*)

За угорским!

Старик

Налево от могилы
Аскольдовой.

Олег

(*вставая*)

За мной, друзья, за мной!

9

Угорское урочище.

Олег

(*наступая на череп своего коня*)

Так это он... его я узнаю,
Товарища старинного Олега.
Зачем тебя я слушал, вещий старец,
Зачем расстался с верным другом?

Князь Игорь

Стрый,
Могучий князь мой, полно о коне,
Да о бывалом плакать.

Олег

(*ужаленный змеей, которая выползла из черепа*)

О!.. так здесь
Таилась моя погибель!..

Игорь

Что?

Олег

(*падая на его руки*)

Был вещий прав... прощай, я умираю!..

Игорь

Он умер!.. Князь ваш, верная дружина,
Окончил путь.

Дружина

Да здравствует князь Игорь!

Игорь

Обычную свершите тризну, братья,
Почтите память вещего Олега.

Примечания

[1] *Вече* было народное собрание, которое, по новейшим разысканиям, существовало во всех городах славянских. На *вече* обсуждались и решались общественные дела.

[2] *Огнищанин* — то же, что горожанин.

[3] Новгород делился на *концы*. *Конец* соответствует нашему *кварталу*.

[4] *Осударь, или Государь, Великий Новгород*: так называл себя всегда этот вольный город.

[5] *Волин, Юлин* — торговый город поморских славян.

[7] *Тиун, Тивун* — судья.

[8] О Вадиме, бунтовавшем против Рюрика, осталось одно смутное предание.

[9] *Стрый* — дядя.

[10] *Правда новгородская, душа новгородская* — выражение летописей.

[11] *Валхалла* — скандинавский рай.

[12] *Один* и жена его *Фрея* — верховные скандинавские боги.

[13] *Локке* — дух зла.

[14] *Бальдер* — один из богов, погибший от козней Локке.

[15] *Скальдами* назывались у норманнов певцы, и им приписывался дар пророчества.

[16] *Ярл* — общее название норманнских вождей.

[17] У греков в службе было много норманнов, и их называли *варангами*.

[18] *Переклюкать* — выражение летописей, значит — перехитрить.

1847

133. БАСУРМАН

Драматическое представление в четырех действиях, с прологом, в прозе и в стихах.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ПРОЛОГЕ:

Иван Хабар Симский, сын боярина Образца.
Боярин Мамон.
Боярин Русалка, дворецкий великокняжеский.
Афоня, тверитянин, паломник и сказочник.
Андрюша, сын Аристотеля Фиоравенти.
Антон, немчин-лекарь.
Жид Схариа.
Дьяк Бородатый.
Селинова, вдова, любовница Хабара.
1, 2, 3 — Боярские дети, товарищи Хабара.
Один из слуг Образца.
Итальянцы, спутники Антона, слуги Образца и товарищи Хабара.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ДРАМЕ:

Боярин Образец Симский.
Иван Хабар Симский, сын его.
Боярин Мамон.
Боярин Русалка.
Аристотель Фиоравенти, итальянский зодчий.
Андрюша, сын его.
Антон, немчин-лекарь.
Печатник Варфоломей, перекрещенец.
Афоня, тверитянин.
Дьяк Бородатый.
Даньяр, татарский царевич.

14 Зак 4110

Деспот Морейский.
Янко Богемец, пестун Антона.
Жид Схариа.
Баронесса фон Эренштейн, мать Антона.
Анастасия, дочь боярина Образца.
Селинова, вдова.
Гайде, гречанка.
1 }
2 } Товарищи Хабара.
3 }
Мамка Анастасии.
Сенная девушка.
Служанка гречанки Гайде.
1 }
2 } Бояре.
Дворецкий Образца.
1 }
2 } Народ.
3 }
Старый слуга Мамона.
Слуги Деспота Морейского, бояре, греки, итальянцы, татаре и народ.

Действие происходит в Москве, в царствование Иоанна Васильевича III.

Пролог

Темная ночь. В глубине театра Москва-река. Направо — хоромы боярина Образца, налево — ряд изб. За Москвой-рекой — освещенный терем Деспота Морейского. Месяц то выходит из-за туч, то скрывается за ними.

Явление 1

Селинова

(*покрытая фатою, с фонарем, крадется тихо*)

Здесь...

(*открывая фонарь и осматриваясь кругом*)

Так и есть... Вот пышные хоромы
Боярина... а вот и этот терем,

Проклятый терем — где живет гречанка...
Добро, добро, разлучница моя!
Недолго будешь ты смеяться надо мною,
Недолго целовать тебе Хабара
В сахарные уста и к белой груди
Горячими губами прижиматься...
Посмотрим, как-то, корчась в смертных муках,
Ты будешь вспоминать его лобзанья,
Его объятья крепкие, посмотрим...
Как немочь черная по телу твоему
С отравой злого зелья разольется...
Ох, страшно, страшно... Сжалься надо мною,
Мучитель мой... За что ты разлюбил,
За что меня покинул? Или мало
Тебя любила я? Не для тебя ли
Я вдовью честь и женский стыд забыла?
И не тебя ль ждала я ночью темной
До позднего рассвета?.. Ненаглядный,
Жестокий, милый, сжалься надо мною...
Не виновата я, не виновата,
Что крепкою, что жаркою любовью
Тебя, о мой мучитель, я люблю...
Оставь ее, оставь твою гречанку...
Ее, как подколодную змею,
Я задушу... О! сжалься надо мною...

(*поет*)

Отчего, мой милой,
Разлюбил ты меня...
Поцелуи твои
Без души, без огня...
Он мне говорил:
«Тебя я любил...
Всему свое время бывает...
Не я виноват,
Что в сердце лишь хлад,
Лишь скука да хлад обитают.
Виноват или нет,
Не спрошу я тебя,
Не тебя я люблю
И умру я любя...»
Дошла ко мне весть —
Разлучница есть...

Тем лучше — я этому рада.
Умела я честь
На жертву принесть,
Сумею и месть
Найти у людей иль у ада.
Мертвый аль живой,
Верь — всегда ты мой,
Нет разлуки нам...
Никогда другой,
Ненаглядный мой,
Тебя не отдам...
Ты не слушал меня,
Ты не верил любви,
Та любовь кипятком
Разлилася в крови,
Та любовь день и ночь
Мучит душу мою,
Та любовь родилась
На погибель твою!..

Явление 2

Мамон и Русалка

(*Селинова поспешно прячет фонарь и скрывается за одною из изб*).

Мамон

Ну что, всё ли Бог милует, Михайло Яковлевич?

Русалка

Твоими молитвами, батюшка Григорий Андреевич, — а то где бы? По тяжести грехов моих меня бы и земля не снесла.

Мамон

Безгрешен один Господь.

Русалка

Господь на небеси, да еще, прибавить изволь, господин наш и всея Руси Великий Князь.

Мамон

Видно, нелюбье свое взял назад?

Русалка

Где гнев, тут и милость. Одним пожалует ныне, другим — завтра, одно потонет, другое всплывет наверх — умей только ловить, родной мой.

Мамон

Ловить — а тут из-под руки у тебя подхватывают. Что мы с тобой нажили? Избушку на курьих ножках да прозвание шептунов?.. Велика пожива! Посмотришь, то ли с другими боярами? Хоть бы недалеко взять Образца. Вишь, построил себе каменные палаты на диво, поднял так, что и через Кремль поглядывают.

Русалка

Идет слух, будто мерит корабленники зобницами. Мудрено ль? Нахватал в Новегороде — буди не в осуждение его милости сказано... Добыча воинская — добыча праведная.

Мамон

Спесив Шелонец — никого в уровень себе не ставит.

Русалка

К слову молвить: чем бы ты не чета дочке его, родом и почетом, умом — разумом и пригожеством?

М а м о н

(*быстро сжимая руку Русалке*)

Ты уж ведаешь?..

Р у с а л к а

Добро бы я один!

М а м о н

Не ты один! Да, другие многие... вся Москва!..

Р у с а л к а

Земля слухом полнится, батюшка Григорий Андреевич.

М а м о н

Чай смеются? Чай говорят: куда сунулся сын колдуньи? Что? Говорят? Скажи, голубчик, пожалуйста...

Р у с а л к а

Грех таить — похвалялся сам Образец.

М а м о н

Похвалялся, собачий сын! А ты, ты, задушевный, не сказал словечка за меня.

Р у с а л к а

Распахнулся, разразился, батюшка Григорий Андреевич; так что воеводе заочно было жарко; положил всю душу свою, все разумение на язык... говорил, что Образец сам сватов к тебе заслал, да...

Мамон

Сам не сам... что до того? (*Грозится кулаком на хоромы Образца*). Смотри, пятенщик мой! Глубоко выжег ты пятно на груди моей. Вырву его хоть с полостью мяса, насыщу его зельем зеленцом на славу, поставлю его не на простой мисе — на серебряной! Кушай себе на здоровье да похваливай повара. Ты пособишь, Михайла Яковлевич? А? Вестимо, так? Пир за пир? Ведь и тебя потчевал он хмельным на своем новоселье, а? *(насмешливо)* А братина была на весь мир! Не одну бочку меду выкатили из погребов, не одна почетная голова упала под стол. И корабленники разносили гостям на память новоселья... Был ли ты зван, дворецкий великокняжеский?

Русалка

(*злобно*)

Где нам между шелонских богатырей, где нам! Мы и цыпленка боимся зарезать.Так куда же соваться нам в ватагу этих знатных удальцов, у которых, прости Господи, руки по локоть в крови.

Мамон

Да, мы не зарежем цыпленка, которого можем задавить, а натянем лук и пустим калену стрелу в коршуна, что занесся высоко. Любо, как грохнет на землю! Греха таить нечего: обоим нам обида кровная, — дело овечье протягивать голову под нож. Нет! око за око, зуб за зуб! А по-моему, так за один зуб не оставить ни одного, за один глаз вырвать оба, хоть бы пришлось душу отдать сатане.

Русалка

Не утаю от тебя, задушевный, что я уж обделал дельце... Ведаешь, едет к господину нашему от немцев лекарь Антон, вельми искусный в целении всяких недугов. Остается ему только полдня пути.

Мамон

Что ж из этого?

Русалка

Да вот что, задорная голова! У Образца новые каменные палаты поставлены на славу и, прибавить изволь, на его голову. Нашему господину и Великому Князю потребно, чтобы врач, ради всякого недоброго случая, от чего Господи оборони Ивана Васильевича на всяк час живота его — слова из речи не выкинешь, от слова не сделается — потребно, говорю я, чтобы врач находился неподалеку от его хоромин. Из них в палаты Образца будто рукой подать. То и подобает лекаря Антона, поганого немчина...

Мамон

Поставить в каменные палаты Образца?.. И ты обделал это, задушевный! Ну, кланяюсь тебе до лица земли... Немчин для Образца хуже нечистого... Удружил, нечего сказать, удружил!

Русалка

Полно, боярин, горланить-то. Вишь, из хором-то выходят... Притаимся-ка...

(*Уходят*).

Явление 3

Те же. Афоня тверитянин. Андрюша (*с фонарем*).

Афоня

(*немного навеселе*)

Слава, доброму боярину слава,
И боярышне-красавице слава!

А н д р ю ш а

Ну, да и тебе тоже слава, Афоня!

А ф о н я

То-то вот оно и есть. И царскому зодчему слава!

А н д р ю ш а

Ну, полно славить-то. Отец и без славы обойдется. Пойдем-ка лучше поскорее. А покаместь расскажи-ка мне — ты не досказал, как в индусах войну ведут.

А ф о н я

Ой, ты, орленок! Все тебе про войну, да про войну... Не до войны теперь... Подъели, злодеи, моего боярина, подъели...

А н д р ю ш а

Ну что за беда, что немец у боярина будет жить... Ведь и я немчин.

А ф о н я

Тьфу, тьфу! Что ты! Отец-то твой строит храм Пречистой и тебя крестил в православную нашу веру... А ты, немчин, — басурман.

А н д р ю ш а

Да что же такое басурман?

А ф о н я

Да вот что: и в индусах я был, оллоперводигер, и ко гробу Господню ходил, а ничего хуже немчина не встретил.

(Те же. Раздается песня ватаги Хабара.)

Уж как нет такого молодца,
Как Владимира Елизаровича.
Он сам с ноготок, борода с локоток,
От земли не видать, как по улице идет,
Бородою же своей целу улицу метет.

А ф о н я

Эва! Наши гуляют!

А н д р ю ш а

Уж этот Хабар! Спеленал дьяка, да и тешится.

А ф о н я

Поделом вору и мука. Не ходи объявлять о немчине. Да и что же такое? Угостили его честно — на славу, худа ему никакого не сделали...

Ватага Хабара врывается с шумом. Впереди Х а б а р тащит спеленутого д ь я к а Б о р о д а т о г о.

Х а б а р

Стойте, братцы. Пора ему.

Д ь я к

Пустите душу на покаяние!..

Хабар

(дразнит его)

Агу, моя крошка, агу!..

Один из ватаги

Ну, пусти его в самом деле, Хабар. Вдоволь натешился. Пора и по домам.

Хабар

Эх вы, бабы! По домам... Не разгульная в вас душа молодецкая! Пей, гуляй и меры не знай!.. Ночь напролет до рассвету Божьего, колыхайся, гуляй, воля-волюшка... *(распеленывает дьяка).* Ну, ступай, мое дитятко, на все четыре стороны, да смотри, не поминай лихом.

Другой из ватаги

Да не ходи вдругорядь послом.

Дьяк

Пустите душу на покаяние!..

Хабар

Эк наладил одно... да ты не сердись, Владимир Елизарович... что сердиться? Не здорово. Выпей-ка лучше.
Эх ты, чарочка моя, ты серебряная...

Дьяк

Выпить-то не мешает.

Хабар

(подавая флягу)

Пей, да не поминай лихом! *(увидя Афоню)* А! И ты здесь, балагур! Хочешь вина?..

Афоня

Много доволен твоей боярской милостью.

Андрюша

У него уж и так язык-то насилу двигается.

Хабар

Однако всем вам, в самом деле, пора по домам.

Третий из ватаги

Только не тебе! Знаем, знаем... Ой ты, Чурила Пленкович! Чай вплавь через реку к гречанке, а?..

Афоня

(быстро хватается за балалайку и начинает петь, вся ватага подхватывает)

Как в Москве то было белокаменной,
При царе-то Иване Васильевиче,
Уж как жил-то был добрый молодец,
Что Иван-то сударь Васильевич...
Хабаром его звали люди добрые,
А Ванюшей девки пригожие.
Уж как не было прохода от него
Красным девушкам, молодушкам...
Только та была беда, был уж грех такой,
Что любил он, молодец, по чужим женам ходить,
По чужим женам ходить, сладки речи говорить.

А не во гнев твоей боярской милости буди сказано, не сносить тебе буйной головы.

Хабар

Эх! Была не была!.. Ну, по домам, братцы. Провожайте Афоню до дому.

Все расходятся с песнью. Хабар остается один. Мамон и Русалка выходят. Селинова тоже прокрадывается.

Хабар

(подходя к реке)

Пора... пора... уж близок час рассвета
И в тереме огни погасли... Гайде,
Красотка Гайде ждет меня давно...
Эх! Пусть пророчат, что хотят... Вся жизнь
Не стоит поцелуя свежих губок.
На то и молодость, чтоб распахнуться
Всей удалью, всей силой молодецкой.
А то живи, как все, и день тяни за днем,
Рассчитывай свой каждый шаг за шагом.
Не стоит!.. Ну, пора, однако...

(Всходит на берег. Селинова останавливает его за охабень).

Селинова

Не пущу!

Хабар

Кто смеет удержать меня?

Селинова

Да я...
Уж не видать тебе твоей гречанки,
Разлучницы моей. Убей, а не пущу.

Х а б а р

(останавливая ее)

Прочь! Что тебе?..

С е л и н о в а

О, сжалься надо мною,
Не мучь меня, убей уж лучше разом.
Чем виновата я? Что я тебя люблю!
Ведь ты любил меня.

Х а б а р

И разлюбил... Ну что же?

С е л и н о в а

Ты лед, ты камень.

Х а б а р

Очень может быть,
Но мне пора. Прощай.

С е л и н о в а

О, сжалься, сжалься!

Х а б а р

Не вечно светит солнышко по-летнему,
Не вечно горяча любовь... прощай.

(бросается в реку).

Селинова

Так будь же проклят и с твоей гречанкой!
О, мщенья, мщенья — ей, тебе, всем людям.

(Рассветает).

Явление 4

Мамон и Русалка.

Мамон

Ты хочешь мщенья?

Селинова

Кто ты?

Мамон

Что за дело!
Ты хочешь мщенья? Говори.

Селинова

Хочу...

Мамон

Идем же с нами.

Русалка

Погоди, боярин.
Смотри... вон на мост взъехала кибитка.
Ты знаешь ли, кто в ней? Антон немчин.

М а м о н

Ужели?

Р у с а л к а

Видишь сам.

Явление 5

Те же. А н т о н, ж и д и их спутники.

Ж и д

Цестные господа!
Высокоименитые бояре!
Я к вам привез из дальних фряжских стран
Немчина-лекаря, Антона.

М а м о н

Поздравляем
С приездом гостя.

Р у с а л к а

Провести в хоромы
Позволит он *(стучится в калитку Образца).*

А н т о н

Кто эти люди? Страшны
Их лица.

(Дворецкий и толпа челядинцев Образца отворяют ворота).

Д в о р е ц к и й

Кто стучится к нам?

Русалка

По повеленью господина Князя
Великого, приезжему немчину
Антону-лекарю отведены
На житие боярина хоромы,
И чествовать ему того Антона
Указано как ближнего и гостя.

Дворецкий

Немчин!

Один из слуг

Спаси Господь нас... Басурман!

(разбегаются, оставя растворенные ворота).

Русалка

(идя вперед)

Прошу пожаловать...

Антон

Какая встреча!

ДЕЙСТВИЕ 1

Сцена 1

Утро на Москве-реке. По ту сторону реки Кремль с недостроенными стенами. Аристотель Фиоравенти. За ним идут обнявшись Антон и Андрюша.

Аристотель

Ну, слава Пресвятой Мадонне — ныне
Я не один в чужой земле. Господь

Благослови прибытие твое,
Названый сын мой. Подвиг благородный
Ты принял на себя, отваги бодрой
Ты полон...

Антон

Так, отец... но эта встреча!..
Но эта казнь, которой я потом
Свидетелем невольным был...

Аристотель

Потише,
Потише, юноша. Небесный гром
Не раз селенья в пепел превращает,
Но воздух им для жатвы растворен...
Ты встречен был в Москве как иноземец,
И тяжело тебе, я это знаю,
Но вспомни, друг, — давно ль еще возникла
Держава Иоанна и давно ли
Заброшены зачатки государства...
Не Русь одна не терпит иноземцев,
Великий Рим, отечество мое,
Во дни борьбы, величия и славы
Суровостью к народам отличался...
А казнь литвинов... страшно и жестоко,
Ты говоришь? Но разве легче в нашей
Италии благословенной казни?

Антон

Как горячо Москву ты защищаешь,
Как будто родину.

Аристотель

(смущаясь)

Узнай, Андрюша,
Здорова ль синьорина Анастасья.

Андрюша

Ах, знаешь ли, Антонио? синьоре,
К которой я иду теперь, сказали,
Что ты с рогами и с ужасной харей.

Антон

(краснея)

Так разуверь ее, мой милый брат.

Андрюша

Уж я и так разуверял.

Антон

И что же?

Андрюша

Узнаешь после.

(убегает.)

Аристотель

Не дивись, мой сын,
Что не чужой Андреа мой средь русских,
Что для него не заперты равно
И терем девичий, и образная...
Он русский... Не дивись... его ты видел,
Фиоравенти им гордится... он
Его созданье лучшее... Пускай
Самолюбив я, горд, но сына, сына
Люблю я и об участи его
Я думаю... Москва — мой гроб, я знаю.
Ее царю я нужен; инженер,
Литейщик, зодчий, каменщик, кирпичник,
Здесь для него я всё — и силы нет,
Волшебства нет, которое б меня
Исхитило отсюда... Отовсюду

Я окружен, сетями весь опутан,
Но царь его, дитя мое, ласкает,
И будет Аристотелев Андрей,
Быть может, полководцем...

А н т о н

Отчего же
Не будет он художником, как ты?

А р и с т о т е л ь

Нет, не бывать другому Фиоравенти
Художником... Потомству передать
Одно свое хочу я имя... здесь,
На стороне, чужой мне, буду жить я
В создании великом и могучем.

А н т о н

Мечтаешь ты, как юноша.

А р и с т о т е л ь

Быть может...
Но знаешь ли, каких ночей бессонных,
Каких годов тяжелых, адских пыток
Мечты мне стоят... знаешь ли, дитя?
О, слушай, слушай, расскажу тебе
Свои страданья и свои надежды,
И ты поймешь меня, поймешь, я верю.

А н т о н

О, говори, отец мой, говори!..

А р и с т о т е л ь

Еще в Италии благословенной,
Моей отчизне, я изнемогал

Под бременем тоски невыносимой,
И мудрено ль? Я — человек,
Ничтожное и слабое созданье,
Хотел создать Творцу вселенной храм,
Его достойный... Призывал на помощь
Прошедшие века, народы вызывал,
Да принесет мне каждый лепту
На построенье храма Богу. Предо мною
Явились Парфенон, Альгамбра, Колизей
И встали, как живые исполины.
И каждый говорил: «Какой же храм
Создашь ты Богу, если мы гроба
Для человека только?» Страшно было
Моей душе, кружилась голова
И сердце трепетало... Я впадал
В безумие... Решился я бежать
Из родины прекрасной, но куда?
Султан турецкий звал меня; зачем
Пошел бы я? Серали, бани строить,
Когда в душе моей Господь гляделся,—
И я отвергнул золото султана.
Затем был новый вызов. Иоанн
Московский приглашал меня построить
Пречистой Деве храм, и я решился.
О, если б только знал ты, сколько мук
Я перенес... Я стал рабом поденным
Железной воли Иоанна. Строил
Ему бойницы, пушки лил... всё это
Для храма, для созданья моего.

Антон

Великий!

Аристотель

И восстанет храм
На диво будущим векам
И много, много поколений
С благоговением придут
И труд художника с любовью помянут.

А н т о н

Ты прав, отец... тебя не обманул твой гений,
Но что здесь за толпа сбирается?..

А р и с т о т е л ь

А вот увидишь.

Те же; толпа народа сбирается у реки и разделяется на две половины; выходят два мальчика и схватываются бороться. Скоро вся толпа приинимает в этом участие. Антон и Аристотель смотрят. Является А н д р ю ш а.

А н д р ю ш а

Батюшка, Антонио!
Вы здесь! Прекрасно: нынче будет схватка
Мамона с Хабаром...

А р и с т о т е л ь

Что синьорина?

А н д р ю ш а

Да ничего, — сидит себе в светлице,
Боится басурмана, как всегда.

К р и к и в т о л п е

Мамон! Хабар!

М а м о н и Х а б а р нараспашку в красных рубашках идут и кланяются на все четыре стороны.

А н т о н

Какие молодцы!

Хабар

Здравствуйте, братцы-товарищи!

Толпа

Здрав будь, молодец!

Хабар

Ну, отмерен ли заповедный круг?

Один из народа

Отмерен, боярин, отмерен добрым молодцам на потеху... Ну, сходитесь, бояре, да поцелуйтесь, честь-честью.

Хабар и Мамон сходятся и целуются. Тишина. Они меряют друг друга глазами.

Антон

Бьюсь об заклад, что Мамону не сдобровать.

Аристотель

Видишь ли ты, как Хабар махнул платком к терему Деспота Морейского? Там сидит у окна чернокудрая гречанка Гайде и ждет условного знака.

Мамон и Хабар борются. Мамон падает. Хабар подает ему руку и поднимает *его.*

Антон

Молодец! Настоящий рыцарь!

Аристотель

А вот и сам боярин Образец, твой хозяин.

Образец выходит и становится в стороне.

Толпа

(Мамону)

Нечестно! Поклонись, молодец, голова не свалится.

Мамон кланяется принужденно и начинает снова бой. Хабар поражает его в грудь, и он падает.

Толпа

Слава Хабару!

Слуги Мамона

Боярин!.. Боярин не дышит.

Антон

Здесь нужна моя помощь. (*Подходит — слуги загораживают ему с ужасом дорогу*). Пустите, я осмотрю его.

Старый слуга

Как бы не так! Басурман!

Толпа вся отступает от Антона, он отходит с отчаянием к Аристотелю.

Аристотель

(*подходя с ним к Образцу*)

Что сделал бы ты, боярин, если бы сын твой не поднял своего противника?

Образец

Что? Отрекся бы от него.

(*поспешно удаляется.*)

Антон

И этот бежит от меня.

Аристотель

Время и терпение. Но пора во дворец Великого Князя.

Сцена 2

Комната Антона.

Антон

(*входит убитый и грустный*)

Славный день! С пользою употребленный день, нечего сказать! Лечил от типуна попугая великокняжеского, да заставлял высовывать языки придворную челядь! То ли пророчил я себе? Где же дело на пользу на пользу братий моих? Где же труд, где же человеческоe участие?

Стук в двери.

Кто там?

Голос

Бартоломей, переводчик государя и цезаря Иоанна.

Антон

Войдите! (*про себя*) Несносный болтун!

Антон, Бартоломей (полуотворяя дверь).

Б а р т о л о м е й

Я, если смею доложить вам, нижайший слуга, книгопечатанник Бартоломей.

А н т о н

Знаю, знаю.

Б а р т о л о м е й

Я не один... со мною прекрасная молодая вдовушка, у которой пальчики можно перецеловать сто раз. Позволите...

А н т о н

Просите.

(*надевает богатую епанчу*).

А н т о н, Б а р т о л о м е й, С е л и н о в а (она вся дрожит и бросается к ногам Антона).

А н т о н

Встаньте, встаньте... что вам угодно?

С е л и н о в а

(*с рыданиями*)

Не встану, добрый человек, пока не сделаешь. Будь отец, брат родной — помоги мне, не то наложу на себя руки, утоплюсь...

А н т о н

Объясни, Бартоломей, чего она хочет от меня?

Б а р т о л о м е й

Вот в чем дело, почтеннейший синьор... Это самая та женщина, я, кажется, докладывал вам в первый день вашего приезда, высокопочтеннейший господин, что любит сына здешнего хозяина.

С е л и н о в а

Правда, правда! Для него забыла я закон, когда был жив покойник мой, забыла род и племя, лихих соседей, стыд, забыла, есть ли в людях другие люди, кроме его. Ему вынула душу свою. Когда он сманивал меня, выводил меня из ума, он называл своим красным солнышком, звездою незакатною, такие речи приговаривал: в ту пору мила друга забуду, когда подломятся мои скоры ноги, опустятся молодецкие руки, засыплют мои глаза песками, закроют белу грудь досками. А теперь, кабы ты ведал, добрый человек, теперь у моего камешка самоцветного, лазоревого — ни луча нету, ни искорки; у моего ли друга у милого нету правды в ретивом сердце: говорит он — все обманывает. Полюбил мой сердечный друг другую полюбовницу, что живет в терему у брата Фоминишны. А чем она, разлучница, лучше меня? Разве тем она получше, что стелет, убирает Андрею Фомичу постель шелкову с переменными друзьями, с налетными молодцами. Заворожила себе окаянная гречанка кудри моего друга... С той поры злодей над моей любовью издевается, на мои ласки говорит такой смешок: любит душа волюшку, а неволя молодцу укор; ты отстань, отвяжись от меня, — не отвяжешься, я возьму из костра дрова, положу дрова середи двора, как сожгу твое тело белое, что до самого до пепелу, и развею прах по чисту полю, закажу всем тужить, плакати... Что ни делаю, не могу отстать, по следам его хожу, следы подбираю, сохну, разрываюсь. Видишь, рада бы не плакать; плачут не очи, разрыдалось сердце. Сжалься, смилуйся, добрый человек, отведи его чистою и нечистою силою от гречанки поганой, привороти его опять ко мне. Возьми за то ларцы мои кованые, казну мою дорогую, жемчуги бурмицкие, — возьми все, что у меня есть: отдай мне только друга прежнего, ненаглядного.

Антон

(*тронутый*)

Но чем же я могу помочь здесь?.. Видит Господь, что жаль тебя мне, но ничем я не могу помочь тебе. Я верю, что силы есть и чары есть, но эти неведомы мне чары.

Селинова

Так ничем
Не хочешь ты помочь мне?

Антон

Не могу.

Селинова

(*тихо*)

Послушай. Говорят, с самим нечистым
Ты знаешься... да что за дело мне?
Ну, хочешь ли, тебе отдам я душу,
Отдай мне только Хабара.

Антон

Увы!
Я не могу — мне жаль тебя, но чар
Не знаю я.

Селинова

Так будь же проклят, слышишь?
Ты не хотел помочь мне — будь же проклят.
Сама я помогу себе... Не жить
Моей разлучнице.

(*быстро уходит*).

Антон

(*строго*)

Варфоломей!
Уж не тебе ль обязан я молвою,
О том, что я с нечистым знаюсь...

Варфоломей

Мне?
Помилуйте, высокородный лекарь,
Да смею ль, да могу ли я?

Антон

Однажды
И навсегда: не сметь водить ко мне
Таких больных. Я лекарь, не колдун.
Ну, убирайтесь, господин печатник.

(*Варфоломей кланяется низко и ускользает*).

Безумные невежды!.. Дело Божье
Они смешали с колдовством. И я
Безумный тоже... Для чего оставил
Я край родимый мой, старушку мать?
Что здесь я встретил? Милости, богатства,
Да, но зато прозванье чародея
И, хуже что еще, прозванье басурмана.
Я басурман, и для меня закрыты
И дружба и любовь... И та, кого я,
Мечтатель сумасшедший, обожаю,
Меня чуждаться будет, не захочет
Со мною слова молвить.

Стук.

Кто там?

Голос Андрюши

Я.

А н т о н

(*отворяя двери и обнимая Андрюшу*)

Добро пожаловать, названный брат мой!
Мой милый брат, я жду тебя давно.

А н д р ю ш а

(*у него в руках итальянская мандолина*)

А я сейчас от милой синьорины.
Всё о тебе мы говорили с ней.

А н т о н

Всё обо мне... И что ж? Меня она
По-прежнему чуждается, боится?

А н д р ю ш а

Ну, не совсем... Сказать тебе — да только,
Смотри, ни слова никому... Она
Свое окно украдкой открывала
И на тебя смотрела.

А н т о н

Полно, полно!

А н д р ю ш а

Чего тут полно... Пел сегодня много
Я песен ей Италии святой —
И слушала она, поникнув грустно
Своей головкой русой... Об заклад
Готов я биться — синьорину Анастасью
Заколдовал уж басурман, послушай,
Какую песню ей сегодня пел я...

(*поет*)

Спишь ли ты или нет,
О, мой ангел прекрасный,

Но в окне твоем вижу я свет...
Спишь ли ты или нет?
Я терзаюсь тоскою ужасной.
Отвори же балкон,
Отзовись на призванье,
На тревожный, мучительный стон...
Отвори же балкон,
Улыбнись же, как утра сиянье.
Я безумно люблю,
Я страдаю, страдаю...
Отзовись на любовь, я молю,
Я безумно люблю,
От любви замираю и таю.

Антон

И что ж она?

Андрюша

Тебе я говорю,
Что, всё поникнув русою головкой,
Она сидела...

Стук.

Антон

Кто там?

Голос Хабара

Это я,
Иван, а по прозванию Хабар.

Андрюша

(*тихо*)

Брат синьорины.

А н т о н

Знаю, знаю.

(*отворяет двери*).

Привет мой гостю.

Х а б а р

Некогда тебе
Мне пересказывать, зачем к тебе
Пришел я в поздний час... Тебя чуждался
Я, как и все... Но Хабару нужна
Твоя услуга. Выручи, спаси,
Будь братом мне.

А н т о н

(*подавая ему руку*)

Готов.

Х а б а р

Спаси ее,
Спаси мою ты Гайде... Ради Бога,
Скорее...

А н т о н

(*опоясывая шпагу*)

Я готов. Советом иль рукою
Я твой.

Х а б а р

Да будет так, за мною!

(*Быстро уходят*).

Сцена 3

Палаты Деспота Морейского. Повсюду ковры и украшения, все убранство в восточном вкусе. Направо ниш с открытым бархатным пологом. На постели лежит Гайде с распущенными волосами, на коленах стоит Андрей Палеолог, Деспот Морейский. Слуги бегают и суетятся.

Деспот

Гайде, Гайде!.. Не слышит... Да скажи хоть слово, Гайде!

Гайде

(*отворачиваясь от него*)

У... ми... раю.

Деспот

Гайде... Все мои драгоценности тому, кто возвратит тебя к жизни...

Крики слуг

Лекарь! Господин лекарь!

Деспот

(*вскакивая*)

Лекарь... Где он?

Слуги

Господин Антонио... Господин лекарь.

А н т о н

(*входит быстро*)

Где больная?

Д е с п о т

Высокородный господин лекарь! Вот она, вот она! Спасите ее! Все мои сокровища...

А н т о н

Они мне не нужны (*подходит к нишу и берет за руку Гайде*).

Г а й д е

(*приподымаясь и смотря на него, слабым голосом*)

Господин врач... Если есть еще время... возвратите мне жизнь... жизнь... (*падает снова*). Я так молода... мне еще хотелось бы пожить.

А н т о н

(*держит долго ее руку; про себя*)

Отрава (*вынимает склянку из кармана и наливает в чашку*). Пейте.

Д е с п о т

(*тихо*)

Есть ли надежда?

А н т о н

(*пристально смотря на Гайде, которая пьет*)

Она спасена.

Д е с п о т

О, благодетель... вся казна моя...

А н т о н

Повторяю вам, она не нужна мне... Смотрите: румянец показался на щеках ее... она спасена.

Г а й д е

(*подымаясь и открывая глаза*)

Боже! Свет... жизнь!.. (*схватывая руку Антона*). Мой спаситель!..

Д е с п о т

Гайде... (*прыгая от радости*) ты жива, Гайде... Дай же поцеловать твою ручку, моя Гайде, моя красавица...

Г а й д е

(*с отвращением подавая ему руку*)

На!

Д е с п о т

Теперь вниз, к собеседникам (*пощелкивает пальцами*). Пир горой! За мною, мой спаситель... Мы отпразднуем здоровье нашей царицы. Если б можно, я заставил бы весь мир веселиться с нами (*тащит Антона и доходит до дверей*).

Г а й д е

Поди сюда.

(*он подбегает на цыпочках*).

Деспот

Что угодно, моя царица?

Гайде

(*снимая с себя золотую цепь*)

Ему — моему спасителю.

Деспот

То-то умница... Я хотел, да не знал, что подарить... раздумье брало... Ну, еще ручку на прощанье... хоть мизинчик.

Гайде

Некогда, тебя дожидаются. Пошел!

Деспот уходит с Антоном. Остаются только женщины.

Гайде

Выдьте *(одной из них)*. Останься. *(Все выходят. Одна подходит, бледная и трепещущая)*. Что сделала я тебе?

Женщина

(с рыданиями падая к ногам ее)

Прости... прости... меня подкупила молодая вдова, Селинова.

Гайде

(тихо)

Это останется между нами и Богом... Моли, чтобы он простил тебя, а я... я тебя прощаю.

Стук в потайную дверь.

Слышишь... встань... он тебя застанет...я прощаю. Поди, отвори ему.

Женщина отворяет потайную дверь.

Те же. Х а б а р (входит мрачный и прямо к постели).

Г а й д е

Ко мне, сюда, бесценный мой, сокровище мое! *(Хабар бросается к ней).* Без тебя я умерла бы. Ведь ты прислал мне лекаря.

Х а б а р

Я, конечно, я... Готов бы и в преисподнюю для тебя, прости Господи. Ненаглядная моя, жемчужина моя...

Г а й д е

Теперь будешь ли называть лекаря поганым басурманом, колдуном?

Х а б а р

О, теперь готов побрататься с ним. Что ж? Скажи, не утай от меня, чем ты захворала, моя ластовица? Не зелье ли уж?

Г а й д е

Да, зелье, только не от чужой руки... Сама всему виновата...Пожалела серебряную черпальницу, да взяла медную... В сумраке не видала, что в ней ярь запеклась, и зачерпнула питья. Немного бы еще, и глаза мои закрылись бы навеки. Видит Бог, света мне не жаль... жаль тебя одного. Поплакал бы над моею могилкою и забыл бы скоро гречанку Гайде.

Х а б а р

Нет, не томил бы очей своих слезами, а велел бы засыпать их желтыми песками. Сосватала бы меня гробова доска с другою, вечною полюбовницею.

Г а й д е

(прижимая его)

Милый!

Х а б а р

(поднимая голову)

Чу! Шумят внизу — иду!

Г а й д е

Пускай их пируют себе... Мой названый царек теперь без ума от хмеля, а ты, мой царь, мой господин, подари хоть два, хоть три мгновения своей рабыне.

Х а б а р

Пируют? А меня нет! Не могу! Прощай, голубица моя! Темны ночи наши!

(Бросается быстро вниз).

Г а й д е

Твое веселье — мое...

(Зовет женщин).

Эй! Дайте мне сюда дорогие одежды... Я иду вниз, на пир.

(Уходит с женщинами).

Сцена 4

Застольная палата. Огромный стол, уставленный стопами вина. Множество гостей — русских бояр, итальянских художников, греков. Все навеселе. Более всех дьяк Бородатый и печатник Варфоломей. Входят Деспот и Антои с золотой цепью.

Все

А вот и хозяин.

Дьяк Бородатый

Что, господине Деспот, твоя голубица, Гайде Андреевна?

Итальянцы

Можно ли поздравить с выздоровлением синьоры?

Деспот

Спасена, спасена *(указывая на Антона).* И вот спаситель.

Дьяк

Чем же изволила захворать сударушка?

Деспот

Покушала неловко... Теперь все прошло, все ладно, ребята. Ну-ка, по-византийски, чашник за здоровье лекаря!

Гостей обносят виином.

Бояре

Во здравие немчина Антона.

Дьяк

Благо ему от росы небесныя и от тука земнаго.

Один боярин

(дьяку)

Грех творим, Владимир Елизарович... Ведь поганый басурман — колдун. Добро бы фряз!

Итальянцы

За здоровье нашего Антона!

Другой боярин

Посмотри-ка в чашу: не дразнит ли кто языком. Боюся...

Деспот

Выпили?

Другой боярин

(зажимая стопу ладонью)

Вот-те порукой... Великий выпили.

Подносят кубок Антону; он касается его губами, кланяясь всем. В это время подскакивает к нему полупьяный Варфоломей и вертится около него.

Антон

А! И ты здесь?

Варфоломей

Как же, высокопочтеннейший господин. Я, кажется, докладывал вам, что я здесь человек домашний. Гм! Не правда ли, какой умный, какой доблестный человек Деспот Морейский.

Антон

Разве потому доблестный, что доблестно осушает ковши.

Варфоломей

Тише, тише, высокопочтеннейший. Не погубите меня. *(Подмигивая)*. А видели вы красоточку? Что, солгал?

Антон

Впервой сказал правду.

Те же. Хабар.

Голоса

А! Хабар! Хабар Иван Васильевич!

Деспот

Дорогой гость...

Хабар

Здорово, Андрей Фомич! Давай вина.

Деспот

Люблю молодца за обычай. Давайте сюда заветную красоулю.

Приносят красоулю необыкновенной величины.

Хабар

(выпивая одним залпом)

Вот как у нас по-русски.

Все

Ура! Молодец!

Хабар

А ты что не пьешь, названый брат? Эх ты, немчин жиденький!

Антон

Я врач, я должен быть трезв всегда, готов на всякий случай...

Деспот

Вот и моя Гайде!

Гайде с толпою женщин. Все бросаются к ней.

Дьяк

Здравия и долголетия тебе, Гайда Андреевна, звездочка самоцветная.

Итальянцы

Да здравствует синьора!

Гайде садится с Деспотом.

Деспот

Ну-ка, угостить вас, братцы, греческими плясками.

Пляски гречанок. Во время их Дьяка начинает подергивать в присядку; Варфоломей сидит и семенит ножками; бояре поглаживают бороды. Гости все пьют.

Хабар

Что ж мы! Пили за здоровье благородного хозяина, а не честили благородного братца его, Монуила Фомича, что стережет для него Константинополь град на заветных камешках.

Деспот

О, братцы! Тяжела ноша царская, ведь Византийская империя не то что ваше Московское княжество. Вашу землишку всю в горсть захватить.

Дьяк

Наша земля и так в длани Божьей, да в могучей руке Ивана Васильевича.

Хабар

Спасибо, Елизарович, выручил! Никогда еще так ладно и складно не говорил. Поцелуемся же и выпьем во славу и красование нашей землицы. Прибавь еще, что матушка наша, Русь святая, растет не по годам, а по часам, а Византия малилась, малилась до того, что уложилась вся в господине великом, Деспоте Морейском, Андрее Фомиче. *(Общий смех).*

Деспот

А чем же ваш московский князек и вышел в люди, как не Фомичами?

Х а б а р

(подымаясь с места)

Что?

Д ь я к

Не подобает слушать такие срамные речи.

Д е с п о т

Знаете ли вы, дураки, что у меня в кармане Византийская империя?

Х а б а р

Невеличка!

Д е с п о т

Я сулил вашему Ивану мое византийское царство.

Х а б а р

(запевает)

Летит журавль на небе.

Д е с п о т

Молчи, щенок! Мигом велю заковать тебя в железа.

Х а б а р

(гордо подбоченясь и засучивая рукава)

Ну-ка!

Деспот

Просил у меня Иван...

Хабар

Лжешь!.. Русский царь просить не станет *(плескает ему вином в лицо).*

Гайде

Хабар!.. *(падает без чувств).*

Антон

Прекрасно! Кто не умеет заставить уважать себя, тот сам не стоит уважения *(бросает к ногам Деспота золотую цепь).*

Русские

Любо, немчин! Любо, Хабар!

Дьяк

За всю Русь кланяемся тебе, Иван Васильевич!

Деспот

Греки, мои греки! Вступитесь за меня! Обида...

Греки бросаются на Хабара, он взмахивает скамьею; все отступают.

ДЕЙСТВИЕ 2

Сцена 1

Светлица Анастасии. М а м к а и сенные девушки сидят и прядут. А н а с т а с и я одна сидит пригорюнившись у оконца.

М а м к а

Что это с тобою, родная моя? Ты вся горишь, сидя вздрагиваешь и говоришь сама с собою непонятные речи?

А н а с т а с и я

Худо можется, мамушка, сама не знаю, с чего.

М а м к а

Уж не сглазил ли кто тебя? Не нанесло ли ветром? Выпей-ка, душечка, богоявленской водицы, немочь будто рукой снимет.

А н а с т а с и я

Нет, мамушка.

М а м к а

Отчего же нет, дитятко?.. Эх, выпила бы, право... уж какая ты у меня... Эй, вы, девушки! Потешьте-ка боярышню, спойте-ка песенку.

О д н а и з д е в у ш е к

(поет и прядет)

Как отдали девицу
Батюшка да матушка
Замуж за немилого
В чужую сторонку...

В той ли во сторонке,
В той ли в чужедальной
Сгибла да пропала
Красота девичья...
В той ли во сторонке,
В той ли в чужедальной
Выплакались очи
Горючьми слезами.

В продолжение песни Анастасия рыдает.

Мамка

Что с тобою, дитятко? Что с тобою? *(Девушке).* И ты, дура какая, прости Господи, вздумала петь какую песню. Лучше-то ничего не выдумала. Господь с тобою, дитятко, Господь с тобою; ну кто отдает тебя в чужую сторону? Ты у нас одна, как синь порох в глазу: родной батюшка тобой не налюбуется, братец родной души не слышит, чужие люди похваливают... Эх ты, мое дитятко милое, неразумное! Отдадим мы тебя за боярского сына, круглолицего, белолицего, нарядим в парчу с золотом, проводим с почетом и с хлебом с солью.

Анастасия

Полно, полно, мамушка.

Мамка.

Эх, золото мое! Ну, о чем ты плачешь, не стыдно ли? Уж, право, думаю, думаю, да и ума не приложу, что мне с тобой делать. Не привести ли уж раз ворожею? Намнясь видела я такую ворожею, что всякую лихую болесть заговорит. Не привести ли, мое красное солнышко?

Анастасия

Ну, пожалуй.

Стук в двери.

Голос Андрюши

Детушки мелкота,
Отворите ворота,
Я, мать ваша, пришла,
Молока принесла...

Мамка.

А! Да это волчонок! Что тебе? *(Отворяет двери).*

Те же. Андрюша.

Андрюша

Настя! Тебя боярин зовет! Пойдем поскорее, там сказочник Афоня.

Анастасия

Сейчас, сейчас. Ну, что ты новенького скажешь?

Андрюша

(тихонько грозясь на нее пальцем)

Знаю, знаю, чего тебе хочется... Все вестей про него, про басурмана!

Анастасия

(задумчиво)

Правда ли, что Антон крещеный?

Андрюша

Правда.

Анастасия

(вздохнувши)

Пойдем *(уходят)*.

Сцена 2

Клеть в хоромах боярина Образца. На стене оружие, шишаки, колонтари. По стенам лавки, в середине огромный стол. Перед столом узорочная седальница. Боярин Образец сидит на седальнице. Афоня тверитянин — на лавке.

Образец

Подвигайся-ка поближе, Афоня, потешь-ка нас своими сказаниями.

Входят Анастасия и Андрюша.

А! вот и моя ласточка.

Афоня

(вставая)

Здравия и долгоденствия тебе, Анастасия Васильевна! А где же, боярин, сокол твой ясный, первородный сын твой, краса наших удальцов московских, Иван Хабар Васильевич?

Образец

А кто его знает? Сбился совсем с толку мой Хабар: три дня глаз не кажет.

Афоня

Эх, боярин! На то и молодость, чтоб погулять!

Все сели по местам.

О б р а з е ц

(Андрюше, играя его волосами)

Ну, что твой отец, Андрюша?

А н д р ю ш а

Всё грустит что-то. Иван Васильевич дает ему мало места под Успенский собор.

О б р а з е ц

А ему, небойсь, хотелось целый город схватить.

А н д р ю ш а

Ведь он храм Богу, Создателю мира будет строить, так надо ему простор.

О б р а з е ц

Люблю Андрея за умную речь! Однако время терять нечего. Потешь нас ныне, Афоня, словом о том, как в индусах войну ведут — оллоперводигер.

А ф о н я

Воевода на упокое, как старый сокол, хоть и летать на охоту невмочь, а все рвется туда крылами соколиными; будет, боярин, по твоему сказанному, как по писанному, — хлеб-соль твою не уроним в грязь. Память-то слаба у меня, мои милостивцы, становится. Не помнишь ли ты, жемчужина самоцветная, Анастасия Васильевна? На чем, бишь, я в прошлый раз остановился?

А н а с т а с и я

Как не помнить, дедушка! Ты так хорошо рассказываешь. Пошел ты из своей родины, изо Твери, от Святого

Спаса златоверхого с его милостью, от Великого Князя Михайлы Борисовича, потом поплыли Волгою. На какой-то реке напали на вас татаре, и поднялась у вас с ними сеча кровавая, и многие из вас положили тут головы. Здесь-то порубили тебе, бедняжке, череп и глаз. Недаром я этих татар не люблю, как будто сердце вещует мне от них беду.

Образец

По мне, поганее немцев народа нет.

Афоня

Ах ты, моя ластовица сладкоглаголивая! Ты словно летала со мною по морям. Правда, много горя и бед претерпел я, грешный раб Божий. Да и то, к слову молвить: охота пуще неволи. Вот я не больше был Андрея-то Аристотелева, а чуть что не все Тверское княжество обошел. Бывало, что лето, то уйду с богомольцами. Да и ныне вот, как сижу на Святой Руси, в палатах белокаменных, в тепле, на суконных полавочниках у боярина хлебосольца и пью его меды сладкие, сознаться ли вам, мои милостивцы? И ныне сердце просится за тридевять земель, в тридесятое царство... Однако воротимся к нашему грешному странствию за три моря, за синие — оллоперводигер, а первое море Дербентское, бездонное. Когда русалки полощутся в нем и чешут его своими серебряными гребнями, летишь по нем, как лебедь белокрылый, а залягут с лукавством на дне и ухватятся за судно, — стоишь на одном месте, будто прикованный, ни ветерок не вздохнет, ни вода не всплеснет.

Стук в ворота.

Образец

Постой-ка, постой-ка, Афоня... Никак кто-то взъезжает на двор. А! Да это твой отец, Андрюша.

Те же. Аристотель.

О б р а з е ц

Добро пожаловать, желанный гость,
Строитель храма Божьего. Давно
Я ждал тебя.

А р и с т о т е л ь

Будь здрав, боярин. Жаль,
Что не с желанными к тебе вестями,
Не огорчайся, впрочем.

О б р а з е ц

Что такое?
О, говори скорее.

А р и с т о т е л ь

Что, боярин!
Хабар твой кашу заварил такую,
Что расхлебать ее довольно трудно.

О б р а з е ц

Хабар...

А н а с т а с и я

Ах, братец, братец!

А р и с т о т е л ь

Да и мой
Племянник, брат названый твой, Андреа,
Попался с ним.

А н а с т а с и я бледнеет.

О б р а з е ц

Да что же, что такое?

А р и с т о т е л ь

У Деспота Морейского они
Вчера всю ночь пропировали. Ссора
Там началась... Да вот и сам Хабар.

Х а б а р врывается быстро.

О б р а з е ц

(строго)

Что ж, молодец, не кланяешься ты
Честным гостям. С поклону голова
Не заболит.

Х а б а р

Хоть бы и заболела —
Ненадолго! Прости меня, родимый,
Прости и ты, сестра; не поминайте лихом;
Сложу я скоро голову мою на плахе.

О б р а з е ц

И тебе не стыдно?

Х а б а р

Нет!
Я был бы пес, я был бы басурман,
Когда б в своем присутствии позволил
Святое имя царское хулить.
Прости меня, благослови, родимый.

(становится на колени).

Долг русского исполнил я; что будет —
То будет — в животе и смерти волен Бог!

Образец

Коль точно так...

Хабар

Ужли тебя я стану
Обманывать, родимый! Слушай: вот как
Всё дело было. Пировали мы
У Деспота Морейского с Антоном
Немчином.

Образец

(горько)

Ты с немчином побратался!
Тебя ли слышу я, мой сын!

Хабар

Постой,
Родимый. Хоть немчин, да наш он сердцем;
Он на пиру случился потому,
Что призван был помочь в недуге смертном
Андрея Фомича Гайде. Было
Тут наших много; дьяк Владимир Елизарыч
Да мастера палатные, да греки.
И начал в хмельном виде похваляться
Андрей Фомич, и говорил, что им
Наш царь Иван Васильич в люди вышел.
Не вытерпело сердце — отвечал я
Ему по-свойски; Деспоту ответ
Не полюбился; пуще начал он
Хвалиться, и обидные слова
Он произнес на нашего Ивана
Васильича. Ему вином плеснул я
В лицо; Антон же бросил в ноги цепь,
Которую ему Андрей Фомич

За излеченье Гайды подарил.
Вот как всё дело было.

Образец

Встань, мой сын!
На грудь ко мне! Недаром Хабаром
Тебя прозвала русская земля,
Хабарно ей иметь такого молодца...
Что б ни было, но ты мой сын достойный!

Аристотель

Всё так... прекрасен юношеский пыл,
По-рыцарски вы оба поступили!
И ты, и мой племянник. Да Мамон
С Русалкой обнесли вас перед князем
Великим...

Образец

Шептуны проклятые! Ну что ж?

Входит дворецкий.

Дворецкий

Боярин — дьяк Владимир Елизарыч
И с ним Мамон и множество людей
От имени царя и государя.

Образец

Пусти их... *(твердо)* Приготовься, сын мой!

Хабар

Воля
Господня надо мною.

Те же. Толпа людей, Мамон (поникнувши глазами в землю), впереди дьяк Бородатый (с торжествующим лицом).

Дьяк

Бьем челом
Боярину. Великий государь
Прислал тебе поклон и милость, да велел
Благодарить за то, что дал ему
Ты верного слугу — а Руси нашей
Надежную опору. Обнесли
Перед Великим Князем шептуны
Ивана Хабара — но Князь Великий
Не внял навету злых, а внял словам
Свидетелей и послухов — и ныне
Прислал к тебе да к сыну твоему
Ивану Хабару просить прощенья,
Да заплатить бесчестья сто рублев
Боярина Мамона. А тебе,
Великий зодчий, повелел отдать
Вот эту цепь златую для Антона,
Чтобы ему она была заменой
Им брошенной, — пусть носит на здоровье, —
Да похваляет милость царскую.

Образец

Правдив великий царь. Да здравствует!

Все

Да здравствует!

Дьяк

Ну, боярин Мамон, твори по обряду.

Мамон

(подходит с усилием к Хабару и два раза кланяется в землю).

Сто рублев счетом *(кланяется в третий раз и ранит Хабара ножом в ногу).* То было княжье, а теперь мое!

Хабар

(схватывая его за бороду)

Злодей!

Мамон

(вырываясь)

Поле! Позываю тебя на поле!

Хабар

На поле?.. Давно пора! Бог да судит нас!

Дьяк

(вынимая из-под полы кафтана Судебник)

Что ж? Поле, так поле; а в Судебнике царя и Великого Князя Ивана Васильевича всея Руси сказано: «Кто у кого бороду вырвет и послух опослушествует — ино ему крест целовати и биться на поле...»

Мамон

(грозясь)

До свидания, пятенщик мой *(уходит).*

Хабар

Будь так.

Образец

Ты ранен, сын мой?

Хабар

(подавая руку дьяку)

Елизарыч! это твое дельце; я виноват перед тобою, видит Бог, виноват. Ты меня выручил.

Дьяк

Эх ты, голова! Кто старое помянет, тому глаз вон. Еще бы мне тебя не выручить, когда ты выручил землю русскую. Однако боярин Василий Феодорович! У меня есть еще до тебя важное дело. Есть у тебя жемчужина самоцветная, дочка родимая, ненаглядная, а Великий Князь прислал меня сватом. Отдает он дело на твою волю. Сватается по Анастасью Васильевну царевич Каракача, сын татарского царя Даньяра...

Анастасия

(упав без чувств)

Ах!

Хабар

Сестра... что с нею?

Образец

(бросаясь к ней)

Дочь моя!

Анастасия

(приходя в себя)

Батюшка... брат... простите меня...

Образец

Что с тобою, дочь моя, сокровище мое?

Аристотель

Что с нею? И ты спрашиваешь, боярин? Твоя воля для нее закон — она ее не ослушается, но ручаюсь головою моей, что согласием на этот брак ты положишь в гроб дочь свою.

Образец

Но сватом сам господин наш.

Аристотель

Ну, так идем же к нему. Кстати, мы должны благодарить его за милости к сыну твоему, Хабару, и к племяннику моему Антону.

Образец.

Пойдем!

Все уходят.

Сцена 3

Темная ночь. Место недалеко от хором Образца. Селинова, Мамон, Русалка.

Мамон

Проклятие!.. Ничто не удается!

Русалка

Эх ты, разумный человек, постой!

Вода долбит и камень; не успели
Мы раз — в другой успеем.

Селинова

Хорошо
Тебе, боярин, ждать... Когда б ты ведал,
Какою адской мукой я терзаюсь,
Как ненасытно сердце крови просит...
Но слушайте: недаром вас сюда
Я призвала... Последнюю попытку...
И если не удастся — решено:
Жить больше незачем!.. И стыд и честь
Он отнял у меня — я так же отниму
И стыд и честь.

Русалка

Уж не у Гайде ль? Поздно
Маленько, матушка.

Селинова

Нет, не у Гайде,
А у родной сестры злодея моего.

Русалка

Что, что?

Селинова

Молчи... Вот, кажется, она
С своею мамкой глупой; удалитесь
И слушайте...

(Мамон и Русалка отходят к стороне).

Селинова, Анастасия и ее Мамка.

М а м к а

Боярышня, голубушка, потише,
Чтоб из хором тебя не увидали.
Ух! Не нажить бы нам беды... Сама
Не рада... За тебя в огонь и в воду
Пойду я... здесь, кажись, ворожея
Мне говорила... так и есть.

С е л и н о в а

(шепотом)

Я здесь.

М а м к а

Вот, матушка, боярышня моя
Всё сохнет, вянет, — пособить ничем
Не можем ей... и к милости твоей
Мы с просьбою.

А н а с т а с и я

Я вся дрожу... мне страшно.

С е л и н о в а

Не бойся... подойди... дай ручку мне!
Ты вся горишь... Ты словно в лихорадке.

(Подымает фонарь и смотрит на нее).

Недугом ты не так давно страдаешь?
С Герасима Грачевника, не правда ль?

А н а с т а с и я

(в ужасе)

Ты знаешь?

Селинова

Мало ль, что я знаю! То-то
Не открывать бы в этот день оконца
Да не смотреть бы на Москву-реку...
Тебя околдовали — и помочь
Тебе я не могу...

Анастасия

Не можешь? Боже!

Селинова

Колдун меня сильнее... он один
Тебя и вылечит... Ступай к нему.

Анастасия

К нему... О! Ни за что!

Селинова

Ну, как ты знаешь.

Анастасия

Идти к нему? И средства нет другого?

Селинова

Другого нет!

Анастасия

Погибла я, погибла!..
Пойдем скорее, няня... Страшно, страшно...
Спасенья нет!

М а м к а

Господь с тобой, дитя мое!

(Уходят).

С е л и н о в а

(дико хохочет)

Погибла! Ты погибла!.. Любо, любо!..

Р у с а л к а

(выходя)

Ну, дьявол ты — не женщина!

М а м о н

Да только
Не верю я, чтобы сама пришла
Она к немчину.

С е л и н о в а

Много же ты знаешь,
Боярин, сердце женское... Она
Погибла, говорю тебе... Меня
Вам не за что благодарить... Ступайте
Своей дорогой; мой же путь окончен.
В последний раз взгляну я на него,
В последний раз его услышу голос...
И смерть потом!

М а м о н

Безумная!

Русалка

Оставь
Ее, боярин; нам же лучше с шеи
Ее стряхнуть, и с нею беси в воду.
Теперь мы посрамим его пред целой
Москвою!

(Уходят).

Селинова

Смерть... Ну, что же?
Знать, было мне написано... Прощай,
Прекрасный белый свет, прощай, Хабар!

(Уходит).

ДЕЙСТВИЕ 3

Сцена 1

Комната Антона.

Антон

(сидит у стола, погруженный в глубокую задумчивость)

Так! Я безумен... Это ясно, просто,
Как дважды два... Любить, любить безумно
И безнадежно... Милосердый Боже!
Что в милостях, которыми меня
Осыпал Князь Великий?.. Что в почете,
Которым окружен я?.. Тяжела
Мне эта честь... Я здесь один, один!

Стук в двери.

Кто там? Несчастный, может быть?.. Скорее
К нему на помощь!..

(Отворяет и отступает, пораженный).

Всемогущий Боже!..

На пороге двери бледная, трепещущая Анастасия. Они оба долго молчат. Наконец Анастасия переступает порог и бросается перед ним на колена.

Анастасия

(голосом, заглушаемым рыданиями)

О, сжалься, ради Неба сжалься надо мною, —
Сними с меня твое очарованье
И отведи нечистого... Помилуй!
Я не могу снести. Мне тяжело,
Мне душно.

Антон

(поднимая ее)

Анастасья... Зачем
Ты предо мною на коленах... Боже!
Я сам у ног твоих... О, слушай, слушай!
Что б ни было с тобою и со мною,
Ты здесь... Я должен говорить... Безумно
Тебя люблю я, ангел мой; я сам
Тебя молить о состраданье должен...

Анастасия

Ты чародей... Ты чарами меня
Околдовал... Меня гнетет и давит
Твое очарованье... О, сними,
Сними его.

Антон

Клянусь Пречистой Девой,
Не чародей я... но тебя люблю,
Но за тебя души моей спасенье
Готов отдать я...

А н а с т а с и я

(в полузабвенье)

Выслушай меня.
Когда ты к нам приехал... говорили
Мне все, что ты колдун, что на тебя
Грех и глядеть... Зачем советов няни
Я не послушалась! Зачем открыла
Мое окно, когда, прекрасный, стройный,
С очами голубыми, шел ты... Боже!..
Я думала: ужели эти очи
Обманчивы? Мне снились, не давая,
Покою, эти очи... и украдкой
Окно я открывала часто, — любо
Мне стало поддаваться обаянью
Твоих очей...

А н т о н

Клянусь моей душою,
Я не колдун, не еретик.

А н а с т а с и я

Так кто же ты?

(прижимаясь к нему)

О, говори, мой милый... Сладко слышать
Мне речь твою... Нет, нет! Не говори
Ни слова... Верю, верю — не колдун ты.
Будь нашим, русским... Слышишь? Я твоя,
Твоя, мой милый.

А н т о н

Ангел!

А н а с т а с и я

Я твоя
Навеки. Жизнь иль смерть с тобою вместе.

А н т о н

О, Боже, Боже!..Так блаженства много...
Не сон ли это?..

А н а с т а с и я

Мой милый, ненаглядный!
О, как легко мне стало, как душа
Во мне, как птичка, встрепенулась... Нет,
Ты не колдун, не чародей...

А н т о н

Господь
Тебя привел... Но время драгоценно...
Ступай, скорей ступай в свою светлицу,
Чтобы тебя не увидали здесь.

А н а с т а с и я

О, что до света мне!.. Ты не колдун,
Ты мой!..

А н т о н

Перед святым налоем скоро
Мы повторим обет наш... О, иди,
Иди скорей...

А н а с т а с и я

Прощай, мой ненаглядный...

(Идет и возвращается).

Благодарю, благодарю тебя!

(Быстро уходит).

А н т о н

(падая на колена)

А я тебя благодарю, мой Боже...
Ты милостями вдруг меня осыпал, —
Благословенно будь Твое святое Имя!

А н т о н. Ж и д.

Ж и д

Высокомоцьный...

А н т о н

Схария! Будь здрав,
Вожатый мой... Откуда ты теперь?

Ж и д

Да из твоей земли.

А н т о н

С вестями?

Ж и д

Да с живыми
Вестями — с баронессой Эренштейн.

А н т о н

Мать... Где она? О, говори скорее!

Те же. Б а р о н е с с а Э р е н ш т е й н. За нею Я н к о.

Б а р о н е с с а

Сын!..

А н т о н

(бросаясь в ее объятия)

Матушка...

Б а р о н е с с а

(лаская его)

О, Боже мой! Велики
Все милости твои! Тебя ль я вижу,
Мой ненаглядный, мой Антон... О, дай мне
Взглянуть на эти очи, дай мне кудри
Поцеловать... всё также вьются в кольца...
Антон, мой сын, мой золотой...

Я н к о

(целуя полу его епанчи)

Барон!

А н т о н

Мой верный Янко!.. Матушка...

Б а р о н е с с а

Привел
Господь тебя увидеть... Не могла я
Жить без тебя; и сторону родную,
И замок наш, и горы... всё покинув,
Сюда поехала...

Антон

Моя родная!
Благослови меня, как отпуская
Благословляла.

Становится на колена. Немая картина.
Те же. Андрюша *(вбегает и останавливается).*

Антон

Брат названый... Вот
Сын Аристотеля Фиоравенти.

Баронесса

Сюда, ко мне, дитя мое! *(Обнимает его).* Но что
С тобою? Ты в слезах, ты весь взволнован...

Андрюша

(рыдая)

Отец...

Антон

Что с ним?

Андрюша

Он обезумел.

Антон

Боже!

Андрюша

Великий князь не утвердил рисунки
И чертежи, которые для храма
Он делал!.. И отец мой разорвал
Все чертежи и бродит как безумный!
Спаси его, уговори, мой добрый...

Баронесса

К нему, скорей к нему. Пойдемте вместе!..

Идут. Их встречает боярин *Русалка*.

Русалка

Высокородный господине врач,
Барон фон Эренштейн... Великий князь
Изволил сведать о приезде
Высокородной баронессы и прислал
Ей милость царскую — соболью шубу.

Антон

Как я могу благодарить!

Русалка

Да вместе
Велел тебе со мною, господине,
Отправиться лечить от боли смертной
Татарского царевича Даньяра
Возлюбленного сына Каракачу.
И ведомо тебе да будет, господине,
Что тем леченьем угодишь вельми ты
Великому.

Антон

Мой долг повиноваться...
Ты, матушка, с Андреем к Фиоравенти
Идите...

Баронесса

Милый сын мой, до свиданья!

Все уходят.

Сцена 2

На Москве-реке. Утро. Налево хоромы татарского царевича Даньяра. Хабар и толпа его товарищей.

Первый

Ну, что, Хабар? Много ли полонил ты красавиц? Много ли бочек вина на волю выкатил? Что ты повесил головушку?

Хабар

Эх, братцы! Думушку я постную из кельи взял напрокат. Не моя она, не срослась со мной, зашумела, прокатилась, и следок простыл. Дума-то моя родная, молодецкая, что разгул буйного ветра в степях, что размашка сокола в вольных кругах... Эта со мной, словно берег с водой. Девица — вдоволь хороша, то и наша сестрица-душа. Поцелуешь в уста — что малина твоя, поцелуешь в другой — сердобольник что твой!

Другой

Ты, Хабар, воевода Ивана Васильевича на коне боевом, а нам — протянувшись под лавкой.

Третий

А что ж, Хабар?.. Когда же поле с Мамоном?

Хабар

(беспечно)

Поле? Да завтра, кажись.

Ватага

Прощай, Хабар!

Хабар

Куда ж вы, ребята?

Первый

Куда? Целу ночь напролет гуляли... Головы болят.

Хабар

А у меня так нет... Эх, вы, бабы! *(Все расходятся).* Ушли... Ну, а мне что же делать? Эх, ей-Богу, хоть бы поле скорее... Руки так и чешутся... работы просят... Скучно! Вот и пожалеешь об Гайде... Запер ее теперь поганый Фомич, — не с кем душу отвести... Ба!.. Никак Селинова! Так и есть... Здравствуйте, Елена Дмитриевна, моя прежняя разлапушка!

Селинова

Я тебя искала.

Хабар

Зачем, смею спросить?

Селинова

А вот зачем... Осрамил ты мою вдовью честь, так и я же тебе отплатила.

Хабар

(насмешливо)

Что?

Селинова

Да то, что падет на дом твой пятно, и не смыть его.

Хабар

Молчи *(схватывая ее)*. Или нет, говори, змея подколодная.

Селинова

Что говорить? Вся Москва скоро заговорит, что сестра твоя отдалась басурману.

Хабар

Лжешь.

Селинова

Нет, не лгу, да и незачем мне лгать... жить мне недолго. Прощай, Иван Васильевич! Будешь ты меня помнить.

Хабар

Лжешь, говорю тебе... Сестра, Антон... О! Я разведаю, я допрошу *(взмахивая бердышом)*, я разузнаю *(бежит быстро)*.

Селинова

(со смехом)

Не поминай лихом!.. Ну, теперь все кончено... Прощай, белый свет! *(Всходит на берег и бросается в воду).*

Мамон и Русалка *(идут).*

Мамон

Что ж, задушевный? Наши начинанья
Вперед ни шагу... завтра — поле!

Русалка

Ну?
Так что ж, боярин? Трусишь, что ли?

Мамон

Я?
Не трусил я в боях, так стану ль трусить
Перед мальчишкой?.. Только тяжело,
Что не отмстивши, может быть, придется
В сырую землю лечь.

Русалка

А вот увидим!

Мамон

Чего тут видеть? Сослужила службу
Нам вдовушка, положим мы пятно
На дом Шелонца... Только мало, мало!
Весь род его поганый истребить
И самого живого свесть в могилу,
Да чтобы не было в могиле той
Покоя косточкам... Вот это мщенье!
Вот это любо!

Русалка

Слышал ты, что сын
Любимый у царька Даньяра болен,
Что сватался по Образцову дочь?

Мамон

Ну, слышал.

Русалка

(лукаво)

Говорят, не встанет.

Мамон

Ну, так что же?

Русалка

Лечить его приказано Антону
Немчину, по прозванью Эренштейну.
Хоть говорят, что водится с нечистым,
Да плохо что-то верю я. Едва ли
Нечистая ему поможет сила.
А кто внушил царю и государю
Послать Антона?

Мамон

Кто? Вестимо, ты,
Мой задушевный.

Русалка

То-то вот и есть!
А кстати, вот и сам придворный лекарь.

Те же. Антон. Даньяр. Татаре.

Даньяр

Так нет надежды?

Антон

Нет, царевич!

Даньяр

(в отчаянии)

Нет!

Какой же лекарь ты?

Антон

Я лекарь, но не Бог.

Русалка

Высокородный лекарь! Что прикажешь
Сказать царю и государю, Князю
Великому?

Антон

Питье больному дал я —
Не помогло... средств больше я не знаю.

(Уходит).

Русалка

Питье?.. А ведомо ль тебе, царевич,
Какое то питье?

Д а н ь я р

Аллах керим!
Почем мне знать?

Р у с а л к а

Царевич Каракача
Ведь сватался, кажись, по Образцову дочь?

Д а н ь я р

До сватанья ль теперь? О, сын мой, сын мой!

Р у с а л к а

Немчин Антон, кажись, и сам заслать
Хотел сватов к боярину, я слышал.
Уж, полно, правда ль?..

Д а н ь я р

(встрепенувшись)

Что ты говоришь?

Р у с а л к а

Так он питьем поил его?

Т а т а р е

(из дому)

Скорее,
Царь Данияр! Кончается царевич!

Д а н ь я р

(бросаясь в дом)

О, сын мой милый!

Р у с а л к а

(вслед ему)

Что-то слишком скоро
Вслед за лекарством!

(Мамону)

Ну, теперь ты понял,
Боярин?

М а м о н

Закадычный, задушевный!

Р у с а л к а

Однако, уберемся по добру
Да по здорову; заварили кашу,
Расхлебывать не наше дело. В путь.

(Уходят).

Сцена 3

Светлица Анастасии. А н а с т а с и я. М а м к а.

М а м к а

Ну вот, ненаглядная моя, — недаром водила я тебя к ворожее. Вишь, как повеселела, мое золото... Щечки, как маков цвет, глаза — словно звездочки.

А н а с т а с и я

О, родная, родная! *(Обнимая ее).* Я так весела, так весела.

Стук в двери.

Кто там?

Голос Хабара

Отворите!

Анастасия

Братец! Отворяй скорее, няня.

Те же. Хабар.

Анастасия

(бросаясь)

Брат, милый брат!

Хабар

Прочь.

Анастасия

Брат!.. Хабар...

Хабар

Прочь, говорю, змея подколодная... *(Садится на скамью и кладет подле себя бердыш).*

Анастасия

Что с тобою?.. что с тобою?

Хабар

(взмахивая бердышом и останавливаясь)

Ты еще спрашиваешь?.. Осрамила седины отца, опозорила честное имя брата... А я, я так горячо тебя любил... Прочь! Говори, как отдалась ты немчину?

А н а с т а с и я

Отдалась! *(С достоинством).* Я?..

Х а б а р

Сестра!.. Так, так... это твой голос... О, повтори еще! Ты не отдалась ему?

А н а с т а с и я

Я люблю его.

Х а б а р

Ты не отдалась ему?

А н а с т а с и я

Я люблю его, я его невеста пред лицом Божиим. Не выдадут за него — наложу на себя руки.

Х а б а р

Ты его видела?

А н а с т а с и я

Да!

Х а б а р

(обнимая ее)

И ты чиста, как голубица! И я мог поверить, безумный... Прости меня...

Те же. О б р а з е ц.

О б р а з е ц

Здравствуйте, дети! Что это значит, Хабар? Ты с оружием? Уж не на поле ли собрался?

Х а б а р

Нет, батюшка, но перед полем окажи мне великую милость.

О б р а з е ц

Какую, сын мой?

Х а б а р

Выдай сестру за брата моего названого, Антона.

О б р а з е ц

За немчина!.. Твою ли речь я слышу?.. Нет, нет!.. Проклятие мое на дочь, если...

Х а б а р

(берет Анастасию за руку)

Прокляни же и меня вместе с нею *(падает на колена с сестрою)*.

А н а с т а с и я

Батюшка!

О б р а з е ц

За немчина! За басурмана! Прочь! Вы не дети мне! За басурмана!

Те же. Афоня (с посохом) ведет баронессу фон Эренштейн.

Афоня

Мир дому сему от любящих мир.

Образец

Кто с тобою? Кто эта благородная жена?

Баронесса

Боярин! Я мать Антона, твоего гостя. Я пришла благодарить тебя за хлеб, за соль... и, прости меня, боярин, я пришла сватать сына моего за дочь твою. Я одной крови с тобою — я славянка, и сын мой славянин, как ты же, по матери. Рано похитила его у меня судьба, и я не могла воспитывать его в святой нашей вере... Но сын мой любит дочь твою, сын мой любит Русь, как родину; он примет наш закон, свой родной закон, закон своих предков.

Афоня

Что, боярин? Что ты поник седою головою? *(Хабару и Анастасии)*. А вы, птенцы, просите-ка благословенья старого сокола. Ну, боярин, честным пирком, да и за свадебку.

Образец

Судьбы Божии неисповедимы... Благородная госпожа баронесса! Благослови дочь свою, как я благословляю сына своего Антона.

Баронесса

Род Эренштейнов не унизит рода Образца.

А н а с т а с и я

Батюшка! *(Бросаясь к баронессе)* Матушка!

Те же. А н д р ю ш а.

А н д р ю ш а

Скорей, скорей на выручку... Хабар, Хабар!.. Антона!

В с е

Что Антона?

А н д р ю ш а

Взяли, влекут... Скорее, скорее... Татары.

Хабар бросается и сталкивается с Я н к о.

Я н к о

Благородная баронесса!.. *(рыдая)* Взяли моего молодого барона, взяли в темницу!

А н а с т а с и я

(падая)

Ох!

Б а р о н е с с а

Сын мой, сын мой! *(Бросается).*

О б р а з е ц

Постой... Это ошибка... Этого быть не может.

Я н к о

Татары... По приказу Великого Князя.

О б р а з е ц

Где Аристотель, Аристотель!

А н д р ю ш а

(рыдая)

Он сошел с ума!..

Образец закрывает лицо руками; баронесса, в изнеможении, опирается на его руку. Анастасия в обмороке.

ДЕЙСТВИЕ 4

Сцена 1

Кремль. Повсюду груды камней и начатые строения, отстроен только дворец Великокняжеский.

А р и с т о т е л ь

(сидит на груде камней и смотрит вокруг с безумным, неподвижным взглядом)

Так... совершен мой подвиг... и восстанет,
На удивление векам грядущим,
Великий храм. И ты его создатель,
Ты, Фиоравенти... Мрачно, как могила,
Преддверие... Священный ужас душу
Объемлет, веет скорбью и грехом
На человека падшего; столбы
Из камней, источенных ржавчиной веков
И складенных как бы самой природой,
А не рукою человека — стоны,
Молитва грешника под старым сводом
Сильнее будут отдаваться!.. Дальше
Светлеет всё, облитое зарей
Таинственного искупленья, — в небо

Стремится мысль... размеры легче — все
В небесном просветленьи, в кружевах
Узорных окон... Все там благодать,
Эфир, гармония и радость... Слава
Тебе, художник: небеса на землю
Ты свел...

(Озирается).

Кто это славу возвестил
Тебе, поденщик жалкий? Ха, ха, ха!
Позор тебе, ничтожный раб, позор!

(Дико хохочет).

Разрушено во прах твое созданье,
Как домик карточный, как детская мечта!
Оно умрет с тобой, с тобой, несчастный,
Оно сожжет, как молния, тебя...
О, проклят день, в который вдохновенье
Впервые душу посетило! Что
Ты принесла с собою, искра неба?
Бессонные, мучительные ночи,
Дни, долгие, как вечность... Кровь кипела
И жег тебя восторг, художник бедный,
Зачем?.. Пришла минута, ты достиг
Дороги к цели, — жадными очами
Ее ты видел, эту цель; облек
Роскошною одеждой эту цель...
И люди же над нею наругались!

(Бросая орудия).

Прочь от меня, мои злодеи, прочь!
Я проклинаю вас, я проклинаю
Себя, искусство...

(Рыдает и бьется головою о камни).

О, моя мечта,
Мой идеал!.. Навеки, без возврата
Погибли все надежды... Погибай же
И ты, мое созданье! *(Рвет чертежи).*Что я сделал?
Дитя мое, мечта моя, мой храм,
Тебя я уничтожил!.. Ад и небо!..

(Рвет на себе с отчаяния волосы).

А н д р ю ш а

(прибегает и падает к ногам его)

Отец!.. Не слышит! Ты не узнаешь
Свое дитя... Отец!

А р и с т о т е л ь

(дико смотрит)

Кто там зовет
Меня отцом?.. Я сам убил свое дитя.

А н д р ю ш а

(рыдая)

Отец, опомнись...

А р и с т о т е л ь

Это ты, Андреа.
Смотри, смотри, как он великолепен,
Мой храм! Смотри же!

(В бешенстве).

А! ты говоришь,
Что нет его... Кто, кто тебе сказал?
Вздор! Это ложь!.. Он здесь. Посторонись,
Иль он тебя задавит... Вот он, вот он
На облаках спускается — смотри!

Те же. Б а р о н е с с а ф о н Э р е н ш т е й н. А н а с т а с и я. Х а б а р.

Б а р о н е с с а

Фиоравенти!..

А р и с т о т е л ь

(приходя в себя)

Чей я слышу голос?

Б а р о н е с с а.

Фиоравенти!.. сына, сына, сына
Мне возврати... О, сжалься надо мною!

А р и с т о т е л ь

Ах, помню, помню... Ты одна из жен,
На суд представших к Соломону... Что же?
Чего ты хочешь от меня?.. Я сам
Несчастен: лучшее мое дитя
Украли и на части разорвали.

Б а р о н е с с а

Фиоравенти... Ты его призвал,
У матери его ты отнял... Сжалься,
О, сжалься надо мною!

А н а с т а с и я

Аристотель,
Великий Аристотель!.. Ты один
Спасешь его...

Б а р о н е с с а

Твои готова ноги
Я целовать!

Х а б а р

Погибло всё; родимец,
Знать, на него нашел.

А р и с т о т е л ь

(постепенно приходя в себя)

Где я? Кто здесь?

Кто плачет здесь? Андреа, баронесса
Фон Эренштейн...

Хабар

(с жаром)

Великий царский зодчий!
Ты плачешь здесь, как баба; между тем
Как жениха сестры моей, Антона,
Толпа татар готова влечь на казнь.

Аристотель

Что говоришь ты?

Анастасия

О, скорей, скорее
Иди к царю... Спаси его.

Аристотель

К царю!
Нет! Никогда!

Баронесса

О, сжалься же над нами!

Хабар

Из-за родимца жизнью человека
Родного, кровного ты жертвуешь... Стыдись!

Аристотель

(величаво)

Молчи!.. Тебе ль судить меня. Да будет
Господня воля, я иду к царю.

Прими, Владыко Господи, мою
Покорность... Осушите слезы... Вместе
Со мною вы пойдете к Иоанну.

Трубные звуки.

Х а б а р

Прости меня, коль я тебя обидел,
Прости меня, великий зодчий... мы
Быть может, не увидимся... на поле
Зовет меня военная труба.
Спаси Антона!

А р и с т о т е л ь

Да простит тебя
Господь... Дай руку! С миром — до свиданья!

Все уходят.

Сцена 2

Черная изба. А н т о н входит окованный.

А н т о н

Боже! Ты один мне остался... Может быть, Ты наказываешь меня за грехи мои, может быть, любя меня. Кто знает, какие бы горести вперед отравили бы жизнь мою? Теперь я выпью чашу один, а тогда пришлось бы разделить с подругою, с детьми... Я вдвое страдал бы, видя их страданья... Но умереть, не назвавши ее своею...

А н т о н, Я н к о (бросается к нему с рыданиями).

Я н к о

Господин мой! молодой господин мой!

Антон

Друг Янко! Это ты... О! говори, что они, где они... мать моя, Анастасия?

Янко

Господин мой, время терять нечего... они живы, они здоровы, но ты в опасности... Слушай: я подкупил сторожей... беги со мною.

Антон

Бежать?.. О, никогда!.. Разве я преступник?

Янко

О, ради самого неба...

Антон

Ни за что!..

Те же. Русалка.

Русалка

Здесь ли Антон-немчин, бывший лекарь великокняжеский?

Антон

(твердо)

Здесь, боярин.

Русалка

Ведомо тебе, в чем ты обвинен, господине лекарь?

Антон

В отравлении царевича Каракачи.

Русалка

И ты сознаешься?

Антон

Я невинен.

Русалка

Эй, сознайся лучше, господине лекарь! Пытка-то ведь не свой брат.

Антон

Что бы ни было — я невинен.

Те же. Даньяр.

Даньяр

Где убийца, где отравитель?

Русалка

Вот он, царевич!Князь Великий выдает тебе его головою.

Даньяр

Эй! *(входит толпа татар)*. Взять его!

Я н к о

(ухватываясь за Антона)

Возьмите меня прежде. Не пущу, не пущу, злодеи!

Д а н ь я р

Взять и этого... Свести их обоих под мост и зарезать там.

Р у с а л к а

(усмехаясь)

Как овец!

А н т о н

(отдаваясь в руки татарам)

Буди воля Твоя, Боже! Анастасия! Матушка!

Его влекут. Хабар вооруженный является на дороге.

Х а б а р

Стой! *(Бросается в середину татар и отнимает Антона).* Не дам! *(Все отступают перед ним).*

Р у с а л к а

Князь Великий и господин всея Руси отдал его головою...

Х а б а р

По твоим наветам... Прочь! Придавлю, как муху, злой старичишка!.. Ступай, прощайся с своим закадычным, которого я отправил в ад.

Даньяр

Мальчишка! Ты смеешь отнимать у меня мою добычу.

Хабар

Смею *(закрывает Антона щитом и взмахивает бердышом)*. Ну-ка! Сунься!

Даньяр

(обнажая саблю)

Я с тобой разделаюсь.

Антон

(вырываясь из рук Хабара)

Ни за что! Я не буду причиной раздора. Прощай, названый брат! *(Отдается в руки татар, которые влекут его).*

Хабар

Антон! Антон! *(Бежит за ними).*

Сцена 3

На Москве-реке. Толпа народу.

Первый

Что ж? Скоро ль?

Второй

А вот подожди.

Т р е т и й

Всех бы их, нехристей, в один куль, да в воду!

П е р в ы й

А ведь жаль, братцы! Парнище такой молодой, такой красивый.

В т о р о й

За что ж это он напоил злым зельем татарчонка?

Те же. А ф о н я.

А ф о н я

Что вы собрались здесь, люди добрые?..

П е р в ы й

Да вот басурмана татаре поведут под мост.

А ф о н я

Басурмана! А этот басурман стоит нашего. Эх вы, головы!

В т о р о й

Ишь, что выдумал!.. Стоит нашего!..

А ф о н я

Братцы, люди русские! Он хотел креститься в нашу веру, он жених дочери нашего кормильца, Василья Федоровича Образца.

Первый

Неужто?

Афоня

Он наш, братцы, а вы радуетесь его гибели.

Те же. Баронесса. Анастасия. Андрюша.

Баронесса

Боже! Он не поспеет... Князь Великий не принял нас.

Анастасия

(рыдая)

Боже, Боже! Сжалься над нами!

Афоня

(тихо)

Боярышня! Не плачь при народе. Стыдно...

Баронесса

Сын мой, милый мой Антон!

Первый из народа

Ишь, братцы, — немка, а тоже плачет!

Те же. Хабар.

Хабар

(прибегает)

Братцы! Кто здесь знает меня, кто здесь любит меня, кто положит со мною голову?

Все

Мы все за тебя, все, Иван Васильевич!

Хабар

Не выдайте же злым татарам брата моего названого.

Один из народа

Слышь ты, Ванюха! Брат названый... Стало, он не басурман... Ради, Иван Васильевич!.. Живот положим, а не выдадим.

Хабар

Вот они.

Те же. Толпа татар. Антон и Янко скованные.
Толпа бросается на татар.

Русалка

Стойте, православные... По указу господина нашего Великого Князя Московского... *(народ отступает в ужасе).*

Первый

По указу господина нашего... Ну, Иван Васильич! Люб ты нам, да господин наш указал, противу него идти не стать.

Русалка

(Хабару)

Что, взял?

(Хабар в отчаянии ломает руки).

Баронесса и Анастасия

(бросаясь к Антону)

Антон!

Антон

Матушка! Анастасия!

Баронесса

(к татарам)

Ну, разорвите нас вместе!.. Не отдам! Он сын мой — не отдам.

Хабар

(бросая бердыш и бросаясь к ним)

Разорвите же и меня вместе с ними, лютые звери.

Даньяр

(холодно)

Разнять их!

Баронесса

Прочь... Прочь... говорю я вам — прочь... А! Вы не знаете, до чего может довести отчаяние мать! Я вопьюсь зубами в первого, кто подойдет, выцарапаю глаза, как коршун... Прочь!..

Хабар

Пока я жив — не бывать тому!

Русалка

Что ты, царевич? Крику-то, что ли, боишься?.. Берите-ка его.

Толпа татар окружает группу. В народе слышатся рыдания.

Афоня

Братцы, братцы! Не выдайте!

Один

(плача)

Воля господина нашего и всея Руси... Воля княжая...

Аристотель и боярин Образец (на конях).

Образец

Именем Великого Князя и господина нашего! *(Слезает с коня).*

Аристотель

Милость! Милость!

(Все отступают и татары тоже).

Образец

Внял господин наш мольбам моим и предстательству великого зодчего. Дети мои!

Хабар, Антон и Анастасия

Батюшка!

Аристотель

Прочь, татаре! *(Русалке)* Прочь и ты, гнусный клеветник. Народ! взять этого наушника по приказу Великого Князя!

Народ бросается на Русалку и скручивает ему назад руки.

Баронесса

Фиоравенти! Наш спаситель!

Аристотель

Слава господину нашему, Иоанну Васильевичу всея Руси!

Народ

Слава! Слава!..

1848

ПЕРЕВОДЫ

С НЕМЕЦКОГО

ГИМНЫ

134—147

1. К МУДРОСТИ

(Из Эмлера)

Голос

Мудрость, Вечного рожденье,
Руку матери простри
И дорогу возвращенья
Нам, подруга, озари —
В звездный край, к святой отчизне,
Где единый твой исток,
Где из вечной льется жизни
Человечества поток.

Хор

Мудрость вечная, о братья,
Нас сплела рука с рукой:
Наши песни и объятья
Будут ей святой хвалой.

Голос

Кто к святому полон жаром
И неправым раздражен,
Тот зовет себя недаром
Человеком: брат нам он.
Цепи вечного творенья,
Он и мы — одно звено,
И за гробом возрожденье
С нами ждет его равно.

Х о р

Для миров — все блага силы,
Как природой нам дано,
Мы несем — и до могилы
Мы преследуем одно.

Г о л о с

И туда, где враг лукавый
На святое клеветал,
Где язык его неправый
Яд змеиный источал;
Где посеял он проклятья
В смуту братиям меньшим,
Мы туда — клянитесь, братья! —
На спасенье поспешим.

Х о р

Солнце кроткими лучами
Пробуждает жизнь и цвет —
Так и нашими делами
Просветится вечный свет.

Г о л о с

Всюду, где страдает правый,
Где невинный угнетен,
Где неправом помрачен
Первообраз вечной славы,
Где попран святой закон
Утеснителей ногами,
Где окованных цепями
До небес восходит стон...

Х о р

Да, в очах слезу страданья
Мы клянемся осушать;

Меньшим братьям на восстанье
Кротко руку подавать.

Голос

О, клянитесь! Клятве внемлет
Бог миров, кто всё объемлет,
Чей божественный глагол
Человека произвел.
Клятву, братья! наши узы
Неразрывно сохранить!
В духе мира и союза
Благу вечному служить.

Хор

Посетит ли час смятенья,
Дольней скорби тяжкий час,
Одного из братий — в нас
Да найдет он исцеленье!

Голос

О, клянитесь воссиять
Миру делом и не знать
Ни на час успокоенья
До часа соединенья
Всех и каждого в одно.
Ниспослать на всё созданье
Света вечного сиянье
Нам, о братья, суждено.

Хор

Да! в сиянье представать
Перед миром и делами,
Благотворными лучами
Мы для всех должны сиять.

2. ПЕСНЯ ХУДОЖНИКОВ

Голос

Снова ночь застала нас
У ворот святыни;
День прошел и не погас
Нам без благостыни.

Хор

День протекший оживил,
Братья, наши чувства;
Тайны новые открыл
Вечного искусства.

Голос

И святилищу мы вновь,
Братья, предстояли;
Снова братство и любовь
Нас к союзу звали.

Хор

Нас гармония вела
По искусства безднам;
И свобода нас влекла
К высшим сферам звездным.

Голос

Путеводною зарей
Мудрость нам сияла;
Добродетели прямой
Путь нам указала.

Хор

По терновому пути
Шли мы не робея;
Мудрость шла напереди,
Радость шла за нею.

Голос

Благо мира цель была,
Человеков счастье;
И награда за дела—
Братское участье.

Хор

Братья, день наш пролетал
В тихом наслажденье;
Для веков он не пропал,
Нам в успокоенье.

Голос

Чудный день! как быстро он
На крылах зефира
В недра ночи унесен,
Пролетев для мира!

Хор

Братья, время! ночь сошла
На святое зданье;
Трижды дню тому хвала,
Трижды ликованье!

3

Не унывайте, не падет
В боренье внутренняя сила:

Она расширит свой полет,—
Так воля рока ей сулила.
И пусть толпа безумцев злых
Над нею дерзостно глумится...
Они падут... Лукавство их
Пред солнцем правды обнажится.

И их твердыни не спасут,
Зане сам Бог на брань восстанет,
И утеснители падут,
И человечество воспрянет...
Угнетено, утомлено
Борьбою с сильными врагами,
Доселе плачет всё оно
Еще кровавыми слезами.

Но вы надейтесь... В чудных снах
Оно грядущее провидит...
Цветы провидит в семенах
И гордо злобу ненавидит...
Отриньте горе... Так светло
Им сознана святая сила...
И в сновидении чело
Его сознанье озарило...
Не говорит ли с вами Бог
В стремленье к правде и блаженству?
И жарких слез по совершенству
Не дан ли вам святой залог?
И не она ль, святая сила,
В пути избранников вела,
И власть их голосу дала,
И их в пути руководила?

Да! то она, — то веет вам
С высот предчувствие блаженства,
И горней горних совершенства
То близкий воздух...
Пусть не нам
Увидеть, как святое пламя
Преграды тесные пробьет...
Но нам знаком орла полет,
Но видим мы победы знамя.

И скоро сила та зажжет
На алтаре святого зданья
Добра и правды вечный свет,
И света яркое сиянье
Ничьих очей не ослепит...
И не загасит ослепленье
Его огня... Но поклоненье
Пред ним с любовью совершит!

И воцарится вечный разум,
И тени ночи убегут
Его сияния — и разом
Оковы все во прах падут.
Тогда на целое созданье
Сойдет божественный покой,
Невозмутим уже борьбой
И огражден щитом сознанья.

Нам цель близка,—вперед, вперед!
Ее лучи на нас сияют,
И всё исчезнет и падет,
Чем человечество страдает...
И высоко, превыше гор,
Взлетит оно, взмахнув крылами.
Его не видит ли ваш взор
Уже теперь между звездами?

О, радость! — мы его сыны,
И не напрасные усилья
Творцом от века нам даны...
Оно уж расправляет крылья,
Оно летит превыше гор...
О братья, зодчие!.. Над нами
Его не видит ли ваш взор
Уже теперь между звездами?

4

(Из Гердера)

Не зови судьбы веленья
Приговором роковым...
Правды свет — ее законом,

И любовь в законе оном,
И закон необходим...

Оглянись, как подобает,
Как мудрец всегда глядит:
Что пройти должно — проходит,
Что прийти должно — приходит,
Что стоять должно — стоит.

Кротким, светлым сестрам рока,
А не бледным фуриям
Жизни власть дана над нами...
Бесконечный их руками
Вьется пояс грациям...

С той поры, когда Паллада
Вышла из чела отца,
Всё творит она перстами
Покрывало, что звездами
Нам сияет без конца...
И глядят, дивяся, парки
В умилении немом,
Как от века и до века,
От червя до человека,
Луч любви блестит во всем...

Не зови ж судьбы веленья
Приговором роковым...
Правды свет — ее законом,
И любовь в законе оном,
И закон необходим...

5

Неразрывна цепь творенья;
Всё, что было, — будет снова;
Всё одно лишь измененье;
Смерть — бессмысленное слово.

Каждый вечер дня светило
Перед нами исчезает,
А наутро снова светом
Миру юному сияет.

Но времен круговращенье
Бесконечней звезд небесных,
Нынче — кукла в заключенье,
Завтра — бабочкой порхает.

И повсюду — возрожденье,
И ничто не умирает,
А иные только виды
С блеском новым принимает...

Жизнью нашей, краткой сроком,
Станем жить полней и вдвое,
Ибо нам одним потоком
Льется доброе и злое...

Жить — но жить не беззаботно;
Пусть нас вечер без волненья
Приготовит ждать охотно
Час великий возрожденья...

6

Кто родник святых стремлений
В жаркой груди отыскал,
Кто лишь правды откровений
С жаждой пламенной желал,
Тот да смело чрез ступени
Во святилище идет,
Где падут сомненья тени,
Солнце знания взойдет.

Небо света разверзает
Искра истины в груди,
И преград она не знает
На торжественном пути.
Чтоб создать в нас храм святого,
Из источника она
Нам единого, родного,
Сходит, в свет облечена.

Благодатью озаренья
Обнажен нам целый мир,
Как мятежное волненье,

Как безумно-шумный пир,
Где обманчивым и близким
Чувством мерить всё дано,
Где зовут святое низким,
Где высокое смешно.

Незнакома духа пища
Миру тленному, и он
Лишь обман один и сон,
А не истины жилище.
Засветись же ярко в нас
Пламень истины, о братья!
О, стремитесь, — примет вас
Правда в вечные объятья!

7

Тихо спи, измученный борьбою,
И проснися в лучшем и ином!
Буди мир и радость над тобою
И покой над гробовым холмом!

Отстрадал ты, вынес испытанье,
И борьбой до цели ты достиг,
И тебе готова за страданье
Степень света ангелов святых.

Он уж там, в той дали светозарной,
Там, где странника бессмертье ждет,
В той стране надзвезной, лучезарной
В звуках сфер чистейших он живет.

До свиданья, брат, о, до свиданья!
Да, за гробом, за минутой тьмы,
Нам с тобой наступит час свиданья,
И тебя в сиянье узрим мы!

8. ПЕСНЬ О РОЗЕ

Хор

Из недр природы розу нам
Извел Отец Творенья,

И богачам и беднякам
    Равны в ней наслажденья.

Один голос

Ребенку почкою она,
Расцветом юноше сияет,
Раскрыта мужу вся сполна,
И старца в небо провожает.

Другой голос

И сильным радости дает,
И отирает слабых слезы,
И над могилою цветет
Всё тот же цвет прекрасной розы.

Оба

Кто прелесть розы той поймет,
Пусть дружбою ее зовет.

Хор

Из недр природы розу нам
    Извел Отец Творенья,
И богачам и беднякам
    Равны в ней наслажденья.

Один голос

В ланитах юноши горит
Она зарею упоенья
И в девственной груди родит
Святую жажду наслажденья.

Другой голос

Благоухание цветов
Всем притесненным посылает,

Цветет для них среди оков,
И, где цветет, не изменяет.

О б а

Кто прелесть розы той поймет,
Невинностью пусть назовет.

Х о р

Из недр природы розу нам
    Извел Отец Творенья,
И богачам и беднякам
    Равны в ней наслажденья.

О д и н   г о л о с

Цветет и в пору соловьев,
И в ту, когда колосья зреют,
Иль листья падают с дерев,
Или поля снега завеют.

Д р у г о й   г о л о с

Везде вы встретитеся с ней,
Ее последний нищий знает;
Спешите же навстречу ей:
Она вас, други, ожидает.

О б а

Кто прелесть розы той поймет,
Пусть радостью ее зовет.

Х о р

Из недр природы Вечный нам
    Произрастил три розы,

Они сияют богачам
И сушат бедных слезы...

Братья

Из дружбы роз, о братья, вы
Венцы себе сплетайте,
И на веселые главы
С весельем надевайте...

Сестры

Венцы из роз, о сестры, вы
Невинности сплетайте
И на веселые главы
С весельем надевайте.

Все

И вместе братьям и сестрам
Роз радости венцами
Чело украсить должно нам
С веселыми душами.

9

Что дух бессмертных горе веселит
При взгляде на мир наш земной?
Лишь сердце, которого зло не страшит,
И дух, готовый на бой,

Да веры исполненный, смелый взгляд,
Подъятый всегда к небесам:
Зане там вечные звезды блестят
И сила вечная там.

Слеза, что из ока на землю бежит, —
Земле она дань, та слеза.
К святому эфиру отчизны парит
Божественный дух в небеса.

Покою в кругу богов обитать
Суждено от века веков,
И кто не умеет, как муж, умирать,
Не сын тот бессмертных богов.

Спускаются тучи на дольний луг,
Но солнце не снидет с высот...
Горе, горе — окованный дух!
Туда, где туман не живéт.
В сиянии лавр там нетленный цветет,
Где стремлению цель и кóнец;
Размахнись же крылом и смелее вперед,
Там ждет тебя вечный венец.

Боролись великие старых времен,
Благородные братья твои,
И шли, герои, не зная препон,
В страну воздаяний они...
Из их травою поросших могил
Некий голос звучит нам одно:
«Они чашу пили, не утратили сил,
Им бессмертие славы дано».

И вот что бессмертных горе веселит
При взгляде на мир наш земной:
Лишь сердце, которого зло не страшит,
И дух, готовый на бой,
Да веры исполненный, смелый взгляд,
Подъятый всегда к небесам:
Зане там вечные звезды блестят
И сила вечная там.

10

Еще Бог древний жив,
Который над звездами
Господствует мирами
И внемлет наш призыв,
Пославши ль нам покой,
Любовно ли смирив
Отеческой рукой.
Еще Бог древний жив!

Еще Бог древний жив!
Прочь трепет малодушный:
Вперед, Ему послушны,
Идите, — Он не лжив.
И пусть борьбы путем
Ведет к Нему порыв, —
В борьбе мы не падем:
Еще Бог древний жив!

Еще Бог древний жив,
Жить будет бесконечно,
И будет столь же вечно
В дарах своих правдив,
Послав ли радость нам,
Десницею ль смирив.
Доверье к небесам,
Зане Бог древний жив!

11. ДРУЖЕСКАЯ ПЕСНЯ

Руку, братья, в час великий!
В общий клик сольемте клики,
И, свободны бренных уз,
Отложив земли печали,
Возлетимте к светлой дали,
Буди вечен наш союз!

Слава, честь и поклоненье
В горних Зодчему творенья,
Нас сотворшему для дел.
Разливать на миллионы
Правды свет и свет закона —
Наш божественный удел.

Вы, о мужи Божьей рати,
На востоке, на закате,
Вы на всех земли концах!
Вечной истины исканье,
Благо целого созданья —
Да живут у нас в сердцах.

12. ПОХОРОННАЯ ПЕСНЯ

(Из Гете)

На пустынный жизни край,
Где на мели мель теснится,
Где во мрак гроза ложится,
Цель стремленью поставляй.
Под печатями немыми
Много предков там лежит,
И холмами молодыми
Вместе прах друзей сокрыт.

Вразумись! да прояснится
И в эфир, и в ночь твой взор,
Да светил небесных хор
Для тебя соединится
С цепью радостных часов,
Что проводишь с беспечальным
Кругом близких, к вечным дальным
Отлететь всегда готов!

13

Судия, духов правитель,
Мириад миров строитель,
Преклони на нас твой взор!
Мы во страхе ожидаем:
Что во тьме мы созидаем,
Да не будет нам в укор.

В горних стройными кругами,
Бесконечными мирами
Ты достойнее хвалим.
Но и в храмах сокровенных,
Бледным светом озаренных,
Имя мы Твое святим.

О, воззри же на служенье
И пошли благословенье
На союзный труд наш Ты!
Для земли досель сокрытый,
Да восстанет он открытый,
В блеске вечной красоты.

Жить Твоею лишь хвалою
Мудрым целию одною
Неизменной предстоит.
На хваленье дух и силы
Посвятим мы до могилы:
Там нас смерть возвеселит!

14

Х о р

Жизнь хороша!

Г о л о с

Наружу нежными ростками
Из недр земли она бежит,
Ей солнце силу шлет лучами,
Роса питает, дождь растит.
    Цветет — и любви наслажденье
    В ней дышит и ярко цветет;
    Оно-то законом творенья
    В плодах себе чад создает.
Цветущую жизнь вы, где можно, щадите,
Созданной Творцом красоты не губите:
    И растений жизнь хороша!

Х о р

Цветущую жизнь щадим мы, где можно;
Созданное Богом для нас непреложно:
    И растений жизнь хороша!

Х о р

Жизнь хороша!

Голос

Но вот на лестнице творенья
Одушевленных тварей круг,
И им даны для наслажденья
И зоркий глаз, и чуткий слух.
Дано им искать себе радость и пищу,
Им плавать дано, и лежать, и ходить,
И двигаться вольно, и в мире жилище
Свободным избраньем себе находить.
Животную жизнь от мучений щадите,
От смерти ее, где возможно, храните.
И животных жизнь хороша!

Хор

Животную жизнь щадим мы, где можно;
Пусть будет ей смерть лишь закон непреложный:
И животных жизнь хороша!

Хор

Жизнь хороша!

Голос

Светлей сияет пламень вечный;
Он в духе ярко отражен:
Зане любовью бесконечной
Там с чувством ум соединен.
В нем чувство к прекрасному есть и благому,
И разум свободный для истины в нем,
И в безднах души одному лишь знакомо
Предчувствие связи его с Божеством.
Высоко, высоко над целым созданьем
Достоинства он поставлен сознаньем:
Человека жизнь хороша!

Хор

Высоко, высоко над целым созданьем
Стоим мы достоинства ясным сознаньем:
    Человека жизнь хороша!

Хор

Жизнь хороша!

Голос

Прекрасна сил многообразных
Чудесно-стройная игра!
Прекрасна цепь деяний разных
С сознаньем правды и добра.
    Спокойное гордо стремленье,
    И дело для пользы людской,
    И право на благословенье,
    И сладкий, блаженный покой.
И духом, и сердцем, и чувством живите,
И жизнь вы земную не праздно пройдите:
    Человека жизнь хороша!

Хор

И духом, и сердцем, и чувством живем мы,
И жизни дорогу не праздно пройдем мы:
    Человека жизнь хороша!

Хор

Жизнь хороша!

Голос

Но часто жизни наслажденья
Средь горя недоступны нам;
Вотще течет слеза стремленья,
И сердце рвется пополам.

Обмануты лучшие сердца надежды,
И злобы свободно клевещет язык,
И полны слезами страдающих вежды,
И слышится дикий отчаянья крик.
О, помощь повсюду, где есть лишь мученья!
Пролейте повсюду бальзам утешенья!
Побежденная скорбь хороша!

Хор

По силам спешим мы на голос мученья,
Да даст нам победу над ним утешенье:
Побежденная скорбь хороша!

Хор

Жизнь хороша!

Голос

Но, ах! прекрасный свет затмится,
Поблекнет молодости цвет,
И сила жизни утомится,
И смолкнет радостей привет.
Как быстро людское стремленье
К развернутым вечно гробам:
Мы плачем о мертвых... Мгновенье —
И мы, как они, уже там.
Надейтесь: не духу исчезнуть во прахе,
В бессмертие веру храните во страхе:
С упованием смерть хороша!

Хор

Надежда!.. Не духу исчезнуть во прахе;
В бессмертие веру храним мы во страхе:
С упованием смерть хороша!

Хор

Жизнь хороша!

15. НАДЕЖДА

(Из Шиллера)

Говорят и мечтают люди давно
  О времени лучшем, грядущем;
Им целью златою сияет оно —
  За счастьем издавна бегущим;
И стареет мир, и юнеет опять, —
Человек продолжает всё лучшего ждать.

Надежда проходит с ним жизни путь,
  Крылами ребенка лелеет,
Мечтами волнует юноши грудь,
  Для старца и в гробе не тлеет,
Зане и ко гробу склонясь, утомлен,
Насаждает у гроба надежду он.

И то не обманчивый призрак пустой,
  Порождение мозга больного, —
Нам сердце так ясно шепчет порой:
  Рождены мы для чего-то иного.
И что внутренний голос нам шепчет в тиши,
Не обманет живых упований души.

1845

Гете

149. БОЖЕСТВЕННОЕ

Прав будь, человек,
Милостив и добр:
Тем лишь одним
Отличаем он
От всех существ,
Нам известных.

Слава неизвестным,
Высшим, с нами
Сходным существам!
Его пример нас
Верить им учит.

Безразлична
Природа-мать.
Равно светит солнце
На зло и благо,
И для злодея
Блещут, как для лучшего,
Месяц и звезды.

Ветр и потоки,
Громы и град,
Путь совершая,
С собой мимоходом
Равно уносят
То и другое.

И счастье так,
Скитаясь по миру,
Осенит то мальчика
Невинность кудрявую,
То плешивый
Преступленья череп.

По вечным, медяным,
Великим законам,
Все бытия мы
Должны невольно
Круги свершать.

Человек один
Может невозможное:
Он различает,
Судит и рядит,
Он лишь минуте
Сообщает вечность.

Смеет лишь он
Добро наградить
И зло покарать,
Цели́ть и спасать,
Всё заблудшее, падшее
К пользе сводить.

И мы бессмертным
Творим поклоненье,
Как будто людям,

Как в большем творившим,
Что в малом лучший
Творит или может.

Будь же прав, человек,
Милостив и добр,
Создавай без отдыха
Нужное, правое...
Будь нам их образом
Провидимых нами существ.

Апрель 1845

150. ПОКАЯНИЕ

Боже правый, пред Тобой
Ныне грешница с мольбой.
Мне тоска стесняет грудь,
Мне от горя не заснуть.
Нет грешней меня, — но Ты,
Боже, взор не отврати!..

Ах, кипела сильно в нем
Молодая кровь огнем!
Ах, любил так чисто он,
Тайной мукой истомлен.
Боже правый, пред Тобой
Ныне грешница с мольбой.

Я ту муку поняла
И безжалостно могла
Равнодушно так молчать
И на взгляд не отвечать.
Нет грешней меня, — но Ты,
Боже, взор не отврати!..

Ах, его терзала я,
И погиб он от меня.
Потерялся, бедный, он,
Умер он, похоронен.
Боже правый, пред Тобой
Ныне грешница с мольбой.

Апрель 1845

151. ПЕРЕМЕНА

На камнях ручья мне лежать и легко, и отрадно...
Объятья бегущей волне простираю я жадно,
И страстно мне жаркую грудь лобызает она.
Умчит ее прихоть — тотчас набегает другая,
Всё так же прохладна, всё так же мне сердце лаская...
И вечною меной душа так блаженства полна.

К чему же безумно, к чему же печально и тщетно
Часы наслажденья, летящие так незаметно,
Ты мыслью о милой неверной начнешь отравлять?
О, пусть возвратится, коль можно, пора золотая:
Целует так сладко, целует так страстно вторая,
Как даже и первая вряд ли могла целовать.

Апрель 1845

152. МОЛИТВА ПАРИИ

Вечный Брама, боже славы,
Семя ты всему единый,
И лишь ты единый правый...
Неужель одни брамины
Да богатые с раджами
Созданы тобою, боже,
Или звери вместе с нами
Рук твоих созданье тоже?

Правда, мы неблагородны;
Нам худое подобает;
Всё, что смертно для свободных,
То одно нас размножает.
Так судить прилично людям, —
Но не в мнение людское,
А в тебя мы верить будем:
Правых нет перед тобою.

И к тебе мое моленье:
Приими меня как сына
И восставь соединенье
В том, что было б нам едино.
Для любви твоей нет меры,
И тебя не тщетно чту я:

В искупленье баядеры,
Вечный Брама, чуда жду я!

1845

153. НА ОЗЕРЕ

И пищу свежую, и кровь
Из вольной жизни пью.
Природа-мать! ты вся любовь,
Сосу я грудь твою.
И мерно челн качает мой
То вниз, то вверх волна,
И горы, в облаках главой,
Встречают бег судна.

Что ты, что поникло, око?
Ты ли снова, сон далекий?
Славный сон, ты лишний здесь...
Здесь любовь, и жизнь здесь есть!

На волнах сверкают
Тысячи звездочек вдруг,
Облака впивают
Даль немую вокруг.
Утренний ветр обвевает
Дремлющий тихо залив.
Озера зыбь отражает
Много зреющих слив.

<1850>

154. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Кто мчится так поздно под вихрем ночным?
Это отец с малюткой своим.
Мальчика он рукой охватил,
Крепко прижал, тепло приютил!
«Что всё личиком жмешься, малютка, ко мне?»
— «Видишь, тятя, лесного царя в стороне?
Лесного царя в венке с бородой?»
— «Дитятко, это туман седой».

«Ко мне, мой малютка, со мною пойдем,
Мы славные игры с тобой заведем...
Много пестрых цветов в моем царстве растет,
Много платьев златых моя мать бережет».
— «Тятя, тятя... слышишь — манит,
Слышишь, что тихо мне он сулит?»
— «Полно же, полно — что ты, сынок?
В темных листах шелестит ветерок».

«Ну же, малютка, не плачь, не сердись.
Мои дочки тебя, чай, давно заждались.
Мои дочки теперь хороводы ведут;
Закачают, запляшут тебя, запоют...»
— «Тятя, тятя, за гущей ветвей
Видишь лесного царя дочерей?»
— «Дитятко, дитятко... вижу я сам,
Старые ивы за лесом вон там».

«Ты мне люб... не расстанусь с твоей красотой;
Хочешь не хочешь, а будешь ты мой...»
— «Родимый, родимый... меня он схватил...
Царь лесной меня больно за шею сдавил.. .»
Страшно отцу. Он мчится быстрей.
Стонет ребенок, и всё тяжелей...
Доскакал кое-как до дворца своего...
Дитя ж был мертв на руках у него.

<1850>

155

Единого, Лилли, кого ты любить могла,
Хочешь вполне ты себе, и по праву...
Твой он вполне и единственно.
Ибо вдали от тебя мне
Жизни быстро-стремительной
Всё движение шумное,
Словно легкий флер, сквозь который я
Вижу твой лик из-за облака,
И, приветливо-верный, он светит мне,
Как за радужным блеском сиянья полночного,
Вечные звезды сверкают.

1851

156. ПЕВЕЦ

«Что там за песня на мосту
  Подъемном прозвучала?
Хочу я слышать песню ту
  Здесь, посредине зала!»—
Король сказал — и паж бежит...
Вернулся; снова говорит
  Король: «Введи к нам старца!»

— «Поклон вам, рыцари, и вам,
  Красавицы младые!
Чертог подобен небесам:
  В нем звезды золотые
Слилися в яркий полукруг.
Смежитесь, очи: недосуг
  Теперь вам восхищаться!»

Певец закрыл свои глаза —
  И песнь взнеслась к престолу.
В очах у рыцарей гроза,
  Красавиц очи — долу,
Песнь полюбилась королю:
«Тебе в награду я велю
  Поднесть цепь золотую».

— «Цепь золотая не по мне!
  Отдай ее героям,
Которых взоры на войне —
  Погибель вражьим строям;
Ее ты канцлеру отдай —
И к прочим ношам он пускай
  Прибавит золотую!

Я вольной птицею пою,
  И звуки мне отрада!
Они за песню за мою
  Мне лучшая награда.
Когда ж награда мне нужна,
Вели мне лучшего вина
  Подать в бокале светлом».

Поднес к устам и выпил он:
  «О сладостный напиток!

О, трижды будь благословен
    Дом, где во всем избыток!
При счастье вспомните меня,
Благословив Творца, как я
    Всех вас благословляю».

<1852>

157

Кто со слезами свой хлеб не едал,
Кто никогда, от пелен до могилы,
Ночью на ложе своем не рыдал,
Тот вас не знает, силы.

Вы руководите в жизни людей,
Вы предаете их власти страстей,
Вы ж обрекаете их на страданье:
Здесь на земле есть всему воздаянье!

<1852>

158

    О, кто одиночества жаждет,
    Тот скоро один остается!
Нам всем одинаково в мире живется,
    Где каждый — и любит, и страждет.
    И мне не расстаться с глубоким,
    Изведанным горем моим...
Пусть буду при нем я совсем одиноким,
    Но всё же не буду одним.
    Одна ли подруга? Подходит
    Украдкой подслушать влюбленный...
Вот так-то и горе стопой потаенной
    Ко мне, одинокому, входит.
И утром, и ночью глубокой
    Я вижу и слышу его:
Оно меня разве лишь в гроб одинокой
    Положит совсем одного.

<1852>

159. ЗАВЕТ

От века правда пребывала
И лучших всех соединяла.
Наполни правдой старой грудь!

. . . .

Внутри души своей живущей
Ты центр увидишь вечно сущий,
В котором нет сомнений нам:
Тогда тебе не нужно правил,
Сознанья свет тебя наставил
И солнцем стал твоим делам.

Вполне твоими чувства станут,
Не будешь ими ты обманут,
Когда не дремлет разум твой,
И ты с спокойствием свободы
Богатой нивами природы
Любуйся вечной красотой.

Но наслаждайся не беспечно,
Присущ да будет разум вечно,
Где жизни в радость жизнь дана.
Тогда былое удержимо,
Грядущее заране зримо,
Минута с вечностью равна.

<1859>

Шиллер

160. ТЕКЛА

Голос духа

Где теперь я, что теперь со мною,
Как тебе мелькает тень моя?
Я ль не всё закончила с землею,
Не любила, не жила ли я?

Спросишь ты о соловьях залетных,
Для тебя мелодии свои

Расточавших в песнях беззаботных?
Отлюбив, исчезли соловьи.

Я нашла ль потерянного снова?
Верь, я с ним соединилась там,
Где не рознят ничего родного,
Там, где места нет уже слезам.

Там и ты увидишь наши тени,
Если любишь, как любила я, —
Там отец мой чист от преступлений,
Защищен от бедствий бытия.

Там его не обманула вера
В роковые таинства светил;
Там всему по силе веры мера —
Тот, кто верил, к правде близок был.

Есть в пространствах оных бесконечных
Упованьям каждого ответ;
Ройся ты в своих сомненьях вечных —
Смысл глубокий — в грезах детских лет.

Октябрь 1847

161. ТАЙНА ВОСПОМИНАНИЯ

Л. Ф. Григорьевой

Вечно льнуть к устам с безумной страстью...
Кто ненасыщаемому счастью,
Этой жажде пить твое дыханье,
Слить с твоим свое существованье,
Даст истолкованье?

Не стремятся ль, как рабы, охотно,
Отдаваясь власти безотчетно,
Силы духа быстрой чередою
Через жизни мост, чтобы с тобою
Жизнью жить одною?

О, скажи: владыку оставляя,
Не в твоем ли взгляде память рая
Обрели разрозненные братья

И, свободны вновь от уз проклятья,
    В нем слились в объятья?

Или мы когда-то единились,
Иль затем сердца в нас страстно бились?
Не в луче ль погасших звезд с тобою
Были мы единою душою,
    Жизнию одною?

Да, мы были, внутренно была ты
В тех эонах — им же нет возврата —
Связана со мною... Так в скрижали
Мне прочесть — в той довременной дали —
    Вдохновенья дали.

Нектара источники пред нами
Разливались светлыми волнами—
Смело мы печати разрешали,
В светозарной правды вечной дали
    Гордо возлетали.

Оттого-то вся преданость счастью —
Вечно льнуть к устам с безумной страстью,
Это жажда пить твое дыханье,
Слить с твоим свое существованье
    В вечное лобзанье.

Оттого-то, как рабы, охотно,
Предаваясь власти безотчетно,
Силы духа быстрой чередою
Через жизни мост бегут с тобою
    Жизнью жить одною.

Оттого, владыку оставляя,
У тебя во взгляде память рая
Обрели — и, тяжкий гнет проклятья
Позабыв, сливаются в объятья
    Вновь они, как братья.

Ты сама... пускай глаза сокрыты,
Но горят зарей твои ланиты;
Мы родные — из страны изгнанья
В край родной летим мы в миг слиянья
    В пламени лобзанья.

Ноябрь 1847

Гейне

162

Они меня истерзали
И сделали смерти бледней, —
Одни — своею любовью,
Другие — враждою своей.

Они мне мой хлеб отравили,
Давали мне яда с водой, —
Одни — своею любовью,
Другие — своею враждой.

Но та, от которой всех больше
Душа и доселе больна,
Мне зла никогда не желала,
И меня не любила она!

1842

163

Ядовиты мои песни,
Но виной тому не я:
Это ты влила мне яду
В светлый кубок бытия.

Ядовиты мои песни,
Но виной тому не я:
Много змей ношу я в сердце —
И тебя, любовь моя.

1842

164

Страдаешь ты, и молкнет ропот мой;
Любовь моя, нам поровну страдать!..
Пока вся жизнь замрет в груди больной,
Дитя мое, нам поровну страдать!

Пусть прям и смел блестит огнем твой взор,
Насмешки вьется по устам змея,
И рвется грудь так гордо на простор,
Страдаешь ты, и столько же, как я.

В очах слеза прокрадется порой,
Дано тоске улыбку обличать,
И грудь твоя не сдавит язвы злой...
Любовь моя, нам поровну страдать.

Январь 1844

165

Жил-был старый король,
С седой бородою да с суровой душою,
И — бедный старый король —
Он жил с женой молодою.

И жил-был паж молодой,
С головой белокурой да с веселой душою...
Носил он шлейф золотой
За царской женой молодою.

Есть старая песня одна —
Мне с самого детства ее натвердили:
Им гибель обоим была суждена —
Друг друга они слишком сильно любили.

1844

166

Пригрезился снова мне сон былой...
Майская ночь — в небе звезды зажглися...
Сидели мы снова под липой густой
И в верности вечной клялися.

То были клятвы и клятвы, вновь,
То слезы, то смех, то лобзание было...
Чтобы лучше я клятву запомнил, ты в кровь
Мне руку взяла — укусила.

О милочка с ясной лазурью очей,
О друг мой и злой, и прелестный!
Целоваться, конечно, в порядке вещей,
Но кусаться совсем неуместно.

<1853>

167

Не пора ль из души старый вымести сор
Давно прожитого наследия?
Я с тобою, мой друг, как искусный актер,
Разыгрывал долго комедию.

Романтический стиль отражался во всем
(Был романтик в любви и в искусстве я),
Паладинский мой плащ весь блистал серебром,
Изливал я сладчайшие чувствия.

Но ведь странно, что вот и теперь, как гожусь
Уж не в рыцари больше — в медведи я,
Всё какой-то безумной тоскою томлюсь,
Словно прежняя длится комедия.

О мой Боже, должно быть, и сам я не знал,
Что был не актер, а страдающий,
И что, с смертною язвой в груди, представлял
Я сцену: «Боец умирающий».

<1853>

А. Рубинштейн

168. ДЕТИ СТЕПЕЙ, ИЛИ УКРАИНСКИЕ ЦЫГАНЕ

Опера в четырех действиях

Музыка А. Рубинштейна

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Глав Владимир, офицер	Тенор
Конрад, немец, хозяин корчмы в имении графа	Баритон

Мария, его дочь		Сопрано
Ваня, пастух табуна		Тенор
Избрана, цыганка		Мец.-сопрано
Григорий	цыгане	Бас
Богдан	цыгане	Баритон
Павел	цыгане	Бас
Цыганка Лиза		Мец.-сопрано
Слуга в корчме		Тенор
Цыган		Тенор

Слуги графа, пастухи и крестьяне, крестьянки, цыгане (музыканты), цыгане (разбойники).

Действие происходит в степях Украины.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Пустое место за деревней. Степь и холмы. Темный вечер. В глубине сцены мазанка, диким кустарником окруженная. Перед мазанкой скамья. Кругом разбросаны старые орудия.

Явление 1

Избрана и Григорий. Избрана, направо у кустов, прислонясь к дереву, смотрит на степь; в руках у ней тамбурин, одета бедно, но фантастически. Григорий сидит на корточках и чинит сковороду.

Избрана

Скоро день пройдет и ночь настанет.
Я напрасно жду его.

Григорий

Что бормочешь... дай-ка лучше
Мне хлебца ты.

Избрана

Ни крошки нет.

Григорий

Эх ма!.. Да ну! Знать, так и быть.

Избрана

Иль, жених мой, позабыл ты
Про любовь, любовь мою?

Григорий

Он другою, верно, занят
И цыганку разлюбил.

Избрана

(*задумывается и потом подходит к авансцене*)

Не хотела от него
Утаить я ничего.
Я цыганка и черна,
Коль ему я страшна,
Коль белянку полюбил он,
Коли клятвы позабыл он, —
Проклят будь он навсегда,
Пусть над ним висит беда!

(*с ужасом*)

Нет!

(*с любовью*)

О нет, вернется он!

Григорий

Эх, глупа ты!

Избрана

Вернется он!

Григорий

С голоду мы мрем...

Избрана

Вновь будет мой!

Григорий

Он гонит нас отсюда.

Избрана

(*печально*)

Да! в путь далекий!..
В путь мы снова, как другие,
В сторону чужую,
Там точить, ковать мы будем,
Голодать по суткам.

Григорий

(*бросая работу, встает*)

Вместе

В путь мы снова, как другие,
Голод, холод ждет нас, бедных.
Да, в путь,
Мы в путь идем далекий.
Да, в путь,
Мы в путь идем далекий,
В далекий,
На сторону чужую.

Избрана

И пойду я за тобою,
Буду петь под тамбурин,

Буду петь я
И плакать о нем,
Буду петь, — увы! да слезы лить,
Буду петь я, буду плакать, — ах!

Григорий

И пойдешь ты в путь со мною,
Будешь петь под тамбурин,
Как цыгане всюду ходят...
Да!

Избрана

В путь мы снова, как другие,
В сторону чужую (и проч.)

Избрана вбегает на холм и смотрит в степь. Григорий идет к мазанке и подбирает рухлядь.

Явление 2

Те же, Богдан и Павел.

Трио

Богдан
Гайда!.. сюда,
Чуть головы не потеряли —
Но удалось нам улететь,
Словно галкам и воронам.
Есть хотим мы все ужасно.

Павел

Кто здесь! сюда...
Чуть головы не потеряли —
Но удалось нам улететь,
Словно галкам и воронам.
Есть хотим мы все ужасно.

Богдан

Спаси!

Григорий

Тс!..

Богдан

Дай место нам.

Павел

Нам место здесь сегодня дай.

Богдан

Один ли ты?

Григорий

Тише!

(*Показывает пальцем на холм, где Избрана*)

Со мной она...
Со мной колдунья.

Богдан

(*иронически*)

Она ждет пастуха!

Григорий

(*смеясь*)

Она ждет пастуха!

Павел

А он вовремя придет?

Григорий

Сегодня ночью!

Богдан

Славно!

Павел

Славно!

Григорий

Что? кстати это вам?

Богдан и Павел

Да, кстати это нам.

Избрана

(*хочет сойти с холма, но видит цыган и останавливается*)

Они!.. зачем сюда?

Григорий

(*увидя ее*)

Подслушивает!

Павел

Подслушивает!

Богдан

Подслушивает!

Избрана

Не к добру собрались они.

Богдан

Берегитесь!

Павел

Берегитесь!

Григорий

Берегитесь!

Избрана

(*запевая про себя*)

Лошадка вдоль по полю ночью летит...
Лошадка милого-голубчика мчит.

(*Слушает*).

Павел

Вот там в степи широкой
Есть, друзья, богатый дом.
Его хозяин — здесь чужеземец.

Богдан

Да! его хозяин
Здесь чужеземец.

Павел

Золотом полны
Сундуки там — это верно.

Григорий

Что?... сундуки?

Павел

Он нынче один.

Григорий

Ну.

Богдан

С женой своею.

Григорий

Дальше!

Павел

Ну, мы туда.

Григорий

Да!

Павел

Их порешим мы.

Богдан

И деньги нам.

Григорий

Ну, да!

Павел

И деньги нам.

Избрана

Что слышу!

Богдан

Но добычу
Мы знать должны!
Что скажешь ты?

Павел

Мы всё пополам.

Богдан

Ну, так.

Григорий

Быть так!

Избрана

(*замечает, что за нею подсматривают, начинает петь про себя*)

У милого очи, как ночи, черны.
У милого очи горят, как огни.

Григорий

Девчонке-чернавке
О всем молчать,
Колдунье ни слова
О том не сказать.

Богдан

Так что ж!

Павел

Пускай!

Избрана

(*продолжая петь*)

Сердечко трепещет в груди у меня,
Теперь лошадка за кормом.

Павел

Пусть они речи ведут меж собой,
Нам до них, право, нет дела, друзья.

Богдан

Лошадка его может в пользу нам быть.

П а в е л

Ее мы успеем пока заложить.

(*Избрана при этих словах роняет тамбурин*)

И з б р а н а

Лошадку!

Г р и г о р и й

(*вставая и подходя к ней, потом Богдан и Павел*)

Что, ведьма, уши навострила?
Ну да, о немце речь идет.

П а в е л

Посмей предать свое ты племя.

Б о г д а н

Посмей предать нас пастуху.

Г р и г о р и й

Суди нас Бог!

В с е

Но ты погибла!

(*Держат ножи над ее головою*)

И з б р а н а

(*по-видимому равнодушно*)

До немца что за дело мне?

Григорий

(показывая на холм)

Пойдем, туда нам путь лежит.

(Идут).

Богдан

(уходя, грозит ей)

Смотри и помни обещанье!

(Уходят)

Явление 3

Избрана одна.

И это наши!
И то — мой род... Не прав ли он?
Найдет их здесь — нас всех тогда прогонит —
И не видать его мне вечно.

(Прислушивается с большим вниманием)

А, чу! топот копыт коня!
Слышу голос милый чутко я.
По степи бежит
Конь его пегой,
Без узды, без стремян он несется,
То он — мой милый, мой наездник.
Конь мой, конь мой — это ты!

(Бежит в глубину театра и встречает Ваню, обнимает его и увлекает на авансцену)

Ваня, Ваня, Ваня!

Явление 4

Избрана и Ваня

Избрана

Я ждала тебя, мой милый.

Ваня

Не ласкайся.

Избрана

Так мрачно ты глядишь,
Дай тебя я поцелую.

Ваня

Не целуй!

Избрана

Черны кудри расчешу я.

Ваня

Я не с радостью пришел,
А пришел я, чтоб с тобою
По душе теперь проститься,
Ты чернавочка моя.

Избрана

Страшны эти шутки,
Мне в лицо взгляни.

Ваня

Верь мне: нет я не шучу!
Во мне так сильно сердце всё изныло,
Что терпеть нет больше мочи,
Надо кончить всё, что было.
Твоему я на смех роду,
И проходу
Не дают свои,
За тебя я всё терплю.

Избрана

(*горячо*)

Иль другую любишь ты?

Ваня

Будь я трижды проклят, нет!
И женихом ли я смотрю?
Загляни ты в грудь мою,
Боль в душе и краски нет,
А я был что маков цвет...
Грусть-тоска меня сгубила.
Это ты всё иссушила,
Подколодная змея!

Избрана

Прав ты, прав ты, проклинай!

В глубине сцены являются Григорий, Павел и Богдан.

Ваня

Лучше б я тебя не знал,
Не слыхал, как ты поешь.
Не видал бы, как пляшешь
Под веселый тамбурин.

Избрана с гневом отбрасывает ногою лежащий подле нее на земле тамбурин.

Мне назвать тебя женою
Зазорно было б пред роднею,
Будет вечный стыд и срам...
И к тебе я, словно вор,
Все хожу порой ночной...
Лучше я прощусь с тобой.

Избрана

(*с горестию*)

Ты ступай, и пусть умру я,
Голодаю, погибаю...

Ваня

Нет, никак тому не быть
(*вынимает деньги из кармана*).
Всё, что только граф мне дал,
Всё возьми!

Избрана

Оставь, оставь!

Ваня

Обиден отказ.

Избрана

(*прижимаясь к нему*)

Один ты мне мил!

Ваня

Прочь, себе я слово дал.

Избрана

(*нежно*)

А мне?

Ваня

Прочь, изныло всё сердце во мне,
Мучишь ты меня ужасно!
Прочь!

Избрана

Гони меня, но на прощанье
Послушай слово ты мое...
Пускай за это я погибну:
Сегодня в ночь собрались к немцу все
На разбойничий набег,
Они твою украли лошадь..
Ты понял? прощай!

Ваня

И лошадь украли и гибель грозит,
Ты мне сказала сама:
Что готова на смерть за меня!

(*с одушевлением*)

Теперь пойду спокойно я,
Но знай: пойду, но без тебя!..
Ты только мне добра желала,
И я всех в мире презираю...
Мне стыдно стало за себя,
Ты так верна, добра ко мне,
Я руки с клятвой подымаю,
Само я небо призываю,
Я на коленях пред тобой,
Нас слышит Бог: навек я твой!

Избрана

Душа во мне пылает,
Мой друг, любовь, надежда, радость...
Клянуся я у ног твоих:
Твоя навек, навек!

(*Уходят, обнявшись, налево*).

Явление 5

Степь, поросшая кустарником, — налево вход в дом Конрада, перед которым садик; направо графский сад. Сумерки.

Мария

(*идет из сада направо*)

Всё тишиной полно кругом:
И неба кроткое сиянье,
И запах роз, и трав дыханье.
Мне говорят цветы тайком:
Мы оттого блестим средь ночи,
Что мы ему глядели в очи...
Что мимо нас он проходил.
Он здесь, и мне в тот миг прекрасный
Явился с кротостью чела,
И мне сказал с улыбкой ясной:
Дитя мое, как ты мила!
А я взглянуть едва лишь смела,
Но полюбила с этих пор...
А сердце билось и горело,
Мне солнцем был чудесный взор.
Цветы, не выдавайте тайны
Моей неопытной души,
И то, что вырвалось случайно,
Пускай умрет в ночной тиши.

Конрад

(*показываясь у окна*)

Мария! домой — и дом запри,
Пора уж спать!

Мария

Сейчас иду и дверь запру я...
Дай мне прохладой подышать,
Дай на цветы налюбоваться
Еще хоть миг, хоть миг один!

(*Стоит в задумчивости над цветочным кустом*).

Темное небо. Конрад запирает окно.

И, уходя,
Сказал он мне: не забывай,
Позволь тебя украсить розой

И чистое чело
Позволь поцеловать мне,
И он ушел, как будто сон...
Но сплю досель я сладким сном!
Не сон! цветок передо мной,
Еще горю от поцелуя!
Властитель мой! мне не забыть,
Что ты сказал мне на прощанье...
Я помню всё, я не забыла...
Властитель мой! ты был со мной...
А ты забыл уж в вихре света
Простую девочку давно.
И твой цветок, залог прощанья,
Уж на груди моей завял.
Лишь в глубине моей сердечной
Прекрасный образ твой живет,
Как сладкий сон:
Недостижим, но сладок он.

(*Идет в дом*).

Явление 6

Совершенно стемнело. Григорий, Богдан и Павел с другими цыганами выходят из-за кустов степи.

Григорий

Ну!

Павел

Молчать!

Богдан

Потише!

Павел

Всё готово ли у вас?

Цыгане

Приготовили мы всё:
Пики, ружья, смолу, серу,
Канат и топор.

Павел

Всё готово ли у вас
Для пожара, для дверей?

Цыгане

С нами всё!
Всё готово здесь!

(*Подходят к двери*).

Все

Открыты двери! сюда, сюда!
А, счастье нам! Открыты двери!
С немцем нечего шутить.
Ну! тише вы! ночь так темна,
В пользу нам теперь она!
Заплатишь ты оброк сегодня,
Коль тебе не помогут,
Хитрый немец!
Ну! потише!
Ведь дело-то не шутка!

(*Прокрадываются в дом*).

Явление 7

Ваня, потом хор графских дворовых и хор пастухов.

Ваня

(*идя из степи*)

Открыта дверь, я, верно, опоздал,
Но тихо всё, и звука не слыхать.
Иль меня Избрана обманула?

Конрад

(*из дому*)

Спасите!

Ваня

А! Что за крик!

Конрад

Спасите!

Ваня

(*бежит в глубину сцену и трубит в свой рог*)

Не робеть! защитники идут!
Наверно, услыхали!

(*Бросается в дом*)

Боже, помоги!

Выбегают мужчины и женщины из графского сада.

Хор

Что здесь? Что за шум? Кто тут?

Являются пастухи.

Что случилось?

Пастухи

Зовет нас рог на помощь!
Что делать нам?

Показывается пламя.

Все

Кто нас звал? Зачем мы здесь? Ах!
Пламень! помощь подадим,
Дружно!

Пастухи бросаются в дом; мужчины из дворовых тоже бросаются за ними — но оттеснены цыганами, завязывается драка.

Хор дворовых

А! тут воры есть!
Хотят убежать!
Гони воров и в степь и в лес,
Спускай на них собак!

Цыгане бегут: некоторые из мужчин бросаются за ними — другие в дом, на сцене остаются одни женщины.

Хор женщин

Смотри, кто это там в огне?
Он прорвался, он вышел смело,
Девицу вынес на руках,
Ваня, то пастух наш смелый.

Пожар утихает. Ваня является из горящего дома, неся на руках бесчувственную Марию. Конрад и мужчнны следуют за ними. Ваня кладет Марию на скамью, женщины ее окружают.

Явление 8

Те же, Мария, Ваня, Конрад, пастухи.

Хор

Как! Умерла! Возможно ль?

Ваня

Едва жива! Увы! Злодеи закрутили
Руки нежные ее.

Конрад

(*на коленях перед Мариею*)

Дитя! Мария!
О, страшная беда!
Уста дрожат!

Ваня

Трепещет грудь,
Она открыла взор.

Хор

Трепещет грудь, очнулась!..

Конрад

Жива, жива!

Ваня

Жива!
Бог меня привел ее спасти!

Мария

(*открывая глаза*)

О, где я?

Конрад

Со мною ты, открой ты взор!
От смерти оба мы спасены.
Господь велел — и пастухов
Всевышний волею послал!
Хвала Творцу и тем,
Кто нас в беде спасли!

Хор

Вот нас всех призвал!

Конрад

Спаситель наш в беде!

Мария

Тебя за то, спаситель мой,
Бог наградит.

Хор

Ему хвала и честь во всем!

Ваня

(*слушая слова Марии*)

О, сладкий звук! Так соловей
Поет в кустах.

Конрад

Всё проси себе и будь мой сын,
Всё, что я имею,
Теперь твоим да будет!

Конрад и Мария

Иди ты к нам, иди ты к нам
И будешь гостем дорогим.

Ваня

За что меня благодарить?
Не нужны деньги ваши мне.

И что же сделал я?
Своих я только лишь созвал
И здесь воров я разогнал.
Хоть мы и пастухи,
Но храбрость Бог нам тоже дал!
Мне благодарность не нужна,
И ею я смущен!
Уйду!

Конрад

Удержи его хоть ты,
Пусть гость он будет наш!

Мария

(*Ване*)

Мы просим:
Не уходите вы от нас,
Остаться я прошу.

Ваня

(*Конраду*)

Ах, как дочь твоя хороша.
Да, она хороша!
Блестит, хозяин мой, у ней,
Как золото, коса,
Глаза у ней, что небеса...
О, ненаглядная краса!
С ума сойдешь от нее!

(*к Марии*)

О, не проси, останусь здесь охотно!

Хор

Остался он!

Финал

Мария

Бог нас ныне избавил от беды,
Избавитель в беде нам послан был.
Беда теперь прошла,
А жизнь хороша и надежд полна!
Еще хоть раз его увидала б я!
Жизнь так светла и хороша,
Еще раз бы его увидать!

Конрад

Дочь сохранил я — как счастлив я.
Мне век услуги не забыть,
Ты был спаситель наш один.
Тебя, пастух, сюда послал
Господь, Который нас создал,
Останься ж здесь, живи у нас!

Ваня

Не знаю, чем так прикован я,
Лишь падет взгляд милый на меня
Пусть весь мир зовет меня отсель,
Я пойду за ней, на призыв очей!

Хор

Ты от лихой беды спасен,
Не удался набег ворам, —
То дело Вани молодца!
И спасены от злой беды
Отец и дочь.
Желаем благ от неба вам,
Покоя, тишины.
Бог помочь вам, вы братья пастухи!
Теперь настал веселый час
И ты, старик, давай скорей
Нам лучшего вина!

(*Уходят в дом*).

Конец 1-го действия.

19 Зак. 4110

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Комната с простыми дубовыми стенами в доме Конрада. На авансцене деревянный стол и деревянные скамьи. Сзади видна комната, приготовленная для танцев. Налево дверь, направо окно с цветами.

Явление 1

Мария

(*стоит направо у окна в задумчивости*)

В чело целовал, волосами играл...
«Дитя, мила ты!» — он нежно сказал.
Увы, душа молчать должна,
Я пастуху обручена...
Сегодня будет совершен обряд!
Хочу забыть, хочу рассеять,
Что говорит в душе тайком
То сладкое чувство, то чувство тревожное,
Которым грудь пылает...
Но им душа моя горит!
Давно, давно уж увядает
Залог, но грудь его хранит!
Но пусть ничто мне
Не говорит о нем!

(*Подходит к окну*).

Как, ужель любви залог я
Отдам на волю ветрам буйным?
Он говорил: «Не забывай,
Позволь тебя украсить розой,
Прими лобзанье на прощанье!»

(*Остается у окна в задумчивости*).

Явление 2

Мария, Конрад (который вошел еще прежде и смотрел на нее).

Конрад

Живей, Мария, — оденься ты,
Уж гости едут, украшен весь дом,

Девицы тебе и венок уж сплетают;
Невеста — ты! Жених твой славный!
Что? разве нет?

Мария

Да, может быть.

Конрад

Он — молодец, собой хорош...
Что? разве нет?

Мария

Я верю вам.

Конрад

Как душу любит он тебя.
Ты разве нет?

Мария

Я помню всё,
Что сделал он и вам, и мне.

Конрад

Да, сыном я его назвал,
Я честно поступил.

(*Хочет обнять ее; она вырывается из его объятий*).

Как, избегаешь ты меня!
Что значит это, отвечай,
И что томит тебя? скажи!

(*Обнимает ее*).

Не говори, я знаю сам,
Тебя за то не осуждаю,
Но чтоб спасти от искушенья,
Я выбрал мужа молодца;
Он нам самим был послан Богом...
Ты сердца бойся своего!
Не рождена ты быть графиней,
А быть любовницею грех!

Мария

О Боже мой! Что слышу я?

Конрад

А что ж другое думал граф?

Мария

Нет, он явился предо мною,
Как солнце, ясен, прост и чист...
Не увлекал любви словами.
Меня лишь сердце обмануло,
Не знает он ни слез моих,
Ни радостей моей души.
Ах! я мечтала, как дитя;
Прости мне этот грех, отец!

(*Конрад и Мария вместе*)

Конрад

Безгрешно сердце, знаю я,
Мое ты доброе дитя.

Мария

Спаси меня, спаси, Господь,
Услышь меня,
Дай никогда его не видеть!

Пусть тайну хранят навек
Уста мои... Отречься я могу,
Но не могу его забыть.

Явление 3

Те же, девушки и женщины входят с дарами и подносят их Марии: один венок, — другие сарафан, — третьи кокошник и покрывало.

1-й хор

Что, девица, в мыслях таишь, скажи,
Ай-да, не утай.

2-й хор

Что, девица, в мыслях таишь, скажи,
Ай-да, не утай.

3-й хор

Что девица, в мыслях таишь, скажи,
Ай-да, не утай.

1-й хор

По сердцу ей парень молодой,
Ай-да, молодой.
Парень молодой у дверей стоит,
У дверей стоит, речи говорит.

2-й хор

Ах люб-то девке сарафан,
Ай-да, сарафан.
Красным шелком шитый и жемчугом.

3-й хор

Любви покрывало ей, да венок,
    Ай-да, ей венок,
Тот ли веночек из цветов.

Одна

Но где же это наш жених!

Другая

Он ждет призыва.

Одна

Пора его к венчанью звать.

Другая

Сейчас он будет.

Явление 4

Те же, Ваня с пастухами, все одетые по-праздничному.

Ваня

Серденько мое!
Блестишь ты ярче камней дорогих,
Но золота я не принес тебе!
Ах, я пастух, простой пастух степной.

(*К пастухам*)

Как хороша в венке она!

(*К ней*)

Краса твоя с ума меня свела,
О, дай в залог ты белу ручку мне,
И со мною в степь вольную пойдем!

Наяву иль во сне
Только грезится
Это счастье мне.
Не мечтал, не гадал,
А досталась ты мне,
Ты моя, моя вполне.
О радость ты моя!
Лишь впервой я тебя
Увидал, услыхал —
Словно Божий свет,
Словно рай узнал.
Загорелась душа,
Закипела вся кровь
Молодецкая,
Словно полымя,
И небо раскрыла мне ты.
Степь вольная с тобою
Просторней и вольней.
Светлее звезд сиянье
Ясных твоих очей,
Под стопами милой
Цветы растут степные,
И приветливо они
Улыбаются тебе,
Всё расцветает пред тобой,
Пред царицею степной!
Мария, уж в церковь нам пора!

Ваня берет Марию за одну, Конрад за другу руку
и идут, за ними весь хор.

Хор мужчин и женщин

Будь Господня благодать
Над тобою, о чета!
Лишь она дает одна
Мир семье и тишину.

Сцена пустеет, но пение продолжается за сценой.

Будь с тобою, о чета,
Милость Божья, милость Божья!

Явление 5

Избрана

(с тамбурином в руке, в диком волнении)

Они уж к алтарю идут!
С венком на голове идет невеста...
Меня ж под тамбурин плясать призвали,
Ему на свадьбе песни петь!
О, тамбурин! Из-за него я
Тебя разбила раз ногой...
Тебя настрою я, чтоб слышал он тебя,
И брачную спою ему я песню...
Уж их обряд соединил
И он ей в верности поклялся,
Со мной навек теперь расстался
Тот, кто мне сердце иссушил.
Расстался!.. Нет!..
В глубине его сердечной
Я буду вечно жить, как тень.
Белянка! ты остерегись!
Должна ты так его любить,
Чтобы он мог меня забыть,
Иль проклята ты будешь вечно!
Люби, люби!
Иль проклята ты будешь вечно!

Явление 6

Цыгане и цыганки, между ними Лиза. Выходят с левой стороны цыганки с тамбуринами.

Один

Но что с тобой?

Другой

Что смотришь так убита?

Цыгане

Но что с тобой?!

Хор

Он теперь на другой женился,
Но он ей прежде клятву дал,
Он в белянку теперь влюбился,
Вероломный ей приворожен.
Эх, сестрица!
Эх, бедняжка!
Обманули девку!
И бедняжке петь нынче надо
И веселой пред ним казаться,
Хоть у ней
Слезы льются из очей!
Обманули девку!
Эх, сестрица!
Эх, бедняжка!

Явление 7

Те же, выходят слуги, ставят скамьи и стулья; цыгане удаляются в глубину сцены. Избрана стоит в ожидании. Позднее являются Мария, Конрад, Ваня и гости.

Слуга

Эй, расступитесь — идут!
Вы, цыгане, скорее
Новобрачным привет!

Хор гостей

(*сначала за сценою*)

Мы свадебной песнью
Будем встречать молодых
И им всех благ желать.

Хор цыган

Молодым ура!

Хор гостей

(*на сцене*)

Как счастлив он в этот сладкий час,
Да будет счастлив он всегда!

Цыгане

Гляди, вот он!
Посмотри!
Погляди!

Входят молодые.

Гости

Ура, ура, ура!

Избрана

(*Ване*)

Побледнел!

Ваня

Прочь!

Избрана

Или клятвы позабыл ты?

Ваня

Ступай с дороги!
Прочь, демон ты!

Избрана

Изменник ты... Одно лишь слово,
И ты погибнешь,
Твоя голубка прочь улетит.

Мария

(*про себя*)

Горе! Горе мне!

Конрад

Дети, вас благословляю
Счастливо жить!

Избрана

Сверкает взор, дрожит рука,
В груди его трепещет сердце.
Она ж, разлучница моя,
Глядит так холодно, печально...
Душа моя в тревоге страшной.
Да! день придет отмщенья моего,
Я жду его...
Он не совсем еще потерян,
Да, не совсем: Избрана ждет...
Его мне трепет говорит:
Чужда она ему, он ей;
Но для меня он не потерян,
Он будет мой!

Мария

(*Конраду*)

О, положи на сердце мне
Свою родительскую руку,
Чтоб возвратилось к тишине
И хоть на миг забыло муку;
Душа исполнена тревоги,
В ней страх и горе пополам!

От мысли быть его женой
Тайный страх овладевает мной!
Спаси меня, Господи,
Тебе я предалась!
Твоя святая помощь,
Как свет во тьме ночной!

Ваня

Что мне сдавило грудь мою?
Она страшна, как привиденье,
Я как прикованный стою,
А в сердце адское волненье.
О, прочь ты, прочь с моей дороги,
Поди ты прочь. Она моя,
Она моя жена!
Жизнь за нее готов отдать!
Кто ж вздумает отнять —
Страшись: пастух не спит.
Да! горе тому, кто бы отнял ее!

Конрад

О, пусть родителя рука
Соединит две ваши руки,
Благословит пусть ваш союз
Господь небес, земли властитель!
Ты, добрый сын, дай руку мне,
Тебе я отдал дочь свою,
Господь, всесильною рукой
Ты храни союз святой,
Ты пошли с небес благодать!

Общий хор

Но что с младой четой?
Что с ней? Он сам не свой!
Или беда,
Как гость, пришла сюда?
Что взор смутило их?
Что за беда?

Всеми мрак и горе овладели.
Что значит то?
Исчезла радость вдруг,
Пришла беда,
Как гость, сюда,
Смутила взор веселый их!

Ваня

(*как будто вдруг пробуждаясь*)

Эй! вина, дайте скорей сюда!

Хор

Эй цыгане! живей!

Другие

Лучше танцы!

Одни

Нет, нет!

Другие

Танцевать мы хотим,
Потом и песни будут нужны.

Одни

Будем после танцовать.

(*К цыганам*)

Что ждете вы?

Ваня

(*цыганам*)

Цыгане, племя проклятое,
Живую песню нам сейчас!
Потом пусть пляской круговою
Красотки ваши тешат нас.

(*Марии*)

Мария, пусть они на свадьбе нам поют.

Хор цыган

Каморо, румніори,
Йлоро, чириклоро,
Дивес тэ ради.
Амэн азас
Массон герминал.[1]

Лиза

Лип душистых свежий лист,
Пусть будет жизни путь их лучист!
Полон весь блаженных снов,
Без страданий, без шипов!

Хор

Йлоро, чириклоро
Дивес тэ ради.

Лиза

Темных мирт зеленый куст,
Внемли мольбе из наших уст!

---

[1] Солнышко цыганочка,
Сердечко, пташечка,
Время это — для веселья,
Мы радуемся.
Не спи ты, молода! (цыган.; перевод Г. Сарэу). — *Ред.*

Сохрани влюбленных нам,
Не отдай во власть годам!

Хор

Мрочирик лоро
Дивес тэ ради.

Лиза

Все зеленые листы,
Не забывайте их и вы!
Каждый год на их главу
Сыпьте вешнюю росу!

Хор

Дивес тэ ради.

Хор гостей

Нет, нет! Избрана, пой ты!
Пусть песню Избрана скорее
Веселую споет!
Поскорей, что медлишь ты?
Спой ты цыганскую, старую нам.

Избрана

А! хорошо — про Зденко песню я спою.

Хор

Тише! молчать!

Избрана

Зденко по степи идет.

Хор

Юпа, юпа, юпа!

Избрана

А цыганку горе ждет,
Юпа, юпа, юпа!
Взгляд его ночей темнее,
И цыганку от злодея
Кто же, кто убережет?
Ах, цыганку горе ждет.
Юпа, юпа, юпа!
Он сказал: как хороша!
Юпа, юпа, юпа!
Поцелуй меня, душа!
Юпа, юпа, юпа!
Целовать тебя я стану,
И любить тебя я не устану,
Только ты не позабудь:
Изменил — кинжалом в грудь!

Хор

Изменил — кинжалом в грудь.
Юпа, юпа, юпа!

Избрана

Зденко скоро прочь бежит...
Юпа, юпа, юпа!

Цыгане

Как! слова не такие!

Избрана

Но цыганка страшно мстит!

Цыгане

Что с ней? Как дико глядит
Всё на него!

Избрана

Вероломного косами
Задушившего, как змеями,
Утопилася она.

Цыгане

Горе бедняжке.

Избрана

И месть совершена!
Что же, песня какова?
Иль пришлася не по нраву!
Что же — пойте, пейте!
Мне — горе!

Явление 8

Те же; выходит быстро слуга и остается за хором. Мария жадно следит за ним глазами. Избрана говорит с цыганками, потом является граф.

Слуга

Друзья, друзья! приехал граф!

Хор

Как? Ужели? Правда ль то?

Слуга

Да, вдруг приехал он.
Здесь будет скоро,
Сейчас придет.

Хор

Возможно ль? Какая радость!
Сюда сам граф придет!

Мария

(*испуганная, про себя*)

Теперь! Боже мой!

Ваня

(*подходя к ней с веселым видом*)

О милый друг! Ты слышишь:
Граф сюда идет.

Мария

(*Конраду, который смотрит на нее с беспокойством*)

Отец мой, защити меня!

Хор

Сюда прибудет граф, сам граф,
Кричите же скорее:
Вот наш гость дорогой!

Является граф; все перед ним расступаются; он кланяется, но остается в глубине театра.

Граф

(*делая несколько шагов*)

То свадьбы день, веселый день.

(*Подходя к Ване*)

А! молодец! Женился ты!
Скажи же мне: невеста кто?

Ваня

(*кланяясь и подводя к нему Марию*)

Дочь шинкаря, как видит граф,
Вполне красавица она.

Граф

(*про себя*)

Мария! Замужем она!

Избрана замечает его движение и начинает наблюдать.

О! Что я вижу? Прощай, мой милый сон!

(*Марии*)

Ты «здравствуй» мне сказать не хочешь?

Мария

Благодарю за милость, граф!

Граф

Весь мир и сны моей любви
Исчезли вдруг от этих слов.

(*Вдруг приходя в себя*)

Что ж зевать? Что вы молчите?
Цыгане! В круг! Скорей сбирайтесь.

(*Ване*)

В комнате другой
Пир скорей устрой!

(*Хору*)

Живей!
Пускай всё веселится здесь!

(*Дает денег гостям*).

Ваня

Станем играть! Карт нам и вина!
Ах! как счастьем грудь моя полна...

Хор

Ах, граф! Ах, благодетель наш!
Наш добрый граф!
Друзья, разделим деньги мы!
Ура, наш граф!

Избрана

(*уходя*)

О, белый голубь, улетай!
В когтях ты коршуна теперь!
Созреет плод,
И день отмщения придет.

Все уходят: остаются только граф и Мария.

Граф

Мария! друг! меня ты вспоминала ль,
О цветок мой прелестный,
Который сам в чаду я потерял!

Мария

Ах! как о рае, о вечном блаженстве,
Вечно неслися к вам думы мои.

Граф

Жил я там жизни пустой суетою.
Здесь же с душою душа говорит!

Мария

Ах!

Граф

Точно пчела возвращается к розе,
Так и к тебе воротился я, друг!

Мария

Знаете ль вы, что цветок, вами данный,
Он на груди, вот!

Граф

Ангел!

Мария

Он здесь увядает.

Граф

О, ангел мой!
Дорог тебе я? молю, скажи!

Мария

Лучше поля и цветы вы спросите!

Граф

Любить меня можешь,
Мой ангел, скажи?

Мария

Звезды спросите небесные!

Граф

В очи взгляни мне!

Мария

О, где я?

(Вместе)

Граф

Ты можешь прочесть в них,
Что я люблю сильней и сильней,
Ангел небесный! Ты вся неземная,
Будь ты моею, моею вполне!
И пусть лишь сольемся душа мы с душою,
То будет блаженства для нас целый мир.
Ангел небесный! О, будь ты моею!

Мария

Что начать мне? Что думать? Не сон ли?
О сердце, как бьешься ты!
Светлые духи на крыльях блестящих
На небо уносят, исчезла земля,
И утихают тревоги сердца!
Вся я объята любовью святой!

Падает в его объятия. Входит Конрад и несколько минут останавливается в нерешительности — потом подходит к ним.

Конрад

(*Марии*)

Нет! не могу смотреть я молча!
Безумная! где разум твой?

Граф

Кто звал тебя?

Конрад

Я здесь быть смею...
Я, опозоренный отец.

Мария

Отец мой! О небо!

Конрад

Ты пастуха теперь жена.
Ему ты Богом отдана.
Пока он там, так хитро,
В игру и пьянство увлечен —
С тебя святой венок срывают.
Безумная! погибнешь
Навеки в разврате ты!

Мария

Горе! Отец мой!

Граф

О, молчи ты... она чиста!
Ты виноват один, и ты причина зла:
Ты отдал мужику голубку
И с ней нас разлучил навеки!

А я любил ее глубоко,
Любовью чистой и святой,
Мой рай навеки ты закрыл мне,
Ее женою я избрал.

Мария падает в обморок.

Конрад

Мария! Боже мой! Дочь! Умерла!

На крик его бегут гости. Является Избрана и потом Ваня.

Хор

Что здесь за шум? Случилось что?

Граф

Дайте воды скорей!

Ваня

(*пьяный, расталкивает толпу и с диким взглядом идет к графу*)

Кто оскорбил жену мою?
Кто б ни был он, я отомщу!

Граф

(*не обращая на него внимания*)

Она очнулась! Пришла в себя!

Ваня

(*схватывая графа за руку*)

Лишь тронь жену мою — погиб!

Граф

Иль помешался, сосед,
Иль позабыл, кто ты, кто я?

Конрад и хор

Прошу вас я, о добрый граф мой,
Простите вы, в нем это пар вина.

Граф

(*про себя*)

Пьяный зверь! Тебе ль владеть таким цветком?

Конрад

Горе мне! Чем кончится всё это?

Мария

Горе мне! К кому я обращуся?

Избрана

То час расплаты настает!

Граф

(*приходя в себя*)

Тебя не виню я! Ты ведь добрый сосед!

Хор

Простил наш благородный граф!

Граф

(*слугам*)

Гайда! скорее вы вина
Дайте нам сюда стакан!

(*Приносят*).

Ты должен сейчас,
Мой друг, осушить его.

Ваня

И так уж, граф, я сильно захмелел.

Граф

За здравие Марии!

(*про себя*)

Вино тебя скует, степной медведь!
Этим спасу Марию!

Ваня пьет.

Дай Бог жить счастливо!

Хор

Разом выпил он стакан!

Избрана

(*про себя*)

Как он хитро обдумал
Свой злобный умысел вполне...
Я вижу всё насквозь!

Мария

(*про себя*)

Его женой могла я быть, о Боже!
Теперь навек должна я отказаться...

Конрад

(*про себя*)

О, лучше б не дожить до часа,
Как приехал снова граф!
Узнал я слишком поздно,
Как ошибся страшно я!

Граф

Прощайте все! Повздорил нынче я!
Но я с соседом жить в миру
По-старому хочу!

(*К женщинам*)

Невесту женщины отвесть должны.

(*Тихо Марии*)

На утренней заре я весть тебе подам.

Хор

Наш благородный граф!
Он так нас угостил.
Ура ему!

Финал

Избрана

Предвижу я, что месть близка!
Мне ясно всё. Да, любит граф,
И он любим взаимно ею.
О! какая мне отрада,
Коль белянку гибель ждет;
Вновь я жизни буду рада,
Если мести час придет,
За меня ему отплатишь
Ты, разлучница моя!
Изменил — ему изменят:
Будет он страдать, как я.
Предвижу я: отмщенье ждет!
О, какая мне отрада (и проч.)

Мария

К нему душа влечет,
Но как прикована стою
К домашнему порогу...
И я навек осуждена!
Ты спаси меня, Создатель,
Бурю сердца утиши,
Поддержи всесильной волей
Силы слабые мои!
О Боже мой, пошли отраду
Ты во тьму моих скорбей,
Клик веселья отдается
Лишь тоской в душе моей.

Граф

От него уйди ты только,
Ты моя, навек моя,
Что б здесь люди ни решили —
Обладать ей буду я!
Ободрись! Во что б ни стало
Разорву я этот брак,
Мария, друг мой, Мария!

Ваня

(*пьянея всё более и более*)

Счастливый свадебный день!
Как счастлив я!
Наполняйте вы стаканы
До краев вином, друзья!
Мы и так теперь уж сильно пьяны,
Но веселюсь на свадьбе я.
О, славный день, счастливый день!
Всё кругом меня вертится...
Подавайте мне вина!
Граф-сосед со мной дружится,
Красота — моя жена!
Подавай вина!
Наливай полней!
Гей, вина!

Конрад

Странный ужас, странный трепет
В душу мне теперь проник!
Боже! дочь мою мне дал ты —
Сохрани ее в беде!
Ах! лучше б не дожить до часа,
Как приехал снова граф!
Ах! узнал я слишком поздно,
Что ошибся страшно я!
О дочь моя!

Хор

Отдадимся мы веселью,
Будем снова, братцы, пить и петь!
Веселей!
Граф — ура!
Девицам — ура!
Веселись, друзья!
Пускай отводят молодца
На тесовую кровать,
Мы же, братцы, будем
Пир здесь продолжать!
Мы веселью отдадимся,
За стаканы мы скорей!
Виноградного вина
Наливай! Наливай!
Будем песни и пляски
Мы здесь продолжать!
Добрый граф! ура!

Избрана уходит с торжествующею улыбкою. Цыгане пляшут. Перед графом все расступаются, и он выходит.

Конец 2-го действия.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Явление 1

Та же декорация, что и во втором действии. У стола направо лежит Ваня спящий.

Избрана

(*прокрадываясь и не замечая Вани*)

Когда всё спит в тишине ночной,
Брожу я с тяжкою тоской,
Словно коршун мчится
В грозу и в дождь...
Вечно здесь кружится
Дитя степей.

(*Смотрит кругом*).

Кто спит у столба тут
Тяжелым сном?
Иль ошибаюсь я? Ваня!
То он!

(*Склоняется над ним*).

Она не побоялась,
Что спит он под росой ночною!
О бедный, бедный, милый мой!
Одна, никем не зрима здесь,
Я хлада ночи не боюсь,
И хоть покинул он меня,
Но всё же я с ним остаюсь.

(*Целует его в голову*).

Ваня

(*просыпаясь*)

Мария! ты?.. прости... Нет?

(*Узнавая Избрану*)

Тебя везде, о призрак злой,
Встречаю я...

Избрана

Не призрак я!

Ваня

Зачем ты здесь?
Что преследуешь ты вечно?
Я женат, и я не твой.

(*Встает и идет*).

Избрана

(*следуя за ним*)

Но другая не любила,
Не полюбит никогда.

Ваня

Дьявол ты! Подальше с ядом!
Прочь от женской чистоты.
Боже! Я, дикарь степной,
Пьянству отдал эту ночь...
Тихо молится она
Кротко, кротко!

Избрана

Ты слепой!
Да, вчера, когда вина
Напился ты, уж она
С графом нежно целовалась,
Над тобою насмехалась,
Вероломно отдалась
И в любви ему клялась.

Ваня

Злое мщенье, о змея!
Замышляешь... Сетью злою
Хочешь опутать, вижу я,
Ты теперь дитя святое.
Хочешь сердце ты мое
Мне наполнить адским ядом,

Прочь, прочь! Развязан я с тобою.
И свободен, чист душой
В дом теперь вхожу я свой.

(*Идет в комнату налево*).

Избрана

О нет! Не развязан ты.
Страшись: расплаты близок час!

Явление 2

Избрана в стороне. Григорий входит справа, не видя ее.

Григорий

Молодая близко здесь,
Ну, пожива будет мне!

Избрана

(*подходит к нему*)

Ты ли, старик?

Григорий

Это ты, изменница!
Помнишь, в чем мы поклялися,
Ты нам всем на горе родилася.
Прочь!

Избрана

Знаешь, что я потеряла,
Как наказана была.

Григорий

Вечно ты, как и бывало,
Будешь, ведьма, лишь мешать нам.
Прочь!

Избрана

Что несешь? говори!

Григорий

Тише, душа, не кричи!
Вот письмо отдать...

Избрана

Не жене ли Вани?

Григорий

Пятьдесят рублей за это
Получу, коли доставлю,
Чтобы Ваня не видал.

Избрана

(*про себя*)

Если не увидит он.
Кабы знать, что за письмо, —
Всё дала бы!

Григорий

Деньги есть?

20 Зак 4110

Избрана

Что! оно ведь за печатью?

Григорий

Дура... Да дверцы мы ведь сыщем,
Тотчас ножичком подрежем

Избрана

(*вынимая деньги*)

На! Вот монета!

Григорий

Дай!.. А! это — золотой!

Избрана

На, клянусь моей душою,
То твое... прочти!

Григорий

(*держа факел и подрезывая печать*)

Вот открыл! Ну, слушай:
«Мужа завтра, утром рано,
В степь ушли ты...»

Избрана

В степь ушли ты...

Григорий

«Пусть коня себе возьмет он
Из долины».

Избрана

Из долины...

Григорий

«Подарю ему с уздечкою
Я в подарок».

Избрана

А! в подарок.

Григорий

«В это время...»

Избрана

В это время....

Григорий

«Жди меня ты — я приеду».

Избрана

Он приедет!

Григорий

(*вновь закрывая письмо*)

Ну, теперь опять закрыто!
Золотой же будет мой!

Избрана

(*схватывая письмо*)

Твой он; а письмо отдай мне!

Григорий

Дура ты! с ума сошла... Дай письмо...
Дай!

Избрана

Я сама его отдам,
И ему я покажу.

Григорий

Бедняжка!.. Мне жаль ее.
Оружье в ее руках оставлю я!

Избрана

Чтоб узнал он наконец,
Меня на змею он променял.

Григорий

Оставь, оставь! Опасность у порога,
Тебя и так отсюда гнали вон!

Избрана

(*слушая*)

Уходи! Она выходит!

Григорий

Отдай письмо мне!
Ну, ты отдай, иду я!

Мы же близко тут кочуем,
Коли нужно будет нас,
Посвисти — и мы сейчас.

(*Уходит*).

Явление 3

Рассвело. Мария выходит из комнаты в утреннем платье, потом Ваня.

Мария

Наконец настало утро
И минула эта ночь!
А! Избрана! ты!

Избрана

Я...
Письмецо тебе несу.

Мария

От него? Мой Бог! дрожу я...
Прочь! но нет, постой!

Избрана

Возьми!

(*про себя*)

А! покрылись краской щеки,
Уж изменница она!

Ваня

(*входя*)

Ты всё здесь? Как смела ты?..
Иль прогнать придется силой?

Избрана

Письмецо я принесла
От сиятельного графа.

Ваня

Как! Письмо к тебе, Мария?

Мария

(*дрожа*)

Нет, к тебе — возьми его.

Избрана

Притворщица!

Ваня

Что ж пишет граф! Прочти мне,
Не учился я читать.

Мария

(*про себя*)

Обмануть я... одурачить, Боже мой, его должна!

Ваня

Ты дрожишь?

Мария

Я... Нет!..
«Ваню рано утром, нынче,
В степь пошли ты...»

Ваня

В степь пошли ты...

Мария

«Пусть коня себе возьмет он
Из долины».

Ваня

Из долины...

Мария

«Отдаю ему с уздечкой...
Я в подарок».

Ваня

(*в восторге*)

Как, дает мне лошадь он в подарок!
Мой добрый граф!
Коня уж я давно желал
С стальной уздечкой светлой...
Позавидуют соседи,
Как жена его мне подведет!
Уж и так лихие люди
Позавидовали счастью,
Отравить его хотят...
Мне цыганка говорила,
Что тебя застали с графом
Люди вечером вчера.

Мария

Ты ей веришь?

Ваня

Нет... Нет!
Лишь тебе, тебе!
Зависть в ней и злоба говорит...
Сердце черно в ней, как черен вид!

Избрана

Да! ты прав...
Твоя жена как снег бела.
Ваня! ты прочти,
Ты прочти!
В письме змея, змея таится,
А ты не видишь ничего.
Вот посмотри: она бледнеет.

Ваня

(*взволнованный*)

Злой дух!.. Говори!
Велю, говори!

Избрана

«Мужа, завтра, утром рано,
В степь ушли ты...»

Ваня

Дальше!

Мария

Боже мой!

(*роняет письмо*)

Избрана

«Пусть коня себе возьмет он
Из долины».

Мария

Что делать мне?

Ваня

Дальше, дальше!

Избрана

«Отдаю ему с уздечкой
Я в подарок...»

Ваня

Слышал!.. Что же?

Избрана

(*к Марии*)

Надо ль?

Мария

(*радостно*)

Но что же? Она... могла подслушать.
За печатью ведь письмо.

Избрана

Мной оно открыто было.

Мария

(*про себя*)

Горе!

Ваня

Пот холодный выступает,
Кровь вся к сердцу приливает.

Избрана

А!.. Ты дрожишь!

Мария

Боже мой!

Избрана

Что, змея?.. А! ты дрожишь!

Мария

Погибаю!

Ваня

Змеи сердце мне сосут.

Мария

Что делать мне?

Избрана

Что, о змея!

Мария

Что мне делать!

Ваня

Голова моя горит.
Ну, дальше, еще что там?
Иль тебя сказать заставлю
Я бичом... Меня ты знаешь!

Мария

(*тихо Избране*)

О! любовь когда ты знала —
Сжалься, сжалься!

Ваня

Что ж — ну!

Избрана

«Я в подарок».

Ваня

(*поднимая письмо и подавая ей*)

Дальше!

Избрана

(*смотря в письмо*)

Дальше нет здесь ничего.

Ваня

А! жаба — нет ничего!
Так ты пришла лишь сердце надорвать,

Будь проклята навеки ты.

(*Хочет ударить ее, Мария его останавливает*).

Нет! для тебя я
Вполне владеть собою буду!
Пред ней на колена — молись на нее,
Ее сгубить могло коварство твое!

(*Избрана становится на колени пред Марией*).

Мария

(*Избране*)

Сама на коленях
В душе я стою,
Прости мне, прости мне
Ты гордость мою.
Тебя презирала,
Тебя я гнала...
Меня же спасла ты,
Не помнишь ты зла.

Избрана

(*Марии*)

Да, ты не напрасно
Любовь призвала,
И я на коленях
Теперь пред тобой.
Меня презирала,
Меня ты гнала,
Тебя я спасла,
Не помню я зла!

Ваня

(*Марии*)

О белый голубь! ты так чиста!
О, научи, как ты, прощать!
Во прах разлетелась ее клевета,
Я верю лишь одному — ты чиста!

(Движеньем велит Избране удалиться — та уходит, плача. Сам он уходит тоже, ласково глядя на Марию).

Явление 4

Мария одна, потом граф.

Мария

Меня оставили одну... Мне страшно:
Я первую сказала в жизни ложь,
И душа моя потрясена!
О, неужели Бог меня оставил!
Что, сердце, бьешься ты!
Увы! Твоим волненьем
Владеть не в силах я!
Живу я увлеченьем,
И дом забыла я!
И страх греха забыла!
Увы! душа моя
Глубоко полюбила!
И если только взгляд
Во тьму души я кину...
Там речи лишь звучат,
Его звучат мне речи!
«Мария, жди меня — я приеду».

Граф

(входя)

Да! любишь ты меня — и с тобой мы снова.

Мария

Боже мой! Я прошу... вы оставьте меня!

Граф

Никогда... ты моя... я тебя не оставлю!

Мария

Отдана навсегда я другому теперь.

Граф

Разорву этот брак я, во что бы ни стало.

Мария

Мужа страшно боюсь: он как бешеный зверь.

Граф

С мужем справлюся я... это дело мое.

Мария

Если он вдруг взойдет, вас на месте убьет.

Граф

Что бы ни было со мною!
Предо мной твой взгляд горит,
Умереть рука с рукою
И рука с рукою жить.

Мария

Горе нам!
Мое сердце дрожит, и
Всё за вас трепещет оно!

Граф

Теперь нам дороги мгновенья, и
Тебя я в силах защитить!

Мария

Напрасно здесь сопротивленье —
И я не в силах не любить!
Тебе я сердцем и душою,
Тебе я отдаюсь.
О, чувство сладкое, святое,
Ему предаться не боюсь!
Из уст невольно слетает слово,
Дорогое слово: ты!
Тебе я сердцем и душою, милый,
Тебе я сердцем и душою,
О милый, милый, отдаюсь!
О, чувство сладкое, святое!
Ему предаться не боюсь!
Из уст невольно вдруг слетает
Это слово — да! впервые
Слово: ты.

Граф

Тебе я сердцем и душою
предаюсь.
Пойдем! Летят мгновенья!
О друг, идем! Не бойся ты!
Тебе я сердцем и душою,
Тебе я весь отдаюсь.
С тобой одной находит сердце
И мир, и радость, и покой!
Пойдем, летят мгновенья!
О друг, пойдем. Не бойся ты!
О друг!..

Мария

Страшно!.. Коль меня ты любишь,
Молю я, прочь беги отсель,
Прочь беги отсель.
Не за себя, лишь за тебя
Робкое сердце трепещет,
Да, за тебя
За одного.

Граф

О друг мой!.. брось ты страх напрасный!
Ах! не страшись, ободрись!
Знай — одно:
Союз наш расторгнет только Бог!

Мария

Ах, — ведь небо мой грех не простит,
Ведь небо мой грех покарает;
Лишь за вас за одного
Робкое сердце трепещет!
Мой Бог, спаси. На что решиться?
Ах, напрасно всё боренье:
Тебе и сердцем, и душою
Я, милый, отдаюсь,
О, чувство сладкое, святое,
Ему предаться не боюсь (и проч.)

Граф

(*держа ее в объятиях*)

Знай одно: защищает
Небо любовь!
Был тобой я один,
Я один лишь любим!
О, иди, иди со мной,
О, иди! Часы бегут, Мария,
Иди за мной, милый друг!
Услышь моленье!
Тебя унесу далеко.

Явление 5

Ваня входит, сначала не замечая их.

Ваня

Черный дьявол! У меня в душе отрава!
Ее слова покоя не дают.
Я возвратился!

(Увидав графа и Марию)

А! Я обманут! Как, правда то?.. В объятиях
Любовника моя жена.

Граф

Оставь нас!

Ваня

Я... хозяин!..
Не уйду, пока труп твой бездушный
Лежать не будет на земле!

Мария

Беги скорей!

Ваня

А! притворщица!
Свои обеты забыла ты?
Так правду говорили мне!..
Гнусная изменница!

Граф

Как смеешь ты?

Ваня

(злобно)

Сосед!..
Дом мой!.. И ты в моих руках!

Мария

Спасайся ты!

Ваня

(*срывая у нее с руки кольцо*)

А! отдай кольцо!.. оно мое...

Граф

Безумец ты, постой!

Ваня

Не след тебе, граф, обнимать
Мою жену!

Граф

(*вынимая пистолет*)

Суди же Бог тебя!

Ваня

(*выхватывает пистолет*)

А! мой ты теперь!

Борются, Ваня тащит графа в глубину сцены.

Мария

Но с ним меня убьешь ты вместе.

Ваня

Прочь, змея!

(*К графу*)

Ну, граф, молись!

Мария

Ужас! Смерть, ужас, ужас!.. Помощь!

Граф

Безумец ты, опомнись!

Ваня

Молися, граф!

(*Увлекает графа за сцену*).

Явление 6

Мария, Конрад, хор, потом из-за кулис Ваня, Избрана и, наконец, Григорий с цыганами.

Мария

О, скорей, отец! Помощь! помощь!

(*Показывая за кулисы*).

Конрад

Ободрись, дитя! Что случилось здесь?

Мария

Страшно! Страшно!

Хор

Что за шум? Иль беда?
Что было здесь?
Робкий стон сейчас был слышан нами.
Что такое? где же Ваня?
Куда ушел?

Мария

Ужас, ужас!

Ваня

(*с диким взглядом*)

Что надо?.. Убил я! Ну, что ж смолкли вы?
Иль страшно вам?
Да, слушайте, ребята,
Убил я графа.

Хор

Кровь на руках его!.. Несчастье!
Он убийца! Горе! горе!
Ужасно! Убит благодетель! наш граф!

Ваня

В дому моем — хозяин я,
А он, как волк, проник туда тайком,
Мне острый зуб он в грудь вонзил,
Чуть не унес мою овечку...
Я сделал то, что должен был...
Да, да! Убил, ребята,
Я волка, убил я графа!

Хор

Смерть тебе! Кровь графа на тебе!
Взять его! взять его!

Мария

О, несчастный... Ты нас погубил!

Конрад

Горе нам! Ты в ярости слепой
Злодейство страшное совершил!

Мария

Убийца ты, и на тебя
Его пусть ляжет кровь!..
Безжалостно его
Убил ты, злодей!

Ваня

Прочь от меня вы все!
Я хозяин в дому,
И в дом мой волк проник,
Убил я волка смело.

Конрад

О, горе, горе нам!
О, горе нам!
Ты в ярости слепой
Злодейство совершил,
Не причастны делу мы.

Хор

Повезем его на суд!
Заковать его!

Избрана

Слушай ты, слушай ты,
На шум идут
Солдаты к нам.

Мария

О ты несчастный!
Убийца ты.

Конрад

Горе, горе нам!

Ваня

Нет! сам я, сам пойду на суд...
Обиду лишь я отомстил!

Избрана

Там не станут рассуждать:
Уличен в кровавом деле...
И накажут по закону,
И прощай тогда навек!

Хор

Взять его!

Мария

Мщенье, мщенье, Боже правый,
Ты злодейство накажи!
Боже! сколько зол ужасных
Это дело породит.
О, помилуй нас несчастных!
Горе, горе нам грозит!
Отпусти вину мне, Боже.
По неведенью она,
Отпусти мне!

Ваня

Трусы! Все на одного вы!..
Беззащитен я стою.

(*Видя, что Избрана свистит*)

Кого зовет?
Ведь они враги мои —
То цыгане! то воры!
Дьявол! дьявол! Речь твоя
Мне страшна, — но с вами я!

Избрана

(*свистит*)

Не робей... мои тебя спасут!
Наше племя, наших братьев!
Я зову сюда цыган!
Я и цыгане спасем тебя!
Кровь, которой ты облит,
Их с тобой соединит!
Гонимый, без крова, ты брат родной
Им, детям степи широкой!
За тебя, всей толпой,
Братья встанут и не продадут!

Конрад

На лице улика крови,
И наказан будешь ты!
Подлежишь ты теперь закону!
Правый суд не пощадит!
Боже! сколько зол ужасных
Это дело породит.
О, помилуй нас несчастных!
Грех заблудшей отпусти!

Хор

На лице улика крови
И наказан будешь ты!

Чу! Призыв то! Но кого ж зовет:
То воры, то бродяги!.. Ее братья, то цыгане!
Оружия скорей —
И их принять, друзья, смелей!

Хор женщин

О Господь, прости несчастной,
Отпусти вину ты ей.

Являются Григорий с толпою вооруженных цыган.

Избрана

Сюда, сюда и выручайте!
Избрана, братья, вас зовет,
Вот он убил соседа-графа
И вас одних на помощь ждет!
Кровью должен он поклясться
С нами век не разлучаться,
Атаманом будет нам!
Нам, цыганам-удальцам!

Мария

Боже! сколько зол ужасных
Это дело породит!
О, прости, прости несчастной!
Горе, горе мне грозит!

Ваня

Нет, я даром не отдамся,
Биться насмерть буду я:
Я цыганом вольным стану,
Атаманом шайки злой!
Братья! други! выручать!
Вам клянусь принадлежать!

Конрад

Боже, сколько зол ужасных
Это дело породит!
О, прости, прости несчастной,
Отпусти вину ты ей!

Григорий

Зачем? Скажи, мы пришли тебя спасать!
Обидел ли кто?
Этот дом тебе опасен,
Я не раз уж говорил.

Хор женщин

Вот цыгане! Боже!
Вот шайка их явилась!
Вот вся шайка их,
Вот они.
Все пришли.

Хор мужчин

Да! Отмстим за графа,
За его мы кровь!

Хор цыган

Готовы мы и защитим —
Пускай приходят!

Мария

Боже мой! На мне, на мне одной,
На мне дорогая кровь!

Конрад

Боже, сколько зол ужасных
Это дело породит.

Григорий

Хорошо! Сдержи обет,
Связан ты с нами им!
Теперь будешь ты наш вполне.

Хор

Смелей, смелей!
Подходи! Нападай!
Скорей, скорей!

Цыгане

Подходи!

Финал

Избрана

Нападай! Поскорей!
Да, отмщенья день сегодня.
Ну! смелей!
Сверкает, пылает
Месть во мне!
Что же вы?
Кто возьмет, возьмет добычу?
Что же вы — бери добычу!
Кровь за кровь, месть за месть, кровь за кровь!
Смейте тронуть вы его,
Смейте тронуть вы его!

Мария

Кровь на мне, кровь на мне!
Я его убийца!
О, сжалься ты, Спаситель мой!
Горе, горе... Ночь кругом.
Я, я в деле том виновна — я одна,
На мне, на мне драгая кровь,
Страшно будет за вину
Наказание в грядущем.
Горе, горе, уж звучат
Трубы страшного суда!

Ваня

Подходите! Что же вы?
Да, отмщенья день сегодня.
Пылает, сверкает,
Да, пылает месть во мне!
Что же вы? Кто возьмет, возьмет добычу,
Что же? Кто возьмет добычу?
Кровь за кровь, месть за месть, кровь за кровь!
Коль со мною дети степи,
Кто меня посмеет взять?..
И пылает месть во мне,
Да, отмщенья день сегодня.
И пылает месть во мне!
Кровь за кровь, месть за месть...

Конрад

Проклят день,
Как он женился!
О дочь, о дочь, дитя мое!
О Господь, прости несчастной,
Отпусти ее вину!

Григорий

Нападай! Подходи!
Жизнь за жизнь! Ножи сверкают!

Месть за месть и кровь за кровь,
Коль с тобою дети степи,
Кто же, кто тебя возьмет?

Хор цыган

Подходи! Нападай!
Видишь ты, ножи сверкают!
Видишь ты?
Подходи!
Месть за кровь его...
Горе вам, трусы, трусы, трусы!
Что же вы? Подите сюда,
Трусы, холопы,
Он как надо поступил,
Холопы, трусы!
Коль с ним дети степи,
Кто же, кто его возьмет?
Подходи! Нападай!
Трусы! Холопы!

Хор

Месть за месть! кровь за кровь!
Нет, напрасно защищает
Шайка гнусная воров,
Горе вам!
Месть за месть! кровь за кровь!
Воры! воры!
Мы вам теперь докажем:
Ване не уйти от нас!
Бей, стреляй,
Бери добычу,
Их ловите
И держите
Все смелее!
Кровь за кровь!

Общая свалка. Выстрелы. Во время суматохи Ваня и Избрана убегают.

Конец 3-го действия.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Утесистое местоположение в лесу. Задняя часть сцены занята густым кустарником. Направо, на авансцене, у ствола сломанного дерева лежит Ваня, с кинжалом и топором за поясом. Избрана подле него у разведенного костра. — Цыгане лежат разными группами. — Налево Григорий и Богдан с фляжкой водки.

Явление 1

Хор

Горе мыкать и таиться
День-деньской среди лесов густых,
Лишь во тьме ночей глухих
Сметь на Божий свет явиться!
Пища нам — корка хлеба,
Нам покров — только небо,
И нуждою томимы,
И повсюду гонимы,
Мы должны, как нам случится,
Горе мыкать и таиться!
Тяжело цыганам век свой биться!
О Клеофа! ты защити нас,
Полицейских ослепи ловцов,
Охрани притон наш тьмой лесов,
И пошли ты нам добычу!
Вылезть вон мы не смеем,
И совсем мы погибнем,
Коли сам ты нам с неба
Не пошлешь корку хлеба!
Должны цыгане, как случится,
Горе мыкать и таиться!
Тяжело цыганам век свой биться!

Избрана

Милый!.. Что ты всё печален?
Ты взгляни повеселей,
Что это?.. Словно слезы?

Ваня

Нет — вечерняя роса!

Избрана

Аль тебе солдаты страшны?

Ваня

Страшны? Мне?.. С ума сошла ты!
Ты во мне видала ль страх?

(*Встает*).

Избрана

Нет, наш атаман бесстрашный

Ваня

Точно!.. Атман злодеев!

Избрана

Вольны... Вольны мы зато!

Ваня

Да!.. Волен я прежде был,
Пастух в степи широкой,
Когда коней я диких
Взнуздывать умел...
Теперь брожу, как зверь, гонимый всеми,
Отверженный убийца
И всем презренный вор!

Хор

С ним хуже стало нам. Нас гонят вдвое,
И нигде притона нам не найти!

Ваня

Забыть могу ли хоть во сне я,
Что я убийца, вор ночной.
Сосут мою грудь и день-деньской,
И в ночи час, лютые змеи...
Меня все дьяволы терзают,
Когтями сердце раздирают...
Сосут мне грудь и день-деньской,
И в ночи час лютые змеи!
Да! волен прежде был,
Пастух в степи широкой,
Когда коней я диких
Взнуздывать умел.
Теперь брожу, как зверь, гонимый всеми,
И осквернен убийством, воровством!
Ты знаешь: я не ведал страха,
Но, как безумный, я иду...
Что в жизни мне теперь моей?
Сейчас бы отдал жизнь я не жалея,
Сейчас бы... не жалея!

(*Избрана хочет обнять Ваню, но он ее отталкивает*).

Хор

С ним хуже стало нам. Нас гонят вдвое,
И нигде нам
Притона не найти!
С ним нам горе лишь одно,
С ним да с ней!

Григорий

(*вставая с флягой в руке*)

Что за шепот?
Что за ропот?

Корка есть еще пока,
И опасность далека!
Гей-да! братья — не дремать!
Пей, коль есть еще вино.
Пей!
Коль у нас да мать горелка
По суставам пробежит,
Пусть нас ищут, пусть их рыщут,
Нас опасность не страшит!
Пусть нас ищут,
В ночь седлаем лошадей
Го-го! Го-го!
Да и в путь поскорей!
Пей, пей!
Пей — доколе есть вино... Да!
Как невзнузданные кони
Мы несемся по степям...
Не боимся мы погони,
И ничто не страшно нам.
Пусть нас ищут,
Пускай их рыщут,
В ночь седлаем лошадей
Го-го! го-го!
Да и в путь поскорей!
Го-го! го-го!
Пей, пей!
Пей, доколе есть вино! Да!
Пусть о нас дурная слава
У честных людей идет...
Но о Ване нашем песню
Каждый день пастух поет.
Пусть бранят
Нас, как хотят,
В ночь седлаем лошадей.
Го-го! го-го!
Да и в путь поскорей!
Го-го! го-го!
Пей, пей!
Пей, доколе есть вино! Да!

Хор

Пей, доколе есть вино,
Доколе есть вино.

Да! прав он, прав!
Да! прав он, прав!
Пей, доколе, доколе есть вино
Го-го! го-го!

Явление 2

Те же и Павел (быстро вбгеает)

Павел

Тише, вы, с своим пеньем...
По дороге люди едут...
Нам хорошая добыча!
Ну, ребята! гей, живей!

Хор

Гей, ребята, гей!
Поднимемся живей!

Богдан

Черт нам, видно, посылает
На голодный зуб теперь!

Хор

Ножи берите
И прячьтеся в кустах!
Коль беда — скорей бегите!

Богдан, Павел и Григорий

Атаман!

Хор

Атаман!

21 Зак. 4110

Ваня

Бери добычу!

Григорий

Тише вы!

Хор

А!

Богдан

Гей!

Павел

Гей!

Григорий

Что дерете глотку?
Убежит добыча.
Ну, идем скорей
На добычу, братья!
Не шуметь!
А налететь!
Смелей! гей!.. гей!

Хор

Гей! гей!

Явление 3

И з б р а н а, В а н я

И з б р а н а

Как?.. они впервые нынче
Без тебя идут одни.

В а н я

От грабежа устал я,
И болен я.

И з б р а н а

Болен ты?
Поди приляг...
Беречь я тебя здесь буду.

В а н я

Оставь меня! Что мне покой?
Мне видятся муки ада...
Слышишь ты их дикий вопль и крик,
Слышишь, как себя они там тешат:
Потеха их — разбой и кровь.

И з б р а н а

Тебя раскаянье терзает?
Ты поступил, как должен был.
Пусть ею ты обманут был,
Счастлив будь моею любовью!

В а н я

Нет надежды, нет исхода,
Не спасет меня никто...

Над убийцами, ворами
Я глава и атаман.

(*Слушая*)

Вот они идут.

Хор

(*за сценой*)

За нами, сюда!
Оба вы, молчать!
А если посмеет
Из вас кто кричать —
Смерть тогда!

Явление 4

Те же, Григорий, Богдан, Павел и цыгане с Конрадом и Мариею. (Мария бледная, сумасшедшая, с неподвижным взглядом, не принимая никакого участия во всем происходящем, становится под деревом в глубине сцены и остается там).

Конрад

Взгляните люди на меня:
Я слабый, старый человек;
Ее не троньте тоже вы —
На ней легла рука Господня,
Она, увы! с ума сошла.

Избрана

(*узнает Марию и отбегает с ужасом*)

Что вижу? Возможно ль? Она!
Сошедши с ума! О, ужас!

(*Конрад идет к Марии*)

Григорий

(*к другим*)

То они! Ведь немцы то.
Ну штука! Признаюсь.

Богдан и Павел

Они! Да, да! Вот штука, признаюсь.

Хор

Помешана... она... Ваня!

Мария

Что? Дома мы? я спать хочу... хочу я спать.

Ваня

Ах!.. Что за голос я услыхал!

(*идет и, узнав Марию, останавливается, пораженный*)

Конрад

Да, дитя! да!

Ваня

Мария!

Избрана

О, как худа она, бледна!

Ваня

Смертельным страхом грудь полна:
Она безумна!.. горе!

Григорий

Вот штука, признаюсь!..
Что будет теперь?

Богдан и Павел

Вот штука, признаюсь.

Хор

Узнали ль вы? Ведь немцы то... Да!

Мария

Как, здесь цветы... вон... розы там...
Его цветок... Ах! уж он завял!
На сердце он долго так лежал.
Где он? Куда же он пропал?
Увы!.. сама тому виною...
Его отдать бы ветрам лучше,
Когда меня вели к венцу.

(*Снимает с шеи платок и бросает его*).

Мне давит грудь, возьмите прочь
Вы покрывало. Ах!
Зачем же вы так страшно лжете?
Ведь он мой муж... Он сам сказал.
Приехал он!.. Цветочек — вот здесь.
Тебе я вся и всей душою
Отдамся вечно, вечно, вечно!

Конрад

Дочь моя!

Мария

(*обращаясь к Конраду, как будто бы он был граф*)

Слушай! Коль меня ты любишь,
О, уходи скорей, милый!

(*улыбаясь*)

Я с тобой, приди хоть смерть!
Смерть!
Идет... идет... я слышу шаг!
Вот входит он... вот он здесь!
Сверкнул топор... убит, убит!
Горе... умер, умер! Ах!

Избрана

Неподвижен взгляд ее немой...
К чему-то прошлому прикован!
О, прочь ты, прочь ты, призрак злой,
Тебя я выносить не в силах.

Ваня

Увы! я жизнь ее разбил.
Ах! горе!
Я виной ее безумства!

Конрад

Всю тяжесть горя моего
Нести, Господь, доколь, доколь велишь ты?

Григорий

Недвижим взгляд ее немой!
Недвижим он!
Глядит она и не смигнет,
Кого-то ждет,
Зовет кого-то,
Кого-то ищет!

Богдан, Павел и хор

Что с атаманом?
Он все глядит!
Оцепенел!
Иль вспомнил что-то?

Ваня

Несчастная!.. Прости, молю я!
Ты узнала ль меня...
О, белый голубь мой...
О, скажи!

(*Избрана в отчаянии смотрит на Ваню*)

Мария

Гневен отец мой?

Григорий, Павел и Богдан переговариваются между собою в глубине театра.

Ваня

О, услышь мои моленья!

(*Берет Марию за руку*)

Избрана

(*горестно*)

Ах! опять! опять!.. мне не перенесть...
Только к ней лишь сожаленье,
К ней одной в нем чувство есть.
До меня же, бедной, дела
Никакого нет ему...
И состраданья никакого
Он кроме ней не знает в душе своей,
И для меня в нем сердца нет!
Я всё одна! Одна!

(*Думает и потом говорит с бешенством*)

Ты спал в груди моей,
Демон ужасный...
Пробудись же!
Любовь цыганки
Отринул ты!
Вражду теперь узнай!
Мести! мести! мести!

(*Убегает, как безумная*).

Мария

Поет свадебную песнь она!
Зденко скоро прочь бежит!
Юпа, юпа, юпа!
Вероломного косами
Юпа, юпа, юпа!
Задушивши, как змеями,
Утопилася она.
Хорошо!.. А! этот голос!
То он! то он!
Воротился он... Да!
О мой жених, ко мне!
Он идет!
Ах! Его уж нет! Убит!

(*Говоря как будто с графом*)

Благодарю за милость, граф, я.

Ваня

Увы! я жизнь ее разбил.
Горе! горе!
Я виной ее безумства!
Горе! горе!

Конрад

Всю тяжесть горя моего
Доколь, Господь, нести велишь ты?

Григорий

Недвижим взгляд ее немой,
Недвижим он!
Глядит она (и проч.)

Хор

Что с атаманом? (и проч.)

Конрад

(*Ване*)

Тебя на правый суд Господен
Призывать я не дерзаю.
Благословен Господь вовек!
Нас только с миром теперь
Ты с ней отпусти
К могиле матери родной.
Услышь моленья!

Ваня рукою показывает, что он может идти
и сам отворачивается.

Конрад

(*обнимая Марию*)

Пойдем, дитя! Далек наш путь.

(*Уходят медленно*).

Явление 5

Те же без Конрада и Марии.

Хор

Берите их!

Павел

Берите их!

Богдан

Берите их!

Ваня

(*бросаясь в середину толпы*)

Посмей лишь кто — и смерть ему.

Хор

Хватай скорей!..

Ваня

(*поднимая топор*)

Сейчас отдать им то, что взято.

(*Приказывает отнести отнятое у Конрада и потом все более и более впадает в задумчивость*).

Хор

А! вот он как!.. Забыл обет!
А! кто помог тебе в нужде?

Ваня

Конец всему! Мария!
Ты, чистый голубь мой...
Не вини меня пред Богом,
Ребенок бедный!
Я сам союз разрушу с ними...
Увы! Я для тебя злодей!

Хор

Пускай ты наш
И атаман —
Добыча наша!
Ее ты сам же отдал нам.
Гей! бери!..

Григорий

Тише, братцы, тише, вы!
Он нам всё же атаман!

Хор

Да, был... теперь не атаман!
Разнежился некстати,
Некстати он,
Некстати вовсе!
Что это нам за атаман?

Григорий

Потише, братцы!
Братцы, не шуметь!

Хор

Пускай он наш (и проч.)

Григорий

Эх, братцы, тише вы (и проч.)

Хор

Пусть нам добычу отдаст,
Это наше...
Был уговор!

Избрана входит незаметно для других.

Один из цыган

(*прибегая*)

Ну, бежите все скорей!
Они за мною идут!
Солдаты идут!

Григорий

Что там?

Все поражены, кроме Вани, который погружен в задумчивость.

Кто? Солдаты!

Павел

Что там? Солдаты!

Хор

Солдаты!

(*Избрана медленно выходит вперед и приближается к Ване. Все бегут в разные стороны, одни чрез подземные ходы, другие за кулисы*).

Хор

Горе нам! бегите все!

Явление 6

Избрана, Ваня, потом солдаты.

Избрана

Слышишь ты? Солдаты здесь!

Ваня

Мария! О, голубь чистый мой!

Избрана

Спасайся... Что же? Время есть!

Ваня

Смеялась дико так она!

Избрана

Мария!
Всё она, всегда она.
Ах, Ваня! послушай ты!
В последний раз я говорю:

(*прижимается к нему; он ее отталкивает*)

Беги со мной! Брось о ней ты мысль!
Кто виной — что ты несчастлив так?
Кто?
Кто тебя убийцей сделать мог?
Кто?
Кто предал тебя — покинул?
Кто?
Кто за всю любовь лишь только
Над тобой смеялся... терзал тебя?
Кто?
Но, преступный, гонимый,
Всеми на земле судимый,
Ты всё счастие мое!
Ваня, брось ее ты!
Будь опять ты мой!

Ваня

Нет! чиста она, свята!
Для меня ж прощенья нет...

Между ней и мной — убийство.
Брось же! Брось! Оставь меня!

Избрана

Не пойду... слова напрасны, —
Сколько хочешь ты, гони.
Жизнь моя с твоею жизнью
Вечно связана была.
Так назначено судьбою,
И с тобой погибла я...
Хоть люби, хоть не люби ты,
Должен следовать за мной!
Так на небе... указали —
Ты иди за мной!

Ваня

Нет! тебя обманут звезды,
Не пойду я за тобой вослед!
Клевещи на голубицу —
Ты — вина всех бед моих:
Всю мне жизнь ты отравила.
Ты огонь зажгла во мне,
Довела до преступленья,
В грудь влила ты мне
Яд ужасный подозренья.
Дьявол — с глаз долой!

Избрана

Ваня!

Ваня

С глаз моих долой,
Прочь! сокройся ты!

Избрана

Выслушай одно.

Ваня

Прочь с глаз моих!
Лишь ее я погубил...
Ей всю жизнь ее разбил,
Горем сердце отравил.
Это ты, змея... ты шепнула мне!

Избрана

О несчастный!
Всей силою любви
Привязалася к тебе я...
За тобой всё так же шла.
Я покинута тобой...
От себя меня ты гнал,
Всё мне сердце надорвал.
Я тебе была верна
И с тобой была одна.
Неужель и ныне
Гонишь ты меня?
Ужель! ужель?

Ваня

Мария!.. о голубь мой!
Мне простишь ли ты?

Избрана

Ах! молилась на тебя я,
За тобой душой следила я.
А ты меня ногою
Давишь, как червяка.

Ваня

Лишь ее я погубил,
Ей всю жизнь ее разбил,
Горем сердце отравил.

Избрана

А всё... пусть ты оскорбляешь,
Мучишь сердце ты мое —
Только ласковое слово...
Я у ног твоих опять,
Отворю спасенья двери,
И опять свободен ты.
Лишь слово любви!
Милый мой Ваня! подумай!

Ваня

Прочь с глаз моих!
Прочь! говорю:
Я тебя проклинать готов!

Избрана

А! так знай же ты!
Правду страшную открою:
Я, да, я предала вас!
Слышишь?
Я солдат сюда вела...
Любви я мщенье предпочла!

Слышны трубы за сценой все ближе и ближе.

Ваня

А! солдаты!
Изменница!
Друзья! Враги идут!
Гей! Зовет вас атаман!

На высоте холма видны солдаты, но скоро пропадают, расходясь в разные стороны.

С ФРАНЦУЗСКОГО

Беранже

169. СИЛЬФИДА

Пускай слепой и равнодушный
Рассудок мой не признает,
Что в высях области воздушной
Кружится сильфов хоровод...
Его тяжелую эгиду
Отринул я, увидя раз
Очами смертными сильфиду...
И верю, сильфы, верю в вас!
Да! вы родитесь в почке розы,
О дети влаги заревой,
И ваши я метаморфозы
В тиши подсматривал порой...
Я по земной сильфиде милой
Узнал, что действовать на нас
Дано вам благодатной силой...
И верю, сильфы, верю в вас!

Ее признал я в вихре бала,
Когда, воздушнее мечты,
Она, беспечная, порхала,
Роняя ленты и цветы...
И вился ль локон самовластный,
В корсете ль ленточка рвалась —
Всё был светлей мой сильф прекрасный...
О сильфы, сильфы, верю в вас!

Ее тревожить рано стали
Соблазны сладостного сна...
Ребенок-баловень она,
Ее вы слишком баловали.
Огонь виднелся мне не раз
Под детской шалостью и ленью...
Храните ж вы ее под сенью...
Малютки-сильфы, верю в вас!

Сверкает ум живой струею
В полуребячьей болтовне.
Как сны, он ясен, что весною
Вы часто навевали мне...
Летать с ней — тщетные усилья:
Она всегда обгонит нас...
У ней сильфиды легкой крылья...
Малютки-сильфы, верю в вас!
И что ж? Ужели перед взором,
Светла, воздушна и легка,
Как чудный гость издалека,
Она мелькнула метеором
И в область сильфов унеслась
Царить над легкою толпою
И к нам не спустится порою?
О сильфы, сильфы, верю в вас!

Между 1845 и 1859

170. НАЧНЕМ СЫЗНОВА

Я счастлив, весел и пою;
Но на пиру, в чаду похмелья,
Я новых праздников веселья
Душою планы создаю...
Головку русую лаская,
Вином бокалы мы нальем,
Единодушно восклицая:
«О други, сызнова начнем!»

Люблю вино, люблю Лизету,—
И возле ложа создан мной
Благословенному Моэту
Алтарь достойный, хоть простой.
Лизета любит сок шипящий,
И мы чуть-чуть лишь отдохнем:
«Что ж, — говорит, лобзая чаще, —
Давай же сызнова начнем!»

Пируйте ж, други! Позабудем,
Что скоро надо перестать,
Что ничего не в силах будем
Мы в жизни сызнова начать...

Покамест, с жизнию играя,
Мы пьем и весело поем,
И, страстно красоту лобзая,
Мы скажем: «Сызнова начнем!»

Между 1845 и 1859

171. МОЙ ЧЕЛНОК

Витая по широкой
Равнине вольных волн,
Дыханью бурь и рока
Покорен ты, мой челн!
Зашевелится ль снова
Наш парус, — смело в путь!
Суденышко готово,
Не смейте, вихри, дуть!
Суденышко готово —
Плыви куда-нибудь!

Со мною муза песен,
Плывем мы да поем,
И пусть челнок наш тесен,
Нам весело вдвоем...
Споем мы; да и снова
Пускаемся в наш путь...
Суденышко готово,
Не смейте, вихри, дуть!
Суденышко готово,
Плыви куда-нибудь!

Пусть никнут под грозою
Во прахе и в пыли
Могучей головою
Могучие земли...
Я в бурю — только снова
Успею отдохнуть!
Суденышко готово,
Не смейте, вихри, дуть!..
Суденышко готово,
Плыви куда-нибудь!

Когда любимый Фебом
Созреет виноград,

Под синим южным небом,
В отраду Божьих чад...
На берегу я снова
Напьюсь, и смело в путь...
Суденышко готово...
Не смейте, вихри, дуть!
Суденышко готово,
Плыви куда-нибудь!

Вот берега иные:
Они меня зовут...
На них, полунагие,
Киприду девы чтут...
К устам я свежим снова
Устами рад прильнуть...
Суденышко готово...
Не смейте, вихри, дуть!
Суденышко готово,
Плыви куда-нибудь!

Далёко за морями
Страна, где лавр растет...
Играя с парусами,
Зефир на брег зовет...
Встречает дружба снова...
Пора и отдохнуть...
Пускай судно готово...
Ты, вихорь, можешь дуть...
Пускай судно готово,
Но мне не плыть уж в путь!

Между 1846 и 1859

172. ПАДУЧИЕ ЗВЕЗДЫ

«Ты, дед, говаривал не раз...
Но вправду, в шутку ли — не знаю,
Что есть у каждого из нас
Звезда на небе роковая...
Коль звездный мир тебе открыт
И глаз твой тайны в нем читает,
Смотри, смотри: звезда летит,
Летит, летит и исчезает...»

— «Хороший умер человек:
Его звезда сейчас упала...
В кругу друзей он кончил век,
У недопитого бокала.
Заснул он с песнею — и спит,
И в сладких грезах умирает».
— Смотри, смотри: звезда летит,
Летит, летит и исчезает...

— «Она — светла, она — чиста...
Дитя! красавицы пред нами
Погасла яркая звезда
С ее заветными мечтами...
Готов алтарь.. жених спешит...
Венок ей кудри обвивает...»
— Смотри, смотри: звезда летит,
Летит, летит и исчезает!

— «Дитя, то быстрая звезда
Новорожденного вельможи...
Была пурпуром обвита
Младенца колыбель — и что же?
Она пуста теперь стоит,
И лесть пред нею умолкает...»
— Смотри, смотри: звезда летит,
Летит, летит и исчезает.

— «Зловещий блеск, душа моя!
Временщика звезда скатилась:
С концом земного бытия
И слава имени затмилась...
Уже врагами бюст разбит,
И раб кумир во прах свергает!..»
— Смотри, смотри: звезда летит,
Летит, летит и исчезает!

— «О, плачь, дитя, о, горько плачь!
Нет бедным тяжелей утраты!
С звездою той угас богач...
В гостеприимные палаты
Был братье нищей вход открыт,
Наследник двери затворяет!..»
— Смотри, смотри: звезда летит,
Летит, летит и исчезает.

— «То — мужа сильного звезда!
Но ты, дитя мое родное,
Сияй, смиренная, всегда
Одной душевной чистотою!
Твоя звезда не заблестит,
О ней никто и не узнает...
Не скажет: вон звезда летит,
Летит, летит и исчезает!»

Между 1845 и 1859

173. САМОУБИЙСТВО

Посвящено памяти двух юношей

Их нет, их нет! Еще доселе тлится
На чердаке жаровни чадный дым...
Цвет жизни их едва успел раскрыться
И подкошен самоубийством злым.
Они сказали: «Мир объят волнами.
Корабль старинный, он не будет цел...
Матросы в страхе, кормчий побледнел, —
Скорей же вплавь искать спасенья станем!»
И, смело путь пробивши в мир иной,
Они туда ушли рука с рукой.

Больные дети! слышали давно ли
Вы над собой напевы детских лет?
Пусть рано вы вкусили тяжкой доли,
Но подождите: будет и рассвет!
Они сказали: «Пусть пора приходит:
Не нам сбирать здесь жатву, а другим...
Мы ничего здесь не зовем своим,
И не для нас светило дня восходит...»
И, смело путь пробивши в мир иной,
Они туда ушли рука с рукой.

Больные дети! Вы оклеветали
Земную жизнь, не вызнавши вполне,
Вы в горькой чаше бытия на дне
Любви святого перла не видали!
Они сказали: «Серафимов сон —
Любовь! — ей песни пела наша лира...
Рассеян сон, алтарь наш осквернен,
Мы видели падение кумира...»

И, смело путь пробивши в мир иной,
Они туда ушли рука с рукой.

Больные дети! Но, взмахнув крылами,
Вы, как орлы, могли с гнезда вспорхнуть...
И в вышине, кружась над облаками,
Пробить к светилу славы вольный путь...
Они сказали: «Лавр истлеет прахом,
И прах развеет по ветру вражда,
И нас везде найдет она, куда
Ни подняли б нас крылья вольным взмахом...»
И, смело путь пробивши в мир иной,
Они туда ушли рука с рукой.

Больные дети! Гнет печальный жизни
Во имя долга вы б могли сносить...
Вы мать нашли бы нежную в отчизне,
Она могла вас знаменем прикрыть.
Они сказали: «Знамя это кровью
Обагрено, напрасно пролитой,
Но куплено ли счастье кровью той?..
Иной мы любим родину любовью...»
И, смело путь пробивши в мир иной,
Они туда ушли рука с рукой.

Больные дети! Может быть, хуленья
Нашептывал в час смертный ваш язык...
Но светит луч во тьме ожесточенья,
Отец любви страданий внемлет крик...
Они сказали: «Пусть же остается
Святынею Господне имя нам:
Не будем ждать, пока душевный храм
Сомнением в основах потрясется...»
И, смело путь пробивши в мир иной,
Они туда ушли рука с рукой.

Отец любви! Прости им ослепленье...
Душевных мук был эхом ропот их,
Не ведали они, что в круг творенья
Мы посланы не для себя одних.
О, для чего я не пророк, чтоб людям
Я мог поведать голосом живым:
«Любить и быть полезными другим
Для наслажденья собственного будем...»

Но, смело путь пробивши в мир иной,
Они туда ушли рука с рукой!

Между 1845 и 1859

174. НАПОЛЕОНОВСКИЙ КАПРАЛ

Марш, марш — вперед! Идти ровнее!
Держите ружья под приклад...
Ребята, целиться вернее,
Не тратить попусту заряд!
Эх! я состарился на службе,
Но вас я, молодых солдат,
Старик-капрал, учил по дружбе...
Ребята, в ряд! не отставать,
Не отставать,
Не унывать,
Вперед — марш, марш! не отставать!

Загнул не в час дурное слово
Мне офицерик молодой...
Его я — хвать, дружка милова...
Мне значит: смерть! закон прямой!
С досады смертной, с чарки рому
Руки не мог я удержать;
Притом же я служил Иному...
Ребята, в ряд! не отставать,
Не отставать,
Не унывать,
Вперед, марш-марш! не отставать!

Ребята, вы пробьетесь годы:
Кресты вам добывать трудней.
Мой крест мне дан за те походы,
Как мы трепали королей...
Охоч я был за винной чашей
Походы те припоминать...
Эх! жаль мне старой славы нашей...
Ребята, в ряд! не отставать,
Не отставать,
Не унывать,
Вперед, марш-марш! не отставать!

Робер, дитя села родного,
Ты воротись к своим стадам...

Да если их увидишь снова,
Снеси поклон родным лесам...
Бывало, в них, как был моложе,
Красоток мне случалось ждать...
Эх! мать моя жива, мой Боже!
Ребята, в ряд! не отставать,
Не отставать,
Не унывать,
Вперед, марш-марш! не отставать!

Кто это хнычет там да плачет?
Тамбур-мажорова вдова?
Россию вспоминает, значит...
Да! не была б она жива,
Когда б не мне пришлось случиться...
Должна с ребенком умирать.
Ну! станет за меня молиться!
Ребята, в ряд! не отставать,
Не отставать,
Не унывать,
Вперед, марш-марш! не отставать!

Погасла трубка... Затянуся,
Черт побери, в последний раз!
Дошли до места... Становлюся...
Но не завязывать мне глаз!
За труд прощения прошу я,
Чур только низко не стрелять...
Веди вас Бог в страну родную;
Ребята, в ряд! не отставать,
Не отставать,
Не унывать,
Вперед, марш-марш! не отставать!

Между 1845 и 1859

175. ВОСПОМИНАНИЯ НАРОДА

Под соломенною крышей
Он в преданиях живет,
И доселе имя выше
Чтит едва ли чье народ.
И, старушку окружая
Вечерком, толпа внучат

«Про былое нам, родная,
Расскажи, — ей говорят. —
Пусть для нашего Он края
Был тяжел, — что нужды в том?
Да, что нужды в том?
Вспоминает, золотая,
Всё народ об Нем!»

— «Проезжал Он здесь с толпою
Чужестранных королей...
Молода я и собою
Недурна была — ей-ей!
Поглядеть хотелось больно:
Стала я невдалеке...
Был Он в шляпе трехугольной,
В старом сером сюртуке...
Поравнялся лишь со мною,
"Здравствуй!" — ласково сказал...
Так вот и сказал...»
— «Говорил, значит, с тобою
Он, как проезжал?»

«А потом в Париже вскоре
Я была... пошла в собор...
В Нотрэ-Дам, в большом соборе,
Был и Он, и целый Двор.
Праздник был тогда великий,
Все в наряде золотом...
Раздавались всюду клики:
«Милость Божия на Нем!»
Был Он весел; поняла я:
Сына Бог Ему послал,
Да, сынка послал...»
— «Экий день тебе, родная,
Бог увидеть дал!»

— «Но когда в страну родную
Чужестранцев Бог наслал
И один за дорогую
Он за родину стоял...
Раз, вот этакой порою,
Стук в ворота... К воротам
Выхожу: передо мною —
Он стоит, смотрю: Он сам!

«Боже мой! война какая!»—
Он сказал — и тут вот сел.
Да, вот тут и сел»...
— «Как! сидел Он тут, родная?»
— «Тут вот и сидел!

"Дай мне есть", — сказал... Подать я —
Подала что Бог послал...
У огня сушил Он платье,
Кушал — а потом Он спал...
Как проснулся, не могла я
Слез невольных удержать...
Он же, точно утешая,
Обещал врагов прогнать.
А горшок тот сберегла я,
Из которого Он ел,
Суп простой наш ел...»
— «Цел горшок тот, цел, родная?
Говори ты: цел?»

— «Отвезли его в безвестный,
Дальний край: свою главу
Он сложил не в битве честной —
На пустынном острову.
Даже — верить ли? — не знали...
Всё ходил в народе слух:
Скоро, скоро из-за дали,
Грозный, Он нагрянет вдруг...
Тоже, плача, всё ждала я,
Что Его нам Бог отдаст,
Родине отдаст...»
— «Бог за слезы те, родная,
— Бог тебе воздаст!»

Между 1845 и 1859

Мюссе

176. ЛЮСИ

Друзья мои, когда умру я,
Пусть холм мой ива осенит...
Плакучий лист ее люблю я,
Люблю ее смиренный вид,

И спать под тению прохладной
Мне будет любо и отрадно.

Одни мы были вечером... я подле
Нее сидел... она головкою склонилась
И белою рукой в полузабвенье
По клавишам скользила... точно шепот
Иль ветерок по тростнику скользил
Чуть-чуть — боясь птичек разбудить.
Дыханье ночи, полной неги томной,
Вокруг из чащ цветочных испарялось;
Каштаны парка, древние дубы
С печальным стоном листьями шумели.
Внимали ночи мы: неслось в окно
Полуоткрытое весны благоуханье,
Был ветер нем, пуста кругом равнина...
Сидели мы задумчивы, одни,
И было нам пятнадцать лет обоим;
Я на Люси взглянул... была она
Бледна и хороша. О, никогда
В очах земных не отражалась чище
Небесная лазурь... Я упивался ею.
Ее одну любил я только в мире,
Но думал я, что в ней люблю сестру...
Так вся она стыдливостью дышала;
Молчали долго мы... Рука моя коснулась
Ее руки — и на челе прозрачном
Следил у ней я думу... и глубоко
Я чувствовал, как сильны над душой
И как целительны для язв души
Два признака нетронутой святыни —
Цвет девственный ланит и сердца юность.
Луна, поднявшись на небе высоко,
Вдруг облила ее серебряным лучом...
В глазах моих увидела она
Прозрачный лик свой отраженным... кротко,
Как ангел, улыбнулась и запела.
Запела песнь, что трепет лихорадки,
Как темное воспоминанье, вырвал
Из сердца, полного стремленья к жизни
И смерти смутного предчувствия... ту песню,
Что перед сном и с дрожью Дездемона,
Склоняяся челом отягощенным,
Поет во тьме ночной, — последнее рыданье!

Сначала звуки чистые, полны
Печали несказанной, отзывались
Томительным каким-то упоеньем;
Как путник в челноке, на волю ветра
Отдавшись, по волнам несется беззаботно,
Не зная, далеко иль близко берег,
Так, мысли отдаваясь, и она
Без страха, без усилий по волнам
Гармонии от берегов летела...
Как будто убаюкиваясь песнью...

<1852>

С АНГЛИЙСКОГО

Байрон

177

Farewell! If ever fondest prayer...[1]

Прощай! И если за других
Приемлют небеса моленья —
Не тщетно вопль молитв моих
Несется в горние селенья.
Что вздохи, слезы, вопли? Знай:
Страшнее кары преступленья,
Слезы кровавой угрызенья —
Смысл этих слов: прощай, прощай!

В очах нет слез, в устах нет звука;
Но точат мозг, но давят грудь
И неотвязной думы мука,
И скорбь, которой не заснуть!
Без жалоб — в сердце, как в могиле,
Таю я страсти ад и рай;
Лишь знаю: тщетно мы любили,
Лишь чувствую: прощай, прощай!

<1860>

178

Bright be the place of thy soul...[2]

Души твоей будь обитель светла!
    Дух более чистый едва ль,
Расторгнувши узы страданий и зла,
    Стремился в надзвездную даль!

---

[1] Прощай! Если когда-либо нежнейшая молитва... (англ.) — *Ред.*
[2] Светлой будь обитель твоей души (англ.). — *Ред.*

В юдоли земной была ты чиста,
Как ныне твой дух в неземной,—
И ропоту мы заграждаем уста;
Мы знаем, что Бог твой с тобой!

Будь легок и дерн на могильном холме,
Пусть трава изумрудом блестит;
Да ничто не дерзнет напомнить о тьме
Там, где всё о тебе говорит.

И пусть расстилается зелень ветвей
Над местом, где прах твой сокрыт, —
Кипарис же не нужен могиле твоей,
Ибо кто о блаженных грустит?

<1860>

179. ПРОМЕТЕЙ

А. П. Милюкову

1

Титан! бессмертными очами
Ты скорби смертности прозрел
С ее печальными бедами,
Но их, как боги, не презрел.
И что ж тебе за состраданье
Наградой было от богов?
Безмолвно-тяжкое страданье,
Скала и коршун... гнет оков...
Вся мука гордости, все боли,
Которых видеть не должны
Враги, да душный стон неволи,
В безмолвном мраке тишины
Лишь раздающийся порою...
Чтобы, подслушанный землею,
До неба не достиг тот стон...
Чтобы без эха замер он!

2

Титан! Титан! ты мог узнать
Страданья с волей спор суровый,

Что ежечасно пыткой новой
Терзает там, где убивать
Не может... Злыми небесами,
Глухой судьбы тиранством злым
И ненавистными властями,
По злобным прихотям своим,
Себе самим для наслажденья
Производящими творенья...
Был даже блага умереть
Лишен ты! Вечностью наказан,
Ты горький дар умел терпеть,
К скале мучения привязан...
И всё, что Громовержец мог
Исторгнуть пыткою,— то было
Угроза, от которой бог
И сам познал тех пыток силу.
Судьбу вдали ты ясно зрел,
Но ты признаньем не хотел
Смягчать тирана... В том молчанье
Он услыхал свой приговор...
И он почувствовал страданье
И тщетный совести укор...
И страх перед судьбою строгой...
Дрожал перун в деснице бога.

3

Божественный проступок твой
Был тот, что, в благости высокой,
Хотел ты бедный род людской
Утешить в участи жестокой,
И сумму бедствий уменьшить,
И человека укрепить
Высоким разума сознаньем;
Но, силой неба сокрушен
И в жертву преданный страданьям,
Ты был в одном не побежден:
В терпенье, силе благородной
И в гордости души свободной,
Разбить которой не могли
Все силы неба и земли!

4

В наследство нам урок высокий
Оставил ты, символ глубокий
Людской борьбы и торжества!..
Как ты — частица божества,
Ток мутный чистого начала —
Твой человек... Ему дано
Провидеть тоже в даль немало,
Провидеть всё, что суждено
Ему на часть его судьбою:
Наследство бедствий роковое,
Борьбу без страха и покоя...
Всё то, против чего оплот —
Единый дух свободно-гордый,
Который в битве не падет,
Несокрушимость воли твердой
Да смысл глубокий... И найдет
Он в самых муках наслажденье,
И гордость в дерзостном боренье —
Победу в смерти обретет...

1860

180. ВЕНЕЦИЯ

(Отрывок)

Венеция! Венеция! в тот миг,
Как мрамор стен твоих сравняется с водами,
В странах тебе чужих раздастся скорбный крик,
И стон над этими потопшими дворцами
Промчится по твоим лазоревым зыбям.
Когда, пришлец, горячими слезами
Я плачу о тебе, — твоим сынам
Что ж делать? Плакать? Нет, иное...
Они роптать в своем тупом покое
Лишь могут, столь же мало в том отцам
Подобные, как слизь и тина ила,
Отсадок отливающих валов,
Подобны пене брызжущей, чья сила
Кидает на берег заблудших моряков;
Так и потомки — предкам знаменитым
Подобны мало и, влачась, ползут,

Как раки, медленно по улицам прорытым...
О, горе, горе им! Века уж не пожнут
Бывалых жатв... Весь плод тринадцати столетий
  Величья, славы — слезы или прах.
И каждый памятник, какой бы ты ни встретил,
  О странник: храм, дворец иль саркофаг —
  Тебе предстанет трауром повитый!..
  Сам лев лежит недвижен, как убитый...
Несется чуждый шум, бессмысленный, глухой,
  Вдоль по волнам лазурным в век иной,
Привыкшим отвечать отзывным колыханьем
На звуки, что неслись под яркою луной
Из трепетных гондол, сливаяся с жужжаньем
И с шепотом твоих ликующих детей,
В которых даже грех был символом кипенья
Полуденной крови и жажды наслажденья...
Лишь сила лет могла поток кипучий сей
  Унять и обратить его теченье
  На правый путь от бездны роковой,
  Растленья бездны, полной упоений,
Волнения в крови и сладких ощущений.
Всё ж лучше, чем разврат и мрачный, и глухой,
Народов плевелы во времена упадка,
  Когда порок является во всей
  Бесстыдно-гнусной наготе своей,
Когда веселие — не что как лихорадка
Безумия; когда улыбок всех разгадка —
  Единое убийство и когда
  Надежда — только лживая отсрочка,
  Больному светом брезжущая точка —
  За полчаса до смертного суда.

<1861>

181. НЕ ВСПОМИНАЙ!

Не вспоминай мне, не вспоминай
Тех дней погибших, но милых лет,
Когда я целым своим существом
Тебе был отдан... О, верь же и знай,
Что дням тем, пока лишь мы оба живем,
Пока в нас есть силы, — забвения нет!

Забудешь ли и забуду ли я,
Когда я, играя прядями кудрей,
Чуял, как грудь колыхалась твоя...
Я вновь тебя вижу... Душою моей
Клянуся: со влагою темной в очах,
С дыханием жарким в безмолвных устах.

Когда на грудь ты склонялась ко мне,
Сладостный свет лили очи твои:
Полуупрек, полувызов любви...
А всё тесней, в забытьи, в полусне,
Сближалися мы, и искали уста
Слиться и так замереть навсегда.

Глаза твои негой смешавшая страсть
Векам велела покровом упасть
На синеву твоих светлых зрачков;
И длинные иглы ресниц на твоих
Ланитах прозрачных лежали в тот миг,
Как вóрона крылья на глади снегов.

Мне снилось недавно, что снова пришла
Любовь былая, и слаще была
Мечта безумная грезы больной,
Чем если бы я наяву, но к иной,
К очам иным, в исступленье ином
Зажегся желания диким огнем.

Не вспоминай же, не вспоминай
О днях, которых утраченный рай
Сон тот легко может нам возвращать,
Пока не будем в могиле лежать,
Бесчувственным камням подобны в тот час,
Которые скажут, что нет уже нас.

<1861>

182. ПАЛОМНИЧЕСТВО ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА

(Отрывки)

I

1

Прости, прощай, мой край родной!
В волнах уж берег тонет,
Свистит и воет ветр ночной,
И чайка дико стонет.
Уходит солнце в дальний край,
Стремим свой бег за ним мы.
Прощай же, солнце, и прощай,
Прости, мой край родимый!

2

Заутра вновь оно взойдет,
Рассеяв тьму ночную;
Увижу море, неба свод,
Но не страну родную.
Покинут мной дом старый мой,
В нем плесень всё покроет;
Двор порастет густой травой,
Пес у ворот завоет.

3

Поди ко мне ты, пажик мой!
О чем твое рыданье?
Иль страшен ветра дикий вой
Да бездны колыханье?
Отри ты слезы: крепок наш
Корабль, он не потонет
И мчится быстро; нас, мой паж,
И сокол не догонит.

4

«Пусть воет ветр, и волны пусть
Бушуют — нет мне дела!

Но не дивись, сэр Чайльд, что грусть
Мне душу одолела.
С родным отцом расстался я
Да с матерью любимой:
Они одни мои друзья,
Да ты... да Бог незримый.

5

Без жалоб смог отец мне дать
На путь благословенье,
Но матери не осушать
Очей до возвращенья!»
Ну, будет, будет, пажик мой!
Понятны слезы... Боже!
С такой невинною душой
И я бы плакал тоже.

6

Приблизься, верный мой слуга!
Ты бледен: что с тобою?
Боишься ль франка ты, врага,
Или валов прибою?
«Не думай ты, сэр Чайльд, что я
За жизнь свою робею...
Но лишь придет на ум семья,
Невольно я бледнею.

7

Жену с детьми в родной стране
Я бросил, уезжая...
Коль дети спросят обо мне,
Что скажет им родная?»
Слуга мой верный, прав ты, прав!
И чту твою печаль я,
Но у меня, знать, легче нрав:
Смеясь, пускаюсь в даль я.

8

Жены ль, любовницы ли чьей
Не много стоит горе,

И слезы голубых очей
    Другой осушит вскоре.
Не жаль мне ровно никого,
    И в том мое проклятье,
Что нет на свете ничего,
    О чем бы стал вздыхать я.

9

И вот один на свете я
    В широком, вольном море...
Кому печаль судьба моя?
    Что мне чужое горе?
Пусть воет пес! Его чужой
    Накормит, приласкает...
Когда вернуся я домой,
    Он на меня залает.

10

Лети, корабль, и глубину
    Ты рассекай морскую;
Неси в любую сторону,
    Лишь не в мою родную!
Привет, привет, о волны, вам!
    Когда же голубая
Наскучит зыбь, — привет степям!
    Прощай, страна родная!

II

К ИНЕСЕ

Не улыбайся мне: бежит
От сумрачной души моей
Давно улыбка. Да хранит
Тебя судьба от черных дней!

Иль знать ты хочешь, что тоской
Мне точит сердце день и ночь?
Зачем?.. Лишь мир смутится твой,
А мне не в силах ты помочь.

Знай: не любовь и не вражда,
Не честолюбья глупый сон

Во мне проклятий будят стон,
Влекут неведомо куда, —

Но скука, скука мне сквозит
Во всем, что вижу, слышу я.
Мне даже красота твоя
Едва лишь сердце шевелит.

То скука Вечного жида...
За гробом ничего не ждет
Душа, но лишь во мрак сойдя,
Мир вожделенный обретет.

Кто может от себя уйти?
Из края в край, всё дальше в даль
Я мчусь, — повсюду впереди
Меня мой демон злой — печаль.

Все жадно гонятся кругом
За тем, что бросила моя
Душа: дай Бог им жить их сном!
Да не пробудятся, как я.

А мне... мне по свету блуждать,
Да мучиться прошедшим, друг,
Да тем себя лишь утешать,
Что вызнал зло лютейших мук.

Каких? О! Знать их не желай,
И в бездну мрачную свой взгляд,
Свой светлый взгляд не устремляй:
В душе людской таится ад!

1861 или 1862

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ А. А. ГРИГОРЬЕВУ

183. A VIARDOT-GARCIA

Dream and vision as thou art —
I bless thee with a human heart...

Wordsworth[1]

Чадо пламенного Юга!
О, надолго ли судьба
С нашим небом, с нашей вьюгой
Познакомила тебя?
Из-под солнца цвет отрадный
Занесла на Север хладный?
Как ты сумрак наш своим
Посещеньем усладила!
Гостья дивная! Каким
Всю тебя огнем святым
Сердце русских полюбило!..
Много с дальних рубежей
Приносилось к нам гостей,
В тайны звуков посвященных,
Но как ты — никто из них
Не видал от нас таких
Взрывов сердца исступленных!

Что из благ своих на часть
Небеса земле послали;
В чем такая дышит власть,
В чем и радость, и печали
Ищут отдыха порой;
Что, смиряя сердца бури,
На него покой лазури
Навевает и с собой
На рубеж другого света
Увлекает нас — всё это,
Всё в тебе воплощено!

[1] Кто бы ты ни была, мечта или виденье,
я благословляю тебя человеческим сердцем.
Вордсворт (англ.). — *Ред.*

23 Зак 4110

Вся ты — неба достоянье,
Вся — мелодия! Дано
Лишь тебе очарованье
Оживить так идеал,
Чувством созданный Беллини,
Ты мечта его. В Амине
Он тебя воображал.
Вопль души — твоя стихия.
Для тебя он неземные
Эти слезы создавал,
Эти пламенные муки,
Эту негу, эти звуки,
Западающие в грудь
Усладительным потоком
Так глубоко, так глубоко!
Не предчувствия ли грусть
Изливал он в них? Так рано
Дуновеньем урагана
Цвет роскошный поражен!

Кто от рока утаится?
О, кто мысли не страшится,
Что тому, кто наделен
Всем прекрасным так, — сужден
На земле удел непрочный.
Как зарницы полуночной,
Гибнет след его на ней!

Лаву чувств в душе твоей
Пламенит огонь священный;
И она ли не должна
Быть возвышенна, стройна,
Как гармония вселенной?..

Теша грезою себя,
За какое-то виденье
Любит, дивная, тебя
Принимать воображенье.
За какой-то светлый дух,
За чарующий так слух
Звук пленительный, нездешний,
Заронившийся на грешный
Мир с заоблачных равнин,
Звук божественный, один
Из аккордов этих дивных,

На которых глас отзывный
Сфера сфере подает!

Столько чар и света льет
Этот голос безыменный!
Невещественный металл,
Этот радужный кристалл,
Влагой неги освеженный!
Как страсть сердца — сладок он,
Как мечта о небе — полн
Так мелодии и света!
Райский гость! в далекий край
Ненадолго улетай
Ты от русского привета.
Так же там тебя поймут;
Так же там тебя оценят;
Но, быть может, не заменят
Нашей ласки; не дадут
Восхищеньям волю ту же.
Русский весь душой наруже.
Дань прекрасному всему
Воздавать он любит шумно:
Этот грохот, гул безумный
На привет тебе — ему
Светлый праздник,— то радушный
Дар семьи единодушной.

И умчишься ль к берегам
Ты далеким — до свиданья
Лучшим благом будет нам
О тебе воспоминанье.
След твой с сердцем будет слит.
Полон чарою могучей,
Нас надолго окружит
Мир знакомых так созвучий.
Не прожгли они кого?
Чувств в какой не влили камень
«Incolparne»[1] стон и пламень
«Mi abbraccia»[2] твоего?..

6 февраля 1844

---

[1] «Обвинять в этом» (итал.). — *Ред.*
[2] «Обними меня» (итал.). — *Ред.*

184. ДУМА

Есть гнусные, нечистые мечты,
Чудовищных страстей чудовищные чада;
Порой бурлят они, как духи в бездне ада,
Во глубине душевной пустоты.
Есть темные, убийственные думы —
Сердечных соблазнов греховные плоды;
Лелеет их во тьме порок угрюмый,
Чертя на совести кровавые следы.
Есть смрадные восторги наслажденья,
Есть ядовитая роса умильных слез,
Есть смутные, живые сновиденья,
Осуществленные исчадья сладких грез.
И это всё мгновенно зачумляет
И жжет и пепелит наш благодатный мир,
Когда безумная любовь нас окриляет
И жажде чувств дарит роскошный пир;
И в этот бедственный недуг очарованья
Влечет нас блеск ничтожной красоты...
Когда ж замрут в груди кипучие желанья
И пропадут коварные мечты,
В то время мы дарим кумиру обожанья
Раскаянья нагробные цветы...

<1846>

185

Полуеврей и полугрек,
Но нежинский, а не милетский,
Скажи, зачем ты злобой детской
Свой юный коротаешь век?

186

Скучный город скучной степи,
Самовластья гнусный стан,
У ворот острог да цепи,
А внутри — иль хам, иль хан.

187

Хоть много я грехов имею,
В них каюсь, их стыжусь, —
По приказанью не говею,
По барабану не молюсь.

188

Рассветом голубым ты теплилась мне в горе,
В минуты черные печали роковой,
Улыбкою даришь средь зол в житейском море
И поддаешь огня мне в страсти огневой.
Бодришь меня, когда беспошлинно-безданно
Томят враги, и я дрожу над их крестом;
Вся непосредственна, как отклик первозданный,
Манишь меня к себе и взором и перстом.
Мне не была вовек ты грустною обузой,
Когда мельчает дух, как бездн морских пески.
О милая моя и верная мне Муза,
Ты вот пришла ко мне, когда я полн тоски!..



ПРИМЕЧАНИЯ

Единственный прижизненный поэтический сборник Аполлона Григорьева — «Стихотворения Аполлона Григорьева» (СПб., 1846; 50 экземпляров) — включал всего 62 оригинальных и переводных произведения. Кроме этого выходили отдельными брошюрами переведенные им драмы Шекспира и 21 либретто зарубежных опер. Остальные поэтические произведения оказались разбросанными по страницам периодических изданий и альманахов или сохранились в рукописях. Юридические наследники не смогли издать поэтические тексты в течение 50 лет после кончины Григорьева, т. е. в течение срока, предоставляемого законом для них как единственных владельцев, а после 1914 г. больший интерес для издателей представила проза.

На этом фоне выдающимся событием стал выход в свет объемистого тома «Стихотворений» Григорьева (М., 1916), подготовленного А. А. Блоком, который был не только знаменитым поэтом, но и хорошим филологом, получившим прекрасную подготовку в Петербургском университете. Изучив большой массив журналов, газет, альманахов, где печатался или мог печататься Григорьев, Блок обнаружил множество его забытых или совсем неизвестных поэтических произведений. В однотомнике 1916 г. оказались напечатанными около 150 стихотворений и поэм, драма «Два эгоизма» и отрывок из либретто к опере А. Рубинштейна «Дети степей, или Украинские цыгане».

В советское время, когда Григорьев трактовался официальными кругами как реакционный мыслитель и литератор, глашатай буржуазии и «чистого искусства», идеологическая погода была крайне неблагоприятной для публикации его произведений, однако серия «Библиотека поэта» смогла откликнуться двумя изданиями ст-ний Григорьева в Малой серии (1937, 1966) и, главное, — в Большой (Избранные произведения. Л., 1959). Составитель довоенного издания в Малой серии Н. Л. Степанов (Стихотворения. Л., 1937) впервые использовал рукописи Григорьева для уточнения печатной публикации цикла «Борьба» и впервые опубликовал по рукописи ст-ние «Отрывок из неоконченного собрания сатир» под произвольным заглавием «Отрывок из неосуществленной сатиры». Составитель и комментатор тома в Большой серии Б. О. Костелянец провел, подобно Блоку, большую предварительную работу, нашел несколько новых, т. е. забытых, стихотворений (пять из них ему указал Б. Я. Бухштаб) и широко привлек к изданию рукописи Григорьева из московских и ленинградских архивов (ИРЛИ, РГБ, РГАЛИ)[1].

---

[1] Список условных сокращений см. на с. 692.

Появившиеся затем однотомники: «Стихотворения и поэмы» (М., 1978; составитель Б. Ф. Егоров) и «Одиссея последнего романтика» (М., 1988; составитель А. Л. Осповат) и двухтомник «Сочинения» (М., 1990; составители Б. Ф. Егоров и А. Л. Осповат; стихотворные тексты входили в т. 1) представляли, главным образом, несколько сокращенные варианты Большой серии «Библиотеки поэта» (с отдельными исправлениями). Но все-таки в те годы были обнаружены и напечатаны еще некоторые неизвестные ранее стихотворения («Дневник любви и молитвы» и «Трагедия близка к своей развязке...»), а также известные, но не публиковавшиеся ранее по художественным соображениям («Интродукция к альбому Ольги Александровны», «Альбому в день его рождения, «Когда, пройдя, бывало, Гибеллину...», «Из Мицкевича»).

В предлагаемом читателю издании текстов Григорьева в серии «Новая библиотека поэта» впервые печатаются все оригинальные произведения (за исключением драмы «Отец и сын», подготавливаемой к печати в другом издательстве, и нескольких переводов); добавлены к прежним собраниям 12 стихотворений, из них три впервые публикуемых, и одна впервые публикуемая драма («Басурман»); печатается также либретто к опере А. Рубинштейна «Дети степей, или Украинские цыгане».

Как и в прежних однотомниках, в каждом отделе соблюдается хронологический принцип расположения материала; исключением является цикл «Гимны», в котором датировка затруднена, поэтому стихотворения публикуются в порядке, установленном самим Григорьевым в Изд. 1846. При наличии нескольких вариантов произведения предпочтение отдается, как правило, последней по времени редакции (исключения оговариваются в Примечаниях), основные разночтения приводятся в Примечаниях (в соответствующих текстах на полях обозначен отсчет строк по десяткам). Тексты печатаются по современной орфографии и пунктуации, но при сохранении особенностей, относящихся к XIX веку. Всюду восстановлены заглавные буквы в словах «Бог», «Богоматерь» и т. п., ибо в советских изданиях разрешались только строчные буквы, из-за чего иногда возникало непонимание текста (например, в стихотворении «Комета» фраза «Из лона Отчего», представленная как «Из лона отчего», низводит текст до участия биологического, земного отца). Авторские примечания даются под строкой или за текстом без специальной ссылки. Зачеркнутое автором или изъятое цензурой восстанавливается в квадратных скобках; в угловых скобках помещены добавления и конъектуры составителя.

Даты до 1918 г. и в России, и за рубежом приводятся по старому стилю (Григорьев лишь изредка добавлял в скобках число нового стиля). Предположительные даты сопровождаются вопросительным знаком. При отсутствии достаточных данных для датировки под текстом в угловых скобках приводится дата, не позднее которой произведение создано (как правило, дата первой публикации). Даты, разделенные запятой, означают время создания первоначальной и окончательной редакции.

Примечания к каждому произведению начинаются с его порядкового номера, вслед за которым дается ссылка на его первую

публикацию, а затем через двойной дефис перечисляются все печатные источники, содержащие какие-либо смысловые изменения, кончая публикацией, в которой текст установился окончательно. По этой публикации, как правило, произведение печатается в наст. изд. В случаях, когда текст печатается по другому источнику, применяется формула «Печ. по...». Указывается наличие автографов и их местонахождение. Обосновываются датировки, не принадлежащие автору. Далее следует историко-литературный комментарий, затем раскрываются цитаты, поясняются малоизвестные собственные имена, события и факты, устаревшие слова и выражения. В разделе переводов иноязычные названия и первые строки оригиналов переводятся лишь в тех случаях, если они существенно не совпадают с русским переводом Григорьева.

При объяснении реалий широко использованы, без конкретных ссылок, комментарии предшественников (А. А. Блок, Б. О. Костелянец, А. Л. Осповат). Раздел Примечаний заключается перечислением стихотворений, ошибочно приписанных Ап. Григорьеву.

При работе над книгой большую помощь составителю оказали А. П. Дмитриев, П. В. Дмитриев, Д. П. Белозеров, Н. А. Колобова. Полная библиография всех сочинений Григорьева, хорошо помогающая исследователю в работе, имеется в монографии: *Виттакер Р.* Последний русский романтик: Аполлон Григорьев (1822—1864). СПб., 2000.

Список условных сокращений

Альбом I, II — два альбома (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 199. Оп. 2. Ед. хр. 1) принадлежавшие молодым петербурженкам Мельниковым, жившим в 1857—1858 гг. во Флоренции. Григорьев записал в альбомы ряд ст-ний, в которых отразилось увлечение одной из владелиц, скорее всего — Ольгой Александровной Мельниковой (1830—1913), племянницей министра путей сообщения и будущей (с 1868 г.) женой Д. Ф. Тютчева, сына поэта. Григорьев в 1857—1858 гг. тоже жил во Флоренции в качестве домашнего учителя в семье князей Трубецких и с удовольствием приобщился к «моим добрым приятельницам Мельниковым (славная семья, хоть и петербургские)» (письмо к Е. Н. Эдельсону от 13 декабря 1857 г. — Письма. С. 171.) Возможно, оба альбома принадлежат одной О. А. Мельниковой: они совершенно одинаковы по форме и материалу; обильные образцы флоры, вклеенные в альбомы, сопровождаются пояснениями, написанными одним почерком. В Альбом I вложена записочка О. Д. Дефарб, дочери О. А. и Д. Ф. Тютчевых: «Альбом О. А. Тютчевой, жены старшего сына Ф. И. Тютчева. В нем автографы поэта А. Григорьева и баса русской оперы Радонежского». Автографы этих поэтов — и в Альбоме II. Платон Анемподистович Радонежский (1826—1873) — главный бас московской оперной труппы; в 1857—1858 гг. он гастролировал в Италии и Франции; в своих статьях 1860-х гг. Григорьев весьма сочувственно отзывался о нем как об артисте. Ст-ний Радонежского — меньше, чем Григорьева; похоже, авторы соперничали не только в поэзии,

но и в чувствах к Ольге Александровне. Пояснения хозяйки к гербарию и даты под ст-ниями Григорьева и Радонежского ценны для уяснения времени пребывания Мельниковых в различных городах: например, несколько цветков было сорвано с могилы Рашель на кладбище Пзр Лашез в Париже 5 мая 1858 г. (при этом мог присутствовать и не любивший Рашель Григорьев, приехавший в Париж в мае). 7 ноября 1858 г. Григорьев вписывает ст-ние 79 в Альбом II уже в Петербурге; под ст-нием Радонежского «Чрез шесть лет разлуки на свиданье с Тобой» (т. е. с альбомом) стоит дата «3/15 ноября 1864 г. С. Петербург» — следовательно, автор посетил Мельниковых уже после кончины Григорьева.

БдЧ — журн. «Библиотека для чтения».

Восп. — Григорьев Ап. Воспоминания / Изд. подготовил Б. Ф. Егоров. Л.: Наука, 1980. (Сер. «Лит. памятники»).

Всякая всячина. Ч. 6. 1856: Рукописный сб. — ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 8. Ед. хр. 91.

Изд. 1846 — Стихотворения Аполлона Григорьева. СПб.: Тип. К. Крайя, 1846.

Изд. 1916 — Стихотворения Аполлона Григорьева / Собрал и примечаниями снабдил Александр Блок. М.: К. Ф. Некрасов, тип. К. Ф. Некрасова, 1916.

Изд. 1959 — Григорьев А. А. Избранные произведения / Вступ. статья П. П. Громова; Подготовка текста и примеч. Б. О. Костелянца. Л.: Сов. писатель (Б-ка поэта, БС).

Изд. 1988 — Григорьев А. А. Одиссея последнего романтика / Сост., вступ. статья, примеч. А. Л. Осповата. М.: Московский рабочий, 1988.

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук (Петербург).

М — журн. «Москвитянин»

МГЛ — газ. «Московский городской листок».

ОЗ — журн. «Отечественные записки».

ПВ — газ. «Петербургский вестник».

Письма — Григорьев А. Письма / Издание подготовили Р. Виттакер, Б. Ф. Егоров. М.: Наука, 1999 (Сер. «Литературные памятники»).

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)

РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).

РиП — журн. «Репертуар и Пантеон»

РНБ — Российская Национальная библиотека (С.-Петербург).

РСл — журн. «Русское слово»

СО — журн. «Сын отечества».

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Изд. 1846. В этом и следующем ст-ниях речь идет о «крестовой» сестре Лизе (т. е. крестной дочери кого-то из родителей Григорьева или дочери его крестных). В нее был страстно влюб-

лен Григорьев и слегка — его друг и квартирант А. А. Фет. На свадьбе Лизы и некоего армейского офицера они оба были шаферами. Оказалось, что Лиза любила Фета и выходила замуж лишь по воле родителей. Этот романтический сюжет отражен в рассказе Григорьева «Офелия» (1846), намеки на «былую общую любовь» содержатся в его поэме «Встреча», гл. 10 (№ 127) и во втором письме рассказа «Другой из многих» (1847). Фет на закате своих дней подробно описал историю в поэме «Студент» (1884). Если учесть инициалы Е. С. Р., намеки в «Офелии» и «Студенте» на относительную близость жилья Григорьевых и Лизы, на совместную службу отцов, то среди возможных десятка служащих Москвы, имя которых начинается с С., а фамилия с Р. (см.: Нистрем К. М. Московский адрес-календарь для жителей Москвы. М., 1842. Т. 2), более всего по месту проживания и по чину подходит Семен Кузьмич Радостин, коллежский регистратор, писец Московского губернского правления, живший в 6-м квартале Якиманской части (Григорьевы — в 5-м квартале). Но промелькнувшее в «Офелии» отчество отца Лизы («Елисеевич») вносит новую возможность расшифровки: среди сослуживцев Григорьева-отца по 2-му департаменту Московского магистрата был Тихон Елисеевич Стрекалов, секретарь, титулярный советник, проживавший в собственном доме в 5-м квартале Якиманской части (см.: Метелеркамп В. Д., Нистрем К. М. Книга адресов столицы Москвы. М., 1839. Ч. 1. С. 155). Тогда Е. С. Р. может быть прочитано как «Елизавете Стрекаловой», а Р. может означать какое-то заветное слово.

2. РиП. 1844. № 9, без подписи -- Изд. 1846. См. также примеч. 1.

3. М. 1843. № 7, за подписью «А. Трисмегистов». Первое печатное ст-ние Григорьева. Трисмегист (греч.: трижды великий) — имя легендарного средиевекового мистика; псевдоним графа Альберта, героя романа Жорж Санд «Графиня Рудольштадт» (1844), мистика и масона. В выборе Григорьевым этого псевдонима отразились его жоржсандистские и масонские увлечения 1840-х гг. (см. также вступ. статью, с. 15 и примеч. 11, 26, 32, 37, 62, 124). *...Лихоманок-лихорадок, Девяти подруг.* — По разысканиям Б. Я. Бухштаба (см.: Фет А. А. Стихотворения и поэмы. Л., 1986. С. 657), Григорьев в этом, а Фет в ст-нии «Лихорадка»(возможно, тогда же написанном) отразили народное поверье: «... сих лихорадок девять сестер; они крылаты и неприязненны человеческому роду <...>. Они <...> одним мечтательным поцелуем причиняют трясавицу и обитают во одержимых лихорадках» (Ч<улков> М. Абевега русских суеверий... М., 1786. С. 230—231).

4. РиП. 1844. № 6, за подписью «1. 4» (т. е. А. Г. — по счету букв) -- Изд. 1846. В журнале вм. ст. 17—24:

И снится, стремления полный,
Без цели ношуся я в море,
И сердце баюкают волны,
Качая ладью на просторе...

Но чаще мне снится иное —
Та жизнь без сознанья и цели,
Когда, под рассказ усыпляя,
Качали меня в колыбели...

И очи мне светят приветно,
И льют свою чудную влагу;
А лепет о жизни заветной
Мне шепчет забытую сагу...

Данное ст-ние — первое в длинном ряду других, отразивших драматическую безответную любовь Григорьева к Антонине Федоровне Корш (1823—1879; см. вступ. статью, с. 14—15 и № 6, 7—11, 13, 17, 21, 24, 29, 32, 52—57, 124, 131).

5. РиП. 1844. № 8, за подписью: «1. 4» -- Изд. 1846. В РиП ст. 9: «Что нужды ей до общего смятенья». Ст-ние отражает одну из заветных тем творчества Григорьева (см. об этом вступ. статью к наст. изд., с. 11, а также Изд. 1959. С. 524—527). Позднее в повести «Один из многих» Григорьев писал: «...ни в Москве, ни в Петербурге нет женщин — почва такая! А если и появится женщина, то ведь и там и здесь, по слову Пушкина, — она беззаконная комета в кругу расчисленных светил» (РиП. 1846. № 8. С. 86).

6. РиП. 1845. № 4, под. загл. «К***» -- Изд. 1846. В первой публ. ст. 5: «и тем, что небо проклинать». Обращено к А. Ф. Корш (см. примеч. 4). *Зане* — потому что.

7. М. 1843. № 11, за подписью «А. Трисмегистов» -- Изд. 1846. В М после ст. 16:

Что есть страдание без страха и смиренья
И непреклонное величие борьбы
С улыбкой гордою насмешки и презренья
На вопль душевных сил и на грома судьбы.

Обращено к А. Ф. Корш (см. примеч. 4).

8. М. 1843. № 11, без загл., за подписью «А. Трисмегистов» -- Изд. 1846. В первой публ. ст. 13—14:

Когда ж до огненного круга
Дойдет дыхание недуга,

Обращено к А. Ф. Корш (см. примеч. 4). *Мирра* (мирро) — благовонная смола.

9. М. 1843. № 11, за подписью «А. Трисмегистов» -- Изд. 1846. Печ. по: экз. Изд. 1846 из библиотеки А. Блока (ИРЛИ), где неизвестной рукой дописан ст. 11, усеченный в обеих публ. по цензурным соображениям. Блок в Изд. 1916 согласился со вставленными словами: «Я не сомневаюсь, что прежний владелец восстановил их правильно» (с. 549). Обращено к А. Ф. Корш (см. примеч. 4).

10. РиП. 1845. № 5 -- Изд. 1846. В первой публ. ст. 11: «Серафимами с неба столкнута она», ст. 19: «Так из пристани вырвав, морская волна», ст. 20: «в беспредельность уносит суднó».

11. РиП. 1844. № 7, под загл. «К***», за подписью «1. 4». -- Изд. 1846. Обращено к А. Ф. Корш (см. примеч. 4). *Лавиния* — героиня одноименного романа Жорж Санд (1833), женщина, ценившая свободу, отвергавшая поклонников, пренебрегавшая мнением общества.

12. РиП. 1844. № 7, за подписью «1. 4» -- Изд. 1846.

13. РиП. 1845. № 11, за подписью «1. 4» -- Изд. 1846. Печ. по:

Изд. 1916. В РиП вар. ст. 25: «И проклятия...», в Изд. 1846: «И проклятия право...», вызванные цензурными соображениями. Пропущенное слово восстановлено в экземпляре из библиотеки Блока прежним владельцем. Обращено к А. Ф. Корш (см. примеч. 4). В одной из статей Григорьева (Время. 1862. № 7. С. 14) появилась автоцитата из этого ст-ния: «...мы еще фанатически верили в "гордое страданье" и в "проклятия право святое", — позволяю себе <...> брать самые крайние выражения, заимствуя их как у других, так и у себя!» (цит. по: Изд. 1959. С. 529). *Лавиния* — см. примеч. 11.

14. РиП. 1844. № 10, без подписи -- Изд. 1846. В первой публ. вар. ст. 1: «По мере страданья», ст. 3: «молитвой желанья», ст. 7: «И жизнь отлетая», ст. 9: «Как дух фимиама», ст. 10: «Восходит до хоров», ст. 11: «Громадного храма», ст. 12: «Незримо от взоров», ст. 13: «По мере горенья», ст. 15: «Молитвой смиренья».

15. РиП. 1844. № 12, за подписью «1. 4» -- Изд. 1846.

16. Изд. 1846. Адресат не установлен.

17. Изд. 1846. Адресат, возможно, А. Ф. Корш (см. примеч. 4).

18. Изд. 1846. *Лима савахвани.* — По Евангелию, Иисус, распятый на кресте, воскликнул: «Или, Или! Лама савахфани?» (Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» — Мф. 27, 46).

19. РиП. 1844. № 9, под загл. «Памяти**», за подписью «1. 4» -- Изд. 1846. Б. О. Костелянец сообщил о находке рукописи в РГБ (см.: Изд. 1959. С. 588; нам не удалось ее обнаружить). Образ «одного из многих» — один из любимых персонажей Григорьева: это тип «эгоиста больного», «лишнего человека» с романтически утрированными чертами. Он нашел отражение во многих ст-ниях, в драме «Два эгоизма» (1845), в поэме «Олимпий Радин» (1845), в рассказах «Один из многих» (1846) и «Другой из многих» (1847). Григорьев стремился найти, наряду с «греховными», и достойные свойства этих людей: интеллектуальная сила, смелая откровенность мнений, презрение к обыденной пошлости. В повести «Другой из многих» персонаж с автобиографическими чертами (Иван Чабрин) прямо говорит об обаянии и о влиянии такого героя на молодежь. *Явор* — вид клена.

20. РиП. 1844. № 10, за подписью «1. 4» -- Изд. 1846. В первой публ. ст. 23: «По грошу в вистик, да супруг».

21. ОЗ 1845. № 2, без эпиграфа -- Изд. 1846. В первой публ. вар. ст. 9: «Равно нести осуждены», ст. 12: «В одни обманчивые сны», ст. 17: «Прошли давно, без разделенья», ст. 20: «Что мы душою странно сходны», ст. 23: «Что грудь так жмет и сердце гложет», ст. 29: «Сознанье скуки, жажду счастья». Эпиграф из ст-ния Байрона «Farewell!..» (см. перевод Григорьева «Прощай! И если за других...» — № 177). Возможно, Григорьев подводит черту под историей многолетней безответной любви к А. Ф. Корш (см. примеч. 4), по-своему развивая тему, навеянную Байроном: первый вар. его перевода опубликован параллельно с оригинальным ст-нием (РиП. 1845. № 3. С. 835) и начинался со сходной строки: «Прости! И ежели другим...»; и в оригинальном ст-нии, и в переводе слово «прости» имеет оттенки и прощания, и просьбы о прощении; позднее, в новом вар. перевода, Григорьев употребил более точное слово: «Прощай!».

22. РиП. 1844. № 12, за подписью «1. 4» -- Изд. 1846. В обеих публикациях «Москвитянин» зашифрован, оставлена первая буква: Григорьев не решился открыто иронизировать над журналом своего уважаемого учителя М. П. Погодина, где он и сам совсем недавно печатался. «Дебаты» («Journal des Débats») — французская либеральная газета (Париж). *В «М<осквитянин>е престрого о Содоме решено.* — В журнале резко критиковалась современная Западная Европа, особенно Франция, за развращение нравов, — подобно библейскому Содому; см., например: Шевырев С. П. Взгляд русского на современное образование Европы (М. 1841. № 1. С. 219—296).

23. РиП. 1845. № 10 -- Изд. 1846. Позднее, в Альбоме II, Григорьев записал переработанный текст ст-ния с датой: «Петербург 1845 г., 1 янв., Флоренция 1858 г., 18 февр.» и вар. ст. 1: «Да я люблю его, творение Петра», ст. 3: «Не здания его, не множество добра», ст. 6: «Я прозираю в нем иное —», ст. 12: «Надежды, радости и горе», ст. 16: «След унижений и страданий», ст. 17—20 и 21—24 переставлены местами, ст. 28: «Ряд отвратительных видений». Неясно, являлись ли переделки окончательными для возможной новой публикации. Обе ранние публикации ст-ния вызвали ряд положительных отзывов, даже у критиков, в целом оценивавших поэзию Григорьева сдержанно или даже негативно. В. Г. Белинский полностью процитировал ст-ние в рецензии на Изд. 1846 с сочувственным комментарием (см.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 10. С. 594—595). Так же отозвалась рецензия «Библиотеки для чтения» (1846. № 4). В «Финском вестнике» очень высокая оценка ст-ния сочеталась с резким неприятием последней строки: «пошлая мысль», «нелепость» (1846. № 9. Смесь. С. 46—47). Ст-ние приобрело широкую известность в середине XIX в., распространяясь в списках и нелегальных сборниках; Вс. Крестовский в конце (ч. 6, гл. 52) известного романа «Петербургские трущобы» (1867) устами графа Каллаша полностью его цитирует.

24. РиП. 1845. № 9 -- Изд. 1846. С. 108—111. Обращено к А. Ф. Корш (см. примеч. 4). *Лавиния* — см. примеч. 11.

25. РиП. 1845. № 3, под загл. «Одна глава из "Сказаний об одной темной жизни"» -- Изд. 1846. В первой публ. кроме загл. вар. ст. 79: «Господних дум... Но угадать», ст. 131—132 отсутствуют из-за корректорского недосмотра. В Изд. 1846 ст. 79 исправлен, возможно, по цензурным соображениям. Ст-ние перекликается со ст-нием «Памяти одного из многих» (№ 19) и с повестями «Один из многих» и «Другой из многих»; эгоистический персонаж последней Василий Имеретинов изглагает сходные мысли: «Что мне за дело до всего, что называется добром и злом? Да и разве есть в самом деле какое-нибудь *добро* и *зло?*» (МГЛ. 1847. № 265, 5 дек. С. 1061). *Пирмонтские воды* — вероятно, вымышленное место.

26. Изд. 1846. Эпиграф — из романа Жорж Санд «Консуэло» (1842); несправедливость была якобы по отношению к Сатане, влекущему к чувственности; по мнению героя романа, необходимо соединить в человеке чувственное и духовное начала.

27. Изд. 1846. Эпиграф — неточная цитата из Ювенала (не Горация!), сатира 1, ст. 79. Ст-ние ассоциируется с романом и с некоторыми ст-ниями Лермонтова («Как часто, пестрою толпою окружен...», «Благодарность», «Последнее новоселье»), но Григорьев предлагает оригинальную трактовку «героев»: они — мелкие, ничтожные деятели журнального мира, погрязшие в эгоизме и сплетнях; им противостоит несколько расплывчато и хаотично определяемая группа «мы»: ей присущи черты христианского демократизма (социализма), а с другой стороны, она связана «таинственно» со сфинксами, которые оказываются хранителями судьбы жизненных предначертаний. Григорьев видит дальнейшее, по сравнению с лермонтовским временем 1830 — начала 1840-х гг., измельчание и опошление «героя», поэтому стремится романтически противопоставить ему нечто возвышенное, яркое, сильное, вечное и соединяет идеалы христианского социализма с темой рока, божественно определяемой судьбы человека. *Немезида* (греч. миф.) — богиня возмездия. *Демагогическая* — здесь: демократическая.

28. РиП. 1845. № 8 -- Изд. 1846. *Хризалида* — куколка насекомых; здесь переносно: душа, готовящаяся вступить в мир.

29. Изд. 1846. Возможно, это ст-ние — своеобразное прощание с длительной любовной привязанностью к А. Ф. Корш (см. примеч. 4). Ст-ние перекликается с известным ст-нием Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю...»; и там и здесь героиня соотносится с другим, идеальным образом; но у Лермонтова этот образ — умершая «подруга юных дней», а у Григорьева — не найденный в жизни идеал женщины. Белинский в рецензии на Изд. 1846 готов был назвать ст-ние «прекрасным», но счел, что «риторическая фраза»: «И в хоре звезд... аккорд» портит общее впечатление (Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 9. С. 595). Вал. Майков в рецензии на «Стихотворения А. Плещеева» попутно высоко оценил данное ст-ние (ОЗ. 1846. № 10). *Сестра* — вероятно, намек на утопический идеал христианского братства.

30. РиП. 1845. № 10 -- Изд. 1846. *Александр Егорович Варламов* (1801—1848) — выдающийся (Григорьев считал его «гениальным») композитор, автор известных романсов и песен. Григорьев очень дружил с ним в первый петербургский период своей жизни (1844—1846), но в 1846 г. по непонятным причинам разошелся. Ср. № 38, 60.

31. РиП. 845. № 12 -- Изд. 1846.

32. Изд. 1846. Ст-ние навеяно воспоминаниями о вечерних приемах в московском доме Коршей (см. примеч. 4). Жорж *Санд* (наст. имя — Аврора Дюдеван; 1804—1876) — французская писательница, представляла демократическое течение в романтизме. О жоржсандистских увлечениях Григорьева см. примеч. 3, 11, 26, 37, 62, 124. *Рамена* — плечи.

33. Изд. 1846.

34. Изд. 1959. Печ. по автографу РГАЛИ (Ф. 160. Оп. 1. № 2). Адресат не установлен.

35. Невский альманах на 1846 г. (ценз. разр. 22 дек. 1845). Датируется приблизительно: май—декабрь 1845 г. на основании

того, что ст-ние не вошло в Изд. 1846 (ценз. разр. 23 апр. 1845) — см. об этом: Изд. 1959. С. 530.

36. РиП. 1845. № 2, за двойной подписью: «А. Григорьев (1. 4)» -- Изд. 1846. Начало напоминает первую строку ст-ния Лермонтова «Расстались мы; но твой портрет...», однако оно больше связано с другими ст-ниями предшественника: «Не смейся над моей пророческой тоскою...», «И скучно, и грустно...», так как не содержит любовной темы. В целом ст-ние оригинально соединяет две важные для Григорьева темы: рока, узнавания своей и чужой судьбы, — и усталости, истощения сил, ранней старости (последней темой Григорьев особенно близок к Лермонтову).

37. РиП. 1845. № 3 -- Изд. 1846. Адресат не установлен. *Лелия* — героиня одноименного романа Жорж Санд (1833—1839), которая ратует за женскую эмансипацию, за занятия серьезными проблемами религии и общественного устройства. Роман был существенно переделан автором, но Григорьеву осталась близка первая редакция, где взгляды Лелии особенно сближаются с темой данного ст-ния, — например, ответ Лелии влюбленному в нее Стенио: «Мы оба осуждены на страдание, оба слабые, несовершенные, с отравленной радостью, всегда беспокойные, жадные до неведомого счастья, всегда к чему-то стремящиеся...» (Изд. 1959. С. 534).

38. РиП. 1845. № 7. Отд. II -- Изд. 1846. Тексту ст-ния в первой публ. предшествовало сообщение: «К нам в Петербург переселился из Москвы на всегдашнее житье <...> Александр Егорович Варламов» (С. 15), и потому помещаются стихи «талантливого поэта А. А. Григорьева» (С. 16). *А. Е. Варламов* — см. примеч. 30.

39—40. РиП. 1846. № 1.

41. БдЧ. 1848. № 3, под загл. «Из Ювенала», без посвящ. -- Утро России. 1916. 3 апр., № 91, в статье Н. В-на «Неизвестные стихотворения Ап. Григорьева», вместе со ст-нием «Когда колокола торжественно звучат...» (№ 47), по списку (Всякая всячина). Печ. по: Всякая всячина, с исправлением явных погрешностей по БдЧ. В БдЧ — вар. ст. 9: «Пускай над Тибром он душою молодой», ст. 10: «Мечтает о судьбе, как Тибр, широкой», ст. 17: «Пускай по форумам и портикам твоим», адресующие к Древнему Риму, так же как и загл., вызваны цензурными обстоятельствами. В «Утре России» источник публ. обозначен туманно как найденный «в архивном материале». В сб. Всякая всячина — за подписью «Аполлон Григорьев», с примеч.: «Это стихотворение списано с подлинной рукописи автора, следовательно, верно. Автор самый беспорядочный человек, отвергнутый всеми; теперь он в Москве, пишет для "Москвитянина"». Датируется приблизительно по времени недолгого сближения идей Григорьева с воззрениями многих петрашевцев тех лет: нелюбовь к «содомским», социально больным большим городам (ср. № 23). *Ипполит Александрович Манн* (1823—1894) окончил Московский университет в 1845 г., с 1846 г. служил в Петербурге, сотрудничал в печати как литературный и музыкальный критик, позднее — как драматург; о взаимоотношениях его с Григорьевым сведений не сохранилось.

42. Полярная звезда. Кн. 2. Лондон, 1956, по списку (Всякая всячина) анонимно, вместе со ст-нием «Когда колокола торже-

ственно звучат...» (№ 47) -- Русская мысль. 1916. № 5. Печ. по списку ИРЛИ (Всякая всячина). В «Русской мысли» цензурные изъятия — ст. 8: «прослушать... дом», ст. 11: «И будь сам... аристократ», ст. 13: «Но на кр... р...». Ст-ние, очевидно, широко распространялось в списках. П. А. Плетнев писал 11 мая 1846 г.: «...у Григорьева есть и такие стихи, кои читать страшно по атеизму» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 763). *Прослушать Августейший дом.* — Во время литургии священник начинал упоминать имена христиан «во здравие» с членов царской семьи (государь, государыня, мать государя, наследник). Жан-Поль *Марат* (1744—1793) — один из вождей Великой Французской революции. *Демагог* — здесь: демократ. Григорьев, подобно христианским социалистам и многим петрашевцам, подчеркивал демократизм Христа.

43. БдЧ. 1846. № 9.

44. БдЧ. 1846. № 10. *Хариты, грации* (греч., римск. миф.) — богини красоты.

45. Красное яичко. СПб., 1848. Мнение Б. О. Костелянца (см.: Изд. 1959. С. 537), что ст. 9 дефектен, — ошибочно. Василий Степанович *Межевич* (1814—1849) — петербургский журналист, редактор журнала «Репертуар и Пантеон», много помогавший в те годы Григорьеву, содействовавший выходу Изд. 1846; незадолго до кончины Межевича Григорьев порвал с ним, обнаружив его финансовую нечистоплотность. *Зане* — ибо, потому что.

46. Русская мысль. 1916. № 5, с изъятиями в ст. 3, 7, 9, 14, по списку ИРЛИ (Всякая всячина). Печ. по: Всякая всячина. В течение первой половины 1846 г. Григорьев стремился покинуть Петербург и переехать в родную Москву, как он сообщил в письме к отцу от 23 июля того года (см.: Письма. С. 18). Так как в самом начале марта 1846 г. он временно приезжал в Москву (см. «Когда колокола торжественно звучат...», № 47), то данное ст-ние можно отнести к февралю (во Всякой всячине дата: «1846 г., февраль»). Николай Константинович *Калайдович* (1820—1854) — выпускник Училища правоведения, входил в студенческий кружок Григорьева; вскоре переехал в Петербург, где активно и успешно делал чиновничью карьеру; хотя он помог Григорьеву устроиться на службу, когда тот приехал в столицу, чиновничий облик бывшего товарища был очень неприятен Григорьеву, и он сатирически вывел его под прозрачно намекающим именем Кобыловича в драме «Два эгоизма». Александр Борисович *Лакьер* (Лакиер) (1825—1870) — выпускник Московского университета (1845), затем петербургский чиновник и ученый-юрист.

47. Полярная звезда. Кн. 2. Лондон, 1856, анонимно, под загл. «Москва 1846 марта 1», вместе со ст-нием «Нет, не рожден я биться лбом...» (№ 42) -- Вперед: Сб. стихотворений и песен. Ростов-на-Дону, 1907, со ссылкой на «Полярную звезду» -- Утро России. 1916. 3 апр., № 91, вместе со ст-нием «Город» («Великолепный град!..»; № 41), по списку (Всякая всячина). Печ. по: Всякая всячина. Григорьев в русле радикальных традиций русской литературы и публицистики (Радищев, декабристы, Пушкин, Лермонтов, петрашевцы) прославляет новгородское вече как символ демократического строя и уповает на возрождение этой «народной

вольности» в Москве. *Красный стяг* — революционный символ, лишь начинавший входить в быт Западной Европы; для России это понятие было еще новым (см.: Рейсер С. А. Красный флаг в России // Роль и значение русской литературы XVIII в. в истории русской культуры. М.; Л., 1966. С. 294—301).

48—50. РиП. 1846. № 7.

51. РиП. 1846. № 8. Адресат неизвестен.

52—57. РиП. 1846. № 9.

1. Русские поэты в биографиях и образцах. СПб., 1873, по другому источнику, под загл. «Старая книга». с незначительными разночтениями и примеч. Н. В. Гербеля о «превосходном стихотворении "Старая книга", не попавшем в печать по цензурным причинам». Однако ничего нецензурного в этом цикле нет.

2. Вошло в цикл «Борьба» (№ 73—90 (16)) в переработанном виде.

С<офья> Г<ригорьевна> К<орш> (1799—1871) — мать Антонины (см. примеч. 4) и Лидии (см. примеч. 124) Корш.

58. РиП. 1846. № 10.

59. Там же. № 11.

60. Варламов А. Е. Полн. собр. соч. Т. 6. СПб., 1863. А. Е. Варламов (см. примеч. 30) написал на слова Григорьева романс и посвятил его поэту. Датируется на основании того, что в июле 1846 г. между Григорьевым и композитором наступило охлаждение, возможно — разрыв.

61. МГЛ. 1847. 8 июля, № 147.

62. М. 1849. № 1, анонимно. Обращено к Елене Ивановне Вельтман (1816—1868), жене писателя А. Ф. Вельтмана. М. П. Погодин в некрологе писательнице перепечатал это ст-ние и указал авторство Григорьева (Русский. 1868. 11 марта, Лист 16. С. 254—255). Повести Е. И. Вельтман были напечатаны в «Москвитянине» (1848. № 4—6 и 12); в них характерна романтическая тональность; возможно и косвенное влияние Жорж Санд (см. примеч. 3). *Новейшей школы натуральной.* — Григорьев в конце 1840-х и первой половине 1850-х гг. враждебно относился к натуральной школе, усматривая в ней «фатальное», без идеала и высоких стремлений изображение «маленького человека», к ней он причислял тогда и Ф. М. Достоевского. *Голядкин* — герой повести Достоевского «Двойник» (1846). Интересуясь мнением Н. В. Гоголя (в письме к нему от 17 ноября 1848 г.) о повести «Двойник» «даровитого Достоевского», Григорьев так излагает свое впечатление: «...вы, вчитываясь в это чудовищное создание, уничтожаетесь, мелеете, сливаетесь с его безмерно-ничтожным героем — и гнусно становится вам быть человеком...» (Письма. С. 32—33). *Вперед, вперед без страха и сомнений* — перефразированная цитата из ст-ния А. Н. Плещеева «Вперед! без страха и сомненья...» (1846).

63. Григорьев А. Стихотворения и поэмы. М., 1978, с цензурным изъятием эпиграфа и разделов 1 и 2 части II -- Поэзия: Альм. Кн. 25. М., 1979, с ошибками и без учета разностопности строк. Печ. по автографу Гос. архива Ивановской обл., подаренному Григорьевым своей кузине В. Н. Григорьевой, с зачеркнутым загл. и ст. 74—78. «Дневниковое» обозначение чисел, возможно, условно.

Датируется началом 1850-х гг. по упоминанию общения с отцом, бывшего 8 лет назад (Григорьев уехал из отчего дома и из Москвы в 1844 г.); страстная экзальтация, отраженная в произведении, характерна для Григорьева начала 1850-х гг., для периода его отказа от увлечений молодости и сближения с крутом «Мосвитянина». Автор, видимо, не делал попыток опубликовать его из-за интимного характера. Показательно, что он не печатал также подобных ст-ний, созданных в Италии, а также исповедального ст-ния «Трагедия близка к своей развязке...» (№ 70). Единственное исключение — цикл «Борьба» (№ 73—90), но и он был в рукописи зашифрован ложной датой «1846», чтобы его не отнесли к середине 1850-х гг., ко времени увлечения поэта Л. Я. Визард. Кому посвящен «Дневник любви и молитвы», не установлено, возможно — той же Визард, ибо только в этом случае можно объяснить логическую противоречивость: вначале героиня посещает православный храм явно как принадлежащая к данной конфессии, а в конце цикла она оказывается чужестранкой (католичкой?). Эпиграф — цитата из ч. 1 «Фауста» Гете. Гл. «Сад Марты». *«Верую»* — молитва приготовившихся к причащению в православном храме при выносе Святых Даров. 5. *«Отче наш»* — молитва Господня (Мтф. 6, 9—13). *И погружался я душой в воспоминанье И свиток пошлого внимательно следил.* — Перифраз из ст-ния Пушкина «Воспоминание» (1828). 9. *И видел я — и ясли те простые* <...> *И ангелов средь пастырей явленье* — см. Евангелие (Лк. 2, 7—14). *И ночь страдания, когда на Элеон* и т. д. — см.: Мф. 26, 30—39; 5, 44.

64. Русская мысль. 1914. № 12, публ. В. Н. Княжнина, с ошибочно прочитанным ст. 19 -- Изд. 1916, с интуитивной конъектурой Блока в ст. 19 -- Изд. 1959. Печ. по автографу РГАЛИ. Княжнин справедливо датирует ст-ние началом 1850-х гг., началом «молодой редакции» «Москвитянина», ибо в 1854—1855 гг. возникли резкие разногласия Григорьева с коллегами. *А. О.* — Александр Николаевич Островский (1823—1886), драматург. *Е. Э.* — Евгений Николаевич Эдельсон (1824—1868), литературный критик. *Т. Ф.* — Тертий Иванович Филиппов (1825—1899), критик и публицист, в конце 1840-х гг. либерал, поклонник Герцена, затем быстро превратившийся в консерватора и глашатая «официального православия», как выразился Григорьев в письме к Эдельсону от 13 ноября 1857 г. (Письма. С. 157); Филиппов замечательно исполнял русские народные песни, чем очень привлек Григорьева. *Сион* — холм близ Иерусалима, где, согласно Библии, находился храм Бога; метафорически — обитель Бога-Отца. *Премудрый поп Матвей* — Матвей Александрович Константиновский (1792—1857), священник, знаменитый своими проповедями, сыграл пагубную роь в судьбе Гоголя; Григорьев позднее подчеркивал свою непримиримость с «церковью попа Матвея и Тертия Филиппова» (письмо к Е. С. Протопоповой от 26 января 1859 г. — Письма. С. 208). *Души моей кумир* — А. Н. Островский. *Фальстаф* сэр Джон — персонаж целого ряда пьес Шекспира («Генрих IV», «Генрих V», «Виндзорские проказницы»), трус, хвастун, лгун, пьяница, бабник. Фридрих Эдуард *Бенеке* (1798—1854) — немецкий философ, психолог, глашатай опытной науки, противник умозри-

тельного гегельянства; Эдельсон очень увлекался его трудами и постоянно рекомендовал их друзьям.

65—66. М. 1852. № 6. В основе ст-ния — библейский сюжет о трудном переходе евреев из Египта в Палестину. 1. *Егова* (Иегова) — одно из имен Бога-Отца. *Но указующим столпом Егова сам идет пред нами.* — Во время пути в пустыне израильтянам показывал путь облачный столп Господень, а ночью перед их глазами всегда был огненный столп (Исх. 40, 38). 2. *Велиар* (Велиал) — темная сила, сатана. *Укоснить* — промедлить, опоздать. *Изгнать бичом / Из храма торжников и псов.* — Имеется в виду евангельский эпизод (Ин. 2, 15). *Саваоф, Адонаи* — имена Бога-Отца. *Сион* — см. примеч. 64.

67. М. 1854. № 2. Автограф — РГАЛИ (Ф. 160. Оп. 1. Ед. хр. 5), под загл. «Рашель и правда», и посвящ.: «Славной памяти Павла Степановича Мочалова и живой славе Александра Николаевича Островского и Прова Михайловича Садовского», с вар. (частично воспроизведены Б. О. Костелянцем в Изд. 1959): Гл. 1. Ст. 10: «Державно властвовал над ней», ст. 63: «В нелепых драмах Полевого». Гл. 2. Ст. 1: «И вот пришла пора иная...», ст. 5: «И снова истина святая», ст. 6: «Со сцены с нею говорит», ст. 13: «Поэт, судьбы избранник новый». Между ст. 32 и 33:

Но мы не смели правду эту
Всех выше правд на свете чтить...
Хвала и честь теперь поэту,
Что по душе нас учит жить

ст. 34: «Великий комик в плоть облек...». После ст. 66:

И только солоно завистливым хохлам
Да европейским обезьянам!

(Под «завистливыми хохлами» Григорьев, видимо, подразумевал Н. Ф. Щербину, автора довольно грубых эпиграмм на А. Н. Островского — см. примеч. 185).

Между ст. 16 и 17:

Пришел поэт, что приапиной
И желчью зависти томим,
Другой — до старости мышиный
Жеребчик, вербный херувим,
На романтизм сердитый больно,
За пьесы щипанный довольно...

(Кто подразумевается под этими персонажами — неясно; некоторые черты последнего можно приписать М. А. Дмитриеву и Ф. Н. Глинке. *Приапина* — новое словообразование от имени греческого бога сладострастия Приапа).

Между ст. 20 и 21:

Сидит, от тесноты потея,
В райке купец, знакомый мой;
От полового Дорофея
Он сведал как-то, что зимой

Приедет-де Рашель в столицу,
В театре станет представлять,
Как надоть, значит, умирать,
И разную там небылицу...
Прикащик с ним Петр Федоров сидит,
Что на аршин печатное читает,
И по афишке говорит:
Что вот, мол, то и то, хозяин, представляют...

Ст. 23: «Что нас на штуки так поддеть немудрено».
Между ст. 37 и 38:

И в ней одной теперь цветет
Искусства пышный цвет под сению державной
И знание свой сочный плод дает,
И в духе истины мужает и растет
Наш быт, воистину святой и православный.

Ст. 54: «Но восторгаться *нам* некстати»; ст. 57: «Столодвижение и пляску на канате».

Поводом к созданию ст-ния явились два события московской культурной жизни: большой успех постановки в Малом театре пьесы Островского «Бедность не порок», в которой роль *Любима Торцова* играл знаменитый Пров Михайлович Садовский (1818—1872), и гастроли всемирно известной трагической актрисы парижского театра «Комеди франсэз» *Рашели* (1821—1858), возродившей репертуар основателей классицизма Корнеля и Расина и стремившейся и исполнять роли в их трагедиях «старомодно», в духе классицизма. Григорьев, прославлявший в те годы «новое слово» Островского, горячо ратовавший за национальные начала в культуре, был возмущен успехом Рашели у «западников», у «космополитов» и противопоставил ей романтического Мочалова и современного «натуралиста» Садовского, тем более что образ Любима Торцова, честного, наивного и безалаберного пьяницы, был душевно чрезвычайно близок Григорьеву. Поэтому жанровое определение ст-ния — «Элегия-ода-сатира» точно соответствует трем главам: 1 — элегическое воспоминание о Мочалове, 2 — ода Островскому и Садовскому, 3 — сатира на Рашель. Резкая сатира Григорьева вызвала много толков и литературных откликов. В кругах, близких к «Москвитянину», бурно обсуждалась именно рукописная редакция (вероятно, для друзей автор изготовил копии: в архиве Е. Б. Эдельсона, племянника друга Григорьева (РНБ. Ф. 1123. № 28) хранится более поздняя машинописная копия), об этом свидетельствует письмо Ю. Ф. Самарина к М. П. Погодину: «Возвращаю Вам стихи Григорьева. Они были прочтены на вечере у Киреевского. Вот и суждение присутствовавших: Киреевский говорит — напечатать; Хомяков решительно противится печатанию, находя крайне неуместным отзыв о преуспеянии искусства и науки *под державной сению* в то время, когда нельзя напечатать второй части "Мертвых душ", ни перепечатать первой. С моей стороны, я нахожу, что первая часть отличается искренностию и свежестию впечатления первой молодости. Во второй части меня поражает неприятно прямой переход от Мочало-

ва к Островскому и Садовскому. Ниже полслова о Гоголе, который родил Островского. Щепкин тоже забыт! Вместо благодарности обоим и вечной памяти первому, в конце второй части, Бог знает, из какой стати, задеты *завистливые хохлы*. Этот стих просто оскорбителен — не для хохлов, а для нас. Что до третьей части, то многое можно было бы сказать и pro, и contra. Все, что сказано о подражательности и господстве моды, почувствовано искренно и сказано очень остроумно; но не знаю, до какой степени кстати. Не видавши Рашель, я не могу сказать, можно ли в ее лице карать *фальшь* и *ложь* в искусстве. Если справедливо то, что пишет Анненков в письме к Щепкину, то едва ли справедливо ставить ее на одну доску с штукером Рислеем. Вообще мне кажется, что *повод* к нападению на подражательность и фальшивость как в искусстве, так и в увлечении публики, избран неудачно. Рашель сделалась невинною жертвою чужих грехов» (Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1899. Т. 12. С. 205—206). Как видно, Григорьев учел основные замечания и изъял соответствующие строки. Известна эпиграмма Н. Ф. Щербины «Новое слово», направленная скорее против Островского, а не Григорьева, в «Современнике» (1854. № 3) И. И. Панаев высмеял Григорьева и всю «молодую редакцию» «Москвитянина» в очерке «Фантастическая сцена из подземной литературы». Погодин, не очень охотно поместивший ст-ние Григорьева в своем журнале, поспешил от него отмежеваться: «Москвитянин всегда любит шутку <...> Вот почему редакция помещает с удовольствием две эпиграммы по поводу случайного стихотворения, помещенного в последней книге» (М. 1854. № 5. Отд. VIII. С. 20; «последняя книга» — не номер, а том, включающий четыре номера). Однако ст-ние, подписанное именем ведущего сотрудника журнала, не могло быть «случайным». Эпиграммы принадлежат М. А. Дмитриеву (см. примеч. 117). Приводим первую из них:

Вы говорите, мой любезный,
Что будто стих у вас железный!
Железо разное. Цена
Ему не всякому одна!
Иное на рессоры годно;
Другое в ружьях превосходно;
Иное годно для подков:
То для коней, то для ослов,
Чтоб и они не спотыкались!
Так вы которым подковались? (С. 20).

В РГАЛИ (Ф. 1571, коллекция Г. В. Юдина. Оп. 1. № 2525) хранится рукописный листок с четырьмя эпиграммами против Григорьева и стихотворное послание М. А. Дмитриева к М. П. Погодину. Погодин решился опубликовать лишь две из них, наименее грубые. Григорьев ответил на критику двумя посланиями — «Друзьям» и «Врагам» (см. № 68—69), а также критическими статьями, из которых наиболее фундаментальная — «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» (1855). Позднее Григорьев смущался по поводу крайностей своей «Элегии-оды-

сатиры» и иронизировал над собой в очерке «Великий трагик» (1859) и в рецензии «По поводу спектакля 10 мая "Бедность не порок" Островского» (1863).

Эпиграф — неточная цитата из ст-ния Лермонтова «Как часто пестрою толпою окружен...» (1840). *Могучий, грозный чародей* — Павел Степанович Мочалов (1800—1848), знаменитый московский трагик, театральный кумир Григорьева. *Офелию побольше брата <...> За человека страшно с ним!* — цитатные воспоминания о репликах Мочалова-Гамлета из трагедии Шекспира «Гамлет, принц датский» в переводе Н. А. Полевого (1837). *Ричард коварный <...> с леди Анной <...> «Коня, полцарства за коня!»* — воспоминания об игре Мочалова в трагедии Шекспира «Ричард III». *В нескладных драмах Полевого.* — Николай Алексеевич Полевой (1796—1846), сломленный после запрещения его журнала «Московский телеграф» (1834), стал поставлять в театры казенно-патриотические пьесы, которые однако, благодаря драматическому таланту автора имели у публики некоторый успех. *Вероника* — героиня драмы Полевого «Уголино» (1838); Мочалов играл роль Нино, возлюбленного Вероники. *Гюго* Бидерман — герой драмы Полевого «Смерть или честь» (1839), которого играл Мочалов. *Ляпунов* — герой драмы Н. В. Кукольника «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (1834). *Промифей* — Прометей (греч. миф.). *Поэт, глашатай правды новой* — А. Н. Островский. *Высокий комик* — Пров Садовский. *Бурнус* — верхняя одежда. *Бонтоны* — светские люди, придерживающиеся «хорошего тона». *Дух рабского, слепого подражанья!* — неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. III, явл. 22). Готхольд Эфраим *Лессинг* (1729—1781) — немецкий драматург и критик, боровшийся с догмами классицизма. Ричард *Рислей* — балетный артист, выступал вместе с двумя сыновьями. *Столодвижение* — спиритизм, распространившийся по Европе и Америке; спириты верили в способность передвигать предметы на расстоянии.

68—69. Печ. впервые по автографу РГАЛИ (Ф. 160. Оп. 1. Ед. хр. 4). Неизвестно, намеревался ли Григорьев печатать эти тексты или предполагал ограничиться рукописным их распространением.

1. Хотя ст-ние обращено к «друзьям», но фактически оно тоже посвящено борьбе с «врагами». *Щеголев* — прапорщик, герой Восточной войны, командир единственной русской батареи на Практическом молу в Одессе; 10 апреля 1854 г. принял неравный бой с англо-французской эскадрой из девяти кораблей (на каждом — по несколько десятков пушек) и мужественно оборонялся в течение шести часов.

2. *Любим Торцов, Гордей Карпыч, Митя, Любовь Горде<е>вна* — персонажи пьесы Островского «Бедность не порок» (1854). *Спартак* — римский раб-гладиатор, вождь восстания рабов в I в. до Р. Х. *Брут* Марк Юний (85—42 до Р. Х.) — римский вельможа, организатор заговора против Юлия Цезаря. *Поза* — благородный герой трагедии Шиллера «Дон Карлос» (1787).

70. Ученые зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 306. 1973 (в составе публикации Б. Ф. Егоровым группы писем Григорьева к М. П. Погоди-

ну). Ст-ние включено Григорьевым в письмо от 6 или 13 января 1856 г. как часть душевной исповеди. Автограф — РГБ (Пог. II. 9. 32. Л. 6—6 об.). В ст-нии содержится одна из заветных мыслей автора: Бог должен помочь опустившимся людям, вплоть до чудесной материальной помощи. Однако в текст включена совершенно не стандартная для верующего христианина фраза «И Ты глядишь, как гибнут миллионы, С иронией божественной Любви». *...приходил взыскать погибших Он.* — Ср.: «...Он взыскивает за кровь; помнит их, не забывает вопли угнетенных» (Псалмы. 9, 13). *Очаковский бой* — успешный штурм турецкой крепости Очаков русскими войсками 6 декабря 1788 г. *«Просите, дастся вам»* — слова Христа из Нагорной проповеди (Мф. 7, 7).

71. Русская мысль. 1916. № 5 (две первые строки) -- Григорьев А. Стихотворения. Л., 1937. (Б-ка поэта, МС). Автограф — РНБ (Ф. 236. № 174, альбом Г. П. Данилевского. Л. 47). В ст-нии содержится значительная доля самокритики, даже самобичевания, ибо «драпировка» «современного человека» в «страдания святые» и «права проклятия» — прямые воспоминания об излюбленных темах творчества Григорьева 1840-х гг. Эпиграф — из посвящения К. Ф. Рылеева к поэме «Войнаровский» (1825).

72. Русская мысль. 1916. № 5. С. 133, публ. В. Н. Княжнина из альбома Л. Я. Визард (см. примеч. 73—90), текст, видимо, получен от ее сестры.

73—90. СО. 1857. 2 ноября—7 дек., № 44—49, впервые как цикл с нумерацией римскими цифрами, с подзагол. «XVIII стихотворений Аполлона Григорьева», «Лирический роман», с опечатками, исправленными в Изд. 1959 г. Черновой автограф — ИРЛИ (Ф. 93 (П. Я. Дашкова). Оп. 3. № 388) с подзагол. «Лирический роман», с другой композицией и датой: 1846, сознательно уводящей от современных событий, вдохновивших автора на создание большинства ст-ний цикла, с зачеркнутыми эпиграфами на польском языке ко всему циклу и к некоторым ст-ниям (удалось восстановить с помощью В. Г. Щукина лишь эпиграф к циклу, концовку части IV поэмы А. Мицкевича «Дзяды»: «Kto za życia choć raz był w niebie, Ten po śmierci nie trafi od razu» — «Кто при жизни хоть раз был в небе, Тот посмертно не попадет туда сразу»). Пунктирно обозначен сюжет, в основу которого легла история драматической, безответной любви Григорьева к Леониде Яковлевне Визард (1835—1893), мучительно длившейся от начала 1850-х гг. до 1856 г., когда душа поэта была крайне потрясена: Леонида Яковлевна вышла замуж за М. Н. Владыкина; угли любовного пожара тлели потом до самой кончины Григорьева (см. предсмертное ст-ние «И всё же ты, далекий призрак мой...», № 123). Цикл «Борьба» составлялся поэтом, очевидно, в конце 1856 — начале 1857 гг., так как в июле 1857 г. он уехал в Италию, по-видимому, оставив редактору СО А. В. Старчевскому готовый для печати цикл.

1. М. 1853. № 14, др. ред., с подзагол. «С польского» -- СО. 1857. 2 ноября, № 44. Вольный перевод ст-ния Мицкевича «Niepewność» («Неуверенность»).

2. СО. 1857. № 44.

3. Там же.

4. Там же. Дата, появившаяся в первой публ., отсутствует в автографе; она, вероятно, так же нереальна, как общая дата рукописи — 1846 г.

5. М. 1853. № 14. С. 79, с вар. — СО. 1857. 9 ноября, № 45. Вольный перевод ст-ния В. Гюго без названия (1831) из книги «Les feuilles d'automne» («Осенние листья»). Эпиграф — первая строка ст-ния Гюго.

6. Там же.

7. М. 1843. № 7, др. ред., за подписью: «А. Трисмегистов» -- Изд. 1846, др. ред. — СО. 1857. 9 ноября, № 45. Текст Изд. 1846:

Доброй ночи — пора!
Видишь: по небу розово-яркой чертой
Занялася с востока заря,
И спускается тихо туман заревой.

Доброй ночи — пора!
Видишь: утра роса небывалая нам.
Разостлала вдали озера
И леса — островами по тем озерам!

Доброй ночи — пора!
Уже тени, боясь росы заревой,
Отлетают, спеша до утра,
До урочного часа вернуться домой.

Доброй ночи!.. Засни!..
Ночи тайные гости боятся зари, как огня...
До луны не вернутся они, —
Доброй ночи тебе, или доброго дня!..

8. СО. 1857. 6 ноября, № 46. В ст-нии применен метафорический прием: расставание приравнивается к смерти и похоронам героини (ср. позму «Олимпий Радин», гл. 10 — № 124).

9. Там же. Перевод части главы 3 из поэмы А. Мицкевича «Konrad Wallenrod» (1828).

10. Там же.

11. СО. 1857. 23 ноября, № 47.

12. Там же.

13. СО. 1857. 30 ноября, № 48. В автографе ст. 2: «Певунья семиструнная»; после ст. 28:

Певучим звуком доскажи,
Что речью недосказано —
И с чем вся жизнь моей души
Воспоминаньем связана!

Григорьев в 1850-х гг. очень увлекся игрой на гитаре. Фет в рассказе «Кактус» (1881) несколько свысока, но дружески описал манеру его игры: «Смолоду он учился музыке у Фильда и хорошо играл на фортепьяно, но, став страстным цыганистом, променял рояль иа гитару, под которую слабым и дрожащим голосом пел цыганские песни <...>. Несмотря на бедный голосок, он доставлял

искренностию и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пьесы» (Восп. С. 331). А. П. Милюков более возвышенно описал Григорьева-певца и гитариста: «Голос у Аполлона Александровича был гибкий и мягкий, и ему придавали красоту какая-то задушевность в чувстве и тонкое понимание характера нашей народной поэзии. На гитаре он играл мастерски. Этот, почти совсем забытый в наше время инструмент в его руках прекрасно гармонировал с русскими мотивами» (Милюков А. Литературные встречи и знакомства. СПб. 1890. С. 252—253). 13 и 14 ст-ния цикла А. Блок назвал «единственными в своем роде перлами русской лирики» (см. вступ. статью, с. 32). См. также след. примеч.

14. Там же. В автографе под загл. «Венгерка». Это и предыдущее ст-ния создавались в тесном общении Григорьева с цыганами. М. И. Пыляев со слов ветеранов цыганского хора так описывает этот период: «В пятидесятых годах явился Иван Васильев, ученик Ильи Соколова; это был большой знаток своего дела, хороший музыкант и прекрасный человек, пользовавшийся дружбой многих московских литераторов, как, например, А. Н. Островского, Ап. А. Григорьева и др. У него за беседой последний написал свое стихотворение, положенное впоследствии на музыку Ив. Васильевым» (Пыляев М. И. Старый Петербург. Изд. 3. СПб., 1903. С. 414). Подробнее об этом ст-нии см. вступ. статью, с. 32.

Баядерка (баядера) — индийская танцовщица (термин — португальский). *Квинта* — один из музыкальных интервалов. *Бàсан, бàсан, басанà* — см. вступ. статью, с. 34.

15. Современник. 1854. № 4, под загл. «Прощание» -- СО. 1857. 7 дек., № 49. В первой публикации (указано Н. Б. Алдониной) ст. 5: «Твое так безраздельно сердце жило».

Ст. 7—9:

Пусть счастья сон душе рассеять больно,
Но жизнь не сон — гляди вперед светло.
Обманами нам тешиться довольно.

Ст. 16—20:

Живи... люби... проклятие не я
Произнесу тому, кто жизни жаждет...
Любить и жить должна душа твоя:
Во сне тупом она глубоко страждет,
Как некогда страдала и моя.

Вместо ст. 22—32:

Свою подай и дай к устам прижать
В последний раз на вечную разлуку
И дай в одном рыданье передать
Грядущих дней безвыходную муку.

В последний раз натешить сердце сном,
Предаться миг обманчивому счастью,

Поверить в жизнь в лобзании одном
Сказаться слепо-верующей страстью
И замереть в страдании немом.

Будь счастлива... ни стоном, ни мольбою,
Не отравлю я счастья твоего...
По-прежнему в борьбе с моей судьбою

16. Там же. Переработанный вар. ст-ния «В час томительного бденья...» (№ 53). Автограф вне цикла — ИРЛИ (Ф. 93 (П. Я. Дашкова). Оп. 3. № 389), с зачеркнутым эпиграфом из Гейне, вм. ст. 27—28:

Станет речь спокойно-весел
О былом вести со мною.
Год ли первой он холеры
Вспоминает иль иное...
Дышит силой крепкой веры
Слово здравое, простое.

После ст. 52:

Ядом веры в мир желанный,
Веры в женщину безумной,
Веры в край обетованный
И в судьбы закон разумный.

17. Там же. Судя по содержанию, речь идет о замужестве героини.

18. Там же.

91. Отдельные брошюры с нотами: М.: Изд. Грессера, 1857 (музыка А. И. Дюбюка); М.: Изд. Ф. В. Бюхнера, 1860 (музыка издателя). В корпус ст-ний Григорьева вводится впервые. А. И. Дюбюк — композитор, близкий к Григорьеву и к кругу «молодой редакции» «Москвитянина», ему, видимо, и отдал Григорьев текст песни перед отъездом в Италию. Сюжет интересен как предвестье значительного эпизода из повести Н. С. Лескова «Очарованный странник» (1873).

92. Песни и романсы Александра Дюбюка. М., [Б. г.], за подписью «А. А. Г». Датируется по связи с предыдущим ст-нием. В корпус ст-ний Григорьева вводится впервые.

93—99. БдЧ. 1857. № 8. Предваряет публ. переведенной Григорьевым комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1596). Как и цикл «Борьба» (№ 73—90), этот цикл создавался, видимо, после замужества Л. Я. Визард (см. о ней примеч. 73—90). Помимо понимания полной безысходности своей страстной любви, Григорьев не мог не быть уязвленным выбором Леониды Яковлевны: М. Н. Владыкин, ее избранник, был третьестепенным драматургом и среднего ума человеком. Шекспировская героиня Титания, «капризно-прихотлива», «слияние прихоти и чистоты», по характеристике Григорьева, несомненно, ассоциировалась поэтом с Л. Я. Визард. *...я помню старый сад* — см. примеч. 124. *Зауряд* — здесь: неглавный, посредственный. *Оберон* — персонаж «Сна в летнюю ночь», король эльфов (*сильфов*), муж Титании; ради временного наказа-

ния упрямой Титании он с помощью колдовства заставляет ее влюбиться в существо с ослиной головой.

100. Изд. 1959. Печ. по автографу — Альбом II. Посвящено одной из сестер, владелиц Альбома II, скорее всего, Ольге Александровне Мельниковой (1830—1913), будущей жене Д. Ф. Тютчева, сына поэта.

101. Изд. 1988. Печ. по автографу — Альбом I. *Ольга Александровна* — см. примеч. 100.

102. Изд. 1988, с неверно прочитанной последней строкой. Печ. по автографу — Альбом I. См. примеч. 100.

103. Печ. впервые по автографу РГАЛИ (Ф. 160. Оп. 1. № 6). Это послание (эпиграмма?) явно относится, судя по названиям городов, ко времени пребывания Григорьева во Флоренции. Можно лишь гадать о предмете сатиры и об адресате: И. С. Тургенев? Н. А. Некрасов? В. П. Боткин? — именно они были знакомыми Григорьева, хорошо знавшими реалии и лица Флоренции тех лет. Скорее всего, Григорьев мог так презрительно говорить об Иване Егоровиче Бецком (1817—1891), воспитателе юного кн. И. Ю. Трубецкого, ненавидимого Григорьевым за ретроградность и показную набожность («...этот пакостный экстракт холопствующей, шпионничающей и надувающей церкви» — из письма к М. П. Погодину от 26 августа 1859 г. — Письма. С. 217).

104. Изд. 1959. Печ. по автографу — Альбом II. *«Метеорский чин»* — см. примеч. 107.

105. Григорьев А. Стихотворения и поэмы. М., 1978. Печ. по автографу — Альбом II, с подзагол. «(Pozegnanie Child-Harolda)» («Прощание Чайльд-Гарольда») и с указанием места и времени: «Москва. Май — Пароход "Прусский Орел". Июля 16 <1857> — Флоренция. Февр. 16 1858 года». Рядом, на л. 38 приклеен пучок водорослей и сопровожден восьмистишием рукой Григорьева:

Приношу морской волне
Дар родного моря,
Что на вольном моря дне,
На святом просторе
Я купаяся срывал
В дни, когда позорно,
Аки некий пес, скучал
В городе Ливорно.

Firenze 1858 Февр. 16.

В данном случае Григорьев обратился для перевода не к подлиннику Байрона, а к отрывку из перевода А. Мицкевичем на польский язык поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда»; через 3—4 года он обратился именно к подлиннику (см. № 182 и вступ. статью, с. 43).

106. Изд. 1959. Печ. по автографу — Альбом II. *Арно* — река во Флоренции. *Лунг-Арно* — набережная реки Арно.

107. Русское слово. 1859. № 1. Отд. III, в очерке «Великий трагик», первые две строки -- Изд. 1988, с рядом неверных прочтений. Печ. по автографу — Альбом I, за подписью «Маленький метеорчик» (метеор, метеорский — определения, применяемые

Григорьевым к себе и к образу Любима Торцова из пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок»). *Гибеллина* — улица во Флоренции. *Дороги к вам свершу я половину* — намек на начало «Божественной комедии» Данте (см. примеч. 129). «*Анна Болен*» — опера Г. Доницетти (1830).

108—112. Русский мир. 1860. 6 февр., № 11 (ст-ния 1, 2); 10 февр., № 12 (ст-ния 3—5). Автографы первоначальных вар. ст-ний 1—5 (без слияния в цикл) — Альбом II.

1. В автографе — ст. 1—8, под загл. «Аккорд in Fa major», с вар. ст. 3: «Печально вянешь ты, не зная», ст. 5: «Какие тайны открывает», ст. 6: «Жизнь повседневная порой...». Датируется на основании письма Григорьева к Е. С. Протопоповой от 19 марта 1858 г.: «На другой день после primo corso (первый день карнавала. — *Ред.*) у меня невольно и искренно вырвался следующий аккорд <далее следуют, как и в альбоме, ст. 1—8>» (Письма. С. 195). Ранее он сообщал ей же, что примо корсо состоялся во Флоренции 25 января 1858 г. (см.: Письма. С. 185).

2. В автографе — др. ред., под загл. «Песня Киске», эпиграф: «Perche quando mi vedi tu sfuggi come un gatto» («Почему, когда видишь меня, ты ускользаешь, как кошка» — *итал.*), с указанием даты и места написания (citta dei fiori — город цветов, т. е. Флоренция). Наиболее существенные вар.:

Ст. 11—16:

И страсти лихорадочность,
И детская невинность...
То бархатно ласкающий
Доверчивости взгляд,
То холод ужасающий
И *дружбы* тонкий яд.

Ст. 21—22:

Огня ль струя ты странная,
Морская ль ты волна,

Ст. 29—32:

Царапать воля вольная
Была б тебе дана,
Стерпел бы, хоть и больно, я...
Ты *киской* создана!

Ст. 34:

Принять, как в стары годы

Ст. 37—40:

Что хочешь, делай ты со мной,
Царапай лапкой больно...
Я всё у ног твоих с мольбой!
Ты киска — и довольно!

В упомянутом письме к Е. С. Протопоповой Григорьев подробно рассказал об увлечении «киской» (О. А. Мельниковой? —

см. примеч. 100): «...мир, в который внес я всего себя, т. е. фанатизм демократии, ругательство бесчинное над светскими условиями <...>. Мирок (наполовину женский) стал жить моею жизнию, заслушиваться моих необузданных речей, хохотать над "ерыжными" выходками и жить со мною вместе наполовину поэзией итальянского искусства, наполовину беснованием цыганских песен... <...> один наиболее впечатлительный и больной женский субъект <...> начал особенно сильно подвергаться влиянию и моей хандры, и моей лихорадки... В субъекте этом было все то, что люблю я в женском типе: тихая отзывчивость гитары и гибкость кошки... Ну да что тут... После первого corso я понял, что я влюблен...» (Письма. С. 195—196). Григорьев полушутя, полусерьезно делил женские характеры на две категории: «кошачьи» — самостоятельные, лукавые, ускользающие от подчинения, и «собачьи» — преданные, самоотверженно порабощающие себя. Сам Григорьев любил «кошек».

3. В автографе — под загл. «К Мадонне Мурильо (терцины)», с датой и вар. ст. 3: «И дышащий какой-то тайной лик...», ст. 13: «Тебя иному миру показал», ст. 16: «В тебе таится семя разрушенья —», ст. 19: «Мне страшен мрак, твой спутник роковой,», ст. 20: «Под мраком сим огонь стихий таится», ст. 21: «Безумно-разрушительный, слепой...», ст. 22: «О! Если б смел я за тебя молиться!». Это и следующие два ст-ния посвящены картине испанского художника Бартоломео Эстебана Мурильо (1617—1682) «Мадонна» (около 1650), хранящейся во флорентийской картинной галерее дворца Питти. Приехав во Флоренцию в октябре 1857 г. (краткосрочно он был там уже в сентябре), Григорьев стал интенсивно посещать две главные галереи: Уфицци и Питти. Самое сильное потрясение Григорьев испытал от «Мадонны» Мурильо: помимо выдающейся художественной ценности на Григорьева действовало некоторое сходство Мадонны с обликом Л. Я. Визард (из письма к Е. С. Протопоповой от 25 сентября 1857 г.: «...в ней проглянули черты моей неотвязной мучительницы...» — Письма. С. 147). Чуть позднее, 20 октября, в письме к той же корреспондентке Григорьев более подробно рассказал о своих впечатлениях: «По целым часам не выхожу я из галерей, но на что бы ни смотрел я, все раза три возвращусь я к Мадонне. <...> Этакого высочайшего идеала женственности, по моим о женственности представлениям, я во сне даже до сих пор не видывал <...>. Мрак, окружающий этот прозрачный, бесконечно-нежный, девственно-строгий и задумчивый лик, играет в картине столь же важную роль, как сама Мадонна и Младенец, стоящий у нее на коленях <...> мрак этот есть мрак души самого живописца, из которого вылетел, отделился, улетучился божественный сон, образ, весь созданный не из лучей дневного света, а из розово-палевого сияния зари...» (Письма. С. 148). А в письме к А. Н. Майкову от 24 октября 1857 г. Григорьев откровенно признался: «В эту картину, в мурилловскую Мадонну, я влюбился совсем так же, как способен был влюбиться в женщин, т. е. безумно, неотвязно, болезненно» (Письма. С. 150—151). В Альбом II (л. 5 об.) вклеена фоторепродукция «Мадонны» Мурильо с дарственной надписью: «от А. Г.».

4. В автографе — под загл. «К Мадонне Мурильо», эпиграф из 2-й части «Фауста» Гете:

Dir, der Unberührbaren,
Ist es nicht entnommen,
Daß die leicht Verführbaren
Traulich zu Dir kommen.

(Запись неточна: вместо «entnommen» должно быть: «benommen»; вольный перевод Б. Пастернака: «Дева безневестная, Ты для жертв обмана Пристанью небесною Будешь постоянно»), с вар. ст. 13: «Проклятия, греха и осужденья», после ст. 33:

О, помолись, моя Святая дева,
Да снидет луч во тьму души моей,
Да Судия хоть раз на место гнева
На раны сердца источит елей!

В авторской дате — ошибочный пересчет со старого стиля на новый: 27 января (10 февраля) 1858.

5. В автографе — под загл. «К Мадонне Мурильо», с вар. ст. 3: «К твоим чертам божественным прикован», ст. 6: «Читала ты во мне страданий повесть».

113. Изд. 1959. Печ по автографу — Альбом II. Сильнейшее впечатление от флорентийского карнавала Григорьев изложил в письме к Е. С. Протопоповой от 26 января 1858 г.: «...вышел я вчера на первое Корсо <...>. Я очутился на Арно <...>. Толпа понесла меня, закружила. Маскерад, как гремучий змей, захватил меня своим хоботом <...>. Странное, сладкое и болезненно ядовитое впечатление. Тут живешь не настоящим, которое мелко во Флоренции, а прошедшим <...> — волканическими взрывами республиканских заговоров и великолепием Медичисов. *Почва* дает свой запах, старое доживает в новом <...> Страстные, безумные поцелуи Ромео и Юлии звучат из загробного мира...» (Письма. С. 185—186). *Чивитта-Веккиа* — город близ Рима.

114. Изд. 1959. Печ по автографу — Альбом II. В Изд. 1959 (с. 556) последняя строфа ст-ния «Из Мицкевича» (№ 105), записанная в Альбоме II перед данным ст-нием, ошибочно представлена как отдельное произведение, тесно связанное с ним. Оба ст-ния, а также ст-ние «Страданий, страсти и сомнений...» (№ 104), очевидно, навеяны сборами сестер Мельниковых (см. примеч. 100) к отъезду из Флоренции; в Альбоме I помечено 21 февраля 1858 г. прощальное ст-ние П. А. Радонежского: «Итак, вы едете... Счастливо! Простите, голубки родные!» (Л. 26). Поэтому дата «Июнь 1858» маловероятна: к июню и Мельниковы, и Григорьев должны были вернуться из Парижа во Флоренцию (Григорьев уехал в Париж в мае). Нереальная дата может быть связана с какими-то неизвестными нам соображениями автора. Тема «зорьки» и грустного прощания заимствованы Григорьевым из фольклора. В статье «Русские народные песни» он приводит текст, записанный во Владимирской губернии:

Ты заря ли, вечерняя зоренька,
Ты заря вечерняя была,

Не дала же нам вечерняя зоренька
С поля убраться не дала.

(М. 1854. № 15. С. 135)

115. Изд. 1959. Печ по автографу — Альбом II. *Мадонна Мурильо* — см. примеч. 108—112.

116. Изд. 1959. Печ. по автографу — Альбом II.

117. Оса. 1863. 4 мая, № 1, за подписью «Ненужный человек». Григорьев, став редактором журнала «Якорь» (1863—1864), завел при нем сатирическое приложение «Оса», где поместил ряд своих произведений. Сатира и юмор не были близки Григорьеву по свойствам его натуры, поэтому эти произведения не имели значительной художественной ценности. Григорьев называл себя «ненужным человеком», понимая, что бурный практический дух 1860-х гг. совершенно не соответствует идеалам «последнего романтика». *Возрождение «Свистка».* — В 1863 г. вышел единственный, девятый, номер сатирического приложения «Свисток» (при апрельском номере «Современника»); он не выходил больше года из-за цензурных гонений. *Очерк г. Помяловского* — «Женихи бурсы. Очерк третий» (Современник. 1863. № 4). *Нет, никогда, ниже когда Пичинни...* — неточная цитата из драмы Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830). *Булгарин В Белинском Робеспьера прозревал.* — Журналисты знали о доносах Фаддея Венедиктовича Булгарина (1789—1859) на «Отечественные записки» и на Белинского; особенно был известен донос 1846 г. «Социалисм, комунисм и пантеисм в России в последнее 25-летие», где упоминался и Робеспьер. *Известный барин* — Михаил Александрович Дмитриев (1796—1866), автор сборника «Московские элегии» (М., 1858), писавший инвективы на Белинского («К безыменному критику», 1842), и на самого Григорьева (см. примеч. 67). *Дзун-кин-дзын.* — В цензурную суровую пору при Николае I журналисты довольно часто использовали Китай и китайские «имена» для завуалированной полемики. Николай Алексеевич *Полевой* (1796—1846) в своем популярном журнале «Московский телеграф» (1825—1834) постоянно вел резкую полемику с Булгариным и его реакционными изданиями. Но когда журнал Полевого был запрещен, редактор был вынужден переехать в Петербург, пойти на поклон к Булгарину и Н. И. Гречу и публиковаться в их периодике. *Межевич* — см. примеч. 45. *Андрея на Фаддея чуть сменил.* — Андрей Александрович Краевский (1810—1889) пригласил Межевича в 1839 г. возглавить критический отдел возобновленного журнала «Отечественные записки», но быстро в нем разочаровался и фактически «вытеснил» его Белинским; Межевич стал участвовать в изданиях Ф. В. Булгарина, но в конце жизни сильно ссорился с ним. *Панаева <...> Рожденным в люпанаре объявил.* — В ответ на ядовитый фельетон Ивана Ивановича Панаева (1812—1862) «Петербургский журналист» (1841), явно изображавший Межевича, последний в одной из своих рецензий в булгаринской «Северной пчеле» (1841. № 245), якобы хваля Панаева за талантливое изображение петербургского дна, домов свиданий, предположил, что писатель, видимо, «родился и вырос» в этой обстановке. *Люпанар* — публичный дом. Александр Николаевич *Андреев* (1830—1891) — поэт-юмо-

рист. Петр Иванович *Григорьев* (1806—1871) — водевилист и актер; Григорьев невысоко ставил его таланты. *Цвела александринская пора.* — В царствование Николая I господствовал легковесный водевиль (главным его рассадником был петербургский Александринский театр), где допускались уколы и намеки применительно к соперникам или незначительным должностным лицам. *Великий обличительный поэт* — намек на Дмитрия Дмитриевича Минаева (1835—1889), писавшего под псевдонимом «Обличительный поэт». Имеется в виду его ст-ние «Два века (Из хроник будущего столетия)» (Искра. 1862. 3 авг., № 29. С. 388—390; вошло в книгу Минаева Думы и песни. СПб., 1863). «Père Duchesne» («Отец Дюшень») — радикальный политический журнал периода Великой Французской революции, издававшийся Жаком Эбером (1757—1794); отличался неслыханной грубостью по отношению к противникам. *Аскоченский* Виктор Ипатьевич (1813—1879) — фанатичный и грубый религиозно-консервативный журналист; Григорьев часто сравнивал его с Ж. Эбером, а его газету «Домашняя беседа» (1858—1877) — с «Père Duchesne». *Мурет* — Марк Антуан Мюре (латинизированная форма — Муретус; 1526—1585), французский филолог-античник.

118. Оса. 1863. 12 окт., № 24, за подписью «Ненужный человек». Перепев ст-ния А. А. Фета «Я люблю его жарко: он тигром в бою...» из цикла «Подражания восточному» (Фет А. А. Стихотворения. М., 1863. Ч. 1. С. 31). Термин «обличительная литература» стал уже с конца 1850-х гг. символом легковесного разоблачения социальных недостатков реформирующейся России; Григорьев был одним из непримиримых противников такой поверхностности в литературе и публицистике, причисляя к ней и демократические журналы. Форма *абличитель* заимствована Григорьевым у Ф. М. Достоевского (рассказ «Скверный анекдот», 1862). *Алмея* — новообразование от франц. слова almé — певица и танцовщица на Востоке. *Головешкинская свора.* — Григорьев, как и Достоевский, иронически называл радикальный журнал «Искра» «Головешкой».

119. Оса. 1862. 7 дек., № 32, за подписью «Ненужный человек». *Критик «Якоря»* — не критикующий «Якорь», а пишущий в нем, т. е. сам Григорьев: якобы Ненужный человек обращается к редактору и критику, возглавляющему «Якорь». *Теодоро <Бурди>н* — Федор Алексеевич Бурдин (1827—1887), московский и петербургский актер, приноравливавшийся ко вкусам «толпы»; Григорьев резко его критиковал в театральных рецензиях, ввел даже термин «бурдинизм». *Краснов* — герой драмы А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живет» (1863). Александр Александрович *<Нильс>кий* (1840—1899) — петербургский актер, бывший ученик Григорьева по Первой Московской гимназии, вначале принятый критиком с надеждой, а потом все более раздражавший стремлениями к внешним эффектам. *Жадов* — персонаж драмы Островского «Доходное место» (1857). *Разлюляев* — персонаж драмы Островского «Бедность не порок» (1853). *Тезка ж твой* — П. И. Григорьев (см. примеч. 117). Дэвид *Гаррик* (1717—1779) — знаменитый английский актер. *Чудо света* — Василий Васильевич Самойлов (1813—1887), петербургский драматический актер, тра-

гик; Григорьев весьма сдержанно относился к его игре. *Гамлет Щигровского уезда* — герой одноименного рассказа И. С. Тургенева из «Записок охотника»; см. также примеч. 120—121. Антуан Луи Проспер *Леметр* (1800—1876) — знаменитый французский актер. *«Было да прошло»* — пьеса В. И. Родиславского и О. О. Новицкого (1863), примитивно воспевавшая освобождение крестьян. *Пошалил на первый год приезда.* — В. Г. Белинский переехал в Петербург в 1839 г. и несколько месяцев, до начала 1840 г., публиковал обзорные статьи «Александринский театр» в «Литературных прибавлениях к "Русскому инвалиду"» и в «Литературной газете». *Ты Рашель <...> ругал* — см. № 67. *Верил ты в Самарина.* В ранней статье «Александринский театр» (РиП. 1846. № 5) Григорьев восторженно оценил роль Чацкого в исполнении Ивана Васильевича Самарина (1817—1885), молодого московского актера; позднее Григорьев будет критиковать артиста за «пересол», за «эффекты». *Бегут, о Постум, годы* — вольный пересказ строки из 2-й оды Горация. Маврикий Якимович *Раппопорт* (1824—1884) — театральный критик, печатался главным образом в журнале и газете «Сын отечества» (издатель — А. В. Страчевский); Григорьев считал, что он был ангажирован Старчевским и потому оценивал постановки необъективно. *Клестерша* (Клестер). — Такая актриса неизвестна, это придуманный Григорьевым псевдоним (от слова «клести» — ущемлять, сдавливать?); судя по театральным статьям Григорьева, речь идет о Дарье Михайловне Леоновой (1829—1896), которая интриговала против юной и талантливой Ольги Эдуардовны Шредер (1846—1892). Для роли Вани в «Жизни за царя» М. И. Глинки подходил не только возраст, но и голос артистки (контральто), в отличие от меццо-сопрано Леоновой, а именно вокруг роли Вани и велись интриги. В «Осе» от 14 сентября (№ 20) за 1863 г. на обложке была помещена карикатура с подписью «Певица Каллипига Клестер собирает всех скотов для освистания своей соперницы». Каллипига — ядовито-иронический намек на известную античную статую «Венера Каллипига», т. е. «Красивозадая»: на первом плане — находящаяся у рампы спиной к публике грузная и толстозадая певица в мужском костюме (судя по декорациям и костюму, она играет Ваню в опере Глинки), а на заднем плане стоит изящная и красивая актриса — как бы идеальный противовес. Слева на сцене некто танцует с тамбурином «Дым отечества» (намек на «Сын отечества»), справа — человек с хлыстом (видимо, образ А. В. Старчевского) «учит» стоящего на задних лапках пуделя с человеческим лицом в пенсне (очевидно, каламбурный намек: «Рапп-апорт!»); в зрительном зале — ослы и свиньи. На обороте обложки помещен «Гимн знаменитому лицедею Теодору Бурдину».

120—121. Оса. 1864. 4 янв., № 1. С. 5—6; 11 янв., № 2, без подписи. *Гамлет Щигровского уезда* — герой одноименного рассказа И. С. Тургенева (1849) из цикла «Записки охотника», один из ярких художественных образов русского «лишнего человека»; Григорьев неоднократно заявлял и о своей «лишности», о психологической близости к образу русского Гамлета. Душевно близок был Григорьеву и образ Дон Кихота. Перед заглавиями обеих частей (№ 1, с. 5; № 2, с. 13) помещены карикатурные рисунки,

изображающие Гамлета с лицом Григорьева.

1. *Коммунистское счастье.* — Григорьев, после краткого увлечения в середине 1840-х гг. идеями утопического социализма, потом резко отрицательно стал относиться к социализму и коммунизму. *«Русское слово»* (1859—1866) — журнал, где Григорьев начинал в 1859 г. активную деятельность, приехав в Петербург из Италии, в 1860-х гг. под руководством Г. Е. Благосветлова и Д. И. Писарева стал самым радикальным журналом России. Варфоломей Александрович *Зайцев* (1842—1882) — соратник Писарева, автор статей, нашумевших своими крайними антилиберальными (якобы демократическими) воззрениями. *Жонд народовый* — руководящий орган польского восстания против русского царизма (1863—1864). *Два наших «Слова»* — журнал «Русское слово» и газета «Современное слово» (1862—1863; либеральное с демократическими вкраплениями издание, редактор — Н. Г. Писаревский, была запрещена правительством). *Про воеводу пели Пальмерстона.* — Имеется в виду популярное во время Крымской войны ст-ние В. П. Альферьева «Вот в воинственном азарте Воевода Пальмерстон...» (Северная пчела. 1854. 15 фев., № 37); положено на музыку близкими к Григорьеву композиторами К. П. Вильбоа и А. И. Дюбюком. Генри Джон Темпл *Пальмерстон*, виконт (1784—1865) — премьер-министр Великобритании в 1855—1858 гг. и с 1859 г. — один из организаторов Крымской войны против России. *Севера Пальмира* — поэтическое название Петербурга (Пальмира — древний город, культурный центр на территории современной Сирии). Шарль *Фурье* (1772—1837), французский утопический социалист; «*Новый* хозяйственный социетарный *мир*» (1829) — один из главных трудов мыслителя; Фурье предполагал в далеком будущем соединение Луны с Землею, что особенно часто служило мишенью для насмешек Григорьева. На указанной выше карикатуре Гамлет с лицом Григорьева изображен стоящим на большой полусфере с меридианами и параллелями, т. е. на земном шаре, а из-за горизонта выглядывает «лицо» Луны с высунутым языком (т. е. она готова *лизаться*). *Косица* — Николай Николаевич Страхов (1828—1896), ученик и младший коллега Григорьева по литературной критике, писавший под псевдонимом «Н. Косица»; себя возводя в Гамлеты, Григорьев называл Страхова именем его друга Горацио.

2. *Лягушкин* — возможно, намек на фольклориста Павла Ивановича Якушкина (1822—1872), злоупотреблявшего алкоголем. *Как он на Геркулеса* — возможно, воспоминание о своей статье «Гамлет» на одном провинциальном театре» (1846) с ядовито-критической оценкой знаменитого В. А. Каратыгина, высокого, «здорового, плотного»: актер был «столько же похожий на Гамлета, сколько Гамлет на Геркулеса» (Восп. С. 173). *Fors vitalis.* — Григорьев, видимо, спутал французское слово force (сила) с латинским fors (случайность). *Тацит* (ок. 58 — ок. 117) — римский историк, автор знаменитых «Анналов». *Сосед Буянов* и т. д. — неточная цитата из поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (1811); Буянов — ее главный герой; на карикатуре с изображением Гамлета этот персонаж, дерущийся с каким-то человеком, с юмористической подписью-цитатой из «Евгения Онегина»: «Мой брат двоюродный Буянов. Пуш-

кин». *Репетилов, Хлёстова* — персонажи комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»; на карикатуре слева эти персонажи нарисованы беседующими; одетыми в костюмы не начала века, а 1860-х гг.; в Репетилове можно увидеть черты В. С. Курочкина, а «старуха Хлёстова» представлена молодой шестидесятницей; под фигурами подпись: «Анфиса Николавна! Ах! Чацкий бедный! Грибоедов» (очень неточная цитата из реплики Репетилова).

122. Оса. 1864. 11 янв., № 2, за подписью «Ненужный человек». Перепев известного романса А. А. Алябьева на слова А. А. Бестужева-Марлинского из повести «Испытание» (1830).

...бурдою Д-на. — Актера с такой фамилией не удалось обнаружить; возможно, Григорьев, желая лишний раз уязвить Ф. Бурдина, придумал еще и такое сочетание. *Леметра Б<урди>на* — см. примеч. 119. *...где экипажи, кони* — распространенный в середине XIX в. каламбур: намек на Федора Алексеевича Кони (1809—1879), драматурга и театрального критика. *Чекkони* — такой актер не обнаружен. *Бенефисы de retraite* — намек не расшифрован; вероятно, речь идет о каком-то конкретном бенефицианте, выходящем иа пенсию; Д. М. Леонова в своих воспоминаниях сообщает, что, когда в конце 1860-х гг. ее увольняли из театра, для смягчения неприятной пенсионной акции ей предоставили неплохой прощальный бенефис (Исторический вестник. 1891. № 2. С. 346—350). *Щедрин решился На службу «в нигилисты» поступить?* — В 1862 г. М. Е. Салтыков-Щедрин оставил должность вице-губернатора в Твери, переехал в Петербург и вошел в редакцию «Современника». *Журнальный пудель Клестершу хвалить?* — см. примеч. 119. *«Заноза»* — новый в 1863 г. сатирический журнал (главный редактор М. Н. Розенгейм), много внимания уделяла рекламе и конкурентной борьбе (см. карикатуру Н. В. Иевлева, приложенную к № 47 от 8 декабря 1863 г., — «Бой из-за подписчиков»); в «Осе» (1863. 15 июня, № 7) сообщалось, что на одной из дач в Новой Деревне (петербургский пригород) стоял шест с объявлением о продаже номеров «Занозы» и о подписке на журнал. *«Санкт-петербургские ведомости»* (1728—1917) — газета, которую в 1863—1874 гг. редактировал Валентин Федорович *Корш* (1828—1883), шурин Григорьева, типичный либерал-западник, весьма чуждый ему идеологически и психологически. Театральные рецензии в 1863—1864 гг. для газеты Корша писал будущий известный драматург, а тогда начинающий театральный обозреватель Виктор Александрович Крылов (1838—1906), под псевдонимом «Виктор Александров»; Григорьев не слишком одобрительно отзывался о его статьях. *Камелии* — дамы полусвета (термин появился после драмы А. Дюма-сына «Дама с камелиями», 1852), которых иногда изображал в своих очерках И. И. Панаев. *Убогий газетчик* — В. И. Аскоченский (см. примеч. 117). *...водопроводов ждать?* — Первые нити петербургского водопровода были проложены в 1859 г., но из-за неразберихи и воровства строительство его шло крайне медленно.

123. Русская сцена. 1864. № 8, в конце перевода Григорьева драмы Шекспира «Ромео и Джульетта». Обращено, очевидно, к Л. Я. Визард (см. примеч. 73—90). *Далекий призрак мой* — ср. в

поэме «Вверх по Волге»: «Далекий, светлый призрак мой». *Ваал* — языческий бог плодородия и войны; по библейскому преданию — символ низменных интересов. *«Куда мой падший дух Не досягнет»* — цитата из драмы А. С. Пушкина «Пир во время чумы».

ПОЭМЫ

124. РиП. 1845. № 5. Печ по Изд. 1846. с восстановлением ценз. изъятий (ст. 26—29, 202—208, 436—466) по РиП. В первой публикации — посвящение А. Ф. К<орш> (см. примеч. 4), ценз. изъятия ст. 37—39, 453—455, вар. ст. 34: «Означенных колоколов», ст. 120: «К несчастью, верная жена». В поэме отразнлась реальная история безнадежной любви Григорьева к А. Ф. Корш (см. примеч. 4); герою приданы некоторые автобиографические черты, а также черты лермонтовских героев (см.: Розанов И. Н. Отзвуки Лермонтова // Венок М. Ю. Лермонтову. М., 1914. С. 252—255). Розанов, в частности, отметил, что фамилию Радин носит персонаж драмы Лермонтова «Два брата». Гл. 2. *И восхищаться бородой <...> Их голос важен и силен.* — Иронический выпад против славянофилов. Гл. 4. *Московский старый спор О Гегеле.* — Молодежь 1830-х — начала 1840-х гг. сильно увлекалась немецким философом; А. А. Фет, сокурсник Григорьева, живший в его доме, вспоминал: «...имя Гегеля до того стало популярным на нашем верху (в мансарде дома Григорьевых. — *Б. Е.*), что сопровождавший по временам нас в театр слуга Иван, выпивший в этот вечер не в меру, крикнул при разъезде вместо "Коляску Григорьева!" — "Коляску Гегеля!" <...> Не помню, кто из товарищей подарил Аполлону Григорьеву портрет Гегеля...» (Восп. С. 320). Гл. 5. *Полурусская семья.* — Семья Коршей была немецко-еврейского происхождения. *Бирсуп* — суп из пива. *Русский быт* и т. д. — см. примеч. 131. *Семья для нас всегда была Лихая мачеха, не мать.* — Григорьев, со свойственной ему крайностью, болезненно отмежевывался от патриархального деспотизма своих родителей, а также впитывал «антисемейные» влияния идей Жорж Санд и утопических социалистов; все это окрашивалось антиславянофильскими настроениями Григорьева середины 1840-х гг. Белинский, в целом скорее негативно оценивший Изд. 1846, отметил, однако, сочувственно данную поэму, а отрывок из нее (ст. 180—205) взял в качестве эпиграфа к своей статье «О жизни и сочинениях Кольцова» (1846), причем последние строки в эпиграфе восстановил по РиП. *С матери начать <...> Лет сорок или сорок пять.* — Мать Антонины Софья Григорьевна Корш (1799—1871) была тогда 46-летней (см. о семье Корш примеч. 4, 32, 52—57, 124). *Их было две.* — Имеются в виду Антонина Федоровна (см. примеч. 4) и Лидия Федоровна (1826—183) Корш; на Лидии Григорьев женился в 1847 г. Гл. 6. *Грозой оторванный листок* — строка из поэмы Лермонтова «Мцыри» (1839). Гл. 7. *Рисует память старый сад* — реальный автобиографический эпизод (см. «Листки из рукописи скитающегося софиста», гл. 35 — Восп. С. 91); первое свидание на лоне природы Григорьев неоднократно воспроизводил в разных варнантах: в

поэме «Предсмертная исповедь» (гл. 13), в прозаических повестях, в цикле «Титании» (№ 93—99). Гл. 8. *Как в новом мире все равны* — намек на книгу и учение Ш. Фурье (см. примеч. 131). *На обрабатыванье груш.* — Рисуя картины коллективного труда в социалистической общине (фаланстере), Фурье предлагал разводить грушевые сады; Григорьев неоднократно иронизировал по этому поводу. Гл. 10. *Таинственный покой* — намек на кончину героини через год после «страшного часа» замужества; этот метафорический прием расставания из-за смерти героини Григорьев применил потом в цикле «Борьба» в ст-нии «Вечер душен, ветер воет...» (№ 73—90).

125. РиП. 1846. № 3. Эпиграф — из ст-ния Г. Гейне «Ein Jungling liebt ein Mädchen...» («Юноша девушку любит...») из цикла «Лирическое интермеццо» (1821—1822). В поэме заметно влияние ст-ния Байрона «Сон» (1816). Йозеф Франц Карл *Ланнер* (1800—1843) — немецкий композитор. *Зане* — потому что.

126. Финский вестник. 1846. № 9. Эпиграф — из ст-ния Д.-Г. Байрона «The spell is broke, the charm is flown!..» («Очарование разрушено, обаяние улетело...», 1810). Гл. 3. *И в жизни вечность ощутить* — одна из самых любимых идей Григорьева, проходящая сквозь все его творчество: в драме «Два эгоизма» (д. 3), в прозаических повестях, в переводе ст-ния Гете «Завет». Гл. 4. *Гангес* — старое название реки Ганг в Индии. *Набоб* — правитель в Индии. Гл. 10. *Егова* (Иегова, Яхве) — древнееврейское имя Бога. Гл. 11. *О, Марфа, Марфа!* — обращение Христа к Марфе, заботившейся о материальном, чтобы она предоставила слушать Слово Божие своей сестре Марии, которая «избрала благую часть» (Лк. 10, 38—42).

127. Пропуск стихов, обозначенных точками (гл. 1, 5, 12, 13, 18, 23, 32, 36, 38), либо вызван поэтическим замыслом автора как подражание соответствующему приему в «Евгении Онегине», либо обусловлен цензурными причинами. В феврале—марте Григорьев приезжал в Москву, на него нахлынули воспоминания о совместной с Фетом духовной жизни студенческих лет, поэтому поэма («рассказ в стихах») посвящена товарищу. Гл. 1. *Русский Бог.* — Легенда приписывает хану Мамаю восклицание после Куликовской битвы: «Велик русский Бог!» (см. об этом выражении: Рейсер С. А. Русский Бог // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1961. № 1. С. 64—69). Гл. 2. *Иракла новые столбы.* Геракл (Иракл, греч. миф.) во время свершения одного из подвигов установил у берегов Гибралтарского пролива, с европейской и африканской сторон, каменные скалы; Григорьев надеется на будущие подвиги русского народа. Гл. 6. *...хандра За мною по пятам бежала.* — Тема хандры и скуки «лишнего человека» проходит сквозь все творчество Григорьева. *В цыганский табор* — ср. «цыганские» произведения Григорьева: «Цыганская венгерка» (№ 86), «Любовь цыганки» (№ 91), «Песня цыганки» (№ 92), либретто оперы «Дети степей, или Украинские цыгане» (№ 168). *Европейский Вавилон* — Париж. Гл. 7. *Nichts u Alles* — отзвуки философских споров московской молодежи (ср. примеч. 124). Гл. 9. *«Роберт-Дьявол»* — опера Дж. Мейербера (1791—1864) по либретто Э. Скриба и К. Делавиня (1831),

самая любимая опера Григорьева; он посвятил ей восторженный очерк-рецензию (см.: РиП. 1846. № 2), а в конце жизни перевел либретто на русский язык (СПб., 1863). *Вот и он* — дьявол Бертрам. *Gieb mir mein Kind, mein Kind zurück!* — слова из арии Бертрама (4 акт); Григорьев восторгался исполнением этой роли басом немецкой труппы в Петербурге В. Ферзингом. *Певец хандры, певец снегов* — А. А. Фет, автор ст-ния «Хандра» (1840) и цикла «Снега» (1842); Фет оставил тоже яркий очерк о восторге молодых людей от «Роберта-Дьявола» (см.: Восп. С. 320). Гл. 10. *Былая общая любовь* — к «крестовой» сестре Лизе (см. примеч. 1). Гл. 11. *Петербургская Елена* — балерина Большого театра в Петербурге Елена Ивановна Андреянова (1816—1857), участвовавшая в постановке «Роберта-Дьявола» в роли Елены; гастролировала не только в Москве, но и за рубежом. Гл. 12. *«Жизель»* — балет А. Адана (1803—1856), поставленный в Париже в 1841 г., в Петербурге — в 1842 г., с Е. И. Андреяновой в главной роли. Гл. 14. *Философ и поэт* — К. С. Аксаков, любивший появляться в шапочке «мурмолке». Гл. 15. *Гегелист — филистер вечный* — возможно, профессор-юрист Петр Григорьевич Редкин (1808—1891). *Глава славянофилов Евтихий Стахьевич Панфилов.* — Реальным вождем славянофилов тогда был А. С. Хомяков, но его облик совсем не похож на описанный Григорьевым. *Московский мистик* — возможно, П. Я. Чаадаев. Гл. 16. *Охабень* — вид кафтана.

128. МГЛ. 1847. № 163, 26 июля; № 164, 28 июля. Отточия в тексте, возможно, означают цензурные изъятия. Строфа 2. *Коломна* — окраинный район Петербурга в XIX в., его центр — Покровская (ныне Тургенева) площадь; это место стало широко известным по повести Пушкина «Домик в Коломне» (1830). *Литовский замок* — бывшие казармы Литовского полка, с 1830-х гг. — тюрьма; она находилась между Офицерской (ныне Декабристов) ул. и Мойкой, на берегу Крюкова канала; была взята штурмом толпами народа и сожжена во время Февральской революции 1917 г. («русская Бастилия»). *Известное отделенье* — долговая тюрьма в Петербурге («Тарасов дом»), где в будущем неоднократно пребывал Григорьев (находилась в Первой роте Измайловского полка; ныне — 1-я Красноармейская ул.). Строфа 4. *«Ночь над мирною Коломной»* — цитата из «Домика в Коломне». Строфа 5. *Тот певец* — Пушкин... *О тишине полей* — намек на ст-ние Пушкина «Деревня» (1819). *...о трех соснах* — намек на ст-ние Пушкина «Вновь я посетил...» (1835). *..."погибший рано смертью смелых».* — Цитата из «Евгения Онегина» (гл. 7, строфа VI) о Владимире Ленском отнесена здесь к самому Пушкину. Строфа 6. *Иной вожатый* — Лермонтов. Строфа 8. *Морская* — улица Большая или Малая Морская, где находились рестораны и игорные дома. Строфа 9. *Китайский* — тогда синоним неподвижности, застарелости. Строфа 18. *Котенок бедный мой! — ср. примеч.* к ст-нию «Твои движенья гибкие...» (№ 108—112). Строфа 20. *Анна... со звездой* — орден Св. Анны второй степени. Строфа 21. *Я в них страдал, я в них любил* — намек на строку из «Евгения Онегина»: «Где я страдал, где я любил» (гл. 1, строфа L). Строфа 22. *Ритм Байрона* — излюбленный стихотворный размер Байрона и Лермонтова,

четырехстопный ямб с мужской рифмой. Строфа 23. *Мейербер* — см. в примеч. 127. Строфа 25. *Жуаны и Ловлесы* — герои поэмы Дж.-Г. Байрона «Дон Жуан» (1823) и С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1748). Строфа 28. *Танцклассы* — платные школы и танцевальные вечера для молодежи, куда любили приходить столичные «дон-жуаны». Строфа 35. *Комета* — ср. ст-ние «Комета» (№ 5). Строфа 36. *Карамзина Две повести.* — Одна из них — «Бедная Лиза» (1792). *...две Марлинского* — «Фрегат "Надежда"» (1833) и «Испытание» (1830). Строфа 38. *Петербургец.* — В 1840-х гг. лишь устанавливался позднее победивший вариант произношения «петербуржец» (А. А. Краевский попытался тогда в «Отечественных записках» даже прилагательное писать уже по-новому: «петербуржский», за что подвергался насмешкам). Строфа 46. *Офицерская* — ныне ул. Декабристов. Строфа 50. *Железные стихи* — намек на ст-ние Лермонтова «Как часто пестрою толпою окружен...» (ср. эпиграф к ст-нию «Искусство и правда» (№ 67)).

129. Современник. 1858. № 12. Во всех советских изданиях по недосмотру опущена строка «Но ты, как бы испугана, встаешь» (строфа 41) (см. об этом: Виттакер Р. Сонет без строчки // Вопросы литературы. 1989. № 9. С. 253—255). Григорьев впервые увидел Венецию в конце июля 1857 г.: он выехал из Петербурга 13 июля, через две недели был, уже после Венеции, в Ливорно, откуда писал М. П. Погодину 10 августа: «Какое-то огромление произвело на меня все, что я видел в две недели путешествия, — хотя собственно огромление произведено Прагой и Венецией да тремя морями» (Письма. С. 139). Три моря — Балтийское, Адриатическое и Лигурийское (часть Средиземного моря у северо-западного берега Италии). 24 октября Григорьев писал А. Н. Майкову: «Вот Вам цельный отрывок из большого романа (не пугайтесь — он пишется прозой, и стихи в нем только оазисы), который, Бог знает, когда еще кончу. Сей отрывок потрудитесь продать (всего лучше в "Современник"). <...> Вещь, кажется, недурная — по крайней мере, в ней одно качество выдержано: постоянная лихорадочность тона» (Письма. С. 151). Следовательно, поэма писалась в августе—октябре 1857 г. В «Современнике» же поэма появилась лишь в конце 1858 г., когда Григорьев уже вернулся из Италии в Петербург. Роман — «Одиссея о последнем романтике» (см. примеч. 130). Поэма обращена к Л. Я. Визард (см. вступ. статью и примеч. 73—90). Поэма Григорьева, положительно принятая кругом Некрасова, встретила иронический отклик давнего недруга — Н. Ф. Щербины, написавшего пародию «Roma l'antica (Отрывок из "Одиссеи" последнего идеалиста)» (Искра. 1859. № 4. С. 40). Предполагая первоначально поместить пародию в журнале «Развлечение», Щербина обратился в редакцию с грубым отзывом о поэме: «...я слышал то будто стук топора, то стук и грохот пустой бочки, катящейся по кочкам», но затем почему-то кончил совсем другой интонацией: «...я люблю А. А. Григорьева сердечно, а эта статейка будет клеветою на мое нормальное чувство», и потому просил не печатать «клевету» (Щербина Н. Ф. Полн. собр. соч. СПб., 1873. С. 434, 436). Эти колебания, однако, не помешали Щербине отдать пародию в «Искру». Строфа 6. *Риальто* — мост на Большом

Канале, где построены торговые ряды. *Площадь Святого Марка* — центральная площадь Венеции у собора Св. Марка и Дворца дожей. *Под звон Литавр австрийских.* — Венеция входила тогда в состав Австрийской империи. Строфа 7. *Черный плащ, обшитый серебром* — баутта, типичный наряд венецианского карнавала. *Мост вздохов* — мост у дворца дожей, ведший в тюрьму; по легенде, это была последняя дорога приговоренного к казни. Строфа 10. *Каденца* (каденция) — завершение музыкальной темы. Строфа 13. Людвиг *Шпор* (1784—1859) — немецкий композитор. Строфа 14. *Глухой мастер* — Бетховен. Строфа 15. *Сильф* (эльф) — мифическое легкое, крылатое существо. Строфа 18. *«Да будет свет!»* — по Библии, Слово Божие, которым были разделены свет и тьма в первый день творения (Быт. 1, 3). Строфа 24. *Мочаловское время* — см. примеч. 67. *И, как Торцов, «трагедии любил».* — Любим Торцов, герой драмы А. Н. Островского «Бедность не порок» (1853), пространно сообщает о своем предпочтении (д. 1, явл. 12). Строфа 27. *Боль сердца — как нытье больного зуба* — намек на фразу Г. Гейне в цикле очерков «Путевые картины» (раздел «Идеи — Книга Le Grand», 1827, гл. XX): «...у меня была зубная боль в сердце». *Nell mezzo del cammin di mia vita!* — умышленно неточно процитированная первая строка «Божественной комедии» Данте; нужно: *nostra vita* (нашей жизни), а Григорьев говорит о *mia vita* (моей жизни). Строфа 28. *«Увядший жизни цвет»* — неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. 2, строфа X). Строфа 31. *Ты знаешь край?* — цитата из «Песни Миньоны» в романе Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1796). Строфа 35. *Адриатические волны* — начало строфы XLIX гл. 1-й «Евгения Онегина». Строфа 39. *Тиргартен* — парк в Берлине. Строфа 40. *Аркадия* — мифическая страна гармонии и счастья людей. Строфа 41. *Маша* — известная цыганская певица, Григорьев упоминает ее в очерке «Великий трагик» (Восп. С. 282); о связях Григорьева с цыганскими хорами см. вступ. статью, с. 33—35, и примеч. 73—90. *Венгерки* — см. примеч. 73—90. Строфа 46. *...и двор порос травою!* — Почти одновременно с работой над поэмой Григорьев в переводном ст-нии «Из Мицкевича» трудился над похожим образом разлуки: «Двор порастет зеленой травою» (см. № 105). Строфа 47. *Аннунциата* — героиня повести Э. Т. А. Гофмана «Дож и догаресса» (1820) из цикла «Серапионовы братья». *Кнастер* — вид табака. Строфа 48. *Сан-Марко* — собор Св. Марко (см. строфу 6). *Senza amare* — слова песни из повести «Дож и догаресса».

130. Русский мир. 1862. 23 мая, № 41; 27 мая, № 42, с ценз. правкой в ст. 393 («знает черт») и примеч.: «Одна из частей этой — едва ли, впрочем, имеющей быть конченной "Одиссеи" напечатана в "Сыне отечества" 1857 г. ("Борьба"); другая — рассказ в прозе "Великий трагик" в "Русском слове" 1859 г., № 1; третья — поэма "Venezia la bella" в "Современнике" 1858 г., № 11 (нужно 12. — *Б. Е.*). Дело идет, одним словом, о том же самом Иване Ивановиче, за безобразия и эксцентричность которого не раз уж приходилось отвечать невинному повествователю, благодаря *особенным* понятиям о благопристойности, развившимся в нашей ли-

тературной критике в течение последнего пятилетия» (С. 750—751). Иван Иванович — авторский двойник, герой нескольких прозаических очерков Григорьева. Цикл «Одиссея о последнем романтике», видимо, серьезно занимал Григорьева в последние годы его жизни; есть сведения, что готовилась еще одна часть, — П. В. Быков в своих воспоминаниях «Из встреч минувшего» приводит один случай из общения с Григорьевым: «Я хорошо помню, что однажды, когда я "спасал" Григорьева, увозя его из "Вяземской лавры" с Сенной, мне удалось вынуть из его тряпкообразного пиджака листок с начатой его поэмой "Искушение последнего романтика". Случайно запомнились мне четыре первых строки:

Надорванный и непостижный век,
Безгранным хаосом рожденный,
Тобой несчастный создан человек
В своем величье убежденный...

Я вернул эти листки протрезвившемуся автору, но вскоре он сел в "долговое отделение", и они попали в горящую печь "по нечаянности", как передавал мне сам Григорьев» (Тютчевский сборник. Пг., 1923. С. 35). Поэма «Вверх по Волге» посвящена сложным взаимоотношениям автора с Марией Федоровной Дубровской. Она была петербургской проституткой, Григорьев познакомился с нею в самом начале 1859 г., привязался, сделал гражданской женой (подробнее см. вступ. статью, с. 40—41). Когда летом 1861 г. он отправился в Оренбург преподавать в кадетском корпусе, то взял с собой и М. Ф. Дубровскую, но, не вытерпев провинциальной скуки и семейных скандалов, чуть ли не буквально убежал в мае 1862 г. из дому и вообще из Оренбурга. В потрясенном душевном состоянии поэт и описывал свой обратный путь в Петербург, значительная часть которого, от Самары до Твери, протекала по Волге. Отдельные биографические черты героини, включенные в поэму, конечно, отражают устные рассказы М. Ф. Дубровской о своем прошлом, которые Григорьеву было трудно проверить. В письме от 20 марта 1862 г. к Н. Н. Страхову Григорьев называет ее «устюжской "барышней"» (Письма. С. 273), — следовательно, она была родом из Великого Устюга; но, впрочем, не исключено, что речь шла об Устюжне, городке близ Череповца (однако это менее вероятно, тогда бы надо говорить «устюженская»). Отца своего Дубровская называла учителем, однако проверка по справочникам первой половины XIX в. оказалась безрезультатной: учителя Ф. Дубровского не было ни в Устюге, ни в Устюжне (впрочем, у отца могла быть и другая фамилия, да и можно ли верить сообщениям «барышни»?). Гл. 1. *Убийца-Каин* — библейский персонаж, убивший своего брата Авеля (Быт. 4:8). *Лиэй* (Дионис; греч. миф.) — бог вина. Гл. 2. *Город твой* — см. выше. Гл. 3. *Писал недавно мне один.* — Михаил Петрович Погодин (1800—1875), консервативный профессор-историк, учитель Григорьева университетских лет, многолетний редактор «Москвитянина», безуспешно пытался учить Григорьева жить «морально». *Я иной Любил любовью.* — Речь идет о Л. Я. Визард (см. примеч. 73—90). *Ave Maria stella!* — первая строка католической молитвы. *Полю-*

строво — северо-восточный пригород Петербурга; там находился загородный дворец издателя журнала «Русское слово» графа Г. А. Кушелева-Безбородко и там часто снимал дачу сам Григорьев. Г л. 4. *Город тот степной* — Оренбург. *Скакала ты зимой холодной* — вероятно, в Москву, куда Григорьев уезжал в марте 1860 г. Гл. 5. *Кошка* — см. примеч. 108—112. *Личарда верный* — слуга из лубочного романа о Бове-королевиче. *Омежной* — шальной. *Ведь это — не вопрос норманской.* — Незадолго до появления поэмы вышла в свет книга М. П. Погодина «Норманский период русской истории» (М., 1859), где автор доказывал скандинавское происхождение варягов; эту точку зрения решительно оспаривал Н. И. Костомаров в статье «Начало Руси» (Современник. 1860. № 1). Григорьев одобрил критику Костомарова, но не соглашался с его идеей о литовских корнях Руси (см.: Дьяков В. А. Ученая дуэль М. П. Погодина с Н. И. Костомаровым // Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1986. С. 40—55). *...«бурлáки-братья Под лямкой песню запоют»* — контаминация двух неточных цитат из драматической хроники А. Н. Островского «Козьма Захарьич Минин Сухорук» (1862); монолог Минина (д. 2, сцена 1). Г л. 6. *Манфред* — герой одноименной драмы-мистерии Байрона (1817). Г л. 7. *У гроба Минина.* — Один из организаторов народного ополчения в 1612 г. Козьма Минин (ум. в 1616) был похоронен в нижегородском Преображенском соборе. Г л. 8. *Одна некрасовская ночь* — намек на ст-ние Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...» (1847); Григорьев писал Н. Н. Страхову 20 марта 1862 г.: «Было время — зимою 1859 года в декабре — в холодной нетопленной квартире моей в доме Логинова (в Петербурге. — *Б. Е.*) на кровати лежала бедная, еще не оправившаяся от родов женщина — а в другой комнате стонал без кормилицы бедный, умирающий ребенок» (Письма. С. 275). *Друг старый* — Е. Н. Эдельсон (см. примеч. 64), Григорьев называет его по имени в цитированном выше письме к Страхову. Эдельсон неоднократно уговаривал Григорьева вернуться к жене и оставить Дубровскую. Григорьев был очень уязвлен таким поведением друга и впоследствии возмущался по этому поводу в письмах к нему (см.: Письма. С. 226, 249). *Крестовский* — остров в Петербурге. *Коль вам ее Придется встретить падшей, бедной <...> Подайте ей хоть грош вы медный.* — М. Ф. Дубровская, ссылаясь на эти строки, просила Н. Н. Страхова в письме от 4 октября 1864 г. (т. е. вскоре после смерти Григорьева) помочь ей (см.: Уч. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 139. 1963. С. 349).

ДРАМЫ

131. РиП. 1845. № 12. Печ. по РиП с восстановлением двух отрывков по авторизированному списку ИРЛИ (д. 3, карт. 2, ст. 9—22; 65—74) под загл. «Современный рок», с надписью на обложке: «Стихотворения Аполлона Григорьева. II», на титульном листе: «Часть вторая. Современный рок. Драма в четырех актах, в сти-

хах (Посвящено А. Ф. К<орш>)», с карандашными вычерками (впервые опубл. в Изд. 1959, с. 558), вместо *Андрей Михайлович* было: Матвей Михайлович (имя М. М. Корниолина-Пинского (1794—1866), управляющего департаментом в Министерстве юстиции), с пометой карандашом: «Препроводить на рассмотрение г. цензора Никитенко. 23 октября 1845 г.». Этот вариант автор предполагал выпустить отдельной книгой как вторую часть Изд. 1846. Он сообщал М. П. Погодину 9 октября 1845 г.: «...написал драму, которая выйдет вместе со стихотворениями» (Письма. С. 14). А. В. Никитенко, не любивший и даже боявшийся пропускать в цензуруемых текстах «личности», т. е. колкости, нападки на конкретных людей, и только что задержавший поэму И. С. Тургенева «Помещик» за сатиру на славянофила (явно — на К. С. Аксакова), скорее всего именно из-за «личностей» и не разрешил к печати «Современный рок», хотя первую часть, т. е. Изд. 1846, разрешил, но с купюрами. Григорьев тогда изменил название (чтобы не раздражать Цензурный комитет повторным представлением запрещенной пьесы) и отдал драму в «Репертуар и Пантеон»; либеральный цензор журнала А. И. Мехелин текст разрешил с некоторыми изъятиями и заменами, хотя в литературных кругах прекрасно понимали, о ком идет речь. И. С. Аксаков, пребывая в Калуге, сообщал родным 15 декабря 1845 г. о получении письма знакомым (Л. И. Арнольди) от некоего петербургского «жоржзандиста», что поэт Григорьев «напечатал комедию, где очень хорошо выставлен Аксаков под именем Баскакова, фурьерист Петушевский (один из петербургцев) и Кабулович <так!> (Калайдович). Аксаков, между прочим, говорит, что истинное семейное начало лежит в славянском народе, и пр., и пр., и декламирует: "Муж может бить жену, но убивать не смеет!" Откуда это все взято — не знаю. Но Григорьев не видал даже Константина, стало, это все по слухам и по рассказам Калайдовича, с которым он, видно, поссорился, ибо выставляет его говорящим беспрерывно: "Матвей Михайлович!"...» (Аксаков И. С. Письма к родным. 1844—1849. М., 1988. С. 236—237). Из печатных откликов на пьесу известен относительно суровый отзыв В. Г. Белинского в обзорной статье «Русская литература в 1845 году»: «"Два эгоизма" — в целом довольно бледное отражение довольно бледной драмы Лермонтова "Маскарад". Г-н Григорьев в этой драме так запутался в неопределенных рефлексиях, возбужденных в нем извне, что читатель никак не в состоянии понять чувств героев ее; ни того, за что они любят и ненавидят себя и друг друга, ни того, за что непонятный герой отравляет ядом непонятную героиню» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. 1953—1959. М., 1955. Т. 9. С. 393). Но Белинский оценил «сатирические выходки» автора и с удовольствием процитировал славянофильский монолог Баскакова о семье и славянском начале (см.: Там же. С. 393—394). Сложный мировоззренческий комплекс Григорьева середины 1840-х гг., включающий в себя масонские принципы, жоржсандистские идеи христианского социализма и отталкивание от крайностей любых жестких систем, обусловил критическое отношение автора чуть ли не ко всем основным учениям, бытовавшим тогда в России, поэтому сатирически изображены фурьерист *Петушевский*

(прозрачный намек на Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского (1821—1866), создателя фурьеристского кружка, позднее, в 1849 г., поплатившегося за то тюрьмой и каторгой); славянофил *Баскаков*, не менее прозрачно указывающий на Константина Сергеевича Аксакова (1817—1860), одного из вождей славянофильства, и гегелист *Мертвилов*, более обобщенно представивший тип ученого, гелертера, — в нем Григорьев, возможно, передал некоторые черты счастливого соперника, молодого мужа Антонины Корш (см. примеч. 4) Константина Дмитриевича Кавелина (1818—1885), юриста и историка, а может быть, и еще одного ученого «сухаря» — Януария Михайловича Неверова (1810—1893), в будущем объекта сатиры в «Былом и думах» А. И. Герцена. *Кобылович* — еще один «прозрачный» персонаж, намекающий на Н. К. Калайдовича (см. примеч. 46). Действие 1. *«Новый мир» Фурье* — см. примеч. 120—121. *Английский клуб* — закрытое привилегированное дворянское учреждение. Действие 2. *Опекунский* совет — учреждение, созданное, помимо других функций, для поддержания нищавших помещиков: при материальном кризисе владелец мог под заклад имения получить немалую сумму денег под регулярные проценты. *Охабень* — вид кафтана. *Я умываю руки И, как Пилат...* — намек на евангельский эпизод об отказе Пилата выносить окончательный приговор Христу (Мтф. 27, 24). *Лючия* — опера Гаэтано Доницетти (1797—1848) «Лючия ди Ламмермур» (1835). В 1863 г. Григорьев переведет и издаст либретто этой оперы. *Сальви* — итальянский оперный певец, гастролировал в России в 1845—1846 гг.; Джованни Батиста *Рубини* (1795—1854) — знаменитый итальянский певец, гастролировал в России в 1844—1845 гг. *Гарсисты есть, кастелянисты* — поклонники Полины Виардо-Гарсиа (1821—1910), гастролировавшей в России в 1843—1844 гг., и итальянской певицы Кастеллан, гастролировавшей в 1845—1846 гг. *...С Москвою Сойдется Петербург и с Гегелем Фурье* — издевка над идеей Фурье о будущем слиянии Луны с Землею (см. примеч. 120—121). Франсуа Огюст Мари *Минье* (1796—1884) — французский либеральный историк, один из создателей теории классовой борьбы, автор книги «История Французской революции» (1824). Действие 3. *Лови, лови Часы любви* — романс А. Е. Варламова на слова И. Бачманова (1846). Действие 4. *Горные вершины* и т. д. — ст-ние Лермонтова «Из Гете» (1840).

132. Петербургский сборник для детей / Издан В. Петровым и М. М. СПб., 1847. (ценз. разр. 1 марта 1847). В письме к М. П. Погодину от 7 марта 1847 г. Григорьев сообщал: «...я делал еще разные работы для детских книжонок Наливкина» (Письма. С. 21). Судя по дате цензурного разрешения, имелась в виду и эта книга. Степень участия в ней Ф. Н. Наливкина неизвестна. Другие труды Григорьева для детских изданий не удалось обнаружить. Хорошо зная пушкинскую «Песнь о вещем Олеге» (1822), Григорьев, однако, более подробно, в основном следуя летописи, рассказывает о жизни Олега, а также широко привлекает скандинавскую мифологию (скандинавский антураж отсутствует и в летописях, и у Пушкина), вводит образы варягов — *Свенельда* и *Скальда*, «по-варяжски», т. е. по-скандинавски произносит имя «Олег» с уда-

рением на первом слоге. Большинство подробностей в конкретных эпизодах, начиная со всей сцены 1, придумано Григорьевым. В 1840-х гг. Григорьев еще находился под влиянием идей своего университетского учителя М. П. Погодина о скандинавском происхождении первых русских князей; в конце 1850-х, он уже скептически стал относиться к этой теории (см. примеч. 130).

133. Печ. впервые по рукописи (писарской копии) — Гос. Театральная библиотека (СПб) (I. 1. 4. 92). Другая копия, менее грамотная (I. 1. 1. 66), является режиссерским экземпляром петербургской постановки с несколькими зачеркнутыми (карандашом и чернилами) сценами (эти режиссерские купюры в наст. публ. не учитываются) и обозначением исполнителей, которыми были лучшие актеры петербургской драматической труппы: В. В. Самойлов — Хабар, В. А. Каратыгин — Фиоравенти, Я. Г. Брянский — Мамон, И. И. Сосницкий — Русалка, В. В. Самойлова — Анастасия, М. Д. Дюр — Селинова и др. Пьеса была поставлена в Москве 17 января, в Петербурге — 5 и 10 мая 1849 г. и затем сошла с репертуара. Пьеса является сокращенной переделкой для сцены романа И. И. Лажечникова «Басурман» (1838), посвященного событиям, происходившим при царствовании великого князя Московского Ивана III Васильевича (1440—1505). Почти все персонажи романа и сценической переделки Григорьева основаны на исторических прототипах (даже второстепенные лица, такие как бояре Мамон и Русалка, дьяк Бородатый, «жид» Схариа), характеристики которых значительно дополнены художественным вымыслом. Григорьев допускает наибольшие отклонения от истории. Так, по сохранившимся документам, лекарь Антон был казнен по приказу Ивана III. Лажечников, видимо, боясь цензурных препятствий, «улучшил» историю: в последний момент царь смилостивился и отменил казнь, но татары успели уже зарезать несчастного «немчина»; потрясенная Анастасия наложила на себя руки. У Григорьева — милость царя помогла в финале освободить Антона от убийц. Без знания романа трудно понять многие сюжетные ходы, например, почему сын знатного немецкого барона стал простым лекарем, да еще явившимся в Россию. Григорьеву импонировал романтический сюжет Лажечникова, и особенно ему был по душе образ удалого молодого боярина *Хабара* (это прозвище означает «барыш», «удача», «угощенье»). Как и у Лажечникова, персонажи Григорьева говорят не языком XV в., а современным русским языком, лишь слегка стилизованным под старину. *Басурман* — чужеземец, иноверец, чаще всего — мусульманин. Пролог. *Иван Хабар Симский* — историческое лицо, талантливый полководец. *Боярин Образец (Шелонец)* — историческое лицо, участник победной битвы москвичей с новгородцами на реке *Шелони* (1471 г.). Афоня *Тверитянин* — Афанасий Никитин (ум. 1472), тверской купец, путешественник, автор записок «Хожение за три моя». Лажечников изображает его стариком на покое в Москве, в действительности Никитин умер совсем не старым по дороге из южных стран в Россию. *Деспот Морейский* — правитель полуострова Морея (Пелопонес) в Греции; после ее захвата турками его приютил Иван III. *Корабленник* — старинная западноевропейская

монета с изображением корабля. *Зобница* — лукошко, кошель. *Пятенщик* — пятнающий, грязнящий кого-либо. *Зеленец* — незрелая ягода. *Братина* — сосуд, в котором разносят напитки, общая чаша. *Шелонские богатыри* — победители в битве на Шелони в 1471 г. *Оллопервоgигер* (Алла Первердигар, перс.) — Бог Творец. *Охабень* — вид кафтана. *Фряжские* — букв.: итальянские; здесь: зарубежные. Действие 1. *Аристотель Фиоравенти* (Фьораванти) (ок. 1415 — ок. 1486) — итальянский архитектор и инженер, строитель Успенского собора в Московском Кремле. *Типун* — болезненный нарост на конце языка у птиц. *Жемчуги бурмицкие* — крупный окатный жемчуг. *Чашник* — придворный виночерпий. *Красоуля* — ковш, большая чаша. *...сохранит для него Константинополь* — ирония: Мануил, брат Софьи Палеолог, лишь из милости жил при Константинопольском царском дворе, как Деспот при Московском. Действие 2. *Ономнясь* — недавно. *Шишак* — шлем. *Колонтари* — латы, панцирь. Действие 3. *Аллах керим* (арабск.) — Бог великодушный.

ПЕРЕВОДЫ

С НЕМЕЦКОГО

ГИМНЫ

134—148. «Гимны» составили первую часть Изд. 1846 (с. 5—48); они были пронумерованы римскими цифрами, в конце стояла общая дата: 1845. В. Н. Княжнин в рецензии на Изд. 1916 первый установил связь «Гимнов» с масонскими песнопениями (см.: Княжнин В. Н. Ап. Григорьев — поэт // Русская мысль. 1916. № 5. Отд. III. С. 20—21), хотя Пл. Краснов еще в XIX в. подходил к этому пониманию (см. ниже). Главная заслуга в обнаружении масонских первоисточников принадлежит Б. Я. Бухштабу, опубликовавшему (впервые в 1957 г.) большую статью «Гимны» Аполлона Григорьева» (см.: Бухштаб Б. Я. Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. М., 1966. С. 27—49). Автор разыскал сборник масонских песен «Vollständiges Gesangbuch für Freimauer» (Berlin, 1813), где имеются оригиналы почти всех «Гимнов» Григорьева (остались нераскрытыми лишь IX—XI (№ 142—144)), и тем самым документально подтвердил, что этот цикл — собрание масонских песен, в большинстве анонимных (все дальнейшие указания на первоисточники переводов заимствованы из этих разысканий Бухштаба). По цензурным соображениям (кружки масонов были запрещены в России в 1822 г.) Григорьев всюду «масонов» заменил «братьями» или «художниками» или вообще опустил название. Войдя в подпольный масонский круг еще в конце студенческих лет, Григорьев поддерживал с ними связь и находясь в Петербурге. Может быть, «Гимны» создавались по заданию: масонам нужны были тексты песен на русском языке. Не исключено также, что масоны помогли Григорьеву материально,

дав какие-то деньги на издание сборника песен. В 1846—1847 гг., освобождаясь от масонских влияний, Григорьев, однако, отмечал чрезвычайную важность их утопий, как и христианского социализма, серьезно воздействовавшего на становление характеров и мировоззрения людей его поколения и склада. В повестях «Один из многих» (1846) и «Другой из многих» (1847) Григорьев подробно показал, как социализм, масонство, наполеонизм, романтический индивидуализм, черты «лишнего человека» 1840-х гг. причудливо сливались в душе молодого героя.

Очевидная быстрота создания текстов и трудности перевода обусловили затрудненность стиля и даже лексики «Гимнов». Современники, в том числе и Белинский, встретили их явно холодно, но позднее специалисты стали находить в цикле неоспоримые достоинства. Пл. Краснов писал в статье об Изд. 1846: «...можно только удивляться, каким образом Белинский мог найти в его гимнах призыв к дешевому мистическому примирению во вкусе Ф. Глинки. Эти гимны скорее напоминают Гете — некоторые даже и переведены из этого поэта. Они страдают несколько от тяжеловатой немецкой философии, какою проникнуты все произведения этого рода. Но что касается их содержания, то в них не примирение с пошлою действительностью, а самое смелое стремление к лучшему. <...> Стихи многих хороших поэтов просятся на пение, но почти всегда для одного голоса. "Гимны" Ап. Григорьева как будто написаны для пения хором. Это самые красивые хоры, какие есть в русской поэзии. <...> У нас, русских, мало распространено и хорошее хоровое пение: это скорее немецкий род поэзии; но и то, что сделал в этом роде Ап. Григорьев, может стать наряду с лучшими западными образцами» (Краснов Пл. Книга забытая // Книжки «Недели» 1895. № 10. С. 182—183). Далее Краснов цитирует гимн VII (№ 140) и заключает «Это лучшая надгробная песнь борцу за свободу» (Там же. С. 184).

1. Изд. 1846. Перевод ст-ния «Weisheit du von Gott geborne...». Христиан Вильгельм *Эмлер* (Oemler; 1728—1802) — протестантский пастор, писатель.

2. Иллюстрация. 1845. 6 октября, № 26, с подзаг. «Из Гете» -- Изд. 1846. Перевод ст-ния «Wiederum die stille Nacht...». «Из Гете» — мистификация. В оригинале речь идет о масонах, «каменщиках», в переводе замененных на «художников».

3. Изд. 1846. Перевод ст-ния «Verzaget nicht, sie wird sich heben...»

4. Изд. 1846. Перевод ст-ния «Nenne nicht das Schicksal grausam...» Иоганн Готтфрид *Гердер* (1744—1803) — философ, фольклорист, писатель.

5. Изд. 1846. Перевод ст-ния «In ununterbrochner Handlung...»

6. Изд. 1846. Перевод ст-ния «Wem ein Herz voll edler Triebe...»

7. РиП. 1845. № 6, под загл. «Надгробие» -- Изд. 1846. Перевод ст-ния «Ruhe sanft von Kampf des Schicksals müde...»

8. Изд. 1846. Перевод ст-ния «Chor: "Vom Schosse der Natur ließ Gott..."»

9. Изд. 1846.

10. Изд. 1846.

11. Изд. 1846.

12. Изд. 1846. Перевод ст-ния «Trauerloge» (1816)
13. Изд. 1846. Перевод ст-ния «Richter freigeschaffner Geister...»
14. Изд. 1846. Перевод ст-ния «Alle: Leben ist schön...»
15. Изд. 1846. Перевод ст-ния «Hoffnung» (1797).

Гете

Еще в студенческие годы Григорьев стал самостоятельно (с помощью А. А. Фета) изучать немецкий язык для чтения в подлинниках трудов великих философов Германии, а попутно углубился в мир художественной литературы. И здесь Фет сыграл свою роль, как он сам подчеркивал в воспоминаниях: «...поддаваясь байроновско-французскому романтизму Григорьева, я вносил в нашу среду не только поэта-мыслителя Шиллера, но, главное, поэта объективной правды Гете» (Восп. С. 317). Уже в «Репертуаре и Пантеоне» 1845 г. появляются первые переводы Григорьева из Иоганна Вольфганга Гете (1749—1832), позднее он неоднократно возвращается к этому поэту. В течение всего 1852 г. в «Москвитянине» печатается роман «Ученические годы Вильгельма Мейстера» в переводе Григорьева. Неоднократно обращался к творчеству Гете и Григорьев-критик. У него не было того преклонения перед немецким писателем, как перед тремя гениями других народов — Байроном, Пушкиным, Мицкевичем. Он считал, что Гете — совсем не олимпиец: «Мысль о вечном спокойствии Гете в высшей степени ошибочна. Не говорим о Фаусте, многие монологи которого проникнуты и сарказмом, и порывистым вдохновением Байрона, — возьмем в пример оды Гете в греческом духе» (ОЗ. 1850. № 2. С. 50), что даже в его произведениях на античные темы виден современный пантеист, что «Гете, враждебно относящийся к мещанской нравственности, и сам часто впадает в нее в своем Вильгельме Мейстере» (Русская беседа. 1856. Т. 3. Отд. II. С. 37). Однако Григорьев очень ценил утверждавшееся в «Вильгельме Мейстере» «примирение в деятельности, в любви, величие в малом, в ежедневном, в обыкновенном» (РСл. 1859. № 6. Отд. II. С. 43). С другой стороны, Григорьев не одобрял принципиального политического индифферентизма Гете; в статье «Альфред де Мюссе» он хвалит Мюссе как автора трагедии: «В нем есть то, чего не доставало Гете, чтобы быть истинным драматургом, — сочувствия к политической сфере и глубокое понимание ее пружин» (Драматический сборник. 1860. № 3. С. 33 особой пагинации). Больше всего Григорьева привлекал Гете-лирик. В середине 1840-х гг. он перевел ст-ния, связанные с масонскими настроениями («Похоронная песня», «Божественное» (№ 149)) и с любовными страстями («Покаяние» (№ 150), «Перемена» (№ 151), а также ст-ние, в какой-то степени сплавляющее оба направления («Молитва парии» (№ 152)); в последующих переводах значительно больше разнообразия. Самое задушевное для Григорьева стние Гете — «Завет» (№ 159), с идеей отображения вечности в каждом малом миге.

149. РиП. 1845. № 8 -- Изд. 1846. Перевод ст-ния «Das Göttliche» (1783).

150. Изд. 1846. Перевод монолога Эльмиры «Sieh mich, Heil'ger, wie ich bin...» из музыкальной драмы «Erwin und Elmire» («Эрвин и Эльмира», 1775).

151. Изд. 1846. Перевод ст-ния «Wechsel» (1768).

152. РиП. 1845. № 7. — Изд. 1846. Перевод ст-ния «Des Paria Gebet» (1823). В Изд. 1846 опечатка в ст. 9: «...мы неблагодарны». *Пария* — представитель низкой сословной касты («неприкасаемые») в Индии. *Брама* (Брахма) — высшее божество в религии индуизма (брахманизма). *Брамины* (брахманы) — высшая каста в Индии. *Раджа* — княжеский титул в Индии. *Баядера* — танцовщица на Востоке.

153. ОЗ. 1850. № 2. Отд. V. Перевод ст-ния «Am See» (1775).

154. Пантеон. 1850. № 8. Перевод баллады «Erlkönig» (1782). Григорьев очень любил это ст-ние Гете, неоднократно говорил об умении поэта тонко передать двойственность картины: то ли туман и ветер, то ли действует сказочный царь: «...голос лесного царя так сливается с свистом ветра и шумом листьев, что одно постоянно принимаешь за другое <...>. Существенная красота заключается в этой прозрачной поэтической иронии» (Русская беседа. 1856. Т. 3. Отд. II. С. 5). Для романтика изображение двойственности связано с художественной иронией. В. М. Жирмунский, посвятивший Григорьеву ценные страницы своей книги «Гете в русской литературе» (Л., 1937; 2-е изд. — Л., 1981), отметил, что Григорьев, в отличие от В. А. Жуковского с его известным переводом, ввел «легкую русификацию» и впервые воспроизвел дольники немецкого оригинала (в стандартных трехсложных стопах ритма встречаются двусложные).

155. М. 1851. № 13. Перевод ст-ния «An Lida». 1781.

156. М. 1852. № 21. Отд. II. Перевод ст-ния «Der Sänger» (1783) из романа «Ученические годы Вильгельма Мейстера» (1795—1796).

157. М. 1852. № 21. Отд. II. Перевод ст-ния «Wer nie sein Brot...» (1795) из того же романа (это и следующее ст-ние — из цикла песен Арфиста).

158. Там же. Перевод ст-ния «Wer sich der Einsamkeit...» (1782). См. примеч. 157.

159. РСл. 1859. № 2. Отд. II (первые три строки); № 6. Отд. II (остальной текст). Перевод ст-ния «Das Vermächtniss», 1829. Неизвестно, перевел ли Григорьев все ст-ние целиком.

Шиллер

Фридрих Шиллер (1759—1805) значительно меньше, чем Гете, привлекал внимание Григорьева. Он называл немецкого поэта великим и благородным, но его охлаждала некоторая абстрактная отрешенность от обыденности, повседневности и коварная опасность утопий: «Шиллер <...> предпочитает восстать на зло злом же, на безнравственность — безнравственностью, на мещанство — страшною утопиею "Разбойников". И заметьте, что тот же самый образ, который Шиллер явил сначала разбойником Моором, является потом в светлых призраках Позы, Иоанна и Телля <...> Шиллер только на высоте отвлеченных утопий, неприложимых к жиз-

ни, уберегает себя от падения» (Русская беседа. 1856. Т. 3. С. 36—37 особой пагинации). Известны всего три перевода Григорьева: кроме включенных в данный раздел ст-ний есть еще последнее ст-ние из цикла «Гимны».

160. МГЛ. 1847. 12 ноября. № 247. Перевод ст-ния «Thekla» (1802), написанного от лица Теклы, дочери Валленштейна, героя драматической трилогии «Валленштейн» (1798—1799). *Я нашла ль потерянного снова?* — Возлюбленный Теклы Макс Пикколомини погиб на войне. *Там его не обманула вера.* — В земной жизни Валленштейн поверил предсказаниям астрологов, которые не сбылись.

161. МГЛ. 1847. 27 ноября, № 258. Перевод ст-ния «Das Geheimnis der Reminiscenz (An Laure)» (1781). Посвящено Лидии Федоровне Корш, ставшей 12 ноября 1847 г. женой поэта (см. примеч. 124). Навеяно древнегреческим мифом в интерпретации Платона: Зевс разделил единого человека на две половины, мужскую и женскую, которые стремятся вновь соединиться. *Эон* (греч. миф.) — понятие мира и вечности.

Гейне

Григорьев заинтересовался творчеством Генриха Гейне (1797—1855), как и Гете, еще в студенческие годы, тогда же стал и переводить. А. А. Фет отмечал: «К упоению Байроном и Лермонтовым присоединилось страшное увлечение стихами Гейне» (Восп. С. 322). В «москвитянинский» период, в 1851 г., Григорьев написал статью о Гейне, но старомодный М. П. Погодин воспрепятствовал ее публикации (в 1848 г. на страницах «Москвитянина» В. А. Жуковский именовал немецкого поэта богохульником и циником); статья «Генрих Гейне», возможно переработанная, появилась значительно позже (РСл. 1859. № 5. Отд. III. С. 15—28). Отношение Григорьева к явно любимому поэту не было идеальным, как и к Гете. В статье «О правде и искренности в искусстве» он это двойственное отношение четко сформулировал: печать байронизма, считал он, «легла и на даровитом немце Гейне, превратившись из иронии мрачной и сплинической в иронию болезненно-ядовитую и полунахальную, полусентиментальную» (Русская беседа. 1856. Т. 3. Отд. II. С. 28). Еще более подробно свое понимание творчества Гейне Григорьев изложил в упомянутой статье 1859 г., называя поэта «почти гениальным» (с. 15) и указывая на его независимость от Байрона: «Он — явление совершенно самобытное, оригинальное, — порождение германской философии, с одной стороны, и германского жидовства, с другой. Космополит по происхождению, он закалил свой космополитизм философией, и умел вместе с тем остаться поэтом, поэтом всюду» (с. 16). Григорьев, всегда интересовавшийся национальной сущностью индивидуальных характеров, особенно характеров писателей и поэтов, усматривал в натуре Гейне как бы сплав германства и еврейства, а в последнем, отражающем свойства гонимого племени без отечества, особо отмечал космополитизм. Следует учесть, что до 1860-х гг. термины «жид» и «жидовство» не носили того оскорбительно-

го смысла, который они в России приобрели позднее, онн были более распространены в быту н печати, чем «еврей» и «еврейство». Именно благодаря космополитизму, считал Грнгорьев, позт в сатнре «Германия» мог смеяться и «ругаться» «над страною, когда-то бывшею его местопребыванием» (с. 16). «Бывшею» — Грнгорьев имеет в виду позднейшую змиграцию Гейне во Францию. Однако главную заслугу Гейне Григорьев видел не в сатире: «Значение его в нашей литературе — только значение позта, выразившего болезненное настройство эпохи» (с. 16). Впрочем, находясь в 1861—1862 гг. в Оренбурге, Григорьев предполагал написать книгу сатирических очерков «Глушь» о русской провинции в духе «Путевых картин» Гейне — см. письмо к Н. Н. Страхову от 19 января 1862 г. (Письма. С. 271).

Напечатав в «Русском слове» статью о Гейне, Григорьев приложил к ней все свои ранние шесть переводов ст-ний немецкого поэта; некоторые (№ 162, 165) — без всяких исправлений, остальные — с незначительными вар.

162. Изд. 1846 -- РСл. 1859. № 5. Отд. III. Перевод ст-ния «Sie haben mich gequälet...» из цикла «Лирическое интермеццо» (1821—1822).

163. Изд. 1846 -- РСл. 1859. № 5. Отд. III. Перевод ст-ння «Vergiftet sind meine Lieder...» из того же цикла.

164. РиП. 1845. № 4, за подписью «***» -- Изд. 1846 -- РСл. 1859. № 5. Отд. III. Перевод ст-ния «Ja du bist elend, und ich grolle nicht...» из того же цикла.

165. Изд. 1846 -- РСл. 1859. № 5. Отд. III. Перевод ст-ния «Es war ein alter König...» из цикла «Новая весна» (1830—1831).

166. М. 1853. № 1. Отд. V -- РСл. 1859. № 5. Отд. III. Перевод ст-ния «Mir träumte wieder der alte Traum...» из цикла «Лирическое интермеццо».

167. М. 1853. № 1. Отд. V -- РСл. 1859. № 5. Отд. III. Перевод ст-ния «Nun ist es Zeit, das ich mich verstand...» из цикла «Опять на родине» (1823—1824).

А. Рубинштейн

168. Дети степей... М., 1867 (ценз. разр. — 24 янв. 1867), отдельно русский текст либретто к спектаклям 1867 г., с указанием авторства Григорьева-переводчика.

Die Kinder der Heide: Oper in vier Aufzugen / Text frei nach Carl Beck's poetischer Erzählung «Janko». Musik von Anton Rubinstein. Vollständiger Clavirauszug mit Text von Componisten. Neue Ausgabe <Дети степей: Опера в четырех действиях / Текст — свободная переделка поэтического рассказа Карла Бека «Янко». Музыка Антона Рубинштейна. Полное издание клавира с текстом композитора. Новое издание. — *нем.*>. М., 1887, 2-е изд. клавира оперы с параллельными текстами на немецком и русском яз., без указания имени Григорьева как переводчика (1-е изд. — 1861, без перевода).

Об этой опере знаменитого музыканта и композитора Антона Григорьевича *Рубинштейна* (1829—1894) известно очень мало.

Вкратце историю ее создания изложил музыковед Л. А. Баренбойм: «Весной 1858 года С. Мозенталь написал для Листа, предполагавшего тогда сочинить венгерскую национальную оперу, либретто под названием "Янко", по книге "Janos" венгерского поэта К. Бека. Текст этот не понравился К. Витгенштейн, и, видимо, под ее влиянием, Лист отказался от мысли положить его на музыку. Через год к этому либретто обратился Рубинштейн. Оставив без изменения фабулу Бека—Мозенталя, Рубинштейн перенес действие оперы из Венгрии на Украину, изменил имена некоторых действующих лиц и назвал свою оперу "Дети степей". В феврале 1861 года она с успехом была поставлена в венском театре "Кертнертор". В сезоне 1863/64 года "Дети степей" должны были пойти в Петербурге, но из-за конфликта Рубинштейна с дирекцией императорских театров постановка осуществлена не была. Впервые в России опера была поставлена на московской сцене 10(22) февраля 1867 года» (Баренбойм Л. А. Рубинштейн А. Г. Жизнь, артистический путь, творчество, музыкально-общественная деятельность. Л., 1957. Т. 1. С. 292). В примеч. к этому рассказу Баренбойм уточняет: «Опера шла под названием "Дети степей, или Украинские цыгане". Либретто С. Мозенталя было переведено на русский язык А. Григорьевым» (С. 390). Автор книги сообщил также: «Опера была поставлена четыре раза, а затем снята с репертуара. Успеха она не имела» (С. 293). Судя по титульному листу клавира, да и по разъяснению самого Баренбойма, вряд ли можно говорить о «либретто С. Мозенталя»: Рубинштейн взял за основу его переделку поэмы К. Бека, но сам, в свою очередь, сильно ее переделал, перенеся действие в степи южной Украины, из-за чего возникли странно-комические неувязки, отмечавшиеся потом рецензентами московской постановки: в дикой степи оказалось богатое имение офицера графа Владимира, в этом имении почему-то расположена корчма, которой владеет немец Конрад, но граф вдруг впервые видит красивую дочь корчмаря Марию, а ее любит непонятно какого стада пастух Ваня, вокруг же кишат цыгане, разбойные и мирные. Григорьев вряд ли восхищался содержанием либретто, но точно перевел немецкий текст композитора. Материалы о творческих связях Григорьева и Рубинштейна неизвестны, в ответ на запрос автора этих строк Л. А. Баренбойм в письме 16 сентября 1982 г. сообщил о своем предположении, что, вознамерясь поставить оперу в России, композитор, возможно, по подсказке брата Николая, знавшего Григорьева еще по «молодой редакции» «Москвитянина», связался в 1862 г. с поэтом, который тогда интенсивно переводил либретто западноевропейских опер и согласился перевести либретто оперы Рубинштейна. Помимо издания либретто 1867 г., имя Григорьева как переводчика ставилось на афишах, упоминалось рецензентами, например, в отзыве некоего А. В. (Москва. 1867. 17 февр., № 37). Рецензенты отрицательно или иронично оценивали постановку, сожалея, что композитором упущена замечательная возможность показать национальные разновидности музыки (цыганская, украинская, немецкая). Не вполне одобрительно отозвался о спектакле 14 февраля

1867 г. и кн. В. Ф. Одоевский в своем дневнике (см.: Лит. наследство. Т. 22—24. М., 1935. С. 228). Позднеромантический всплеск интереса композиторов к цыганской тематике завершился на этих неудачных попытках (еще ранее, в 1855 г., неудачей закончилось создание симбирским композитором В. Н. Кашперовым оперы «Цыганы» на либретто Н. П. Огарева по поэме Пушкина). Добавим, что на Западе цыганская тематика создала гениальные оперы Дж. Верди «Трубадур» (1853) и Ж. Бизе «Кармен» (1874). В творческом пути Григорьева перевод либретто Рубинштейна явился как бы последним этапом его постоянного внимания к «цыганщине».

С ФРАНЦУЗСКОГО

Беранже

Популярность Пьера Жана Беранже (1780—1857) во Франции и как песенника, и как политического поэта к 1840-м гг. начала проникать и в Россию, хотя основные переводы, особенно благодаря деятельности В. С. Курочкина, относятся к следующему десятилетию, даже к его концу. В этом отношении Григорьев явился выдающимся новатором, одним из первых, еще в середине 1840-х гг. начавшим переводить французского поэта. Не просто переводить: у Григорьева возникла идея издать переводы отдельной книгой — еще за несколько месяцев до замысла Изд. 1846. 9 октября 1845 г. он писал М. П. Погодину, перечисляя свои труды: «...я перевожу: 1) песни Беранже, которые к январю, надеюсь, выйдут книжкою» (Письма. С. 13). Погодин был удивлен таким замыслом, и Григорьев оправдывался 29 октября: «Вам странен выбор моих переводов? <...> перевести Беранже считаю за notion méritoire <дело чести — *франц.*>, ибо это — поэт истины, поэт будущего...» (Письма. С. 15). Но почему-то Григорьев не осуществил замысла и рассыпал переводы по журналам и альманахам. Вернулся он к ним в 1859 г., уже на волне успеха В. С. Курочкина, переработал почти все тексты и составил общий список из семи ст-ний (автограф — РГАЛИ), под. загл. «Переводы из Беранже (посвящаются В. С. Курочкину)», поставив внизу интервал дат: «1846—1859. С. Петербург» (вместо первой даты нужно бы поставить «1845»). Однако и этот комплект пролежал без движения два года, когда автор разрозненно его опубликовал (уже без посвящ.) в «Петербургском вестнике» в конце 1861 — начале 1862 г. (тексты опять подверглись некоторой переработке).

В наст. изд. печ. по ПВ с восстановлением купюр печатного текста по автографу (см. примеч. 169, 172) и в порядке, установленном в авторском списке РГАЛИ. Первоначальные публ. отдельных ст-ний указываются в соответствующих библиографических справках.

169. Невский альманах на 1846 год. СПб., 1846 (ценз. разр. — 22 дек. 1845 г.); др. ред. — ПВ. 1861. 20 ноября, № 24. Перевод ст-ния «La sylphide» (до 1827). В «Невском альманахе» ст. 25—32:

Как рано сердце ей тревожит
Любви волшебный, сладкий сон!
Ребенок-баловень, быть может,
Но вами избалован он.
Под этой видимою ленью
Я много страсти видел сам:
Храните ж вы ее под сенью,
О, сильфы, сильфы, верю вам!

В ПВ отсутствуют ст. 41—48. В автографе ст. 33—35:

Порою ум струей живою
Сверкает в резвой болтовне.
Как сны, он пылок, что весною

170. РиП. 1846. № 4 -- ПВ. 1862. 1 янв., № 1. Перевод ст-ния «Recommenons» (до 1828). В первой публ. ст. 13: «Лизета любит сок отрадный», ст. 15—16

«Что ж, — говорит, лобзая жадно, —
Скорее сызнова начнем!»

ст. 21: «Теперь же с жизнию играя», ст. 23: «Красоток наших обнимая». В автографе ст. 6: «Вином стаканы мы нальем», ст. 14—15:

Чуть мы немного отдохнем:
«Что ж, — говорит, цалуясь чаще, —

Моэт — французское вино, разновидность шампанского.

171. РиП. 1846. № 11. -- ПВ. 18 дек. № 26. Перевод ст-ния «Ma nacelle» (до 1828). В первой публ. ст. 51—60:

Утес — где лес лавровый —
Ты будь от нас далек,
Пригнал нас ветер новый
В смиренный уголок.
Там встретит дружба снова...
Пора мне отдохнуть...
Пускай ладья готова
(Зефир, до брега спутник будь)...
Пуская ладья готова,
Но нам не плыть уж в путь!

В автографе ст. 1—2:

По светлой, по широкой
Скользя равнине вод

ст. 27: «Потом — судно готово», ст. 57: «Потом — судно готово», ст. 64: «Нас ветр в залив зовет...»

172. РиП. 1845. № 11 -- ПВ. 1861. 4 дек., № 25. Перевод ст-ния «Les étoiles qui filent...» (1820). В первой публ. ст. 1—4:

Пастух, ты говорил не раз,
Что нами звезды управляют.

О да, дитя... Но их от нас
Покровы ночи закрывают.

В ПВ отсутствуют ст. 25—32. В автографе ст. 14—15:

И в сладких грезах догорает.
Смотри: еще звезда летит,

(то же — в завершении каждой строфы), ст. 22: «Венок чело ей обвивает...»

173. Финский вестник. 1846. Т. 7. Отд. VI (ценз. разр. 29 дек. 1845 г.), др. ред. анонимно; с загл. «Элегия на смерть двух молодых людей» — ПВ. 1861. 8 окт. № 21. Перевод ст-ния «Le suicide» (1832). *Два юноши* — молодые поэты: Виктор Эскусс (1813—1832) и Огюст Ле Бра (1811—1832), которые отравились газом, протестуя против непризнания их талантов. В «Финском вестнике» ст-ние было опубликовано в тексте «Литературных заметок» с похвалой «молодому писателю» (имя Григорьева не названо), решившемуся на переводы «непереводимых» песен Беранже, и далее следовал текст перевода. В «Финском вестнике» ст. 31—34:

Больные дети! Распустивши крылья
Вы, как орлы, вспорхнули б из гнезда...
И не напрасны были бы усилья,
И вас бы славы повела звезда.

В автографе: «Памяти двух юношей», ст. 3—4:

Цвет бытия едва успел раскрыться
И скошен он самоубийством злым.

ст. 8:: «Пойдем же вплавь искать спасенья сами!», ст. 16: «Богатой жатвы ожидать другим», ст. 23—24:

Вы пили чашу, но ужель на дне
Вы лучшего, любви не увидали?

ст. 26—27:

Любовь; и ей звучала наша лира...
Но сон исчез, алтарь наш осквернен,

ст. 31: «Больные дети! Размахнув крылами», ст. 38: «Не поднялись бы крылья вольным взмахом...», ст. 41: «Больные дети! Тяжесть вашей жизни», ст. 43: «Нашли бы вы родную мать в отчизне», ст. 48: «Иной отчизну любим мы любовью...», ст. 52: «В последний час ваш лепетал язык...», ст. 66: «Уметь поведать голосом живым!»

174. ПВ. 1861. 8 окт., № 21. Перевод ст-ния «Le vieux caporal» (1829). В автографе ст. 11: «Ровнее! марш, ...» (так в завершении всех строф), ст. 27—28:

Бывало, помните? За чашей
Походы те припоминал.

ст. 50: «Пришлось бы с крошкой умирать», ст. 62: «Веди вас Бог в страну родную». Григорьев осмелился соперничать со ставшим

уже популярным переводом В. С. Курочкина «Старый капрал» (1857).

175. Невский альманах на 1846 год, др. ред. под загл. «Народная память» — ПВ. 1861. 20 ноября, № 24. Перевод ст-ния «Les souvenirs du peuple» (до 1828). В ст-нии описаны эпизоды из жизни Наполеона, вплоть до его кончины на острове Св. Елены. Беранже, употребляя всюду вместо имени «он», рассчитывал на понимание французов; Григорьев же всюду выделял местоимение: в «Невском альманахе» — курсивом, а в поздних вариантах — заглавной литерой, как бы возводя Наполеона в божественный сан.

В «Невском альманахе» ст. 40—52:

Но когда Шампанье бедной
Чужеземцев Бог послал,
И один *он*, словно медный,
Недвижим за всех стоял...
Раз, как нынче, перед ночью
В ворота я слышу стук —
Боже Господи! Воочью
Предо мной стоит *он* вдруг.
И войну *он* проклиная,
Где теперь сижу я, сел!
— Как, сидел *он* здесь, родная?
Как, *он* здесь сидел?

Ст. 66: «вот он... Увезли героя...». В автографе ст. 23: «"Здравствуй, милочка!" — сказал».

Мюссе

Григорьев, как и все его романтические ровесники, был очень сильно увлечен творчеством Альфреда де Мюссе (1810—1857), наряду с Байроном, Лермонтовым, Гейне. Трагедию Мюссе «Лорензаччио» Григорьев называл по энергии равной трагедиям Гете и Шиллера и видел в ней следование Шекспиру. Роман французского писателя «Исповедь сына века» (1836) Григорьев считал чуть ли не лучшим художественным произведением, изображающим тип молодого человека посленаполеоновской Франции, принадлежавшего к поколению «горячему, бледному, нервному» (слова Мюссе в романе), тип, близкий по духу к характеру многих русских людей, выросших после декабристской катастрофы 1825 г., в том числе и к характеру самого Григорьева. Он написал большую статью «Альфред де Мюссе» (1852), куда включил переводы значительных отрывков из романа, а также ст-ние «Люси» и поэму «Уста и чаша» (в сокращении). Однако Григорьев в этой статье отмечал и неприятные для него черты художественного творчества Мюссе; в одном из отрывков из поэмы «Уста и чаша» критик видит высмеивание Шекспира: «Начало этой сцены — какая-то пародия на сцену свидания Ромео и Юлии, пародия, внушающая ужас» (М. 1852. № 12. Отд. VI. С. 59). Позднее Григорьев стал еще

более сдержанно относиться к Мюссе; например, в статье «О правде и искренности в искусстве» он отмечает «байронизм, которого печать легла <...> на даровитом французе Альфреде де Мюссе, претворившись у него из безотрадного смеха в беззаботно-наглый и вместе наивный цинизм или в слезы тоски и стоны искреннего раскаяния» в романе (Русская беседа. 1856. Т. 3. Отд. II. С. 28).

176. М. 1852. № 12. Отд. VI. Перевод ст-ния «Lucie» (1835).

С АНГЛИЙСКОГО

Байрон

Преклонение перед Джорджем Ноэлом Гордоном Байроном (1788—1824) прошло сквозь всю сознательную жизнь Григорьева, который считал его, наряду с Пушкиным и Мицкевичем, одним из самых великих поэтов XIX в. Любопытно и его сопоставление с Гете: «Байрон только одностороннее Гете и, разумеется, сильнее Гете своей стороною» (ОЗ. 1850. № 2. Отд. V. С. 50). Наиболее глубокую характеристику творчества английского гения Григорьев дал в статье «О правде и искренности в искусстве»: «Байрон есть пламенный поэтический протест личности против всего условного в окружавшем его общежитии и потому может быть судим только с высшей точки зрения христианского суда, но не с точки зрения нравственности того общежития, которого муза его была казнию; он ничего иного не сделал, как обнажил только то, что прикрывалось ветхим покровом условного, сорвал маску с обоготворенного втихомолку эгоизма и как истинный глубокий поэт воспел торжество этого страшного начала с тоской и ядовитой иронией» (Русская беседа. 1856. Т. 3. Отд. II. С. 32—33). Однако, считал Григорьев, поэту недоставало прочного нравственного (христианского) фундамента: «Байрон есть поэтическое воплощение протеста, и в этом опять-таки его сила и его слабость: сила его в том, что протесту, вызываемому всегда более или менее неправдою, душа горячо сочувствует; слабость в том, что протест этот есть протест слепой, протест без идеала, протест сам по себе и сам от себя» (Там же. С. 33—34); и далее: «Вследствие отсутствия поэтически-нравственного и гармонически целостного взгляда у Байрона нет суда над жизнию и над создаваемыми образами» (Там же. С. 35). Григорьев переводил Байрона в течение почти всей своей жизни поэта.

177. РиП. 1845. № 3, и Изд. 1846, др. ред. под загл. «Прости» -- Светоч. 1860. № 2. Перевод ст-ния «Farewell! If ever fondest prayer...» (1814); Текст РиП и Изд. 1846:

Прости! и ежели другим
Помочь в странах надзвездных мест
Мы в силах, — с именем твоим
Взойдет мольба моя до звезд.
К чему слова и стоны мук?
Не так ужасен из груди

Преступной выдавленный звук,
Как слово то: прости, прости!

В очах нет слез, в устах нет слов,
Зато в мозгу, в груди больной,
Тоска, не знающая снов,
Недуг мучительный и злой.
Роптать горда душа моя,
Но ей страданий не снести.
Любили тщетно мы, и я
Твержу одно: прости, прости!

178. МГЛ. 1847. 30 июля, № 166, др. ред. -- Светоч. 1860. № 2. Перевод ст-ния «Bright be the place of thy soul...» (1816). Текст первой публ.:

Обитель души твоей будь
Чиста и светла, как сама ты,
Земной совершая свой путь,
Душою блаженной была ты.

Средь лика бессмертных сиять
Тебе, в мире бывшей святою, —
К чему над тобою рыдать?
Мы знаем, что Бог твой с тобою.

Трава на могильном холме
Пусть вечно зеленая будет;
Пусть каждый о мраке и тьме,
Тебя вспоминая, забудет.

Зеленые ели над ним
С цветами долины сраслися...
Над прахом прекрасным твоим
Печального нет кипариса.

179. Светоч. 1861. № 2, с ценз. пропуском ст. 17—42 (строфа 2) -- Русская мысль. 1916. № 5, строфа 2, опущенная в первой публ. Печ. по автографу ИРЛИ. Перевод ст-ния «Prometheus» (1816). *Александр Петрович Милюков* (1817—1897) — критик, историк литературы, фактический редактор «Светоча». Впоследствии он вспомнил о визите Григорьева перед Новым годом с новыми стихами: «Это был прекрасный перевод "Прометея" Байрона, из которого потом почти половина была отрезана цензором» (Милюков А. П. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890. С. 256).

Григорьев усматривал в «Прометее» автобиографические мотивы, считая, что муза Байрона есть Немезида (богиня возмездия) самой жизни: «Немезида, в свою очередь обращающая свой бич на самого поэта как далеко не свободного от неправды, а, напротив, проникнутого ею до мозга костей, и посылающая Прометеева коршуна терзать его собственное сердце» (Русская беседа. 1856. Т. 3. Отд. II. С. 35). *Громовержец* — Зевс. *Перун* — старославянский бог грома и молнии; здесь: молния.

180. Время. 1861. № 1. Перевод отрывка из ст-ния «Ode on

Venice» (1818). *Лев* — символ Венеции (изображен на гербе города).

181. Русский мир. 1861. 9 сент., № 72. Перевод ст-ния «Remind me not, remind me not...» (1808).

182. Время. 1862. № 7, полный текст 1-й главы поэмы. Перевод из поэмы «Child Harold's piligrimage» (1812). В наст. изд. публикуются две песни Чайльд-Гарольда из первой главы поэмы. Первая помещена в начале (отплытие героя из родного края), вторая — в конце, где герой расстается с Испанией. Первые две строфы переведены Григорьевым также по переводу Мицкевича (см. № 105). Григорьев со страстью и грустью работал в Оренбурге над этим переводом, как он сообщал Н. Н. Страхову в письме от 12 декабря 1861 г.: «А поэзия — уходит из мира. Вот я теперь с любовью перевожу одного из трех последних настоящих поэтов (т. е. с Мицкевичем и Пушкиным купно), — я переживаю былую эпоху молодости — и *понимаю*, с какой холодностью отнесется современное молодое поколение к этим пламенным строфам (все равно, хоть читай оно их по-английски), к этой лихорадочной тревоге, ко всему тому, чем мы жили» (Письма. С. 267). Григорьев вначале предполагал опубликовать перевод в дружественном журнале «Время» (см. его письма к Н. Н. Страхову от 12 и 15 декабря 1861 г. — Письма. С. 266, 268), но Достоевские, видимо, невысоко оценили его труд, затем он планировал напечатать перевод в «Отечественных записках», но переговоры с А. А. Краевским не были успешными, и перевод все-таки появился в журнале братьев Достоевских. Н. Н. Страхов, который, вероятно, с самого начала дал один из весьма прохладных отзывов о переводе, позднее как бы оправдывался: «Перевод был действительно неудачен. Язык Григорьева всегда отличался некоторой своеобразной тяжестью, которая странным образом соответствовала напряженности его мысли, так сказать, ее походке. Эта тяжесть в удачные минуты давала слогу Григорьева необыкновенную силу. Но на этот раз она была помехою и испортила перевод вещи, конечно, верно понятой и прочувствованной» (Григорьев Ап. Воспоминания. М.; Л., 1930. С. 484). *Франк* — здесь: француз. *Вечный жид* (Агасфер) — герой средневековой легенды о еврее, наказанном Богом вечной скитальческой жизнью за то, что отказал в помощи Христу по дороге на Голгофу.

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ ГРИГОРЬЕВУ

183. РиП. 1844. № 5, за подписью «Г-въ». А. А. Блок включил ст-ние в Изд. 1916, объясняя это так: «Несмотря на сокращенную подпись и отсутствие прямых указаний, я с уверенностью вношу в текст это стихотворение, по внутренним признакам принадлежащее А. Григорьеву» (С. 553). У нас, однако, нет такой уверенности: других его произведений нет в «Репертуаре и Пантеоне» первой половины 1844 г. Полина *Виардо-Гарсиа*. — см. примеч. 131. Эпиграф — неточная цитата из ст-ния У. Вордсворта «To a Highland

Girl» («Девушке с гор») из шотландского цикла ст-ний (1803): вм.: «Dream and...» нужно: «I bless Thee...», т. е. ст. 1 должен переводиться: «Я благословляю твой образ, какой он есть». Винченцо *Беллини* (1801—1835) — итальянский композитор. *Амина* — героиня оперы Беллини «Сомнамбула» (1831); *«Incolparne», «Mi abbraccia»* — слова из арии Амины.

184. БдЧ. 1846. № 10, без подписи. Ст-ние расположено перед ст-нием «Ожидание» (№ 44), подписанным «А. Григорьев», что дало основание включить его в Изд. 1959. Однако в оглавлении, где Григорьев указан автором № 44, данное ст-ние приводится анонимно.

185. Липин А. М. К библиографии А. Н. Островского // Багрий А. В. Литературный семинарий. I. Баку, 1926, с опечатками. Список под. загл. «Ответ» за подписью «А. Григорьев» — РГБ. Ф. 178, собр. К. Т. Солдатенкова. № 3334. Л. 24 об. Эпиграмма относится к Н. Ф. Щербине, неоднократно пародировавшего Григорьева (см. примеч. 67, 129); в списке она помещена после эпиграммы Щербины против А. Н. Островского. Однако в «Русской старине» за 1872 г. (№ 1. С. 151) эпиграмма (с некоторыми разночтениями: «Полухохол» вм. «Полу-еврей», «к чему» вм. «зачем», «жалкий» вм. «юный») опубликована как принадлежащая А. Н. Плещееву, Н. А. Северцову и А. Г. Тихменеву; затем перепечатана как приложение в «Полном собрании сочинений» Н. Ф. Щербины (СПб., 1873. С. 432). Возможно, Григорьев, взяв чужой текст, несколько изменил его (но «еврейское» происхождение дворянина Щербины весьма сомнительно), поэтому эпиграмма и приписана ему кем-либо из знакомых.

186. Лишина Г. О. Воспоминания. Вольск, 1913. Эпиграмма приведена автором по памяти.

187. Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 139. 1963, в тексте письма востоковеда Н. И. Веселовского к Н. Н. Страхову; по просьбе адресата автор письма записал в 1880-х гг. воспоминания коллег Григорьева по Оренбургскому кадетскому корпусу: «...вышел приказ, чтобы учителя говели с кадетами на четвертой неделе Великого поста. Принесли этот приказ Григорьеву, прочитал он его, надо было расписаться на приказе, вот он и написал: <следует текст эпиграммы>. <...> В другой раз А. А. написал большое стихотворение (ходившее в рукописи) вот по какому случаю. Приехал в Оренбург генерал-губернатор (чуть ли не Безак), весь чиновный персонал явился к нему представиться, а он продержал явившихся несколько часов, не выходя к ним. Во время этого ожидания А. А. вынул записную книжку и набросал ядовитое стихотворение на сей случай. К сожалению, рассказчик самые-то стихи забыл, а упомнил только повторявшийся припев:

Эхма, спину гнут:
Кабы им хороший кнут!» (С. 349).

188. Быков Петр. Ф. И. Тютчев. Из встреч минувшего: Странички из литературных воспоминаний // Тютчевский сборник. Пг., 1923. Быков цитирует текст не по документу, а вспоминая о встречах с Григорьевым: «Под аккомпанемент гитары, с ним почти неразлучной, он образно декламировал свои поэтические эк-

спромты, положенные на его же музыку, тут же созданную, своеобразную. Припоминается один из таких экспромтов «странствующего романтика», как назвал себя Григорьев» (С. 34) — и далее следует текст ст-ния.

СТИХОТВОРЕНИЯ, ОШИБОЧНО ПРИПИСАННЫЕ ГРИГОРЬЕВУ

(1). «При разделе мира / Мне сказал Зевес: / Вот тебе, брат, лира, / Вот клочок небес...» (начало неизвестного ст-ния, распространявшегося, как и следующее, в 1850-х гг.) // Русская мысль. 1916. № 5, в статье В. Княжнина «Неизданные и малоизвестные стихотворения Ап. Григорьева», по сообщению Д. А. Корсакова. На самом деле ст-ние, скорее всего, принадлежит В. Курочкину (см.: Гаркави А. М. Атрибуция некоторых произведений вольной русской поэзии середины XIX века (по данным П. А. Ефремова) // Русская литература. 1961. № 4. С.. 163—164).

(2). «Когда наш Новгород Великий / Отправил за море послов» (начало неизвестного ст-ния, распространявшегося, как и предыдущее, в 1850-х гг.) // Русская мысль. 1916. № 5, в статье В. Княжнина (см. выше). На самом деле ст-ние, скорее всего, принадлежит М. А. Дмитриеву (см.: Проскурин О. А. Дмитриев Михаил Александрович // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. Т. 2. Г-К. М., 1992. С. 127).

(3). «Всё кончено! Мечты мои пропали...» (перевод из Байрона) // Меркурий мод. 1859. № 10, за подписью «А. Г.». Включено Блоком в Изд. 1916 с пометой: «Включаю <...> это стихотворение не без колебания» (С. 557). Это и следующее ст-ния действительно очень слабые, к тому же нет никаких сведений об участии Григорьева в ничтожном журнале «Меркурий мод».

(4). С испанского // Меркурий мод. 1859. № 10, как принадлежащее Григорьеву в списке не включенного в Изд. 1959. См. также предыдущий комментарий.

(5). «Долго нас помещики душили...» // Русская потаенная литература XIX столетия. Ч. 1. Лондон, 1861, анонимно. Перепечатано в ряде других заграничных изданий. В Изд. 1959 приведены высказывания Н. С. Лескова, Я. П. Полонского и П. Д. Боборыкина в пользу авторства Григорьева, но ст-ние в книгу не вошло. Невероятно, чтобы Григорьев в начале 1860-х гг. сочинил революционное ст-ние, а оно по содержанию относится именно к тому времени. Указание Я. П. По-лонского, что он помнит Григорьева «поющего со студентами песню, им положенную на музыку...» (см. вступ. статью, с. 6), может означать, что Григорьев лишь автор мелодии. И. Г. Ямпольский включил текст в корпус ст-ний В. С. Курочкина, в раздел приписываемого ему (см.: Поэты «Искры». Т. 1. Л., 1955. С. 384—385. Б-ка поэта. Б. С.), и привел сводку материалов о бытовании текста (с. 768—770), но аргументы в пользу авторства Курочкина очень косвенны, необходима более основательная разработка проблемы.

СПИСОК СТИХОТВОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. А. ГРИГОРЬЕВА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ

Отец и сын: Драма в 4-х действиях, в стихах (1847). Автограф — ИРЛИ. Готовится к печати в сб. Гос. театральной библиотеки (СПб.).

ПЕРЕВОДЫ

Делавинь К. Людовик XI: Трагедия в 5 д. // РиП. 1846. № 5.

Софокл. Антигона: Трагедия // БдЧ. 1846. № 8.

Мольер Ж.-Б. Школа мужей: Комедия // РиП. 1846. № 12.

<Делавинь К.> Школа стариков: Комедия в 5 д. // Пантеон. 1850. № 1.

Байрон Дж.-Г. Паризина: Поэма // М. 1851. № 13.

Мюссе А. Уста и чаша // М. 1852. № 12.

Шекспир В. Сон в летнюю ночь // БдЧ. 1857. № 7.

Шекспир В. Шейлок, венецианский жид // Драматический сборник. 1860. № 1.

Шекспир В. Ромео и Джульетта // Русская сцена. 1864. № 8.

ЛИБРЕТТО ОПЕР

Дж. Верди. Бал-маскарад. СПб., 1862.
Дж. Россини. Граф Ори. СПб., 1862.
Дж. Мейербер. Осада Гента. СПб., 1862.
Л. ван Бетховен. Фиделио. СПб., 1862.
В.-А. Моцарт. Дон-Жуан. СПб., 1862.
Д. Верди. Эрнани. СПб., 1862.
Г. Доницетти. Дон Пасквале. СПб., 1863.
Г. Доницетти. Мария ди Роган. СПб., 1863.
Г. Доницетти. Лючия ди Ламмермур. СПб., 1863.
Дж. Мейербер. Роберт-Дьявол. СПб., 1863.
Дж. Россини. Сорока-воровка. СПб., 1863.
В. Беллини. Капулетти и Монтекки. СПб., 1863.
В. Беллини. Сомнамбула. СПб., 1863.
Ф. фон Флотов. Страделла. СПб., 1863.
Г. Доницетти. Фаворитка. СПб., 1863.
Ш. Гуно. Фауст. СПб., 1863.
К. Педротти. Фиорина. СПб., 1863.
Дж. Россини. Ченерентолла. СПб., 1863.
Боэльдье. Белая дама. СПб., 1863.
Г. Доницетти Линда ди Шамуни. СПб., 1863.
Д. Верди. Сила судьбы. СПб., 1863.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЭМЫ

ДРАМЫ

ПЕРЕВОДЫ

С НЕМЕЦКОГО

Гимны

Гете

Шиллер

Гейне

А. Рубинштейн

С ФРАНЦУЗСКОГО

Беранже

Мюссе

С АНГЛИЙСКОГО

Байрон

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ ГРИГОРЬЕВУ

Аполлон Григорьев

Стихотворения. Поэмы. Драмы / Подг. текста, сост., вступ. статья и примеч. Б. Ф. Егорова — СПб.: Академический проект, 2001 — 760 с., ил.

ISBN 5-7331-0241-1

Данное собрание поэтических произведений выдающегося деятеля русской культуры XIX века, поэта, критика, журналиста Аполлона Григорьева является наиболее полным из всех издававшихся прежде и содержит (за исключением драмы «Отец и сын») все оригинальные произведения Григорьева. Впервые публикуется драма «Басурман» и несколько стихотворений. Значительно расширен по сравнению с прежними изданиями отдел переводов. Все тексты выверены по рукописям. Вступительная статья и примечания дают полное представление о творчестве Григорьева и его роли в развитии русской культуры.



Аполлон Григорьев

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПОЭМЫ. ДРАМЫ

Художник *В. В. Еремин*

Художественный редактор *В. Г. Бахтин*

Технический редактор *Е. Ф. Шараева*

Корректор *О. Э. Карпеева*

ЛР № 066191 от 27.11.98

Подписано в печать 25.07.2001. Формат $84 \times 108/_{32}$
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Балтика.
Усл. п. л. 48. Уч. изд. п. л. 43. Тираж 2000 экз. Заказ № 4110

Гуманитарное агентство «Академический проект»
191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 26.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт -Петербург, 9 линия, 12